

НАШ СОВРЕМЕНИК

Журнал писателей России



№ 6 2022

90 лет со дня рождения Олега Михайлова



Олег Николаевич Михайлов — русский писатель, критик, литературовед, автор исторических романов. Среди критических работ выделяется книга “Верность. Родина и литература” (1974), где наиболее яркой является глава о так называемой “одесской школе” — “В исканиях гуманизма”. Автор книг о Державине, Суворове, Кутузове, Александре III. В итоговых работах “Литература Русского зарубежья” (1995) и “От Мережковского до Бродского” (2001) автор затрагивает тему идейно-нравственного противопоставления первой и третьей волн русской эмиграции.

“Самое дорогое для мальчика — вечера в большом батюшкином кабинете. Набегаешься всласть, накатаешься в салазках с ледяной горки, наиграешься в снежки, в гуська, в салки, в крепость. Разрумянишься, наберёшь в валенки снегу, весь иззябнешь. Но всё равно чуть не силком, иногда с горькими детскими слезами, уводит тебя мамка домой.

Недолго ребячье горе. После ужина залезешь с ногами на скользкое кожаное аглицкое кресло и слушаешь, слушаешь батюшку. Чудо как хорошо!

Чего только не знает Ларион Матвеевич! Ведь недаром называют его в Петербурге “Разумною книгою”.

И про полуденные страны знает, где люди круглый год ходят нагишом и зело черны и где обитают в степях диковинные птицы. И среди них птица, величайшая в свете, именуемая Строус, которая бегаёт, как конь. На этом Строусе, усевшись верхом, римляне учреждали скачки наперегонки с лошадьми...”

Олег Михайлов “Кутузов. Дважды воскресший”



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

**Л. Г. БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО,**
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
Э. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Поэзия

- Андрей ПОПОВ**
Течение жизни и рек 3
- Григорий КАЛЮЖНЫЙ**
Путеводное слово..... 31
- Магомед АХМЕДОВ**
Пушкинские горы 46
- Сергей АГАЛЬЦОВ**
День вечереет,
тьма сгущается... 125
- Поэтическая мозаика 173

Проза

- Дмитрий ФИЛИПШОВ**
“Камень, ножницы,
бумага...” Рассказ 6
- Анастасия ВАСИЛЬЕВА**
Такие разные сюжеты.
Рассказы 19
- Ольга ГОГОЛЕВА**
Дверь. Рассказ 34
- Юлия ЖУРАВСКАЯ**
Жажда жизни. Рассказ..... 43
- Людмила ИВАНОВА**
“Каротинка”. Рассказ 49
- Владимир КАРПОВ**
Тень мужчины. Роман..... 64
- Светлана МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО**
Кусочек счастья. Рассказы..... 128
- Валерий МИХАЙЛОВСКИЙ**
На каждый пир – свой чир.
Повесть 134
- Валентин АНОЦКИЙ**
Под созвездием Иисуса.
Рассказ 178

Очерк и публицистика

- Владимир ОВЧИНСКИЙ**
О “новой” внешней
политике США 191
- Геннадий КРАСНИКОВ**
Це Европа 199

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —
*заместитель главного
редактора, зав. отделом
публицистики* —
(495) 625-01-81

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

А. Н. Тимофеев —
*редактор отдела
критики* —
(495) 625-30-47
ns-kritika@yandex.ru

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Память

Сергей КУНЯЕВ
Вадим Кожинов 202

Пётр КРАСНОВ
Не уходи с поля 219

Критика

Борис КУРКИН
Железный всадник 226

Владимир ЮДИН
Святые горы 248

Иван ПРИЙМА
Леонтьев или Достоевский? 259

Если преодолеем —
у нас появится шанс
Интервью с Юрием Козловым 273

Книжный развал

Анатолий КОЗЛОВ
Рождение и крах Великой
Скифии 278

Поздравление юбиляру 287

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**

Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**, эл. почта: **n-sovrem@yandex.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.
При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 02.06.2022. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 0462-2022. Тираж 3200 экз.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

АНДРЕЙ ПОПОВ



ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ И РЕК

НАВОДНЕНИЕ В БАНГЛАДЕШ

Что нам ближние люди?! Томимся в тоске,
О любви говорим непонятно и грустно.
Человек просит помощи, тонет в реке,
А у нас на устах: “Как сказал Заратустра...”
Помоги, если можешь, а то и утешь,
Полюби, если можешь, без всяких резонов.
И не мучай других:
— Как дела в Бангладеш?
Сколько там утонуло от южных муссонов?
Каждый год то же самое — снова ко дну
Чьи-то судьбы идут вместе с рисом и просом.
Жизнь течёт, человек в ней от слов утонул,
Захлебнулся он в ней от дежурных вопросов.
Только что нам течение жизни и рек?!
О себе сочиняем красивые сказки,
И любовь умирает — и с ней человек.
А у нас на устах: “Как сказал Станиславский...”.

ПОПОВ Андрей Гельевич родился в 1959 году в Воркуте. Окончил Сыктывкарский государственный университет, филологический факультет. Публиковался в журналах “Наш современник”, “Север”, “Молодая гвардия”, “Родная Ладога”, “Аврора”, “Подъём”, “Плавучий мост” и др. Автор нескольких сборников стихотворений. Лауреат премии правительства Республики Коми в области литературы имени И. А. Куратова, Южно-Уральской литературной премии, международной премии С. Есенина “О, Русь, взмахни крылами”, премии Н. Тряпкина “Неизбывный вертоград”. Стихи переводились на венгерский, болгарский, немецкий языки. Член Союза писателей России. Живёт в Сыктывкаре.

Он сказал:
— Я не верю!
Как можно ни с кем
Не делиться внезапной сердечною раной?
Человек просит помощи — тонет в тоске
От того, что в дождях тонут души и страны.

* * *

Ни в птице, что летит, крылом касаясь лета,
Ни в утренней звезде, ни в памяти времён,
Ни в книгах мудрецов не отыскать ответа,
Ответа не найти — зачем я был рождён?
И только самому врати душою надо
В звериную тоску, в распутия дорог,
В нежданную любовь, во все сомненья ада
И в городскую мглу, и в полевой цветок,
И в горькие слова, и в роковые числа,
И в облако надежд, что на семи ветрах.
И молится душа от осознания смысла —
Из праха рождены, чтоб возвратиться в прах.
И молится душа, что всё на свете этом
Уходит навсегда,
Предчувствуя свой срок —
И птица, что летит, крылом касаясь лета,
И городская мгла, и полевой цветок.
Чего же ты хотел? И твоего ухода
Ждут листопад и дождь, зарницы и мороз.
И молится душа. И говорит погода.
И трудно разобрать ответ на вопрос.

* * *

Провожают порой по уму,
Так бывает, я видел, с иными...
Только, Родина, я не пойму,
Что тебе моё честное имя?

Не пойму я, какая метла
Выметала согласие умело?
Я проспал или ты проспала
Наше общее слово и дело?!

Было — сплыло. Зови не зови.
Не случилось. И плакаться тщетно.
И выходит, что всё по любви,
Всё у нас по любви безответной.

* * *

Сошли снега. Зато белеют ночи.
Скребётся жизнь в посеянном зерне.
Светлей душе в раздумьях одиночеств
С холодной весной наедине.

Весна моя, как мы давно знакомы!
Напоминай, ты мне не надоешь,

О нетерпенье молодой истомы,
О чутких снах стареющих надежд.

Поторопись — уже начало мая.
Нам остаётся времени в обрез.
И жизнь в зерне скребётся, понимая, —
Христос воскрес! Воистину воскрес!

ИЮНЬ

Красота становится приметней,
Родина становится теплей,
Забывая, что любовь бессмертней,
Чем слова, что сказаны о ней.

Тёмная свобода, как пивная,
На слова о родине щедра,
А любовь молчит, не забывая,
Что давно забыть уже пора.

ДМИТРИЙ ФИЛИПPOB



“КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА...”

РАССКАЗ

В дверь робко постучали, даже не постучали — поскреблись, тихо и невесомо.

— Войдите, — произнёс Родионов, не отрывая взгляда от монитора и продолжая что-то сосредоточенно выстукивать на клавиатуре, как будто этот звук убаюкивал и погружал его в особый чиновничий транс.

Вошла старушка с румяным от мороза лицом, робкая по первым жестам, но со взглядом добрым и озорным. Сама невысокая, подтянутая, из тех педантичных бабушек, что аккуратны в каждой детали скромного гардероба.

— Здравствуйте! Можно к вам?..

— Присаживайтесь. — Родионов указал на стул для посетителей. Головы так и не повернул, продолжая печатать что-то важное, судьбоносное.

ФИЛИППОВ Дмитрий Сергеевич родился в 1982 году в городе Кириши Ленинградской области. Закончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. Работал педагогом-организатором, грузчиком, продавцом, подсобным рабочим, монтажником вентиляции. Служил в армии на территории Чеченской республики с 2006-го по 2008 год. Старший сапёр. В настоящий момент работает на государственной гражданской службе. Автор четырёх книг прозы. Лауреат всероссийских и международных литературных премий. Рассказы и повести выходили в журналах “Наш современник”, “Нева”, “Волга”, “День и ночь”, “Знамя”, “Огни Кузбасса”, переведены на китайский и итальянский языки. Книга “Битва за Ленинград” (издательство “Молодая гвардия”, ЖЗЛ, 2020) удостоена Всероссийской историко-литературной премии “Александр Невский” и золотого диплома Международного Славянского литературного форума “Золотой Витязь”.

Кабинет чиновника — особое пространство, сакральное для обычного человека. Здесь не бывает зевак и посторонних, каждый пришёл по своему маленькому важному делу, а положение просящего рождает невысказанную вслух униженность и виноватость: заранее, впрок, просто так.

— Чем могу? — Родионов, наконец, обернулся к посетительнице.

— Я ищу своего отца.

— Простите?

— Я ищу своего отца, Дмитриева Николая Васильевича.

— Извините, но вы не совсем по адресу. Это сектор социальной поддержки, я его начальник, Родионов Кирилл Сергеевич. А поиском пропавших людей у нас занимаются органы правопорядка.

— Нет, нет, всё правильно. Я сейчас объясню. Мой отец погиб на войне 27 января 1944 года...

— Представьтесь, пожалуйста.

— Что?..

— Как я могу к вам обращаться?

— А... Дмитриева Лилия Николаевна, блокадница. Я всё-таки по адресу? — старушка победно улыбнулась.

— Теперь по адресу. — Родионов улыбнулся в ответ. — Расскажите всё с самого начала.

— Понимаете, мой отец погиб при обороне Ленинграда в сорок четвёртом году. Мать умерла ещё раньше, в блокаду. Сама я ребёнком попала в детдом. В сентябре сорок второго года меня с группой детей эвакуировали в Томскую область. Долго мы туда добирались, целый месяц... Да, всякое было. Дадут в дороге кусок сушёной картошки, а жевать — невозможно. Так и сосешь его, как леденец. Детей много было в поезде, какие маленьки, ни имен, ни фамилий своих не знают, им потом уже в Томске воспитатели имена придумывали. Бывало ещё кашу пшённую давали, но это редко, и на всех не хватало, и мы играли в “камень, ножницы, бумага...” — кто победит, тому каша, а проигравший — сухат сосет...

— Вы говорили, что ищете отца?

— Ах, да... Так вот...

Родионов работал начальником сектора пятый год и на интуитивном уровне чувствовал, когда воспоминания захлёстывают пожилого человека, память воскрешает картинки прожитого и делает их бесценными. Если упустить момент — человек поплывёт на волнах событий, будет вспоминать всё новые детали и подробности, расскажет о своей жизни, о трагедиях и взлётах, победах и поражениях. Расскажет просто потому, что больше некому об этом рассказать.

— Отец погиб, но нам, детям, никто ничего не говорил. А я всё ждала. Идёт урок, а я сижу и думаю: вот сейчас откроется дверь, и войдёт мой фронтвик-отец, грудь в медалях... Почему-то прихрамывает. Не знаю — почему, а я ещё думала, что он должен прихрамывать после ранения. Войдёт, значит, и начнёт меня глазами искать. А детский дом у нас был в старинном здании, имение чьё-то бывшее... И в классе колонна стояла, а я, значит, как раз за этой колонной сидела. И он меня не видит, и я его не вижу. Вот он уже собирается уходить, но спрашивает на всякий случай: нет ли здесь Лили Дмитриевой? А я голос его услышу и закричу на весь класс: “Папа, папа!..” Такие вот наивные мечты у меня были. Уже война давно кончилась, а я ещё долго вздрагивала, когда кто-то в класс заходил, и голову тянула, чтобы выглянуть за колонну. Учительница злая у нас была, была указкой по рукам. И говорит постоянно на весь класс: “Наша Лилия опять в жирафа играет”. Так это мне обидно слышать было...

— Так я-то чем могу вам помочь?

— Я к этому и веду, молодой человек, а вы меня перебиваете... Уже когда выросла, стала взрослой, я в Грузию поехала устраиваться на работу. В Ленинград меня не пустили. Говорили тогда: “Деревенская вошь, куда ползёшь?” А в Грузию поехала, потому что там тепло. Тёплых вещей-то у меня после детдома не было. Приехала на вокзал под вечер, а куда идти — не знаю. Так и заночевала на лавочке. Июнь месяц был. Помог один добрый

человек, устроил меня официанткой в санаторий в Цхалтубо. Там я и познакомилась со своим ангелом-хранителем, Николаем Васильевичем Киселёвым. Он был первым секретарём обкома в Ростове-на-Дону, отдыхал в санатории вместе с супругой. Он помог мне получить направление в Ростовское техническое училище, помог с общежитием, опекал меня. По гроб жизни ему благодарна и супруге его, Александре Григорьевне. Он же потом и похлопотал о моём возвращении в Ленинград. Написал запрос в Смольный, просил разобраться в ситуации, помочь. А уже в Ленинграде я твёрдо решила узнать о судьбе отца и обратилась в городской военкомат, где мне и дали вот такую бумагу.

Лилия Николаевна протянула жёлтый, выцветший от времени прямоугольный клочок, на котором канцелярскими фразами было отпечатано:

“Военному комиссару Пушкинского района. Направляю на ваше рассмотрение письмо гр-ки Дмитриевой Л. Н., в котором она просит сообщить о судьбе её отца Дмитриева Николая Васильевича, 1911 года рождения, призванного в Советскую армию Пушкинским РВК гор. Ленинграда. Прошу произвести розыск гр-на Дмитриева Н. В. установленным порядком и о результатах сообщить его дочери. Гр-ке Дмитриевой Л. Н. сообщаю, что Ленинградский горвоенкомат никаких сведений о разыскиваемом не имеет.

Приложение: письмо Дмитриевой Л. Н.”

— И это всё?

— Нет, не всё. Поехала я, значит, в Пушкинский военкомат. Вышла на привокзальную площадь — и сердце защемило. Пятнадцать лет я в Пушкине не была. До войны мы жили недалеко от вокзала на Октябрьском бульваре. Никаких детских площадок в то время не было, игрушки-то с трудом помню, так папа специально для меня смастерил во дворе качели, я на них каждый день качалась. Представляете, выхожу я на вокзале и сразу вспоминаю те самые качели; папа стоит перед ними, в коленки мои упирается и раскачивает, туда, обратно... Лицо его улыбающееся... То приближается ко мне, то отдаляется... И так потянуло меня к родному дому, аж сил нет. Дошла я до бульвара, а двор не помню и дома не помню, хоть ты тресни. Мне же пять лет было, когда война началась, из Пушкина мы перебрались в город в конце августа сорок первого, немец тогда уже вплотную подошёл... Ходила я, ходила по дворам, но так и не нашла те качели. А в райвоенкомате мне дали уже вот такую бумагу.

Женщина положила на стол ещё один листок. На старом бланке было написано от руки: “Карточка № 8 КБФ. Копия. 1. Фамилия Дмитриев. 2. Имя Николай. 3. Отчество Васильевич. 4. Военное звание сержант. 5. Наименование части 309 прож. б-н 2 полк ДПВО. 6. Занимаемая должность шофёр. 7. Уроженец Татар. АССР. Лапшевский р-н, с. Чирты. 8. Год рожд. 1911. 9. Партийность ВКП/б. 10. Национ. русский. 11. Соц. положение служащий. 12. Кем призван Пушкинским РВК. 13. Время и причины выбытия умер от отравления. 14. Где похоронен — 15. Адрес родственников — Вх. № донесения 506с-44. 23.03.1944 г.”

— Это всё?

— Нет, ещё вот что есть.

Другая страница была свежей, недавно сделанной ксерокопией Книги памяти, 1997 года издания. Среди длинного столбика погибших бойцов карандашом была обведена фамилия Дмитриева Николая Васильевича, 1911 г. р. Всего одна строчка: сержант, умер от ран 27.01.1944.

Женщина вопросительно посмотрела на Родионова:

— Теперь вы понимаете?

— Не совсем...

— Мне восемьдесят два года, жизнь прожита, а я так и не знаю, где похоронен мой отец.

И только тут Родионов обратил внимание, что в графе о месте захоронения стоит прочерк. Дело тут же стало понятным и надёжным. Ежегодно в сектор присылали десятки обращений о поиске родственников, погибших в годы войны. В большинстве случаев никакого результата такие поиски не давали. В неразберихе тех страшных лет канули в безвестность люди,

судьбы, деревни и целые посёлки. А уж если в справках значилось, что человек пропал без вести или оставлен на поле боя, то Родионов шаблонно отвечал: сведения отсутствуют.

— Лилия Николаевна, вы же понимаете, что надежды практически нет? Все необходимые запросы мы, конечно, сделаем, но я вам по опыту говорю: вероятность, что отыщется место его захоронения, очень мала.

— Мне немного осталось. Маюсь, маюсь на белом свете... Иногда проснусь среди ночи, и уже не уснуть до утра. Маму вспоминаю, отца... Тяжело в детском доме было. Да и вся жизнь была непростая. Но если есть хоть маленький шанс, я должна им воспользоваться.

— Хорошо. Пишите обращение на имя главы, я его зарегистрирую, сделаем запросы, пришлём вам официальный ответ. — Родионов протянул женщине чистый лист бумаги и ручку.

Пока старушка писала, аккуратно выводя каждую букву, Кирилл Сергеевич ещё раз перечитал Карточку № 8. Зацепки были. Аббревиатура КБФ — это, скорее всего, Краснознаменный Балтийский флот. Есть номер части, есть точная дата смерти. Было не ясно, как именно погиб боец, но самое главное: нигде не сказано, что Дмитриев пропал без вести или оставлен на поле боя. Попытаться можно.

— Вам бы ещё раз в военкомат обратиться. Пусть по своей линии сделают запросы в ЦАМО.

— Куда?

— Центральный архив Министерства обороны. Им быстрее ответят.

— Ой, родненький, была я там. Злющий мужик со мной разговаривал, неприятный такой. Им лишь бы отделаться, никто работать не хочет. А вот по тебе сразу видно, что человек хороший, равнодушный. Ты уж похлопочи, будь любезен. Помоги старушке...

— Поможем, не переживайте. Вот ещё что... Книга памяти — это хорошо, но на сегодняшний день карточка № 8, — Родионов помахал выцветшим бланком, — единственный достоверный и самый информативный документ. Берегите его.

— Берегу, сынок, с тех самых пор и берегу.

Это было ещё одно свойство пожилых людей: незаметно переходить на “ты”, стирая дистанцию и подчёркивая высоту прожитых лет. Родионову вдруг жутко захотелось курить. Уже месяц, как он пытался бросить, жажда никотина то отпускала, то накачивала с новой силой.

— Вы говорили, что перебрались с семьёй в Ленинград, а в графе “адрес родственников” стоит прочерк. Как так?

— Отца сразу призвали, в июне сорок первого, а мы с мамой уже потом в Ленинград переехали. Город был в блокаде, почта вроде бы и работала, мама даже писала отцу письма, но от него ничего не приходило. Так что не знаю, был ли у него наш адрес или нет... Не могу сказать. Но точно знаю, что вышла одна ошибка. Тётка моя, Мария Васильевна, отца сестра, написала ему в сорок втором письмо, что и я, и мама, — обе умерли от голода. Она просто не знала, что я выжила. Дело ведь как было. Мама моя, Татьяна Ивановна, умерла в ночь на 7 марта в сорок втором году. Я услышала, как она хрипит, подумала, что пить хочет. Ну, встала с кровати, разбила лёд в ведре жестяной кружкой, несу ей воды, а она уже не шевелится. А мне шесть лет, несмышлёныш совсем... Страшная это была ночь. Мама мёртвая лежит, я одна в пустой квартире. Хоть и март, но ещё снег, холод, ветер воет за окном... Утром меня санитарные дружинницы нашли, отвели в детский дом.

— Получается, отец не знал, что вы живы?

— Получается так. Я сама обо всём узнала уже в Ленинграде взрослой девушкой. Нашла тётку, её чуть кондратий не хватил. Она-то думала, что я давно в могиле, а я вот, живая и невредимая. — Старушка звонко засмеялась, довольная, что обманула смерть. — Она мне всё и рассказала про письмо. А про отца она тоже ничего не знала. Не вернулся с войны, и всё.

— Мда... История.

— Смотри, родной, не обмани старушку.

— Не переживайте. Сделаем всё, что от нас зависит.

Лилия Николаевна ушла, Родионов зарегистрировал письмо и благополучно забыл о нём. Вспомнил через месяц, когда за день до окончания срока документ окрасился предупредительным жёлтым цветом в электронной системе единого документооборота. Чиновник чертыхнулся про себя и тут же позвонил помощнику военкома Игорю Ивановичу Гнатьюку.

Апрель 1942

Ночью опять подняли по тревоге. Наш расчёт особенный, подвижное соединение. Всё-таки автомобильная прожекторная станция — это вам не фунт изюму. "Прожзвук-4". Но тревога есть тревога, будь добр занять своё место согласно боевому расписанию. А моё место простое: крути баранку, выполняй приказы начальника станции.

Слабые мы, конечно, были. Есть хотелось постоянно, но от голода не пухли, и за то спасибо. Моряков снабжали немного лучше, чем остальных бойцов. О ленинградцах я вообще молчу. Мы хоть и отрезаны ото всех на своём плацдарме, но перебоев с продуктами не было. Опять же, моряк всегда что-нибудь придумает. Рыбу ловили. Вот возвращаются наши "пешки" с полёта, а боезапас не израсходовали. На посадку им с бомбами на борту ни в коем случае нельзя, вот и сбрасывают свой смертоносный груз у островка. А мы уже тут как тут, бежим по льду и оглушённую рыбу собираем в сачки. Главное, с особистом договориться. Ну, и ему рыбки дать приходится, без этого никак.

Выбежали из кубрика на улицу, холод собачий. Хоть и апрель на дворе, а по ночам ещё морозит, зима лютая была. Залив ещё не вскрылся. И сразу, значит, к машинам бежим. Наша передвижная станция из двух машин состоит. На первом автомобиле установлен звукоулавливатель, там шофёром Лёшка Маслородов, дельный парень, из деревенских. Не задаётся, но и фасон держать умеет. А сам прожектор на моём автомобиле, ЗИС-12. Начальник станции у нас лейтенант Бяшкин, молодой ещё совсем, из студентов.

Сначала командиром у нас был Николай Иванович Холодов, кадровый военный. Но в начале октября его забрали и вместе с ним ещё больше ста человек из батальона. Тогда спешно сколачивали роту для помощи десант кронштадтских моряков. Воевали они под Петергофом, да почти все полегли, больше я Холодова не видел. Поредел батальон на треть, тогда и прислали из Ленинграда пополнение, в основном баб. Но и для комсостава нашли людей.

А Бяшкин хоть и молодой, да умный, всё прикинет, посчитает, отдаст команду — и с первого раза немца засекаем.

Только прибежали к машине — звучит команда: "Привести станцию в Положение № 2!" Это значит, что придётся и нам сегодня поработать.

Расчёт у нас дружный, каждый знает своё место. Мы — станция-искатель, от нас зависит, прорвётся немецкий бомбардировщик к Ленинграду, или выхватим мы его силуэт, подведём под наши зенитки.

— Коля, заводи, — Бяшкин на ходу поправляет портупею и залезает в кабину.

— Куда едем, командир?

— На "пятнадцатую".

— Опять нет связи?

— Обрыв на линии, будем страховать. Давай, давай, Коля...

Меня долго не надо уговаривать. Машина родная, каждый винтик в ней знаком, всё смазано, заправлено, движок заводится с пол-оборота. Расчёт уже в кузове. Валя Сапожников, наводчик по азимуту, шутник и балагур. Сам — сопля соплей, кажется, плонь — перешибёшь болезного, а так одним словом срезать может, что век будешь ходить, как оплётанный. Наводчик по углу места — Саша Засядь-Волк. Этот наоборот, молчаливый, нелюдимый, слова из него не вытянешь. Но дело своё знает. Два корректора ещё, бабы: Наталья Ломакина и Мария Степановна Усвятцева. Женщины хорошие, с понятием, специалисты толковые, схватили на лету премудрость

прожекторного дела. У Бяшкина лишних людей нет. Недаром наш расчёт один из лучших в батальоне.

15-я станция располагалась в бухте Графская Лахта, до неё было пятнадцать километров. Там мыс удобный — весь залив просматривается. Не зря “пятнадцатую” называли ленинградскими воротами. Надо было успеть доехать, развернуть звукоулавливатель. По инструкции положено, чтобы между звукоулавливателем и прожектором расстояние было не меньше ста двадцати метров, а связь через пост управления, но не всегда так получалось. Немец хоть и высоко летит, но, когда он попадает в зону действия звукоулавливателя, — на всё про всё не больше трёх минут. И за это время надо его засечь и выхватить лучшим прожектора. Тоже целая наука, значит.

Доехали быстро. Фары нельзя включать, но дорога знакомая, каждая кочка давно известна. А небо уже гудит. Как будто осиное гнездо палкой разворошили, только громче, конечно. Бяшкин выскочил из машины и сразу к звукоулавливателю бежит. Кричит на ходу:

— Станцию — в Положение № 1.

А ребята и сами всё понимают, разворачивают установку, готовятся небо слушать. Валя Сапожников уже у зеркала стоит, снимает брезентовую крышку, Наталья — у прожекторного штурвала. Засядь-Волк заводит генератор, слышно, как загудел ток в агрегате.

Наконец, звучит команда лейтенанта:

— Двадцать первым, девяносто пятым, три тысячи метров!

Засядь-Волк тут же выдаёт:

— Пятнадцать вперёд, тридцать назад.

Наталья крутит ручку штурвала, Мария Степановна корректирует по углу. Замерли. Навели на цель.

— Луч! — командует Бяшкин.

Валя опускает рубильник. Яркий сноп света прорезает тёмное ленинградское небо. На прожектор смотреть невозможно — глаза болят, как будто на солнце глядишь. И сразу виден на конце луча силуэт немецкого самолёта. Проходит три секунды, пять, десять... Наталья ведёт бомбардировщик, не отпускает.

— Гасить пора, сейчас немец проснётся...

— Ждать, — кричит лейтенант.

— Товарищ лейтенант, засекут нас с другого берега...

— Ждать, я сказал!

Наконец, из Кронштадта и со стороны Ораниенбаума в небо устремляются два луча сопроводителя, ловят немца в перекрестье и ведут дальше. Застучали зенитки, но нам уже не до них.

— Рубильник, — кричит лейтенант.

Тут же гаснет наш прожектор. Валя Сапожников стучит мне по крыше кабины, а меня и просить не надо. Двигатель заведён. Бяшкин прыгает в кабину, и тут же трогаемся. Буквально через несколько секунд с немецкого берега по тому месту, где мы стояли, застучали крупнокалиберные пулемёты. Слышно, как пули чмокают по соснам... Ещё чуть-чуть — и несдобровать нам. На войне лишний миг дорого стоит. Выжимаю педаль газа, а правую руку к сердцу — стучит бешено, дук-дук, дук-дук... Во внутреннем кармане бушлата — фотография Татьяны и Лильки. Родные мои. Это они меня берегут.

Март 2019

Игорь Иванович пришёл в военкомат год назад, после выхода на пенсию. До этого волнительного момента он служил таможенным инспектором, поэтому был мужиком ушлым, в меру циничным и чётко понимающим, где выгода, а где социальная нагрузка. Вопрос, волнующий Лилию Николаевну, проходил для него по второй части.

— Я помню её, — сразу ответил Гнатюк, — она дважды уже приходила, последний раз неделю назад. Там запутанная история.

— В каком смысле?

— Отец её проходил службу шофёром в 309-м прожекторном батальо-

не дивизии ПВО Балтийского флота. Часть располагалась в форте “Красная горка”, это Ораниенбаумский плацдарм, если помните такой... Так вот, я сделал запрос по линии военкомата, мне прислали копию дивизионного до-несения о безвозвратных потерях. Дмитриев умер от отравления.

— Это я знаю.

— И там же в “Красной горке” есть воинское захоронение, всех бой-цов-прожектористов обычно там хоронили. Я позвонил в Петродворцовый военкомат, там проверили списки к учётной карточке захоронения...

— И?..

— И ничего. Нет там такого бойца.

— Как это может быть?

— Запросто! — голос Гнатюка оживился. — Во-первых, в этом районе около десяти воинских захоронений, все проверять у меня нет ни времени, ни желания. Во-вторых! Отравление — это не самая распространённая при-чина гибели в годы войны. В таких случаях тело обычно направляли на вскрытие, чтобы точно установить причину смерти. Проблема в том, что сей-час невозможно узнать, в какой именно госпиталь повезли труп. Вы на дату смерти обратили внимание?

— У меня перед глазами письмо.

— 27 января 1944 года...

— День освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

— Именно!

— И что вы хотите этим сказать?

— Я, Кирилл Сергеевич, чиновник с двадцатилетним стажем, и поверь-те моему опыту: от горя или от радости русский человек обычно пьёт. А тут была большая радость, очень большая. А у Дмитриева вашей должности рас-полагает: там бензинчик солъёт, здесь на спирт обменяет... Опять же, это сор-ок четвёртый год, проблем с довольствием уже не было. Я на девяносто процентов уверен, что отмечали они освобождение города в расположении батальона, напился наш товарищ денатурата и отдал Богу душу. Вот и вся история. Старушка думает, что её папа пал смертью храбрых, а он от алкаш-ки скопытился.

— Вы сказали ей об этом?

— Вот сейчас обидно было. Я что, по-вашему, похож на сволочь?

Родионов засмеялся.

— Лилия Николаевна говорит, что вы неприятный тип, отфутболить её хотели.

— Вот не поверите, — рассмеялся в ответ Гнатюк, — мне она про вас то же самое рассказывала. Молодой, говорит, холёный такой сидит, зырка-ет в свой компьютер с важным видом. А вы, Игорь Иванович, сразу вид-но, — человек опытный, надёжный...

— Да ладно?

— Шоколадно, — продолжал посмеиваться помощник военкома.

— Мда-а-а... Молодец, бабка, не пропадёт.

— А то! Детдомовская закалка.

— Но труп должны были где-то похоронить.

— Ключевое слово — где-то. Я вот что думаю, на момент смерти уже было установлено наземное сообщение плацдарма с Ленинградом. Тело вполне могли направить в городской госпиталь. Тем более что армейские госпитали скорее всего уже переместились к линии фронта. Всё-таки шло наступление. А если тело повезли в город, то оттуда прямая дорога — на Пискарёвку. Сделайте запрос в Пискарёвское кладбище, наверняка он там и лежит.

— Хорошо, запрос я сделаю, Пискарёвка — наша епархия. А с вас тог-да запрос в архив ВМФ.

— Побойтесь Бога, Кирилл Сергеевич, мне заняться больше нечем?

— Ну, не всё же вам призывников пощипывать, — рассмеялся Родио-нов, — сделайте доброе дело, с вас не убудет. Вдруг есть какая-то информа-ция о госпиталях?

Гнатюк замолчал на другом конце провода, а потом вдруг ответил:

— Нехорошая эта история, с душком. Лучше бы никому ничего не знать. Есть такие скелеты, которые нельзя ворошить.

Пожалуй, с этого разговора история матроса Дмитриева стала для чиновника живой и объёмной, обрела вес больший, чем просто исполнение служебных обязанностей. Он пытался представить, каким человеком был Дмитриев, как выглядел. Но самый главный вопрос, на который Родионов искал и не находил ответа, был за пределами службы и переписки с архивами. Этот вопрос он даже не мог внятно для себя сформулировать, и эта невозможность оформить переживание в слова не позволяла успокоиться и выбросить историю из головы. Если бы не алкогольная слабость и глупость отца, вся жизнь Лилии Николаевны сложилась бы по-другому, и кого теперь винить? Подспудно примеряя эти события на себя, Родионов думал о семилетней дочери, дорожке которой у него никого не было. И всех было жалко.

Из СПб ГКУ “Пискарёвское мемориальное кладбище” к концу марта пришёл ожидаемый ответ:

“К сожалению, сведений о захоронении Дмитриева Николая Васильевича, 1911 г. р., который умер 27 января 1944, в архиве кладбища нет. В 2001 году на Аллее Памяти Пискарёвского мемориального кладбища установлена памятная плита, посвящённая “Воинам и труженикам земли ленинградской, защитившим город на Неве”. Эта плита увековечила память всех ленинградцев — защитников города. В Санкт-Петербурге создана Книга памяти “Ленинград. 1941–1945”, в которую внесены имена воинов — защитников Ленинграда. В этой книге имеется мемориальная запись о Дмитриеве Николае Васильевиче. По вопросу увековечении памяти в виде установки мемориальной таблички воину Дмитриеву Н. В. Ваше обращение направлено в Военкомат г. Санкт-Петербурга”.

Начался “футбол” — самая увлекательная чиновничья игра, когда при нежелании или невозможности решить задачу самым важным становится скинуть с себя ответственность.

В первых числах апреля, когда весной в Петербурге ещё не пахнет, но и зима находится на последнем издыхании, Лилия Николаевна вновь пришла на приём.

— К сожалению, нечем мне вас обрадовать, — начал Родионов, — все запросы мы сделали, но отца вашего нигде нет. — И он показал ей ответ Пискарёвского кладбища.

— Да, да, я понимаю, — старушка читала письмо, написанное сухим канцелярским языком и, кажется, не понимала его содержания.

— Ждём ещё ответа из архива Военно-Морского флота, может быть, там что-то прояснится.

— А я нашла отцовскую фотокарточку.

Лилия Николаевна улыбнулась и достала из сумочки пожелтевший, весь в изломах снимок. На фотографии молодой мужчина стоял в бескозырке в профиль и на кого-то смотрел снизу вверх. Вероятно, это был общий снимок, часть которого обрезали за ненадобностью. Лицо матроса показалось Родионову знакомым.

— Вы похожи на него. Удивительное совпадение, но вы так отчётливо похожи... Лилия Николаевна, я делаю всё, что в моих силах. Я уже не знаю, куда написать, чтобы найти могилу вашего отца. Это непросто принять, но очень часто в те годы люди пропадали без вести, на поле боя, умирали в плену. Кого-то хоронили, кого-то оставляли лежать в окопах, чуть присыпанная землёй... Шла война. Очень многие судьбы неизвестны до сих пор.

— Да, да, я всё понимаю.

— Надо отпустить прошлое. У вас уже правнуки, поди, на подходе, — Родионов попробовал улыбнуться.

— Нет у меня ни внуков, ни правнуков. Был внук, Андрей, воевал в Чеченской войне, а как вернулся домой — пить начал крепко. Так и допился до смерти.

— Простите... — неприятно сдавило горло.

— Всё в порядке, это давно было. Я пойду.

— Я позвоню вам, если что-то узнаю.

Старушка не обернулась и ничего не ответила, вышла, притихшая и подавленная, аккуратно прикрыв за собой дверь. У Родионова застучало в висках.

К вечеру позвонил Гнатюк.

— Кажется, я что-то нашёл, — начал он без приветствия. — Из гатчинского архива ВМФ пришло письмо, что тело Дмитриева Н. В. было направлено в армейский госпиталь № 2580. А вся информация по госпиталям находится где?

— Где?

— В архиве военно-медицинских документов. Это в городе, в Лазаретном переулке.

Сентябрь 1943

Давно так плохо не было. Голова раскальвается, шумит.

Пока одевался, путаясь в рукавах “голландки”, все уже выбежали из кубрика. На построение прибежал последним.

Бяшкин беззвучно зашипел на меня. Командир роты, капитан-лейтенант Румянцев, подошёл ко мне и презрительно сморщил губы:

— Почему гюйс не глажен, товарищ матрос?

— Виноват...

— Ты пил что ли?.. Бяшкин, ко мне.

Лейтенант торопливо подбежал к командиру.

— Вы почему за своими людьми не следите?

— Виноват, недоглядел...

— Посадил бы вас обоих на “губу”, да заменить некем. Тебе за руль в любую минуту, а ты как свинья. — Это он уже мне.

— Горе у него, товарищ...

— Война идёт. У всех горе. Вот победим немца — горюй на здоровье, твою мать. Тьфу, смотреть противно. Первый и последний раз говорю: замечу ещё раз пьяным — шофёра в штрафбат, а вас, товарищ лейтенант, с должности сниму. Вопросы?

— Никак нет.

— Встать в строй.

Конечно, прав Румянцев. Но и мне жить тошно, ничего не могу с собой поделать. Год прошёл, как Маша то письмо прислала, а душа никак не успокоится. Вижу их каждый день перед глазами, Таньку мою и Лилечку. Пока работаешь, вроде бы отпускает ненадолго, а стоит задуматься — вот они, как живые. Во сне ещё часто приходят, и так хорошо мне от этого, что, кажется, ничего больше в жизни не надо. Мы снова рядом, вместе. Просыпаюсь от любви, вспоминаю всё и плачу. Ребята спят в кубрике, не слышат, а у меня душа разворочена, выть хочется. Зубами в подушку вцеплюсь и реву. И вот что странно: всегда один и тот же сон.

Танюшка с Лилей стоят во дворе у нашего дома, Лилечка на качели забралась, Таня её раскачивает туда-сюда... Смеются обе. А качели вот-вот сломаются, винт на перекладине расшатался. Я вижу всё это, подхожу, пытаюсь починить. Дел на три минуты, винт затянуть, а ключа нет.

— Папа, вот инструмент, — говорит Лилия и протягивает мне молоток.

— Что ты, милая, это не подходит.

— Подходит. Надо стукнуть разок.

А потом качели пропадают, Лилия на руки ко мне просится, обнимает, тыкается носом в щёку, как котёнок, и шепчет:

— Не уходи, папа, не уходи...

Жена в стороне стоит, смотрит на нас и улыбается. Я ей киваю, мол, иди к нам, а она голову набок склонила и не отвечает ничего, и не идёт. Но улыбается, улыбается...

Потом просыпаюсь. Тоска.

В июле 42-го года наш батальон получил большое пополнение, человек семьдесят, в основном девушки. В военном отношении, конечно, слабо были подготовлены, но сообразительные. Свободных должностей много на тот момент в батальоне: связисты, радисты, электрики-прожектористы, аэроакустики... Среди них была Лида Волосникова, молодая совсем, даже ремесленное училище не успела закончить.

Я на женский пол не смотрел: месяц, как пришло письмо от сестры... Сначала боль оглушительная, не знаешь, куда себя деть. Куда-то идёшь, крутишь руль, выполняешь приказы, а внутри ничего нет, всё выжжено. Гулкая пустота внутри, как в колоде. Потом ненависть пришла. Немец летит, а я его рожу красную в кабине самолёта представляю — голыми руками разорвать готов, кадык вырвать, глаза выдавить. Такая ярость меня охватывала, что ребята побаиваться меня стали. Просился на фронт, в пехоту — не отпустили. Солдат, говорят, хватает, а с шоферами дефицит.

Выпивать начал. Глотну спирта — отпускает немного. Так-то ребята у нас непьющие подобрались, спирт был, положен нам, чтобы матчасть в чистоте содержать. Ну, сливал во флягу немного. Потом Бяшкин заметил — стал канистру в своём кубрике держать. Выдавал скупое, только для дела. Но шофёр спирт всегда найдёт. С лётчиками договорился, у них этого добра — хоть залейся. Пить, правда, невозможно, технический спирт. Но разбавлял поживе с водой. Сойдёт.

Время идёт, служба тоже. В январе 43-го прорвали кольцо блокады — радость была огромная. Снабжение не сразу, но получше стало. Потом ещё лучше, к наступлению лета не голодали. Всего в достатке хватало. И стал я замечать, что Лида заглядывается на меня. А как заметит, что я в ответ начинаю смотреть, — сразу глаза отводит. Симпатию, значит, проявляет.

Год уже прошёл, как я семью потерял, зарубцевалась рана. Да и ребята локтем подталкивают, мол, не зевай, девушка хорошая. Стал я ей знаки внимания оказывать. Букетик ромашек нарву, слово ласковое скажу, подвезу, куда попросит. Жизнь не стоит на месте. Всё вроде бы правильно идёт, а в сердце заноза. Жена с дочкой придут ночью — и сразу свет не мил, ненавидеть себя начинаю.

Я бы и не решился, наверное, первый, но всё случайно вышло. Отвозил её на 9-ю станцию, едем вдвоём по дороге. Между станциями километра три, не больше. Проехали “восьмёрку”, а она и говорит:

— Коля, остановите машину.

Мало ли что у девушки случилось... Может, до ветру надо. Хотя это вряд ли, они стеснительные в таких делах. Останавливаю. А она сидит, не шелохнётся, только смотрит на меня и дышит глубоко, грудь вздымается от волнения. И такая тишина вокруг...

В кабине всё и случилось. Два года у меня женщины не было.

А ночью опять приснились Таня и Лиля. Дочка на руках у меня, жена рядом стоит, молчат и по голове меня гладят. Нежно так прикасаются, ладони тёплые и ласковые. Молчат и улыбаются.

Проснулся я, так гадко мне стало, что словами не передать. Достал фляжку, чистый спирт глотаю, пока он у меня из горла обратно не полез.

С Лидой, конечно, не смог больше. Сторониться её стал, избегать. А она всё почувствовала, вроде бы и не настаивает, только мне самому от всего этого противно было.

Проходит две недели, а Лида уже с Лёшкой Маслобородовым шушукается. И видно, что не назло мне, глаза счастливые у обоих. Тут я и сломался окончательно.

Вот кто-то может обернуться вокруг себя, уйти к другому, как с кочки на кочку перепрыгнуть, а кому-то на роду написано маяться всю жизнь. Отчего так?

Май 2019

Прошло больше месяца, но из архива военно-медицинских документов ответ не приходил. Родионов стал звонить в учреждение, выяснять, дошло ли письмо, когда зарегистрировано, кому расписано. Наконец, связался с исполнителем.

— Я думал, вы не позвоните, — ответил спокойный голос на другом конце провода.

— А вы только по звонку работаете? Вообще-то был официальный запрос, вы обязаны в месячный срок направить официальный ответ.

— Это всё понятно, но вы лучше сами приезжайте.

— В каком смысле?

— Приедете — поймёте.

— Если у вас есть информация — направьте в установленном порядке.

— Как знаете. В установленном порядке я вам напишу, что сведения отсутствуют.

— А на самом деле?

— Вы приезжайте, долго объяснять.

До Витебского вокзала Родионов доехал на электричке. Май в этом году выдался промозглым, ветреным. В сквере у Лазаретного переулка дети гоняли голубей, мамочки сидели на скамейках и ёжились от холода.

Архив располагался в здании Военно-медицинского музея, вход был со стороны Введенского канала. Родионов поднялся по широкой лестнице на второй этаж, нашёл кабинет начальника отдела хранения.

— Петраков Андрей Андреевич, — представился мужчина лет пятидесяти, суховатый, с короткими седеющими усиками. По осанке угадывался отставной военный.

— Вы что-то хотели мне рассказать.

— Да, пока вы ехали, я подготовил вам официальный ответ. Это для отчётности.

Мужчина протянул Родионову бумагу.

“По существу Вашего запроса в отношении Дмитриева Николая Васильевича, 1911 года рождения, по поводу подтверждения ранения (заболевания), полученного им в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), и установления места его захоронения сообщаю, что в картотеке общего (неполного) учёта раненых, больных и умерших в лечебных учреждениях Советской Армии в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Дмитриев Н. В., 1911 г. р., не значится.

Сведениями о том, какие лечебные учреждения располагались в н. п. Лебязьке, филиал не располагает. Сведений об АГЛ-2580 в филиале нет. Госпиталь ЭГ 2580 на январь 1944 года дислоцировался в г. Шексна Вологодской области. Документы на умерших в ЭГ 2580 на хранение в филиал не поступали”.

— Вы ради этого меня с места дёрнули?

— Не совсем. Вот архивная справка на вашего Дмитриева.

Петраков передал ещё один лист, после этого отвернулся и подошёл к окну.

— Читайте, — произнёс он, не оборачиваясь.

“По документам архива установлено, что Дмитриев Николай Васильевич, 1911 г. р., уроженец села Чирты Лапишевского района Татарской АССР, призванный Пушкинским РВК 26.06.1941 г., проходил военную службу со 2 июля 1941 года по 27 января 1944 года в 309-м отдельном прожекторном батальоне, который в указанный период входил в состав действующей армии.

Погиб 27 января 1944 года при исполнении служебных обязанностей.

В именном списке безвозвратных потерь 309 отдельного прожекторного батальона значится: “...3. Дмитриев Николай Васильевич, военное звание — сержант; должность — шофёр; 1911 года рождения; партийность — член ВКП(б) с 1942 года; по какой причине и когда выбыл — погиб от отравления отработанным газом автомобиля ЗИС-12 в 12:40, 27 января 1944 года в 3 км западнее Томендонта; место погребения —; семейное положение — женат...”

В алфавитной карточке формы № 8 Дмитриева Николая Васильевича имеется запись: “Умер в кабине автомашины, труп направлен в АГЛ № 2580 для вскрытия”.

Дальше шло перечисление номеров карточек, фондов, описей, дел... Сердце застучало чаще. Рука машинально потянулась к карману, но сигарет там давно не было.

— Получается...

— Дмитриев покончил с собой. Протянул шланг к выхлопной трубе, другой конец — в кабину. Завёл двигатель. Я уж не знаю, по какой причине, но не думаю, что его дочери на старости лет следует об этом знать.

Архивная справка придала Родионова своим весом. Он рассказал начальнику отдела хранения историю Лилии Николаевны.

— Мда... Раз такие дела, справку я вам не отдам.

— Я напишу на вас жалобу.

— Это сколько угодно. У архива федеральное подчинение. Городская власть нам не указ.

— Вы поймите, дочь имеет право знать, как всё было на самом деле. Нельзя скрывать правду.

— Правду? — Петраков подошёл вплотную к чиновнику. — Вы хоть понимаете, что произошло? Посмотрите в окно. Обычный петербургский день, облачно, дождик вот-вот заморосит, дети играют в сквере... Видите, мальчик за голубем бежит? Как он счастлив! Через минуту он споткнётся, упадёт и заплачет, забудет о восторге, о голубе, обо всем на свете. Ничего уже нельзя будет вернуть назад. Но прямо сейчас нет счастливее человека, и этот миг неповторим.

Начальник отдела хранения замолчал, а потом добавил:

— А тут не сквер, не голубь. Вся жизнь пошла... Ай...

Он махнул рукой.

— И всё-таки вы неправы.

— Слушайте, — глаза Петракова загорелись, — вы в Бога верите? Впрочем, не важно... Давайте сыграем с вами в детскую игру “камень, ножницы, бумага”. Победите — отдам справку, проиграете — не обессудьте.

— Вы с ума сошли?

— Доверьтесь случаю. Посмотрим, чья правда возьмёт.

Родионов даже вспотел от волнения. Весь этот разговор и вся история, все вытащенные наружу скелеты пошатнули его представление о заведённом порядке вещей. И Петраков уже не казался ненормальным архивистом и Меффистофелем в одном лице. Его кабинет, заваленный разными папками от пола до потолка, был самым подходящим для такой игры местом.

— Хорошо, давайте. — Родионов сжал кулак.

Служащий архива посмотрел на чиновника с жалостью и каким-то невысказанным вслух разочарованием.

— Поверили? Вы как ребёнок, ей-богу. Держите свою справку, делайте с ней, что хотите.

— А что? — растерялся Родионов.

— А я не знаю. Впрочем, есть вариант... Мало ли на свете было Дмитриевых? Покопайтесь в архивах воинских захоронений, найдите полного одофамильца, покажите вашей старушке. Пусть думает, что там лежит её отец. А справку подшейте в папочку и спрячьте от греха подальше.

— Обмануть?

— Я двадцать лет военврачом отслужил. Знаете, какое у врача главное правило? Не навреди!

Выходя из кабинета, Родионов обернулся и увидел усталое лицо начальника отдела хранения.

— Ничего нельзя вернуть назад.

На улице Родионов поморщился от дневного света, с усилием размял шею и обратился к прохожему:

— Закурить не найдётся?

27 января 1944 года

“Дорогие мои однополчане! В моей смерти никто не виноват, простите меня. Врага мы разбили, Ленинград освобождён от фашистских полчищ, а жить дальше я не могу. Два года уже нет моих Танюши и Лилечки, а душа болит, как в первый день. Невыносимо мне больше ходить по земле. Знаю, что поступаю не по-партийному, но делу Ленина я был предан до последнего вздоха. Сражайтесь храбро и честно, гоните врага с нашей земли, а моя судьба решена. Пусто внутри.

Бушлат — Алексею Маслобородову.

Бинокль — Лиде Волосниковой.

А всем остальным мой горячий привет. Ещё раз простите, если кого обидел.

Сержант Николай Дмитриев”.

Июнь 2019

Лилия Николаевна осторожно спускалась по крутой лестнице мемориала на четвёртом километре Петербургского шоссе. За спиной гудели машины. Утреннее июньское солнце светило ярко и ласково. Прямо, насколько хватало глаз, простирались поля, истосковавшиеся по вспашке, заросшие бурьяном и борщевиком. Поля пересекала ветка Варшавской железной дороги.

Само воинское захоронение было небольшим пятачком у подножия взгорка, в центре мемориала стоял прямоугольный памятник, вершину которого венчала красная звезда с выцветшей от времени краской. Справа и слева от памятника высились две кирпичные стены в человеческий рост с чёрными мемориальными табличками на шербатых боках.

Старушка медленно шла вдоль стены, пока, наконец, не остановилась у одной из табличек. Погладила её морщинистой рукой. На табличке белой краской было выведено по трафарету: ДМИТРИЕВ Н. В.

Кирпичная стена закачалась перед глазами; не было прожитой жизни; только маленькая девочка во дворе своего дома раскачивается на самодельных качелях.

Губы её задрожали:

— Здравствуй, папа.

АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВА



ТАКИЕ РАЗНЫЕ СЮЖЕТЫ

РАССКАЗЫ

СТЕРВА

— Это ещё кто? Что за чучело ты притащила на этот раз? Лучше б мужика себе нашла! — Я фыркнул и, оскалившись, демонстративно прошагал на кухню.

— Нечего ворчать, рыжая морда! — крикнула мне вслед Ася. — Между прочим, я тебя тоже на улице подобрала, и ничего! Вон какую физиономию отъел!

Я с презрением оглянулся. Чего? Ещё и попрекаешь, крашенная? Пусть эта зелёная мелкая курица держится подальше от моей миски!

— Ты не обращай на него внимания, — шепнула зелёной курице Ася. — Пока посидишь в моей комнате, а завтра я тебе клетку куплю, и будет у тебя своё жильё.

И главное, ещё так аккуратненько берёт его руками и запускает в мою просторную спальню с цветастыми занавесками. Не хрустальный — не развалится! Хороша хозяйка, ничего не скажешь. Шляется всё время непонятно где, а я один с утра до ночи, как перст. Не с кем словом даже обмолвиться, кроме этих паскудных голубей за окном, да и те тупые, как пробки. Вот ещё какую-то шваль пернатую притащила, может, он вообще заразный. Нет, чтоб мужика себе найти попрличнее, там, глядишь, и детки б пошли! Года

ВАСИЛЬЕВА Анастасия Сергеевна родилась в Москве в 1983 году. Окончила Государственный университет управления. Работает в представительстве швейцарской компании менеджером фрахтово-логистического отдела. Публиковалась в сборнике стихотворений для детей "Детские думы" и в сборнике детективных и приключенческих рассказов "Куда ведут следы?" издательства "Перископ-Волга". Живёт в Москве.

Но амазон лишь недовольно шипел в ответ.

— Бьёшься как рыба об лед, хочешь, как лучше сделать, а всё равно — стерва! — всхлипнула Ася.

— К деньгам! — крикнул попугай.

— Ладно, над именем я ещё подумаю. Вот, смотри какой у меня вкусный грецкий орешек есть. Я его положу в твой новый домик, обживайся.

Ася встала и вышла, прикрыв дверь. Амазон тут же слетел на тумбочку и деловито прошагал внутрь. Подробно изучая содержимое каждой миски и недовольно ковыряясь когтями в семенах, он и не заметил, как в комнате снова появилась Ася и закрыла дверь клетки.

— Ну, вот и отлично! — воскликнула она. — Теперь будешь жить на кухне, а то я из-за тебя всю ночь не спала. А там и света побольше, и мешать никому не будешь, да и с Рыжим всё веселее, через клетку-то он до тебя не доберётся. Эй, Рыжий! Если ты хоть пальцем тронешь моего Амазону или будешь докучать ему, я тебя изолирую в туалете!

Я вскинул ошарашенные глаза на хозяйку, возмущению моему не было предела. Спасибо, люди добрые! Дожили! Как перхоту эту уличную — так на кухню, к продуктам поближе, а как меня — доброго, ласкового, ручного котика, который и мухи не обидит! — так в туалет... Ну, погоди у меня, змея! Я такой струи подпущу в твои новые туфли, что не обрадуешься! Мало того, что мужиков меняет, как перчатки, так теперь ещё и домашних питомцев! А я что, всё? Отработанный материал? Попользовали и выбросили! Ну, ничего, жизнь тебе за всё отомстит! Будет тебе венец безбрачия, тогда поскачешь у меня! И главное, я просто “Рыжий”, а то ещё и “рыжая морда”, а этот, второй день живёт в моей законной двужке, так уже “Амазона”, возится с ним, как с писаной торбой! Тьфу!

Не глядя на эту неблагодарную женщину, я вышел в коридор и развалился в самом дальнем углу, упершись взглядом в стену. Мой хвост недовольно ходил ходуном. Всем своим внешним видом я давал понять этой предательнице, насколько глубока была нанесённая обида.

— Да идите вы все к черту! — крикнула Ася и хлопнула дверью спальни.

Прошло несколько дней. Амазон сидел на жёрдочке нахохлившись и с интересом смотрел на жизнь за стеклом. Там, где-то вдалеке бежали по своим неотложным делам люди, гудели машины, любопытные голуби расхаживали по карнизу, то и дело заглядывая в окно. В клетке лежало много всяких вкусностей: и фрукты, и орехи, и даже целое кольцо, усыпанное сухой кукурузой и разноцветными семечками. Голубям очень хотелось попасть на такой “праздник живота”, но, тыкаясь клювом в стекло, эти дури с грустью осознавали, что вряд ли им удастся добраться хоть до одного, даже самого малюсенького зёрнышка.

Амазон не обращал на них никакого внимания. Смотри, зелень, как это делается! Я опрометью бросился на подоконник, злобно зашипел, голуби с испугом вспорхнули прочь и, приземлившись на бордюр ближайшего балкона, продолжали с интересом наблюдать за мной.

Летающие крысы! Терпеть не могу! Вечно ищут, где бы на халяву пожрать. А где поели — там и нагадили. Вон, смотри, уже и нам на подоконник наложили “подарков”. Куда смотришь? Свой дом надо охранять. Чуть заведешься — и привет! Всё вынесут и обгадят.

Амазон молчал. В углу зажуужал проснувшийся от припекающего солнышка Жоржик. Он подлетел к окну, ударился о стекло и, покружив ещё немного, сел на железный прут клетки. Затем, потихоньку начал сползать вниз к мискам с едой. Попугай повернул голову и стал пристально наблюдать за ним. Как только Жоржик приблизился к ломтику банана, амазон резко вспорхнул с жёрдочки и ударил клювом по прутьям. Жорж снова взвился к стеклу.

— Эй, ты чуха? Жоржик хоть и муха, но наша домашняя муха!

Амазон удивлённо поднял на меня свои глазщицы.

— Ну, чего выдунился? Играю я с ним, когда скучно. Он на зиму тут заснул, а сейчас на солнышке ожил. Наша-то, грязнуха, окна вообще не

моет. К вечеру Жоржиньо совсем в себя придёт, так можно его и по квартире погонять, косточки размять.

— Раз это твой друг, то пусть он из твоей миски и ест. А у меня тут нечего заразу разносить. Мухи, между прочим, по помойкам лазают, по тухлятине ползают. Отравиться можно!

— Это домашняя муха, нет у нас тут ни тухлятины, ни помоек! Жоржа не тронь!

Амазон сердито вздохнул и полез лущить семечки.

Вечером заявила с работы Аська. Не раздеваясь, в расстроенных чувствах, прочапала на кухню. Я нехотя слез с кровати и пошёл посмотреть, что эта макака притащила из магазина в шуршащем пакете. А вдруг рыбку?

Мать моя, кошка дворовая! Куда ж ты эклеры-то так ломишь? Ты ж на диете вчера была! Опять джинсы не сойдутся!

— Чего смотришь, морда рыжая? Тоже хочешь? На кусочек.

Я отскочил в сторону от пикирующего на пол эклера и даже не стал нюхать ломтик с шоколадной глазурью. Я что, больной? С недоумением посмотрел я на готовую разреветься хозяйку. Химию эту жрать с эмульгаторами и сплошными Е! Спасибо, кушайте сами! Хватит с меня того, что питаюсь одной индейкой, выращенной на ГМО и обколотой антибиотиками! Хоть бы раз кусочек сёмги предложили или тунца! Эх, пусть даже с ртутью!

Мой отказ разделить с ней этот напшигованный химией эклер и презрительный долгий взгляд, видимо, были последней каплей, прорвавшей лавину слёз Асиного отчаяния.

Опять ревёт! Гляньте-ка на эту Царевну Несмеяну! На этот-то раз что приключилось?

Она не отвечала, только всхлипывала, не переставая, а потом вдруг недовольно выпалила:

— Ну, чего ты на меня так уставился?

Чучела ты бесчувственная! У меня, может, душа разрывается, когда женщина плачет!

Она вытаскала из кармана пальто смятую бумажку и, развернув её, сунула мне прямо в морду.

— Вот, полюбуйся, Рыжий. Иду я сейчас в “Копеечку” за продуктами, а там объявление висит, что пропал попугай зелёный. И — фотография нашего амазончика!

Я посмотрел на зелёную рожу с мятой бумажки. Ну, что ж, похож! Такой же страшный, глаза навывкате!

— Гошенька его зовут, оказывается. Хозяйка у него — старушка с параллельной улицы. Пишет, что последняя отрада её в жизни, память об ушедшем муже. И телефон тут указан. Звонить Павлу, номер такой-то. Сын, наверное.

Так, а вот это уже интересно. Эх, говорить-то я не могу. Что же делать? Я максимально приблизился к Аське и, пристально глядя ей в глаза, начал внушать: “Звони! Пусть приходят! Пусть приходят! Пусть приходят!”

— Придётся вернуть! А я к нему так привыкла, он мне как родной стал за эти дни. Я последние деньги на клетку истратила!

Дура ты, дура! Лучше б ты маникюр себе сделала на эти деньги или платье новое купила! Может, тогда б на тебя хоть кто-нибудь позарился! Развела тут птицеферму! Да от него грязь одна! Вон, обои все разорвал за тумбочкой, плитуса сгрыз, перхоть от него летит, не переставая, жрёт, как свинья в хлеву — во все стороны брызгает! Не то, что я, аккуратист. Гнать его в шею! Тем более что и хозяйка нашлась, да ещё и с сыном — так всё удачно складывается! Погостил недельку — и хватит!

— Как жить дальше — не знаю! — голосила Ася. — Все от меня уходят, нет счастья в жизни!

— Стер-р-р-р-рва! Всю жизнь мне испор-р-р-ртила! — раскрыв клюв и махая грозно крыльями, заорал амазон.

— Вот! — показывая пальцем на попугая, всхлипывала Ася. — Даже он меня стервой считает, а я к нему со всей душой!

Я вскочил и зашипел, выгнув дугой спину. А на хрена к каждому со всей душой! Нечего всякий сброд с улицы домой тащить, а потом удивляться! Ты к ним со всей душой, а они тобой только пользуются! Помогла — молодец, доброе дело сделала, а теперь пусть к себе домой отправляется! Там бабка на пенсии, ей заняться нечем, вот пускай грязь за ним целыми днями и вывозит! А тебе, дура, замуж надо выходить! Ребёночка душистого рожать. Он своими криками нам уже с порога всех женихов распугает! От попугая надо срочно избавляться!

— Ладно, Рыжий, ещё немного подожду, а потом позвоню, — стягивая наконец пальто, прошептала устало Ася.

Через день в нашем скромном жилище раздался звонок. Всё моё кошачье нутро чувствовало, что сегодня момент истины, уже хотя бы потому, что хозяйка в кои-то веки удосужилась навести порядок в доме. Что-то должно произойти! В нежно-голубом платье в мелкий цветочек и с тёмными волосами, завитыми в лёгкие локоны, Аська была само очарование. Поправив макияж и оглядев себя придирчиво в зеркало с ног до головы, она поспешила открыть входную дверь. Я с любопытством наблюдал за всем этим действием из-за угла.

На пороге показалась сухая старушенция с гулькой седых волос на голове, а за её спиной — не поверите! — мужик. Господи, неужели котский бог услышал мои молитвы? Аська вся зарделась, глазки потупила, подол платья в руках мнёт, прям сама скромность. Откуда только что берётся?

— Ой, вы извините, что я не одна, — проскрипела старуха, — давление совсем замучило, как Гошенька-то улетел, слегла так, что думала, и не встану уже! Вот, сына моего, Пашеньку, попросила проводить меня, а то я одна изумрудика моего домой не донесу.

Аська, красная, как помидор, хлопала радостно глазами то на старуху, то на Пашеньку, потом очухалась и выпалила:

— Да вы проходите, проходите, на кухню!

— Стер-р-рва! — тут же радостно разнеслось по квартире.

Я юркнул скорее под стол, чтоб меня не загоптало гостевое стадо.

Старуха бросилась к клетке открывать скорее дверцу. Амазон-фармазон тут же вышел из своего убежища и, важно зашагав по руке Людмилы Петровны (так, оказывается, звали старуху с гулькой), уселся на плече и сталковырять клювом её резную серёжку с бирюзой.

— Радость-то какая! — причитала старушенция. — Счастье в дом возвращается!

— Садитесь за стол, сейчас чай пить будем, — улыбалась Ася.

— Асенька, да как же вы его поймали-то? Обычно он чужих вообще не подпускает! Шипит, клювом щёлкает, может и до крови палец расцечь! — восклицала Людмила Петровна.

— Представляете, иду я после работы по тёмной аллее в “Копеечку”, думаю, что бы, мне такого купить: мороженого или эклеров? Я и то, и другое просто обожаю. И вдруг слышу прямо надо моей головой: “Стер-р-р-рва!” Я вздрогнула от неожиданности и остановилась. Смотрю по сторонам — ни души, даже бомжей нет, которые днями напролёт что-то весело отмечают на деревянной скамейке. Ну, я с облегчением выдохнула: почудилось! И собралась уже было двинуться дальше, как вновь слышу: “Стерва! Всю жизнь мне испортила!”

— Да, это классические его слова! — воскликнула Людмила Петровна.

— Тут мне как шмякнется что-то белое и противное на плечо, и голос как заорёт: “К деньгам!” Я поднимаю голову и вижу: прямо надо мной сидит попугай на ветке, такой красавец, зелёный. Я думаю: “Боже мой, откуда? Холодно-то как! Неужели улетел у кого-то! Ведь околеет!”

Не слушаю весь этот слюнявый бред, я рассматривал сына старушонки. Мужичок-то, кстати, ничего такой, приличенький. Свитерок на нём модный, я такой у одного телеведущего в программе видел. Носки без дырок. А главное, молчит. Нам одной трещотки уже хватит в доме.

Аська продолжала подробно рассказывать спасение зелёного:

— “Иди сюда, не бойся, я тебя не обижу! Замёрз небось!” — говорю я попугаю, а он только вертит головой и спускаться с ветки не собирается. Ну, я думаю, надо чем-то его прикормить. Пошарила руками в сумке, не заваялся ли какой-нибудь орешек или ещё что-то съестное, но ничего подходящего не попалося. И тут, к счастью, в кармане пальто нащупала несколько семечек. Протягиваю их попугаю и — о чудо! Он заинтересовался, весь распушился и, раскрыв клюв, спикировал мне прямо на руку. И пока он жадно эти семечки лущил, я его аккуратно прижала к себе и бегом домой.

— Не иначе, как судьба нас всех свела! — чуть не плача, воскликнула Людмила Петровна.

— К деньгам! — выкрикнул латиноамериканец.

— Золотце моё! — погладила его по головке старушка. — Отрада моя на старости лет! Внуков-то не дождёшься от этого бобыля!

— Мать, ну, хватит! Может, и дождёшься! — вымолвил Паша первый раз за весь вечер.

Я решил больше не терять ни минуты, пока эта “звезда” не загубила всё дело на корню! Вылез из-под стола, и, замурлыкав как можно ласковее, стал тереться о Пашины ноги. А потом и вовсе прыгнул ему на колени. Ну, он, конечно, немного опешил, но потом ничего, стал меня гладить и чесать за ушком. Ну, думаю, сработаемся!

— Ой, Павел, ну, это прямо фантастика какая-то! Рыжий вообще ни к кому на руки не идёт, мне-то с трудом удаётся его поймать и потискать — такой своевольный! А тут сам к вам на колени прыгнул!

— К деньгам! — заорал амазон.

Вот всё за тебя приходится делать, дурочка ты крашенная! Куй железо, пока горячо! Пашку надо за вечер охмурить так, чтоб он уже от нас не вырвался. Второго такого шанса может и не представиться!

— Ой, Асенька, я-то ведь вышла в магазин, так эклеров захотелось, прям сил нет, а форточку, видно, забыла закрыть. Прихожу — окно нараспашку, а соколика моего нет. Думала, сердце моё не выдержит! Умру без него! Ведь холод-то какой на улице был! Эклеры-то эти, проклятые, в горло не полезли! Чтоб им пусто было! — восклицала Людмила Петровна. — Ведь это ж последнее, что от мужа моего осталось! Он же мне этого попугая из рейса привёз, из самой Венесуэлы. Пашеньке тогда три годика всего было. Гошенька мой — как член семьи! Вот сынок выпорхнул из гнезда, хоть и живёт бобылем, а Гошенька со мной был всё это время. Как крикнет мне из кухни: “Стерва! Всю жизнь мне испортила!” — прям как муж мой! Даже интонация такая же, “р” грассирует, мне аж на душе легче становилось. Коленька-то хоть и ушёл, а вот голосок его до сих пор со мной!

Теперь пришла очередь моей Аське вздыхать и охать, прикладывая руку к сердцу от всей этой Гошкиной “Санта-Барбары”.

— Вот Павел-то мне и предложил напечатать объявление и развесить по району, а вдруг кто и поймал изумрудика моего! Ой, да у меня ведь и фотографии с собой есть! — потянулась к сумке Людмила Петровна. Она вытащила маленький потрёпанный альбом и, придвинувшись поближе к Асе, начала показывать снимки.

— Это первая фотография Гошеньки, совсем птенчик ещё. А Коленька, муж мой, тут в капитанской форме, молодой, красавец — кровь с молоком! А вот, Паша, глянь-ка, Гошенька у тебя на плече сидит, какой же это год-то? — Старушка вертела фото в руке. — Не написано, как так? Ноготок-то у него прямой на левой лапке, не путался он ещё в тюли той окаянной!

— Мать, ну, ты даёшь! Да это же я во втором классе, что ж ты не помнишь? — удивился Паша. — У меня ещё губа разбита, я тогда с велосипеда упал. С Митькой Ипатовым из соседнего дома поспорили, кто быстрее до продуктового доедет, а мне голубь вспорхнул прямо перед глазами, я заметался и в канаву улетел.

Людмила Петровна хлопала глазами, но вспомнить обстоятельства падения сына никак не могла.

— Не было такого! — выпалила она недовольно.

— Конечно, не было! С тобой спорить-то бесполезно! У тебя всё, что с изумрудиком твоим связано, — всё было, а со мной — одни выдумки и небылицы!

Я тут же усиленно начал урчать и тереться о Пашину грудь — не хватало ещё скандала. Нам дети нужны, а не перебранки! Слышал я от котов, что карапузики маленькие особенно вкусно пахнут, если в макушку носом уткнуться. Я тоже так хочу!

Паша начал чесать меня за ушком, понемногу успокаиваясь. Отвернувшись от сына, Людмила Петровна обратилась к Асе:

— А вы что же, одна тут живёте?

— Да, мне родители квартиру эту подарили на совершеннолетие. Вот так и живу здесь с Рыжим, работаю, в марафонских забегах участвую, театр люблю, книги читать.

— Книги я тоже обожаю. Ой, что-то мы засиделись у вас, Асенька, вы уж нас простите! Пора нам и честь знать! А то вон, Пашенька, завтра на рыбалку собирался, рано вставать.

Ёлки-палки, ещё и рыбак, мужик-то вообще золотой! Господи, неужели до рыбки доживу? Аська, не будь дурой, хватай, пока не занят! Пока мама-ша сажала попугая в клетку, я тёрся между Аськой и Пашей. Ну же, женщина, скажи ему хоть что-нибудь, не молчи, как истукан! Скромность, конечно, украшает, но не до такой же степени! И тут котский бог услышал мои молитвы!

— Людмила Петровна, Павел, мне так понравился сегодняшний вечер, вы такие интересные, весёлые люди, давайте дружить!

Людмила Петровна довольно улыбнулась и проскрипела:

— Асенька, спасительница наша, конечно, приходите теперь вы к нам в гости в следующую субботу! Я и пирог испеку с земляничным вареньем!

Как только захлопнулась дверь за гостями, Ася опустила на банкетку в прихожей. Блаженная улыбка не сходила с её губ. Я тут же запрыгнул ей на колени и приветливо заурчал.

— Рыжий, да что с тобой такое сегодня творится? Я тебя не узнаю!

Эх, женщина, какой день! И курицу зелёную назад втюхали, и мужика тебе нашли. Ну, не счастье ли? Вот теперь, кажись, всё будет хорошо!

Ну, хватит нежностей на сегодня, пойду-ка лучше Жоржика погоняю по комнате.

ШУРОЧКА

В небольшой бархатной коробке хранятся сокровища. Это всё, что осталось от Шурочки, не считая воспоминаний, конечно. Поцарапанная чёрная шпилька, которой она каждое утро закалывала длинный пучок из жиденьких седых волос на голове, крошечный деревянный футляр с масляной эссенцией “Болгарская роза” и каменный голубой жук скарабей. Я даже не знаю, пользовалась ли она когда-нибудь этой эссенцией, она просто была, и всё. Золотые серьги с большим сиреневым аметистом, которые она никогда не снимала. А в первом ящике серванта, в зелёной коробочке — большой перстень из того же комплекта, который она никогда не надевала. Зато я часто примеряла его то на один палец, то на другой и бережно клала обратно.

Дед называл её Шурочкой, а она его — Горкой. Егорка-Горка — любила склонять я в детстве. Крепкая телосложением, боевая, она радовалась каждому мгновению жизни, несмотря ни на что. В уголках её смеющихся глаз таилось много морщин. Жизнь Шурочки не была простой, я часто думала, глядя на неё: “За что тебе досталось всё это? Разве ты кому-то желала плохого?” Но на этот вопрос ответа нет, да и не будет.

Шестой ребёнок в семье, единственная дочка, казалось бы, живи да радуйся — столько защитников вокруг. Всех забрала война. Шестнадцатилетней девчонкой она влюбилась в простого рязанского парня, накинула себе два года в паспорте, чтоб выйти поскорее за него замуж. Как уж у неё это вышло — одному Богу известно. Война не пощадила и его. Нет,

он остался жив, вот только сразу же попал в плен. Шурочка с дочкой считали его погибшим, а он неожиданно вернулся в сорок шестом. Большой, побитый, измученный, вместо среднего пальца — лепёшка без ногтя. Было чудом, что он вообще остался в живых, его сломали не только физически, но и морально.

Шурочка тащила семью, как могла: работала официанткой в аэропорту, занималась строительством дома. Чего ей это стоило? Я даже не могу представить, но этот дом жив до сих пор и хранит её тепло. Когда Шурочка взяла нас к себе жить, отдала свою большую комнату, сама же ютилась в крошечной каморке с больным мужем. Дед сильно хворал: еле-еле волочил ноги, почти ничего не слышал, вставная челюсть приносила ему одни мучения. Я заставляла его учить английский и писать диктанты. До сих пор у меня хранится линованный кусочек пожелтевшей бумаги с его каракулями, выведенными рукой с огромной лепёшкой вместо пальца. И моя двойка в углу. Стыдно сейчас даже вспомнить, как я требовала от него идеального произношения английских слов.

— The table! — учила я его.

— Зи тбл... — бормотал он в ответ.

— Нет, дед, совсем не так. The table! Язык между зубов. Вот смотри, как надо. — The-e-e-e-e-e-e-e. — И я демонстрировала ему кончик языка, притаившийся между ровными рядами детских зубов.

— Фе тбл... — выдавал он, брызгая слюной. Язык заплетался, с протезом он всё время шепелявил, не говоря уже о том, что, скорее всего, даже и не слышал того, что от него хотят. Я настаивала. Он старался. Как дед терпел меня, я не знаю.

Однажды я не выдержала и треснула деду луковицей по лбу. Ненавижу извиняться. Отец заставил меня, сказав, что я не выйду из комнаты, пока дед меня не простит. Я долго мялась, смотрела в пол, потом разглядывала стены и потолок, и вот, наконец, когда смогла выдать из себя еле слышное “прости”, он ответил:

— Нет! — и лукаво улыбнулся.

— Как нет? — ошарашенно пролепетала я.

— А так! Нет, и всё! — сказал он, как отрезал.

В тот день я долго просила у него прощения. Видимо, он решил отомстить мне за английский.

— Прости меня, дед! Прости! Ну, прости же!

— Горка, ну, она же ребёнок! — открывая дверь в комнату, восклицала Шурочка.

— Не прощу. Меня, ветерана войны, луковицей по лбу!

Шурочка закрывала дверь и показывала ему кулак.

И только на следующее утро он сказал:

— Ладно, так уж и быть — живи, прощаю!

Радости моей не было предела.

Тайком от Шурочки он крался за угол сарая покурить, а я стояла на стёме. Докурив однажды очередную папиросу “Беломорканал”, он готов был уже выбросить окурок.

— Дед, дай попробовать. — прошептала я.

— На! — протянул он мне недокуренную папиросу.

Я с радостью затянулась и разразилась безудержным кашлем. Он только тихо смеялся и грозил мне пальцем.

Шурочка всегда делала заготовки на зиму, а я очень любила собирать малину. Вдоль просеки — густые заросли. Колючие ветки клонятся от тяжёлых пахучих ягод. Те, что потемнее, в рот, а покраснее можно и в бидон кинуть, всё равно Шурочка сахаром засыплет. Прижмешь спелую ягоду языком, сок брызнет, лепота!

Потом мы с Шурочкой вместе сидели на террасе, залитой солнечным светом и, высывав небольшие горки на стол, ловко перебирали ягоды от листьев и мелкого сора. Я больше всего любила именно эти моменты, такие тёплые и душевные. Не малина, так черника, не черника, так грибы — мы всегда находили повод побыть вместе и поговорить.

— Шурочка, а ты мне скарабея голубенького подаришь? — пыталась я выклянчить давно облюбованного жучка.

— Ну, вот ещё! Он мне счастье приносит, а ты и без жука этого заморского вон какая счастливая. Эх, Настя, радуйся, что война вас не коснулась. Вот где горе-то!

— Сегодня, кстати, футбол! Дед смотреть собирается, — подмигнула я Шурочке.

— Я ему посмотрю! Провод спрячу — будет ему футбол!

И ведь, действительно, прятала, и не один раз.

Шурочка с мужем всё время ругались. Я не понимала — почему? Ребёнку сложно осознать, что пожилые люди со своими болячками и проблемами вынуждены находиться в крошечном помещении и терпеть друг друга. Дед всё время мёрз, Шурочка даже зимой спала с открытой форточкой. Я боялась ходить в школу — вдруг они поругаются без меня. Шурочка цепляла его, придираясь ко всему. Мы даже не догадывались, в чём была истинная причина её обид.

Однажды утром дед пропал. Взял документы и, сказав, что едет в Москву лечить зубы, вышел из дома. Он не вернулся ни к обеду, ни к ужину. Шурочка ходила с ума.

— Да с друзьями скорее всего засиделся, выпил и завтра утром придёт, — утешала её дочка.

Дед не вернулся и утром. Живым мы его больше не видели. Деда опознали только по сплюсненному пальцу. Он действительно пошёл на железнодорожную станцию, чтобы поехать в Москву, но попал под электричку.

Тот момент, когда Шурочка узнала об этом, я не забуду никогда. Она каталась по полу с криками: “Горка, что же ты наделал?” Шурочка не видела и не слышала никого, она билась в истерике. Тогда я вдруг осознала, насколько сильно она его любила все эти годы, хотя упорно скрывала свои чувства.

Только после похорон Шурочкина племянница нам по секрету рассказала, что у деда на фронте была женщина, Шурочка узнала об этом, смирилась, но простить не смогла. Она хранила эту семейную тайну и унесла её с собой в могилу.

После смерти мужа Шурочка сильно сдала. О той болезни, что скосила её, мы даже никогда не слышали. Миастения — ослабление мышц. И всё от нервов. Она всегда за всех переживала, не только за узкий круг своей семьи, за племянник, за двоюродных сестёр и братьев, за тёток и дядек, за крёстных, за седьмую воду на киселе. Все проблемы она принимала настолько близко к сердцу и всем сопереживала, что однажды просто не выдержала. Смерть её Горки оказалась последней каплей. Шурочка угасала на глазах, мышцы слабели с каждым днём всё больше и больше, а горсти таблеток уже не могли облегчить её страданий. Она задыхалась, не могла ходить и вставать самостоятельно по ночам, но при этом всегда спрашивала:

— Чем помочь по дому?

Мне было больно на неё смотреть. За что она так мучилась? За что эта женщина, которая всю свою жизнь помогала всем, кому только могла и чем могла, заслужила такие страдания?

Обычно на лето мы уезжали с ней на дачу в Тверскую область, в тот год Шурочку везли туда первой. В доме начинался ремонт, а у меня предстояли выпускные экзамены в школе.

Шурочка стояла у машины, опираясь на трость, и, тяжело дыша, сказала мне:

— Настя, я больше сюда не вернусь. Мы не увидимся.

— Да перестань, я сдам экзамены и тут же приеду к тебе. Тут стройка, а там дом на берегу озера, свежий воздух, тебе станет гораздо лучше.

По её щеке покатились слеза.

— Нет, Шурка, каюк! — только и сказала она.

А я, поцеловав её в щеку, помахала рукой вслед удаляющейся машине и побежала готовиться к математике.

После экзамена я позвонила родителям сказать, что всё написала и собираюсь ехать домой. Отец долго молчал в трубку, а потом тихо сказал.

— Бабушка умерла.

Я даже вначале не поняла смысл услышанного, не приняла это близко к сердцу. Но потом осознание страшного обрушилось на меня лавиной. Я не помню, как доехала до дома, ревела навзрыд всю дорогу. Пассажиры электрички косо поглядывали на меня, но подойти и спросить, в чём дело, не решились.

О чём я жалела больше всего в тот момент? Что не смогла обнять её в последний раз. Я много раз прокручивала в голове наше прощание. Могла ли я тогда что-то сделать или изменить? Не знаю.

Той ночью мне приснился сон. Я бегу по зелёному полю, а навстречу мне идёт Шурочка с распростёртыми руками для объятий. Она такая, какой была ещё до болезни: жизнерадостная, весёлая, с искрящимися серыми глазами, в голубом длинном халате в белую ромашку, с пучком седых волос на голове, в бордовых клетчатых тапочках. Я подбегаю к ней и обнимаю крепко-крепко, и запах её особенный вперемешку с ароматом свежевыстиранного и отглаженного белья, которое она непременно кипятила в огромном баке, невозможно забыть. Я чувствовала его тогда в последний раз, и тепло её, и быющее сердце в груди.

Уже прошло двадцать два года со дня смерти Шурочки, но даже сейчас, когда я пишу эти строки, слёзы катятся по моим щекам. Я любила её больше всех на свете, и она меня тоже. А перстень, тот самый, с сиреневым аметистом, сверкает теперь на моём указательном пальце.

В ГОРОДЕ НА НЕВЕ

— А Шпалерная улица далеко от центра?

— Смотри что считать центром, — задумчиво повисло на другом конце трубки, — ты с какой целью интересуешься?

— Подружка зовёт на майские в Питер, вот смотрю, где бы остановиться. Хотелось бы рядом с Невским, что-то уютное, — срывающимся голосом пробормотала она, нервно теребя серёжку в ухе.

— Я тебя встречу.

— Не стоит, я не одна.

— Просто напиши номер поезда и время, — сказал он и отключил телефон.

Они не разговаривали больше года. Ольга листала забытые папки в стареньком ноутбуке, скорее даже не забытые, а намеренно спрятанные в самый дальний угол, чтоб не маячили на рабочем столе. Открыть эту папку, словно откинуть крышку старого сундука. Она шмякнется назад с глухим стуком, и вся накопившаяся пыль забвения окутает с головы до ног, проникнет в каждую клеточку сознания, и так просто вытравить её не получится, уж Ольга-то знала.

— Саша, — закрыв глаза, тихо выдохнула она, — почему твоё имя такое мягкое, как тёплый и уютный плед, в который хочется завернуться с головы до ног?

Они познакомились года два назад на форуме. Огромные павильоны, толпы людей, душные конференц-залы, все куда-то спешат, гадают, толкуются. К вечеру Ольга сходила с ума от этой суеты, с натянутой улыбкой появлялась на банкете и сбегала через полчаса в маленький гостиничный номер. Укутывалась в покрывало и, сидя на широком подоконнике, любовалась Мойкой, так усердно облизывающей свои гранитные берега после каждого проходящего катера.

В последний вечер сбежать не получилось, Ольга стояла у столика с бокалом красного вина в одиночестве, листала бесцельно папки в телефоне, то и дело поглядывала на часы.

Вдруг на экран опустилась визитка:

“Альянс Лизинг”. Александр Костров

— Можно украсть вас у телефона на несколько минут? — спросил высокий брюнет.

Он украл её до утра. Бродили по улочкам ночного Петербурга, Александру очень хотелось провести эту зеленоглазую девушку по родным местам своего города, забраться на облюбованную с детства крышу и смотреть, как грузные пароходы неспешно тянутся через раскинувший свои объятия мост. Она едва не опоздала на утренний поезд. “Сапсан” мчался в Москву, а Ольга сладко спала, закутавшись в мягкий плед.

Он прилетел через месяц. Теперь бродили по улочкам Москвы, кажется, она никогда так много не гуляла по своему родному городу. Живописный Арбат, какой-то дурацкий японский фильм в маленьком и душном зале “Художественного”, освежающие брызги фонтанчика у церкви, где венчался Пушкин, Малая Бронная и белоснежные лебеди на Патриарших прудах — сейчас всего уж и не вспомнишь.

Провожая его на перроне вокзала, она плакала, а губы беззвучно шептали слова: “Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь — светом”.

Так пролетел год. Ольге казалось, что она жила только этими поездками, оставшееся время просто существовала. Безумная радость долгожданных встреч сменялась диким отчаянием разлуки. Она не могла переехать в Питер, он отказывался жить в Москве. Ольга купила билеты на концерт его любимой группы, он не приехал. Она ждала его на свой день рождения, он так и не появился. Позвонив Саше на следующий день, сказала, что так больше не может продолжаться, он согласился и пропал.

Они не разговаривали больше года, а “Сапсан” снова мчал её в город на Неве. Пальцы нервно крутили кольцо, а четыре часа в пути казались нестерпимой вечностью.

Саша ждал её на перроне. Уткнувшись в Ольгины длинные волосы, он тихо шептал ей на ухо:

— “Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханьем ветра, останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь — светом”.

ГРИГОРИЙ КАЛЮЖНЫЙ



ПУТЕВОДНОЕ СЛОВО

ФЁДОР АБРАМОВ

Когда земля покрылась мраком,
В лучах Святого Алтаря
Родился веркольский оракул
И принял крест монастыря.

Возликовали на Парнасе
Отцы поэзии златой,
Словно доспехи, ипостаси
Объяли лик его святой.

Он, отражая стрелы рока,
Стоял на страже Царских Врат.
В сей роли — Божьего пророка
Узнал в нём Фёдор Стратилат.

Его призванья не узнали
Лишь земляки и вся родня,
Даже когда Любви Скрижали
Он людям вынес из огня.

Теперь, когда в сырой постели
Он спит над Пинегой-рекой,
Все люди русские узрели,
Кто он воистину такой.

КАЛЮЖНЫЙ Григорий Петрович родился в 1947 году в г. Макеевка Донецкой области. В прошлом — штурман гражданской авиации. Член Союза писателей СССР с 1985 года, автор семи поэтических сборников и книги прозы "Жизнь Григория Фёдоровича Морозова". Лауреат премии "Нашего современника".

* * *

Жизнь — это то, что проходит,
Что нам надлежит передать.
Дай Бог, чтоб в грядущем народе
Смогли мы друг друга узнать.
Дай Бог, чтоб узнали нас дети,
И внуки признали, дай Бог,
За то, что погибели ветер
Нас вырвать с корнями не смог.

* * *

Людмиле Хоркиной

Я помню: уже не земная,
В саване белом до плеч
В гробу ты лежала, родная,
В церковном сиянии свеч.

Твой лик незабвенный и милый
В Господнюю даль уплывал.
И сам серафим шестикрылый
С кадилом тебя отпевал.

* * *

Горька стезя расстроенного быта
Среди потерь и дорогих теней.
Я Русь люблю за то, что в ней сокрыто,
За то, что не избыть печали в ней.

Её поля, могилы и сугробы,
И храмы взору говорят, что здесь
Живёт народ печали, а не злобы,
И верит он, что правда в мире есть.

Его не раз обманывали вору.
Над ним трудились сонмы палачей.
О нём гремели яростные споры...
А он, как прежде, Божий иль ничей.

* * *

Нет месяца в ночи острее лезвия.
Я говорю: “Тем смерть и хороша,
Что всё пройдёт, но только не поэзия,
Ибо она — Господняя Душа”.

* * *

В небе месяц блестит, как подкова.
Кто его, кто его разогнёт,
Кто тебя, путеводное слово,
В бесприютные души вернёт?

Я узнал эту твердь, слава Богу,
И своё отраженье в воде,
Что с небес пролилась на дорогу
И застыла в её борозде...

Я стремился в небесные дали,
Порывался земные пройти.
Нет на свете горчее печали,
Чем судьба — раствориться в пути.

ОЛЬГА ГОГОЛЕВА



ДВЕРЬ

РАССКАЗ

Сосредоточенно крутя руль, Дмитрий ощущал, как раздражение и усталость безостановочно сменяют друг друга. Он всегда ненавидел эти места — они нагоняли на него чувство полной беспросветности и отчаяния. Вспомнился звонок троюродного брата, заупокойным голосом без предисловий сообщившего Дмитрию, что умерла его мать, и своё раздражение при мысли о том, что теперь уже точно придётся ехать в эту треклятую деревню; раздражение, нахлынувшее ещё до того, как он успел осознать смысл полученного известия.

Дима ненавидел и дом, в котором вырос, и унылую улицу, единственную в деревне, и тусклые, чаще всего не работающие фонари, и покосившиеся заборы, и вопли лягушек в начале лета, доносящиеся от небольшого пруда, в котором никто не купался из-за тины и водорослей.

Жили они с матерью тяжело и безрадостно. Не было у него ни счастливого детства, ни тепла в воспоминаниях, не было даже своей комнаты, а он всегда думал, что собственная комната — это основа защищённой и безмятежной жизни ребёнка. Особенно его впечатляло, когда родители сохраняли комнаты своих детей нетронутыми, несмотря на то, что те давно уже жили отдельно. Дмитрию казалось, что даже очень взрослый человек, заходя в комнату, где всё остается таким, каким было в юности, неизменно возвращается в тот период жизни, наполняясь его лёгкостью и беззаботностью.

Ключ от своего дома у него, конечно, был, но Дмитрий сразу пошёл к дому тётки, знал, что вся его притихшая и немногочисленная родня собралась сейчас у неё. Двери в деревне не закрывались, поэтому он вошёл без стука

ГОГОЛЕВА Ольга Владимировна родилась в 1973 году в Саратове. Образование экономическое, PR и реклама. Профессиональная специализация: антикризисный менеджмент, создание и продвижение брендов. Живёт в Москве.

и сразу оказался в кухне, где в основном громоздилась огромная русская печь. Ему навстречу из жилой комнаты вышел сын тётки Витя, добродушный и безобидный увалень, всегда пьяный и застенчиво улыбающийся.

— Здорово, брат, — сказал Виктор.

— Привет...

Тётка молча стояла, дожидаясь своей очереди; когда братья пожали друг другу руки, подошла и, обняв племянника, зарыдала, повиснув на нём:

— Митя, сирота ты теперь. Совсем один остался! Мамка так и не дождалась тебя!

Митей его звала только деревенская родня, в городской жизни это имя не прижилось.

— Ладно, мать, что ты его, — вступился за брата Витя, как обычно, не закончив фразу.

Дмитрий узнал мужа тёти, дальних родственников из районного центра и соседей, которые стали подходить и пожимать ему руку, таким образом выражая свои соболезнования. Он чувствовал себя не в своей тарелке и вдруг понял, что очень сильно хочет есть и что ничего с собой не привёз, даже кофе, которого мать не пила, а он не мог проснуться без пары кружечек этого неизменного спутника своего завтрака.

Все сели, рассказали, что первым заметил неладное Виктор, который утром шёл к соседу поправить здоровье и увидел, что тёткиной козы нет на месте, где она обычно пасётся. Не обнаружив Белки и на обратном пути, он пошёл узнать, в чём дело, и нашёл мать Дмитрия лежащей на полу у печки, она была мертва.

Витя вдруг заплакал, видимо, нахлынули воспоминания об этой картине и чувство вины, что не зашёл к ней сразу. Врачи приехавшей “скорой” сказали, что скончалась она задолго до его визита, ещё ночью, но Виктор всё равно не мог успокоиться. Тётка рассказала, что они через знакомых договорились о быстром вскрытии, чтобы ночь перед похоронами покойница провела в церкви. Местный батюшка, отец Серафим, отпоёт её по всем правилам, как она и хотела.

Дима очень тяготился всей этой сценой и думал уже только о том, что бы поскорее оказаться одному. Уснуть, наверное, он не сможет, но хотя бы побудет в тишине и покое. Наконец, после долгих воспоминаний как о матери Дмитрия, так и об историях, связанных со смертями родных и знакомых, все стали собираться по домам. Тётя предложила племяннику заночевать у них, но он отказался. Ему показалось, что она с облегчением восприняла его отказ, он знал, что это не от равнодушия, а от усталости.

Когда Дмитрий был уже на крыльце, его догнал Витя:

— Брат, подожди, мать тебе поесть соберёт...

Дима шагнул обратно в сени, а тётка уже вышла ему навстречу с пакетом, набитым пирожками и фирменными ватрушками, которые сразу напомнили ему о детстве. Они расцеловались, и он вышел в прохладу ночной деревенской тишины. До дома ему было идти не больше двух минут, но, оказавшись на улице, он понял, что ноги его не несут в родное гнездо. Накатила смесь расслабленного наслаждения и покоя, словно и не было только что никаких тягостных сцен и разговоров, даже мысли о завтрашнем событии как будто растворились — ушли в темноту. Он добрёл до своего крыльца, сел на ступени, поставил рядом с собой пакет с гостинцами и начал есть то, что попадалось, даже не пытаясь нащупать любимые ватрушки. Впервые за несколько лет пожалел, что бросил курить, решив, что сейчас сигарета была бы очень кстати.

Дима не знал, сколько просидел так, но когда небо стало светлеть, подумал, что нужно отправляться спать. Дверь в дом была открыта, он мысленно улыбнулся: можно было не брать с собой ключей, так как двери тут не принято запирать. В сенях ноги наткнулись на что-то мягкое, он сначала испугался, но тут же сообразил, что это осиротевшая кошка матери. Они оба зашли в дом. Голубоглазая сиамская кошка сразу запрыгнула на печь и оттуда стала следить за человеком, который ходит по их с хозяйкой чистому

дому, не снимая обуви. Дмитрий налил воды из чайника, выпил и, чувствуя необъяснимую неловкость от кошкиного внимательного взгляда, зашёл в комнату, где, не зажигая света и не раздеваясь, улёгся на диван.

Делая эти несколько шагов и чувствуя во всём теле тяжесть, он надеялся, что сейчас моментально уснёт, однако, как только его до крайности утомлённое тело приняло горизонтальное положение, сон мгновенно исчез. Стало как-то не по себе, но не от страха, а от того, что ему было неудобно, как если бы он оказался в совершенно чужом и неприветливом доме.

Дима лежал, наблюдая, как комната наполняется неярким светом наступающего утра, мысленно перечисляя завтрашние дела и думая о том, что хорошо бы ему завтра же вечером уехать... Из темноты проступали знакомые вещи, всё было, как раньше, только в углу под потолком появилась полочка с красивой тройной иконой. Вматривался в неё с любопытством: “Когда мать стала такой религиозной?”

Он подскочил от голоса матери, которая позвала:

— Митя...

Поняв, что всё-таки уснул, Дима сел, огляделся, встретившись глазами со всеми родственниками, смотревшими на него со стен, и подошёл к окну. Было самое начало восьмого. Снова накатило тоскливое чувство пустоты и замешательства. Он увидел Виктора, шедшего к его калитке, и, наверное, впервые в жизни обрадовался ему. Хлопнула входная дверь.

— Брат...

Дмитрий вышел на кухню, где у двери стоял Витя. Кошка ласково тёрлась о его ноги, при этом подозрительно поглядывая на нового жильца.

— Что, пора?

— Ага, мать зовёт... Поешь да поедем...

Дальше день покатился, как по расписанию. Дима радовался, что ему почти не приходилось принимать никаких решений, всё было уже решено и подготовлено; его задача состояла в том, чтобы по всякому поводу одобрительно покивать головой и заплатить. Происходящее переносилось легче, чем он думал, прежде всего, потому, что мать в гробу он не узнавал, ему казалось, что это похороны какой-то другой женщины, и он здесь совсем не главное действующее лицо.

В церкви ему почему-то стало душно и захотелось на воздух. Он вышел и, наконец, стрельнул и с наслаждением выкурил сигарету. Старая церковь, стоявшая прямо на кладбище, была отреставрирована. Дима вспомнил, как в детстве они курили внутри, рассказывая истории, слушая эхо своих голосов, уносящихся под купол, а в пустующие окна влетали птицы, и ветер заносил листья и снег.

На кладбище он пытался сосредоточиться, чтобы сказать матери какие-то слова на прощание, и никак не мог их подобрать, поцеловал холодную полосу молитвы на её лбу и пробормотал:

— Прости меня...

На выходе из кладбища Дмитрий объявил шедшей рядом тётке, что хочет сегодня же уехать. Она посмотрела на него каким-то непривычно суровым взглядом, остановилась и жёстко сказала:

— Это что ещё за новости?! И слышать не хочу! Помянуть мать, как положено, твоя святая обязанность — выпить хотя бы три стопки, поесть со всеми и послушать людей, которые пришли на поминки!

Сказать что-нибудь в своё оправдание он не успел, так как она сразу от него отошла и больше даже не смотрела в его сторону.

Поминки организовали в доме тётки. Людей пришло не много, но и не так мало, как предполагал Дмитрий. Он курил на улице с Виктором и соседом, когда пришёл отец Серафим, крупный и красивый человек, не старше пятидесяти. Подвыпивший и многословный сосед вспоминал истории из жизни, связанные с матерью Димы, Витя вторил ему, и перекур затянулся. Возвращаясь, Дмитрий столкнулся с выходящим из дома батюшкой, тот извинился, что дольше пробыть не может, — срочно нужно ехать причащать умирающего. Отец Серафим мягко пожал руку Диме и, тепло глядя в глаза,

сказал, что от всего сердца соболезнует ему, так как потеря такого человека, каким была его мать, это поистине невосполнимая утрата. Дмитрий сдержанно поблагодарил, про себя решив, что подобный пафос здесь явно не уместен, и зашёл в дом.

Кто-то уходил, кто-то приходил, но за столом просидели долго, в конце концов, когда все разошлись, остались только тётка с мужем, изрядно подвыпивший Виктор и Дима. Немного погодя Витя уснул на диване, а как всегда молчаливый дядя ушёл кормить домашнюю скотину и птицу. Дмитрий с тёткой остались вдвоём, чего он интуитивно опасался, и не напрасно, она сразу спросила, пристально на него глядя:

— Ты что собираешься с домом делать?

— Продавать. Мне этот дом не нужен!

— Как это продавать?! Ты что?! Родовой дом, который твой дед вместе с прадедом строили?!

— Я сказал — мне он не нужен! Если хочешь, забирай его себе, вон, Витьку, наконец, отселите, будет у него собственное жильё, может, и жизнь своя, наконец, появится...

Тётка обиделась, по-крестьянски неистово и самозабвенно:

— Нам этот дом не нужен. У него есть хозяин — ты! Мать его для тебя сохраняла из последних сил! Жилы из себя вытягивала, чтобы внуки её будущие радовались! Дом какой крепкий ещё, печь такая, что лучше её у нас в деревне нет! Дом продать! Памятью не дорожишь?!

Она почти кричала, раскрасневшаяся и гневная. Дмитрий, с которого враз слетело всё его сомнамбулическое состояние, зло ответил:

— Какой памятью? Памятью о том, что мать меня не любила?!

Тётка охнула, словно её ударили, застыла на мгновение и вдруг зарыдала:

— Митя, да что ты! Катя любила тебя, конечно, любила... что ты...

— Ты её с собой не путай! Я, сколько себя помню, всегда наблюдал, как ты Витьку своего облизывала, хоть он у тебя и хулиган был, курить чуть не в детском саду начал и учился всегда плохо... Даже сейчас ты с ним, как с маленьким, хотя он уже пятый десяток давно разменял... А у меня что? Я и учился хорошо, и вроде особым лоботрясом не был, но если меня в детстве кто-то и обнимал или целовал, так это опять же ты! Я совершенно один всю жизнь, ты это понимаешь?! Не к кому мне было приехать и поплакаться, чтобы меня обласкали и успокоили по-матерински! Даже позвонить некому было! Только друзья... но в нашей среде жаловаться не принято, быстро из обоймы вылетит... Друзья жёнам плачутся, а у меня и с Иркочкой не сложилось: и я оказался не тем, что она думала, и мне нужно другое — мне тепла всегда не хватало! Обычного женского тепла, сердечности и настоящего дома, чтобы, как у тебя, всегда пирогами пахло!

Тётка ошеломлённо смотрела на него, притихшая и осунувшаяся. Слёзы непрерывными ручьями текли из её глаз.

— Митя, Митенька, у неё характер был такой неласковый, но ты не представляешь, как она гордилась тобой! Как хотела, чтобы ты был счастлив!

— Взрослый человек не может быть счастлив, если был несчастлив в детстве... Несчастливым и непопулярным!

— Митя... ты пойми, Катя рано осиротела, потом отец твой её бросил, и не просто бросил, а на сносях! Ты представляешь, что это было за событие в деревне в то время?! Да она за всю жизнь так и не избавилась от косых взглядов и сплетен. Любая бабка здесь всегда будет рассказывать, что в том доме жил почталбон, который напился и замёрз прямо у своего крыльца, а в этом доме жила Катюшка, которая бегала за красивым приезжим шофёром, а он укатил с дачницей в город и как звать её забыл, а она так и осталась с нагулянным ребёнком!.. Вот так... Характер у покойницы был не из лёгких, это правда, но что она тебя не любила, даже не думай! Все её надежды были на тебя... Ей просто в жизни ох как нелегко пришлось!

— И мне нелегко, и тебе наверняка тоже, однако ты на своего сына до сих пор смотришь, как на ребёнка...

— Так он и есть ребёнок! Он ведь очень добрый у меня, безотказный и ласковый... Что жизнь у него не сложилась, это точно, но я от этого его ещё больше люблю... Он ведь тоже по молодости сильно обжётся, так и всё после этого! Я надеялась, что выровняется, но нет, видно, уже ничего не выйдет... Хотя, мало ли, а? Что думаешь?

Дима устало улыбнулся и встал:

— Да, в жизни всё бывает. Пойду я, тётя Тонь... Две ночи толком не спал, с ног валюсь...

Она побрела за ним к выходу. У порога он обернулся, обнял её и вышел. Она снова заплакала.

От непроглядной уличной темноты спас фонарик в мобильном телефоне. Ночь стояла свежая и прохладная. Дима шёл знакомой дорогой и думал о том, что в темноте улица воспринимается совершенно не так, как днём, — если не оглядываться на светящиеся окна тёткиного дома, то кажется, что здесь вообще нет никакой жизни: ни людей, ни домов, ни домашней скотины, огородов, садов — ничего нет. Только подумал об этом, как где-то залаяла собака.

— Всё-таки какая-то жизнь есть, — усмехнулся он.

На крыльце, свернувшись, спала кошка. Когда он вошёл в калитку, она встала.

— Заходить будешь? — спросил Дима, открыв дверь и терпеливо ожидая, когда кошка решит, наконец, что ей делать. — Нужно будет узнать, как тебя зовут.

Он включил свет в сенях, а кошка постояла ещё несколько секунд, безразлично подняла на него глаза и снова улеглась на крыльце.

— И ты меня, значит, невзлюбила. Ну, спи здесь, если хочешь, — сказал Дима и закрыл дверь.

Дом встретил его какой-то нежилой, зябкой атмосферой. Лёжа на своём диване, Дима вспоминал всегда сосредоточенное и неулыбчивое лицо матери и как за смехом, шутками и вкусной едой он ходил к тётке Тоне, которая даже ругала их с Витькой по-особому — весело и задорно.

Уснуть не получалось, он пошёл на кухню попить и выглянул в окно, за которым мыльный рассветный туман прятал сад и всё, что окружало дом. Потянуло на улицу, вдохнуть это стелящееся по земле облако, и он вышел.

Кошки на крыльце уже не оказалось, и Дмитрий пошёл мимо пустующего двора, где раньше жили корова и свинья, в сторону бани. Мать баню любила, но, как он знал, в последние годы своей не пользовалась, ходила париться к тётке, а на тёплое время года давно организовала себе летний душ. Подойдя поближе, он обнаружил, что у бани появилась аккуратная маленькая пристройка непонятного назначения. На двери пристройки висел большой навесной замок. Дима провёл рукой по притолоке, ключа не оказалось, он заглянул в баню, которая встретила его с детства знакомым запахом, теперь уже еле различимым. На лавках лежали разной длины доски, стоял пакет, набитый тряпьем, какие-то банки и куча прочего хлама. Он осмотрел все возможные места, где мог храниться ключ от пристройки, — там его не оказалось. Поискал в сенях и в доме, но так и не нашёл подходящего ключа и уже раздражённый этим бестолковым процессом приступил к поиску того, чем можно замок сорвать. В сенях на обычном месте висел топор, с ним Дмитрий и вернулся к злополучной двери. Сначала пытался сбить замок, что не получилось, и тогда он, рассердившись окончательно, начал рубить дверь в том месте, где к ней крепилась скоба, на которой замок висел.

Дверь не поддавалась, доски были толстыми, и Дима, всё больше распаляясь, уже бездумно колотил топором, стараясь попасть в одно место. Вскоре древесина раскрошилась, и ему удалось подцепить и выломать довольно большой кусок доски. Он принялся выбивать скобу и только тут увидел на доске с внутренней стороны какой-то рисунок. Уже ничего не понимая, он выколотил скобу и, распахнув дверь, обомлел — его взору предстала самая настоящая художественная мастерская, полностью расписанная изнутри красивым крупным орнаментом. На полках стояли банки с кистями, лежали

краски и аккуратные, подготовленные доски. На застеленном клеёнкой столе были разложены тюбики, кисти, тряпки, лежал картон, служивший палитрой, и две недописанные иконы. Дима сразу узнал манеру, в которой написана икона, стоявшая в доме. От недоумения он застыл на минуту, а потом сел на стоявший у стола стул, оглядывая всё вокруг. Из оцепенения его вывел какой-то звук, он увидел кошку, которая стояла на входе и едва слышно мяукала. Он позвал её, но она осталась на пороге, видимо, хозяйка не разрешала ей входить в мастерскую.

Усталый и опустошённый, Дима озирался по сторонам. Мать всегда неплохо рисовала, и раньше её часто просили делать стенгазеты, которые потом подолгу висели в сельсовете, это он хорошо помнил, но тут — совсем другое. Стены и даже потолок мастерской полностью покрыты красивой росписью: крупные округлые цветы и бутоны обрамлены в витиеватые стебли и листья разного размера, рисунок был не хаотичным, а упорядоченным и изящным. Он понял, что это народный мотив, но в стилях совершенно не разбирался и точно ничего определить не мог. Стало очевидным, что маленькое это помещение сначала было полностью расписано, и уже затем в нём появилась нехитрая мебель. Сквозь выломанную из двери полосу, как сквозь рваную рану, в мастерскую заглядывал аккуратный сад, в котором громко пели птицы. Туман рассеялся, и всё заливал белый солнечный свет раннего утра.

На стук в дверь долго никто не выходил, затем он услышал внутри голос и шаги, и в распахнувшемся наконец проёме перед ним предстала фигура Виктора в трусах и майке. Лицо у брата было удивлённым и заспанным, он сразу спросил:

— Здорово... Случилось чего?

Дима только сейчас осознал, что ещё совсем рано и по запертой двери можно было понять, что в доме спят. Он растерянно стоял, забыв всё, что хотел спросить.

— Мить, ты чё? — повторил Витя.

— Извини, как-то не сообразил, что вы ещё спите...

За спиной Виктора появилась тётка:

— Вы чего в дверях-то?! Митя, что это ты спозаранку? Поесть хочешь?

Он очнулся:

— Тётъ Тонь, Витёк, простите, что-то я забыл на часы посмотреть...

— Да ничего страшного, — отозвалась тётя, — нам уже всё равно скоро вставать нужно было. Что случилось-то?

— Я в саду нашёл какую-то мастерскую... Ничего не понимаю... И в доме икона есть такая же...

— А, вон что, — тётка смотрела на него тепло и участливо. — У нас тут лет шесть или семь назад поселилась женщина одна из Пскова. Художница, в советские времена шкатулки расписывала, а потом иконами начала заниматься. Катя с ней как-то сразу сошлась — в храме познакомились, и тоже увлеклась этим делом. Отец Серафим тогда церковь восстанавливать начал, а они поновляли старые иконы и новые писали. Спроси у батюшки нашего, он тебе покажет, какие её иконы в церкви висят. Художница из Пскова, Татьяна, всегда говорила, что у Катерины нашей большой талант! Татьяна эта в позапрошлом году умерла, а Катя решила мастерскую свою построить, и вон мои мужики ей сделали пристройку к бане. Она летом в мастерской работала, а когда холодало, в дом переезжала со своими художествами, но в доме ей не нравилось, говорила, красками пахнет и работает плохо — всё время на что-то отвлекаешься. А мастерскую свою очень любила! Она для тебя икону написала, в шкафу бельевом посмотри, там лежит. И у нас вон в углу её иконка, Серафим Саровский!

— А я-то почему об этом не знал ничего?!

— Так Катя говорила, придет — увидит, а по телефону что расскажешь?

— Ладно, пойду я, извините, что разбудил. Вить, ты, как сможешь, зайди ко мне, ладно? Мне помощь там твоя нужна...

— Ну, ты, братан, даёшь... — только и смог сказать Виктор, оглядывая

покалеченную дверь. — Ключи у тётки Кати в рабочем халате, он в сенях висит... и у нас есть, и у батюшки...

— Я искал, искал, голова очумелая совсем от недосыпа. Ну, вот и открыл, как сумел! Нужно теперь её восстановить. Новую доску не вставишь, орнамент нарушится, а тут щепок много выдолбилось. Что скажешь?

— Что говорить-то, ремонтировать надо... Я с отцом поговорю, когда он из райцентра приедет, картошку сдавать поехал... Мы с ним, когда тётке эту пристройку сделали, наутро приходим дверь навешивать, а она тут стоит в своём халате, вся в краске, довольная, разрисовала всё внутри за ночь... Батя потом сказал, что, кажется, до этого ни разу не видел, чтобы она улыбалась... Потом за пару дней всё раскрасила, и вот красота получилась какая!

Он действительно нашёл в шкафу среди белья завёрнутую в полотенце очень красивую икону Николая Чудотворца. Святой старик смотрел на него добрыми, живыми глазами. На обороте каллиграфически было выведено: “Моему сыну Мите на долгую память от мамы. Храни тебя Господь, сыночек”. Дима почувствовал, как по щекам потекли слёзы. Он даже не мог понять, из-за чего сейчас плачет, на душе было одновременно и тяжело, и очень хорошо.

Он завернул Чудотворца в полотенце, отнес в машину, затем сложил задние сидения и, уложив в багажник своего кроссовера дверь, которую они с Виктором сняли с петель, и пакет с выломанной доской и щепками, уехал. По дороге думал, как побыстрее найти мастерскую краснодеревщиков или реставраторов, которые смогут его дверь восстановить. Такие умельцы есть, сделают, будет, как новая!

Он очень любил ставший родным Санкт-Петербург и квартиру свою на Каменноостровском проспекте тоже. Из-за этой квартиры у них с Ирой при разводе развернулась целая битва! Битва, в которой он выиграл. Сейчас все семь часов дороги он думал почему-то именно об Ирине. О том, что тогда он подспудно знал, что обходится с ней непорядочно, стараясь не думать о том, что они вместе вставали на ноги и квартиру эту покупали вместе, но тогда ещё не будучи женатыми. Зарабатывал, конечно, в основном он, но не будь её, так ли удачно сложилась бы его карьера? И квартиру эту она нашла, и договаривалась со старыми владельцами, чтобы они взяли залог и подождали немного, пока они с Димой собирают недостающую сумму. И как поначалу часто они ходили гулять в Лопухинский сад. Квартиру он отсудил легко: покупалась она до официального брака, детей у них не было, а собственником значился Дмитрий, так что у Ирины почти не оставалось шансов.

Уже смеркалось, когда автомобиль Дмитрия въехал в Питер. Проезжая по знакомым улицам, он чувствовал себя так, будто давно здесь не бывал. Очень давно! Даже удивительно, неужели он и правда живёт в этом прекрасном городе?

Дверь он аккуратно положил на застеленный простыней ковер в гостиной и, поставив чайник, принялся осматривать её ранения и содержимое пакета с выломанной доской и щепками. Выпив чаю под бутерброды и с сожалением вспомнив об оставленных в деревне тёткиных пирожках и ватрушках, он набрал знакомый номер, по которому уже больше двух лет не звонил. Ира подошла почти сразу. Он не подготовил заранее никаких слов, поэтому в первый момент ему показалось, что не знает, что хочет сказать, но сразу понял, что это не так:

— Ир, привет!

— Здравствуй, Дима. Чего ты хочешь?

— Извини, ты не занята?

— Занята, еду на свидание... — с вызовом ответила ему бывшая жена. Он понял, что это камень в его огород.

— Что тебе нужно? — повторила вопрос Ирина.

— Ты знаешь, у меня мама умерла, — сказал он, поняв, что раньше никогда не называл свою мать мамой вслух.

— Сочувствую! Ты мне звонишь, чтобы это сообщить?

— Нет. Я пока ехал из Псковской области до Питера, думал о тебе. Точнее, о том, что некрасиво тогда с тобой обошёлся... Прости меня...

— А если не прошу, то что? Ты думаешь, что словом “прости” можно всё изменить?

— Нет, не думаю... Ир, я выплачу тебе половину стоимости этой квартиры.

— Этой квартиры?!

— Нашей квартиры... Помогу купить новую, где захочешь, если будет нужно больше денег — дам больше!

На другом конце провода затаилось молчание, потом ему послышался звук похожий на приглушённое бульканье, и Дима понял, что она плачет.

— Мне нужно припарковаться, а то сейчас въеду в кого-нибудь.

— Ты, может, заедешь, если недалеко от дома?

Он знал, что она тоже очень любила этот район, и после развода переехала недалеко на съёмную квартиру.

— Я в районе Большой Монетной.

— Приезжай, это не телефонный разговор.

Через двадцать минут Ира сидела с чашкой кофе и смотрела на дверь, лежащую на полу.

— Это что ж такое тут у тебя? От чего дверь?

— Долго рассказывать, я её испортил, теперь нужно восстановить. Завтра буду искать мастерскую.

— А с тобой что произошло?

— В каком смысле?

— В прямом... Что-то я тебя и узнаю, и нет!

— Просто давно не виделись и не общались...

— Нет, дело не в этом!

Вместо ответа он подал ей сверток:

— Вот, смотри...

Ира развернула полотенце:

— Красивая икона! Откуда это? Из деревни привёз?

— Переверни...

— погоди! Её что, мама твоя написала?!

— Да. Я ведь не ездил давно, ты знаешь... А оказалось, что она уже несколько лет, как увлеклась иконописью, говорят, что у неё настоящий талант. В местной церкви её иконы висят. Дверь эта от её мастерской, я сломал! Дурак... Привёз на реставрацию, нужно до девяти дней её привести в порядок и на место поставить. Возвращаясь к квартире — я, пока ехал, всё обдумал. У тебя ведь подруга была, риэлтор, ты с ней как, общаешься ещё? Пусть она оценит эту квартиру и подберёт тебе подходящий вариант. Ты ведь, наверное, не захочешь в другой район уезжать, так что здесь это будет однушка... Я её оплачу. Если своих денег не хватит, найду ещё. Продам кое-что, кредит возьму. Не переживай об этом, короче! Займись, ладно?

— Конечно, займусь! С удовольствием... Ты с домом-то деревенским что будешь делать?

— Дом я оставляю, Ир.

— Для дачи далекоовато.

— Я пока не знаю ничего, но понял, что дом продать не смогу. Он мой! Вот квартира эта не моя, она наша с тобой, а дом — мой... Там кошка живёт, тоже моя, очень умная и меня пока недолюбливает, но я думаю, это временно!

Он засмеялся. Впервые за долгое время ему было легко. Засмеялся и сам этому удивился.

Выходя из квартиры уже глубокой ночью, Ирина обернулась:

— Спасибо!

— Да пока не за что...

— Нет, не за квартиру, а за то, что ты сегодня вернул мне веру в человека, для меня это важно!

— Мне кажется, для меня это важнее... Так что тебе спасибо!

Дверь он восстановил сам. Смотрел в интернете видеоуроки, читал советы опытных мастеров и рукастых любителей, сделал массу нужных и ненужных покупок в строительных магазинах, научился орудовать пинцетом и кисточками, когда клеивал и подкрашивал самые мелкие щепки, почти не ел и не спал.

Николай Чудотворец стоял всё это время на полке рядом с книгами и внимательно наблюдал за процессом. Дима привык с ним разговаривать.

Родственники обещали закрыть дверной проём чем-нибудь и ждали его с отремонтированной дверью. На шестой день Дима выехал в обратном направлении, увозя в багажнике аккуратно завернутую в простыню обновлённую дверь. Была она хоть и не как новая, но чтобы найти места, где ещё недавно торчали зазубренные края, теперь нужно было присмотреться.

Помимо городских гостинцев для родных, вёз Дима и консервы для кошки, и новый противоблошиный ошейник, ноутбук и документы для работы, оборудование для подключения интернета в доме, продукты и кофе.

Святой Николай тоже ехал с ним.

ЮЛИЯ ЖУРАВСКАЯ



ЖАЖДА ЖИЗНИ

РАССКАЗ

Ташкент в начале апреля совершенно не то, что Ташкент в июле или, скажем, в сентябре. Уже основательно умытый весенними дождями, но ещё не утомлённый палящим зноем, город приходил в себя после периода застоя, оживал и прихорашивался, как сказочная пери. Облачился в бело-розовые одежды, сотканые из цветов урюка и миндаля; заблагоухал ароматом цветущей сирени; весело подмигивал горожанам расцветающими бутонами ярких тюльпанов; обмахивался, как веером, тёплым ветерком. Словом, зажил радостной, любвеобильной весенней жизнью.

Сидя на скамейке в центральном парке, Оля увлечённо дочитывала книгу о нелёгкой судьбе гениального Ван Гога. Как непросто сложилась его жизнь и как обидно, что признание таланта и всемирная слава пришли к нему после смерти. Но родился бы гений, если бы жизнь его была иной, — радостной и счастливой? Сам Ван Гог ответил на этот вопрос так: “Человек приходит в мир не для того, чтобы прожить жизнь счастливо, даже не для того, чтобы прожить её честно. Он приходит в мир для того, чтобы создать нечто великое для всего общества, для того, чтобы достичь душевной высоты и подняться над пошлостью существования почти всех своих собратьев”. Свою миссию он выполнил, подарив человечеству сотни рукотворных шедевров. Но об этом, увы, узнать ему было не суждено.

Нотка грусти, возникшая после прочтения книги, резко контрастировала с мажорной мелодией этого солнечного дня. Жизнь текла, как вода в ары-

ЖУРАВСКАЯ Юлия Владимировна родилась в 1981 году в Заравшане. Окончила Ташкентский финансовый институт. Работала в китайской фирме “Хуавэй”. Повышала квалификацию в Гавайском университете. Окончила в Москве французский колледж при МГУ. Работает в чешской юридической компании. Живёт в Москве. Данная публикация — дебют.

ке, — спокойно и неторопливо. Ни малейших признаков потрясений, необходимости выживать, просить помощи, бороться не было в атмосфере этого субботнего дня.

Будто в подтверждение её размышлений пятнистая кошка, постоялица из кафе неподалёку, подошла к скамейке, жмурясь от лучей по-весеннему тёплого, но ещё не обжигающего солнца. Замурлыкала. Мол, да, жаль бедолагу Винсента, но жизнь многоцветна и удивительна, как его картины. Погладив доверчивую кошку, Оля закрыла прочитанную книгу и, положив её в пакет, поспешила в гости к человеку, который ждал её ровно в два часа дня и ни минутой позже.

Елизавета Васильевна была слепа много лет. Похоронив когда-то одного за другим двух своих сыновей, она согнулась под гнётом горя, но не сдалась. Сохранила высокую причёску, статную осанку, а главное — интерес к жизни. Соседи не оставляли её без внимания и заботы. Азиза с первого этажа часто угощала горячим свежеприготовленным пловом. Нина Ивановна с третьего заходила поболтать, приносила ватрушки к чаю. Бывшая супруга покойного старшего сына помогла организовать социальную службу, так что с покупкой продуктов и уборкой раз в неделю вопрос был решён. А полгода назад привела к ней девушку, чтоб познакомиться и помочь обeim. Студентке Оленьке, снимавшей у бывшей невестки комнату, нужны были материалы для статьи о героях труда, переживших войну. Елизавете Васильевне, герою труда, — общение и такая редкая возможность поделиться воспоминаниями.

Их общение продолжилось и после того, как статья была написана и прочитана в торжественной обстановке. Оля, волнуясь, выдерживая паузы, громко читала написанный ею текст, а героиня её статьи, благоухая ароматом “Красной Москвы”, царственно кивала головой в такт каждой прозвучавшей фразе. После, погладив Оленьку по лицу, попросила приходить, когда будет возможность. Та с радостью согласилась. Внимая интересным рассказам бывшего искусствоведа, Оля удивлялась тому, как остра была память этой уже очень пожилой женщины. Без малейшей подготовки, явно затруднительной ввиду слепоты, Елизавета Васильевна, подобно фокуснику, вытаскивающему кролика из шляпы, выуживала из памяти занятные факты из биографии художников.

Особенно она любила Ван Гога. Репродукция его знаменитых “Ирисов”, размещённая в коридоре над небольшим зеркалом напротив входной двери, распахнутым сиреневым окном встречала каждого гостя, приглашая шагнуть внутрь в пространство света, цвета и книг. В богатой библиотеке хозяйки квартиры книги по искусству соседствовали с классикой русской и мировой литературы. Оля сначала просто смотрела на всё это великолепие, а потом, получив разрешение хозяйки, стала изредка брать по одной книге. Несмотря на разделяющие их десятилетия, во взаимоотношениях двух женщин царили понимание и взаимный интерес. О Ван Гоге они говорили совсем недавно. Узнав, что книгу Ирвинга Стоуна Оля не читала, Елизавета Васильевна настоятельно порекомендовала почитать её, добавив, что это яркая иллюстрация того, как истинное желание помогает двигаться вперёд, несмотря ни на какие препятствия, и как порой неожиданно складывается и заканчивается жизнь.

Чтобы не идти в гости с пустыми руками, она купила на углу дома пару горячих свежееиспечённых лепешек, которые весёлый, белозубый узбек завернул в газету. Положила их в пакет с прочитанной книгой и поспешила к подъезду. Часы её показывали без пяти два, а Елизавета Васильевна опозданий не любила.

Поднимаясь по лестнице на четвёртый этаж, она услышала торопливые шаги позади. Чуть сдвинувшись в сторону, чтобы уступить дорогу бежавшему торопыге, вдруг ощутила, как стальной хваткой кто-то сжал её шею, перекрывая кислород. Резко развернувшись и всё ещё ощущая железный хват на горле, Оля на долю секунды провалилась в совершенно чёрную пропасть безумных глаз душителя, очень молодого, сильного парня. Но в то же мгновение пронизавшая её живая, спасительная мысль о том, как обидно умирать,

проучившись так много лет, но не создав ещё ничего великого для общества, о чём так истово и страстно писал Ван Гог, в одно мгновение превратила её из растерянной девушки в разъярённого тигра.

Ударив душителя по рукам и пнув ногой в живот, она заехала ему по голове пакетом с лепёшками и книгой. Скрючившись, он рванул вниз по лестнице, а она — за ним, тяжёлым молотом обрушивая единственное своё орудие на спину убегающего маньяка-неудачника. Обещания поймать и убить, летевшие вслед, явно придали скорости безумному парню. Он пулей вылетел из подъезда и рванул прочь.

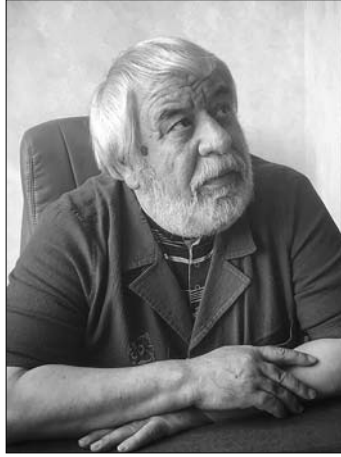
Догонять его она не стала. Решила, что в следующий раз этот урод пять раз подумает, прежде чем на кого-то напасть. И, хотя подобный вывод был спорным в силу сомнительной возможности душевнобольных людей здраво размышлять и делать выводы, ей от этой мысли стало немного легче.

Остановившись и выдохнув, она с некоторым удивлением оглянулась вокруг. Ничего не изменилось. Весело чирикали пригретые солнцем воробьи, слышался гул проезжающих по дороге за домом автомобилей. Лёгкий ветерок, коснувшись её лица и волос, устремился в сторону цветущего неподалёку миндаля. Какая-то тень, по очертаниям похожая на человека в шляпе, упала на дерево. И, вместе с почудившимся ей силуэтом Ван Гога, нотка безумия только что произошедшего ворвалась в этот безоблачный мирный день.

Вернувшись к подъезду и взлетев по лестнице на четвёртый этаж, она, прежде чем позвонить в дверь, заглянула в пакет. Хлеб был безвозвратно испорчен и раскрошен, но утки на пруду в парке будут ему рады. А книга? Книга уцелела. Полоска вмятины, желобком подчеркнувшая название “Жажда жизни”, как бы акцентировала жизнеутверждающую идею.

“Не стоит предаваться сожалениям и опускать руки — так далеко не уйдёшь; важно одно — пробиваться, идти вперёд”. Винсент Ван Гог.

МАГОМЕД АХМЕДОВ



ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ

*Из стихов, написанных
в Михайловском*

1

День мгновенен, ночь ещё мгновенней...
И бессонной ночью, в полутьме,
Среди всех стремлений и прозрений
Детство возвращается ко мне.

Там мои мечты, мои печали,
Там рассветы так же золоты,
Хоть давно цветы повыврастали,
Где мои оставлены следы.

Гонода́ моё теперь далёко —
К Пушкину из горного села,
Под его пророческое око
И меня тропинка привела.

Я стою, испуганный немножко,
Тень моя — у пушкинских дверей.

АХМЕДОВ Магомед Ахмедович родился в 1955 году в селении Гонода Гунибского района Дагестанской АССР. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (поэтический семинар Ал. Михайлова). Народный поэт Республики Дагестан, переводчик, критик и публицист. Пишет на аварском и русском языках. Член Союза писателей СССР с 1984 года. Лауреат Государственной премии Республики Дагестан, премии “Золотой Дельвиг”, Международной премии имени Расула Гамзатова, премии Н. С. Лескова, премии М. Ю. Лермонтова. Председатель Правления СП Республики Дагестан. Живет в Махачкале.

И всё вижу — светится окошко
В старой сакле матери моей.

Золотые множатся узоры,
Сквозь молчанье — звуков череда...
Будто слышат Пушкинские горы
Крик орлов в ауле Гонода.

2

Спешу домой... Тропа бежит сутуло,
Звезда в ночи почти полуслепа.
Всё думаю: к отцовскому аулу
Не зарастёт народная тропа.

Струит родник свой голос журавлиный,
Крута вершина... Искры над ней.
В родных краях и люди, как вершины,
И горы так похожи на людей!

3

На Пушкинской тропе следы Расула,
След Пушкина... Расулова тропа....
Родство прозрений время подчеркнуло —
О нет, природа вовсе не слепа.

У гениев особые просторы,
Особый клич, свой путь среди путей.
С любовью смотрят Пушкинские горы
На горы гордой Родины моей.

Пусть Муза ждёт торжественного часа,
Пускай строка даётся тяжело,
Но Пушкинской горе средь гор Кавказа
Уютно... И спокойно... И светло...

4

Чем дальше от аула нахожусь,
Тем мне аул дороже и роднее.
Быть может, я словами не сумею
Всё рассказать... Да я и не берусь.

Я просто вспоминаю родники,
Тропинки... На отвесных скалах — гнёзда.
Звезду над саклей... Терпкий горный воздух...
Что так близки, хоть нынче — далеки.

В любом краю мне хочется домой,
В Михайловском я нынче тоже дома.
Бурлят в крови и Слово, и истома:
Я — дома!.. Я здесь вовсе не чужой!

5

Живу, вовек Отчизны не виня,
И пусть она неласкова со мною,
Жизнь измеряю пушкинской строкою
Да пулей, что пронзила и меня.

О, этот мир пленительных словес,
В котором ни конца и ни начала!
Ведь с Пушкиным и вечность воевала,
Но Пушкин жив... А где теперь Дантес?

Его потомки целятся опять
Во всех, кто озарён огнём прозренья...
В истории бывают повторенья,
Иным Дантесам жаждется стрелять.

Но не берёт поэтов липкий страх,
Смешны им ненавидящие взоры!
Я — горец, мне всего дороже горы,
Поётся мне на Пушкинских горах.

*Перевёл с аварского
Анатолий АВРУТИН*

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА



“КАРОТИНКА”

РАССКАЗ

Лёха не спеша возвращался с работы домой. Ему оставалось пройти до дома пол-улицы и переулок, как вдруг яркий оранжевый предмет у ворот дома номер двадцать пять по улице Свободной привлёк его рассеянное в предвкушении выходных внимание.

— О! Надо завернуть: Михалыч никак техосмотр свой самоездящей “морковке” делает.

Ноги сами понесли Леху к двадцать пятому дому.

“Фиат” тысяча девятьсот девяносто второго года выпуска — Лёхин ровесник — стоял за воротами гаража. Зачем это ранее изрядно побегавшее по заграничным дорогам чудо техники оранжевого цвета приобреталось пятнадцать лет назад, не знал даже сам Михалыч. Лёха подозревал, что автомобиль был поспешно куплен на заначку с премии, чтобы внезапно объявившиеся денежные излишки не утекли в общий семейный котёл. Водитель из Михалыча был так себе, даже супруга боялась садиться рядом с ним. “Пешочком пройду, тут недалеко”, — обычно отговаривалась она.

Первые пару лет по субботам “Фиат”, управляемый хозяином, с рёвом вырывался из ворот на рынок и возвращался тяжело нагруженный мешками капусты, морковки, картошки, коим рачительная супруга Михалыча Зинаида Степановна быстро находила применение. Потом оранжевые бока “Фиата” отсвечивали в лужах улицы Свободной всё реже и реже и, наконец, с отъездом Зинаиды Степановны в город к дочери, заперлись в уединении в гараже.

ИВАНОВА Людмила Юрьевна родилась и выросла в Москве. В 1992 году закончила Московский институт геодезии, аэрофотосъёмки и картографии (МИИГАиК) по специальности “инженер-картограф”. Работает по специальности. Имеет дополнительное художественное образование, принимала участие в международных выставках. Данная публикация — дебют.

Михалыч в город не рвался. “Чего я там не видал? Одни стены. В лес за грибами — на двух автобусах час езды в одну сторону. На рыбалку не сходить прямо сразу, чтобы сапоги надел и пошёл. На крыльце вечером не посидеть.... Ограничение какое-то в правах трудящихся!”

Между тем дочка Светочка умудрилась, при обеспечении надёжного тыла в лице Зинаиды Степановны, построить головокружительную карьеру (вот тебе и поселковая школа!) сначала в городском филиале российско-французского банка, а затем и в областном офисе. В прошлом году всей семьёй — с мужем и сыном Кирюшкой — по контракту во Францию на три года уехала, видимо, слабоваты французы стали в воспитании собственных кадров. И маманьку с собой прихватила. А там, кто знает, и гражданство получит, и останется в этой Франции....

“Карлсон улетел. Но обещал вернуться”, — отшучивался Михалыч от традиционного соседского любопытства по поводу возвращения блудной супруги. Холостяковал Михалыч уже лет пять, если считать с момента отъезда Зинаиды Степановны. Лёха всегда удивлялся этой странной паре: крупная, статная, по-деревенски хватистая Степановна, находящая практическое применение любому предмету, попавшему к ней в руки, и мелкий ростом, работящий, но излишне мечтательный Михалыч. Если бы не Светка-разлучница, так и годовали бы они, такие разные, и дальше вместе.

Длительное отсутствие супруги никак не сказалось на порядке в доме Михалыча, у которого любой ржавый гвоздь имел своё строго отведённое место. Готовить просто, но сытно и вкусно, Михалыч научился на флоте, где честно отслужил положенные три года. Оставшись один, Михалыч весь огород не засаживал: так, пару грядок того-сего, помидорчики-огурчики, картошечка. Кур пяток держал, козу для молока своего... Много ли надо на пенсии человеку, привыкшему работать на земле?

“Фиат” также неспешно доживал свою жизнь вместе с хозяином. Зимой в гараже, летом выкатывался погреться на солнышке. Вот и сейчас Михалыч стоял у поднятой крышки капота и вглядывался в хитросплетения проводов.

— Здорово, Михалыч!

— Лёха, ты, что ли? — Михалыч обошел кузов. — Не разгляжу без очков.

— Он самый. Вот домой иду после смены. Гляжу, ты тут копошишься. Решил завернуть.

— Вовремя я решил “каротинку” свою выкатить, — обрадовался Михалыч. — Вот скажи мне, почему двери задние у неё не открываются?

— Сейчас проверим. — Лёха шагнул к машине и нажал на ручку. — Где не открываются? Всё работает.

— А другая?

Лёха обошёл “каротинку”.

— И другая прекрасно открывается.

— А ты сядь внутрь. — Михалыч услужливо распахнул дверь пошире. — И потом выйди.

Лёха втиснулся на заднее сиденье и хлопнул дверью.

— Потихе хлопай, сломается — не тебе ремонтировать! — возмутился небрежным отношением к своей собственности Михалыч.

Половину заднего сидения занимал какой-то матрасик и скомканный плед.

— Теперь выходи давай!

С первого раза дверца открываться не хотела.

— Та-а-а-к... — Лёха вспомнил, что на той неделе он с женой ездил в магазин: диван выбирать. Любка, как всегда, рядом, а сын на заднем сидении. Чтобы этот шилопоп не вывалился случайно из машины по дороге, Лёха заблокировал дверь кнопкой на торце: открыть можно, но только снаружи. Так и есть — такой же блок стоит. Щёлкнул в обратную сторону — готово.

— Как это у тебя получилось? — засуетился Михалыч. — Я уже полчаса голову ломаю, в сервис собрался ехать.

— Михалыч, признавайся, кого возил на заднем?

— Никого. Нет, вру, Барсика к ветеринару.
— Он ещё жив? — удивился Лёха. — Я думал, он давно помер.
— Жил бы у тебя, может, и помер бы. А у меня жив-здоров и ещё столько проживёт.

— К ветеринару-то зачем ездил?

— Прививку от бешенства ставил. Вот, гляди, — Михалыч вытащил районную газету “Краснознаменский вестник”. — Читай, на четвёртой странице внизу.

— “В Заречном районе объявлен карантин по бешенству. Местные жители несколько раз наблюдали лис, разгуливающих днём по посёлку...” Так Заречный район от нас километров пятьдесят будет. Далеко. Барсик твой до тех лис не доберётся.

— Но-но! — возмутился Михалыч. — Он у меня знаешь какой: сам не съест, всё в дом несёт. И бешенство принести запросто может.

— Хочешь сказать, что твой пёс — спортсмен по бегу на дальние расстояния? Сколько ему лет?

— Всего четырнадцать.

— “Всего?” Для собаки это много!

— Ничего не много! Он из семьи долгожителей: его мамаша, Белка, почти двадцать прожила.

— Ну хорошо, — сдался Лёха, — Барсик жив-здоров-привит. Дверь ты сам, наверное, и закрыл, чтобы Барсик не выпрыгнул?

— Точно, — хлопнул по лбу Михалыч. — Вот мозги куриные, запомнотавал! Хорошо, что ты зашёл. В сервисе бы тысячу отдал, не меньше, а делов — на пять копеек! Подожди, не уходи.

Михалыч метнулся в дом. Лёха закрыл капот и разложил выданную Михалычем газету. Под статьёй о бешенстве мелким курсивом было набрано: “Творчество наших читателей”. Лёха припомнил, что Михалыч как-то хвастался, что его публикуют в “районке”, и повнимательнее взглянул на раздел с “творчеством”.

Гражданка Курошлёпова А. В. воспевала местное животноводство на японский манер:

*Медленно идут коровы
По зелёному полю.
Вечер.*

“Посмотрел бы я, какой штраф за потраву вкатили бы поэтессе этой с “коровами на поле”! Такое впечатление, что её фамилия раньше начиналась с буквы “Д”! — даже недостаточно тонкая Лёхина натура протестовала против нерационального подхода в сельском хозяйстве.

Вернувшийся Михалыч притащил блюдце с криво нарезанными ломтями колбасы, банку солёных огурцов, две стопки и полбутылки самогона. Откуда-то из-за сарая неспешно, как и полагается ветеранам охраны, вышел Барсик-Джувльбарс (“мама — овчарка, папа — подлец”). Джувльбарс подошёл к Лёхе, обнюхал его, потом отправился к машине, поставил передние лапы на колесо “Фиата” и бодро заводил носом. Пару раз повернул голову то в сторону гостя, то в сторону манящего колбасного запаха, оценивая, стоит ли надеяться на угощение. Решив, что подождать стоит, Джувльбарс улёгся на траву рядом с импровизированным столом, чтобы упавшая ненароком вкуснятина оказалась сразу в пределах досягаемости, и тут же захрапел.

Пока Михалыч разливал “по первой”, Лёха добрался до следующего “творца” — Сомова Николая Гавриловича из деревни Нижние Беляши ин-тересовала поэтическая кухня.

— Лёха, ты чего в газету уставился? — Михалыч уже держал в руке стопку. — Давай, за благополучно закончившийся ремонт!

— Давай! — Лёха потянулся за огурцом. — Эх, хорошо пошла! Смори, что в газете твоей напечатано: “Поэты пишут про это, прозаик пишет про заек...” А ты, случайно, не пишешь “про это”?

— Нет, не пишу.

— А почему?

— Я как-то стесняюсь: возраст не тот.

— Забей! Сейчас всё просто: псевдоним себе придумал и кропай стишки. Никто и не узнает, что это ты.

— Молодёжь пусть пишет, ей тема ближе.

— И про что же ты ваяешь?

— Про НЛО, — скромно сказал Михалыч.

Рука Лёхи замерла на полпути ко рту.

— Да ну! — восхищённо выдохнул Лёха. — Как они нас посещают?

— Нет, как я — их.

Огурец скользнул на капот, покатился к краю, оставляя рассольный след. Михалыч растянулся на нагретом железе своей “каротинки” и ловко ухватил беглеца за хвостик.

— И часто ты там бываешь?

— Не так уж часто, как хотелось бы. — Михалыч выглядел несколько расстроенным. — Раза три всего был. То супруга мешала, талдычила, мол, делом пора заняться, а не в небо пялиться. То настроение не то, контакта нет, сигнал сбивается. Знаешь, когда контакт лучше всего проходит? Когда молния шарахнет! Прямой посыл к действию нужен.

— Не, я такие крайности не приветствую! Молнией... — Лёха поёжился. — У меня Любка посылком работает. Уж пошлёт, так пошлёт. И шарахнуть тоже может тяжёлым, если не сделаю то, что её душенька запланировала. — Лёха посмотрел на часы. — На сегодня она запланировала Митяя к моей матери отправить с ночёвкой, а мы к её дядьке на юбилей с утречка в Петровку махнем. Так что, Михалыч, извини, мне пора.

— Подожди, — засуетился Михалыч. — Я за руль сяду, а ты сзади подтолкни: в гараж мою “ласточку” загоним. К вечеру дождик обещали: промокнет, ржаветь начнёт...

— Твоей “ласточке” не в гараж надо, а на металлолом. На запчасти никто не возьмёт. Двадцать семь лет драндулету!

— Ты, это, полегче! Там один металл какой, толщина какая — броня! Не то что современные жестянки: пузом царашнул, считай, дырка обеспечена. На моём “Фиатике” ещё внуки ездить будут!

— Верю, верю про внуков, с тебя станется всякий хлам сберечь, — Лёха отряхнул пыль со штанов, простился и зашагал с сторону своего дома.

Оставшись наедине со своим сокровищем, Михалыч достал со стеллажа бутылку полироли с надписью “От царашин”, плеснул на мягкую тряпочку немного её содержимого и пару раз прошёлся по капоту.

— Сейчас мы с тобой красоту наведём, и завтра в город поедем, — приговаривал Михалыч, любуясь блестящими искорками на металле “ласточки”. — Поспим и поедем. Ночь, она быстро пройдёт.

К редким поездкам в город — “нечего зря бензин тратить!” — Михалыч готовился основательно: составлял подробный список покупок, в багажник загружал коробки и корзинки для негабаритных предстоящих приобретений. Под ноги, где заднее сидение, клал веник — обметать пыль, чтобы городскую грязь в дом не тащить.

Сегодня Михалыч планировал заехать в Пенсионный фонд, разузнать насчёт давно обещанного перерасчёта пенсии. Вчера вечером Михалыч отпарил извлечённый из шкафа костюм, купленный ещё по талонам давно покойной тещей, начистил ботинки. Белую рубашку решил не надевать — не праздник же, и в полосочку сойдёт. Да и на обратном пути к рынку у автостанции заехать надо: цыплят десяток прикупить. За лето как раз подрастут, если коршун не потаскает, а старых кур — того, в суп сгодятся, пока совсем жилистыми не стали. Под это дело Михалыч и клетку почистил, на заднее сидение забросил, чтобы сразу взять — и готово.

Пенсионный фонд оказался закрытым. Остальные запланированные дела пошли гладко: закупился продуктами на центральном рынке; заглянул в оптику — выбрал очки по сильнее — совсем зрение упало; зашёл в хозяйственный за леской для триммера плюс полюбовался на ножи в частном

отделе — не прикупить ли в коллекцию, отложил на следующий раз; долго просидел в парикмахерской — пока подождал, пока постригли. Часы показывали начало пятого, когда Михалыч затормозил у автостанции, намереваясь идти за цыплятами.

Возле уличного табло с рейсами пригородных автобусов стояла молодая женщина. На скамейке сидела рыженькая девочка лет пяти. Большой туристический рюкзак стоял возле её ног, маленький детский рюкзачок лежал сверху. Больше на автостанции никого не было.

Михалыч по диагонали пересёк разворотную площадку автобусов и зашагал к рынку. Продавцы уже начали собираться: убирать раскладные столы, рассовывать клетки с живностью по открытым багажникам машин. Торговец от птицефабрики уже сидел за рулём своей “Газели”, когда Михалыч добрался до него.

— Какой десяток: всех давай забирай! Куда я тебе семь штук оставшихся деню: возить туда-сюда буду? — водитель выставил клетку с пищущими жёлтыми птенцами на металлический прилавок.

— Зачем мне одному столько? У меня лишних денег нет.

— Скидку сделаю. Только заberi. Передохнут ведь от ежедневного катания. А так, может, выживут у тебя.

Волшебное слово “скидка” несколько затмило разум Михалыча, и опомнился он, когда “Газель” скрылась за поворотом.

— И корма в два раза больше этим оглодам теперь нужно закупить. Золотые курята выйдут! — бурчал Михалыч, возвращаясь к припаркованной “каротинке”. В одной руке он нёс клетку с цыплятами, через плечо у него свисали связанные между собой сетки с пакетами комбикорма.

На автостанции всё так же было пусто. Молодая женщина что-то спрашивала в окошке кассы, девочка прыгала на одной ножке по цементным плиткам вокруг скамейки.

— Тут пусть полежат, пока машину подгоню, — Михалыч скинул с плеча сетки на соседнюю лавочку и развернулся в сторону парковки.

— Дедушка, добрый день! — раздалось за спиной. — Вы местный?

— Здешний, а что? — Михалыч повернулся.

Женщина подошла поближе. “Девчонка почти, не старше моей Светки, и фигурка у неё ничего...” — оценил Михалыч.

— Вы не подскажете, как нам до Поповки добраться? В расписании написано, что автобус должен в 16.30 пойти, а его отменили — сломался, говорят. И завтра не пойдёт: он всего один на маршруте.

— До Поповки... — Михалыч задумался. — А вам к кому надо?

Женщина немного смутилась.

— Если честно, ни к кому. Я вот объявление в местной газете прочитала: сдаётся пристройка к дому, с отдельным входом. Хотела посмотреть съездить, если понравится — сразу и снять. А теперь даже не знаю, что делать: сами мы только утром приехали, никого здесь не знаем. У вас тут есть какая-нибудь гостиница?

— Должна быть. Сейчас в городах чего только нет. — Михалыч задумался. — Помню, раньше на Большевистской была от “Сельхозтехники”.

Женщина достала телефон.

— Большевистская... “Закрыта на реконструкцию”. Посмотрим, что ещё есть... “Боярин-хаус” предлагает... Цены тут для бояр, не иначе. “Лукоморье”: отдельные коттеджи в сосновом лесу... Сейчас узнаем, можно ли на два дня снять...

Пальцы женщины забегали по клавиатуре. Девочка подошла к маме поближе.

— Здравствуйте. Это “Лукоморье”? Можно у вас забронировать номер на два дня? Да, с сегодняшнего. Так... А что-то ещё вы можете предложить? Спасибо, нам не подходит. До свидания.

— Эх, Маруся! Придётся нам на вокзале ночевать. Корпоратив врачей у них там, мест нет. Давай надевай свой рюкзак и пойдём.

Девочка уже стояла с рюкзаком за плечами.

— Эй, подождите! Маруся, как ты смотришь насчёт переночевать у дедушки в деревне? Вы не волнуйтесь, я один сейчас живу, — обратился Михалыч к старшей пассажирке. — В доме переночуете, а завтра я вас до Поповки доведу. Сегодня никак: цыплят надо обустроить, кур загнать, да и Маруську вечером подоить надо.

— Маруську? — удивилась девочка. — Это ваша корова?

— Козу у меня так зовут. Беленькая такая. Тёзка твоя, считай.

— Мама, можно? Давай на мою тёзку заедем посмотрим?

Женщина в нерешительности водила пальцем по ребру телефона.

— Соглашайтесь быстрее. Скоро темнеть начнёт, а по местной трассе в темноте ездить нельзя — колеса пропорешь. Губернатор наш который год обещает отремонтировать, но, видно, проще в городе что-нибудь в очередной раз раскопать и заасфальтировать, чем технику в район выслать.

К дому подъехали почти в сумерках. За оградой пару раз лениво гавкнул Барсик, но учуял хозяина и смолк.

— Приехали, можно выходить. — Михалыч вытащил из багажника клетку. — Я пойду цыплят в загончик высажу, покормлю, водички свежей налью. А ты, Катерина, в дом заходи, располагайся. Выключатель справа от двери, сразу как войдёшь. Этого пустобрёха не бойся: он видел, что ты со мной приехала, значит — своя, не тронет. В дальней комнате кровать застелем и Марусю твою перенесём, не будем будить, пусть спит.

Михалыч скрылся в сарае. Катерина, решив не вытаскивать вещи, чтобы Маруся невзначай не проснулась, аккуратно закрыла дверцу автомобиля и, откинув проволочное кольцо со штaketины калитки, зашла в палисадник. От забора до крыльца весь путь уложился в десять шагов. Катя посмотрела вверх: над головой разгорался Млечный Путь, чёткой полосой, словно на дворе был август. “Почти как у бабушки в детстве... Если сейчас мне удастся отыскать Полярную звезду, всё будет хорошо”, — загадала Катерина. Большую Медведицу она отыскала сразу, а место на небосклоне, где должна по расчётам находиться Малая Медведица, было скрыто облаками. Но как раз на пятом отмеряемом от ковша расстоянии внезапно подул ветерок, небо расчистилось, и ярким бриллиантом сверкнула загаданная на счастье звезда. “Всё будет хорошо...” — Катя толкнула входную дверь и щёлкнула выключателем.

Хозяин задерживался. Катерина обнаружила несколько яиц в плетёной корзинке на кухонном столе у плиты. В плите обнаружилась чутунная сковорода, на полке за занавеской — бутылка подсолнечного масла и солонка. На стенке возле печки висела связка лука. Когда Михалыч зашёл с банкой молока на кухню, на плите уже шкворчала яичница.

— Василий Михайлович, я тут немного похозяйничала, — извинилась за самоуправство гостя. — Вы не переживайте, я завтра перед отъездом в магазин забегу, куплю яиц. А то неудобно получается: я ваши запасы разбазарила.

Михалыч достал марлю, ловко накинул на горлышко чистой, взятой с полки банки, процедил принесённое молоко и выставил на стол.

— Не сочиняй ерунды — “разбазарила”, не обедняю от пары яиц. Сейчас Маруську твою перенесём на кровать, потом и ужинать сядем.

Михалыч зашлёпал в проходную комнату к комоду.

— Вот тебе бельё, иди застилай там в комнате, а я пойду принесу девку.

В дальней комнате было чисто, прибрано, но ощущалось, что сам хозяин заходит сюда редко. На стене в общей рамке висели чёрно-белые фотографии каких-то родных — мужчин и женщин — и цветные какой-то девушки, похожей на хозяина. “Дочка, наверное”, — решила Катерина, закинув одеяло в старомодную квадратную прорезь пододеяльника. Бельё было белое, ничуть не пожелтевшее от времени, похрустывало от крахмала. Катя даже прижала наволочку к лицу, чтобы убедиться, что крахмал настоящий.

— Спит твоё сокровище, — в дверях появился Михалыч со спящей Марусей на руках, подошёл к Катерине и бережно положил девочку на разобранную кровать. — Раздевай ребёнка, укладывай, как тебе надо. Вещи ва-

ши я на терраску занёс — забирай, обустройвайся сама и приходи ужинать, пока всё горячее.

Пока Катя укладывала дочку, Михалыч выставил на стол огурцы, дорезал остатки колбасы, крупными ломтями — “к себе” — нарезал хлеб, достал кружки под молоко. Скромно, конечно, но голодными не останемся. С утречка картошечки пожарим с салцем, посытнее будет. Початую бутылку самогона решил не доставать, а то подумает — алкоголик.

В кухню вернулась Катя. Она успела переодеться в лёгкий спортивный костюм и явно ополоснуться от дорожной пыли под уличным краном, который Михалыч использовал для полива. Слегка влажные волосы Катерина стянула резинкой в хвостик. “Вот я дурак: не сказал, что бойлер есть в доме, и тёплый душ за терраской выведен”.

— Садись, давай, путешественница! Остыло уже.

За день оба проголодались, поэтому ужинали без разговоров.

— Какие вкусные у вас огурцы! Сами солите?

— Сам, кто же ещё.

— Я больше солёные люблю, не маринованные. Бабушка маринованные не жаловала, и свои только в бочке солила. А я ей помогала, как могла: смородину, укроп, воду таскала... Она по рецепту своей бабушки делала: больше нигде такого вкуса не встречала.

— Рецепт-то записала?

— Не успела, — Катя грустно улыбнулась. — По молодости мы все думаем, что бабушки вечные, успеем ещё. Ан нет, не успела. Второй год, как бабулечки нет. И вернуться некуда.

— Продали дом, что ли?

Катерина неожиданно резко отвернулась к окну, чтобы Михалыч не видел её лица.

— Продали, — с какой-то непонятной злостью ответила она. — Продали, и ещё должны были!

— Как это “должны”? Твоим родственникам доля не понравилась?

— Нет у нас родственников.

— Мужнины тогда?

— И мужа нет.

— Развелись? Бывает, дело житейское.

— Убили его... Я ни за что бы с ним не развелась: мы очень любили друг друга, и Маруську он обожал.

— Ты это, поплачь, не стесняйся, — Михалыч коснулся рукой плеча девушки. — На вот, вышей. Помянем мужа твоего. Как звали-то?

— Никита.

— За раба Божьего Никиту...

Катя пригубила стопку.

— Бр-р-р... Крепкая какая! Мне больше не наливайте.

— Нет так нет, — Михалыч задвинул вторую стопку подальше от края стола. — Что у вас случилось-то? Оба вы молодые — жить да жить!

Катя, всё так же глядя в окно, чтобы не пересекаться взглядом с Михалычем, с трудом начала:

— Мы с Никитой ещё с детства знакомы были. Нас бабушки в Дом творчества в один день записывать привели. Я с бабушкой жила, родители полевыми геологами были, в Красноярском крае летом их партия месторождения разведывала. Помню, осенью вернутся, мешки камней привезут, бабушка ругается: “Пройти негде”, — а они смеются: “Дочке привыкать надо, подрастёт — летом с собой брать будем”. Мама очень любила петь песню “...Плывут сибирские девчата / навстречу утренней заре / по Ангаре, по Ангаре...”, потому что их геологическая партия на Ангаре работала. Я так ждала, когда подрасту, и это лето настанет... Мне восемь лет было, когда папин вездеход переправлялся через реку и провалился в карстовую воронку, никто выбраться не успел. Бабушка потом все камни повыбрасывала, я один успела сохранить,

Катя достала из-под футболки небольшой кулон с зеленовато-синеватым камушком с прожилками.

— Это забайкальский лабрадорит, из самой первой экспедиции, “рысий глаз” называется. Его папа подарил маме, когда они только познакомились. У мамы глаза были такие — зелёные в крапинку, рысьи. В Доме творчества мы и познакомились. Никиту его бабушка на прослушивание в музыкальный кружок привела, а меня — в художественную студию. Кабинеты рядом были, народа много. Оказалось, что мы почти рядом живём, через две улицы. Сначала бабушки нас по очереди водили: то его бабушка, то моя. Потом стали сами ходить. Так всю школу и проходили. Никита — талантливый альтист был. Ему преподаватель в Нижегородскую консерваторию рекомендовал поступать. Никита и поступил, с первого раза. Только доучиться ему не удалось: зимой поскользнулся и упал неудачно на левый локоть. Лечился долго, но локоть до конца сгибаться перестал, альт держать трудно. Для себя играть можно, а о концертных выступлениях сказали забыть. Я педагогический институт закончила по специальности “художник-график”, работать начала в рекламных журналах. Как раз Никита вернулся, поженились мы, переехали к нему. Квартира ему досталась: бабушка к тому времени умерла, родители развелись, потом отец второй раз женился, через два года и мать замуж вышла, уехала из города. Маруся родилась, я в декрет ушла. Денег мало. Никита бросил свою музыку, ушёл к соседу в автосервис. Тут талант у Никиты открылся: по звуку мог определить, где неисправность в машине, в других сервисах только руками разводили — причину не могли найти. Ремонтировал тоже сам, денег лишних не брал. Стал народ к Никите на диагностику записываться. Мы подумали и решили, что пора работать на себя, а не на “дядю”. Нашли место, кредит взяли, потихоньку раскрутились, клиенты свои постоянные пришли. Он чинит, я машины расписываю. Видели, наверное, тигры всякие, пейзажи или что покруче по вкусу владельца. Во дворе нашей мастерской “Фиатик” оранжевый стоял, не на ходу. Мы дочку туда посадим: она руль крутит, на сиденьях игрушки разложит — и рядом, и под присмотром. Наивные бизнесмены из нас вышли. Думали, бандиты — это в прошлом, в девяностых, повывели их сейчас. Только на ноги встали, заначку смогли откладывать. Я Никиту убедила, что не следует всё вбухивать в мастерскую, мало ли как жизнь повернётся.

Она помолчала, вздохнула и нехотя продолжила:

— И вот они — гости дорогие. Сначала мелких сошек послали к нам: платите столько-то каждый месяц, и мы вас не тронем. Никита честный был, не захотел прогибаться. Затихли вроде. Один раз прихожу, во дворе спортивный кар стоит, крутой такой, миллионов пять стоит, рядом Никита суетится. Говорит, пригнали, чтобы ты расписала по их эскизу. Заплатить хорошо обещали. Что-то не понравился мне заказ, но раз приняли — делать нужно. Неделю работала, не отрываясь, вечером закончила, утром заказчик забрать должен. Приходим утром, а мастерская разгромлена, и спорткар полубогоревший стоит... Заказчику что — возмещайте убыток, не моё дело, откуда деньги возьмёте. У Никиты камера внешнего наблюдения была на соседской крыше смонтирована (сосед разрешил). Посмотрели запись; старые знакомые с этим заказчиком что-то у ворот обсуждают, потом заказчик уезжает, а бандиты перелезают к нам через забор... Никита возьми и позвони заказчику, встретиться, говорит, надо, доказательства есть. И всё... Больше я его не видела. Заначку бандитам сразу отдала, мастерскую на продажу выставляла за бесенок, квартиру чуть позже продала — деньги заказчику, и вернулась к бабушке. Через полгода меня в милицию вызвали, на опознание. В лесу нашли. Я опознала только по татуировке (сколько я его просила не делать её, ненавижу такую роспись) на сгибе между средним и указательным пальцем “Ни-сердечко-Ка”. Никита-Катерина. Пока моя бабулечка была жива, никто нас не трогал. А тут умерла она, осенью я в наследство вступила. Маруся в садик пошла, я дома работаю на удалёнке: рисую иллюстрации, сайты делаю. Спокойно всё. Зима проходит, подъезжают к дому всё те же морды, шлёпают, не разуваюсь, в дом: “Должок всё ещё за вами. Рекомендуем отдать, а то плохо будет”. Не иначе как нотариус прикормленный оказался. Маруся во дворе крутится. Водитель из машины выходит, зайца игрушечного ей суёт, мол, у меня такая же дочка. Маруся в зайца

вцепилась, глаза блестят, у неё как раз период помешательства на зайчиках был. К тому времени я уже устала бояться, говорю: “Будут вам деньги. Только главному и лично в руки под расписку”. “Шестёрки” поржали, ладно, говорят, уважим последнюю просьбу. Сели в машину, уехали. Дали мне два месяца срока. Я к Маруське зайца отнимать, а она вцепилась в него мёртвой хваткой: и есть с собой, и в туалет с собой, и спать с собой. Ночью я этого зайца вытащила из-под одеяла, на кухню принесла и ножницами его, ножницами, на мелкие кусочки... Понимаю, что заяц не виноват, и дочка у водителя взаправдашняя. Очнулась: кругом набивка от зайца, мех валяется... Скорее убирать, пока Маруся не проснулась. Пришлось сказать ей, что ночью зайчик ожил и в лес убежал. Дом под дачу быстро купили, даже почти за реальную стоимость. Место хорошее было: вроде и на краю города, тишина вокруг, а до центра двадцать минут. Я деньги в конверт сунула, жду визитёров. С соседкой договорилась, что за Маруськой присмотрит. На столе в кухне конверт с указаниями оставила, если вдруг не вернусь. Ровно день в день приезжают. Сажусь в салон. “Поехали к хозяину”, — говорю. “Поехали, — смеются, — хозяин добро дал”. Окна затемнённые, ничего не видно, догадываюсь только, что в сторону нашей местной зоны отдыха едем, там неподалёку коттеджный посёлок выстроен. Заехали прямо в гараж, из гаража меня навстречу проводили. Хозяин встречать вышел. Милый такой дядечка лет пятидесяти, не похож на бандита, какими их в кино показывают. Внешность не запоминающаяся, как у разведчиков. Я ему деньги сую, расписку требую. Тому весело, никогда таких наглых жертв не встречал. Потом говорит: “Хотели вы мне польстить, назвав разведчиком, или нет, я не знаю. Но в молодости я почти им стал. И только поэтому я напишу вот тут, на обороте конверта, что Катерина Батьковна расплатилась полностью и ничего мне не должна. Не волнуйтесь, всё в силе: мой почерк, кому надо, знают”. Привезли меня обратно к пока ещё моему дому. Пока ездил — не страшно было, а выхожу — руки-ноги дрожат. Водитель, тот самый, с зайцем, высывается из окна машины и мне шепчет: “Послушайте совет, забирайте всё, что можете, и уезжайте отсюда навсегда. Никаких расписок в жизни никто никогда от шефа не получал. Сегодня шеф добрый, а как завтра повернётся — никто не знает”. И знаете, я ему поверила. Этой же ночью запихнула самое ценное в рюкзак, Маруську в охашку, ключи соседке через забор перекинула, чтобы новым жильцам отдала, и на попутках подальше из области.

Катя горько усмехнулась:

— Вот таким ветром нас и занесло в ваш город. Переночуем, и в Поповку...

Михалыч крутанул стопку на столе. Потом ещё раз.

— Катерина, тебе обязательно в эту Поповку? Может, у меня останешься? Если комната не нравится, в саду флигелёк стоит. Летом жить можно. Интернет нужен для работы — проведём. Лёхе позволю, он тебе провод перекинет. И Маруська скучать не будет: ребятишек много и своих деревенских, и городских скоро к бабкам на лето привезут. Ну чего, остаёшься?

Катя смутилась.

— Спасибо, Василий Михайлович! Флигель мне больше нравится, но... Всё это так неожиданно... Можно, я ночь подумаю?

— Думай, девка, думай. От ночи мало осталось, рассвет скоро. Ты как хочешь, а я пошёл спать. Спокойной ночи!

Утром Михалыч вышел в палисадник. Возле куста почти раскрывшейся сирени на цыпочках стояла Маруся, пытаясь пригнуть к земле ветку. Заметив хозяина, девочка подбежала к нему.

— Доброе утро, дедушка Василий Михайлович! Вы не могли бы нагнуть мне ветку: я понюхаю.

— Доброе утро, Маруся! Что-то ты рано встала, мамка-то спит ещё?

— Спит, я не стала её будить. Я же раньше уснула, значит, быстрее выспалась.

— Хм, логично, — Михалыч потянул верхние ветки куста на себя. — Сейчас твоей маме букет наломаем.

— Не надо букет! Веточку одну. Сирени же больно.

Будет больно сирени или нет, Михалыч никогда в жизни не задумывался. Он, как и все деревенские, всегда считал, что сирень нужно обламывать, чтобы та гуще цвела на следующий год. Сколько он переломал этих веток: и мамке своей, чей день рождения был в мае, и девкам по молодости, да и Зинаида Степановна любила этот одуряющий запах весны.

— Уговорила, веточку. Но если мама захочет букет, то может сама нарвать, сколько захочет. Банку на скамейке в терраске возьми, вода на улице.

— Дедушка, а вы куда?

— Кур выпускать пойду, гулять им пора.

— И я с вами, можно?

— Пошли, если грязи не боишься.

— Зачем её бояться? Мама всегда говорит, что ребёнок должен расти в естественной среде. Испачкался — умылся, промок — посушился. Вот и всё.

— Маруся, ты прямо стихами говоришь.

— Я стихов много знаю. Я ещё в пять лет читать научилась.

— Здорово, — искренне восхитился Михалыч.

— Только книжки мы с собой взять не смогли. Мама сказала, тяжёлое не берём, приедом и новые кушим.

— Новые — это тоже хорошо. Хочешь, когда мама проснётся, мы книжки с тобой в шкафу найдём. Дочка моя читала, когда маленькая была.

— А где она сейчас?

— Выросла, — грустно сказал Михалыч, — вышла замуж и уехала далеко-далеко...

— За принца вышла замуж?

— Почему за принца?

— Только с принцами уезжают далеко-далеко. А если за обычного жениха выходят, то дома остаются.

Михалыч направился к курятнику. Маруся вприпрыжку скакала по натоптанной тропинке. Взрослые куры уже квохтали у выхода. Михалыч насыпал им комбикорма, поменял воду.

— Придержи дверь, я курей на улицу выгоню, — попросил Михалыч девочку. Маруся из всех силёнок потянула разохшуюся дверь на себя.

— Геть, геть отсюда, — замахал руками Михалыч. — Марш гулять.

Куры понеслись за ограду.

— Пойдём, яички поищем. Смотри в ящичках, они туда яички кладут.

— Дедушка, смотрите, я два нашла! Даже в одном ящичке!

— Забирай и беги домой носи. В корзинку положи на кухне. Я пока тёзку твою подою.

— Можно, я тоже подою?

Михалыч покачал головой.

— Не получится, пугливая эта девка. Испугается, молока потом не даст. Мы её приучим потихонечку к тебе, и потом попробуешь.

— Хорошо, дедушка.

— Если мамка проснулась, скажи ей: картошка в корзинке за печкой, всё остальное в холодильнике или в шкафчике. Пусть берёт, не стесняется. Я скоро.

— Что, Катерина, надумала оставаться? — спросил Михалыч, после того как позавтракали.

— Остаётся, мамочка, остаётся! — Маруся умоляюще сложила ладошки. — Мы с дедушкой Василием Михайловичем ещё столько сделать должны. Тёзку мою приручить — раз, — Маруся загнула один палец. — Цыплятам сетку над загончиком натянуть — два. Книжки все прочитать — три. А ещё дедушка обещал мне показать, где растут большие колокольчики.

— Гляжу, вы много чего успели запланировать без меня...

— Почему же без тебя, — обиделась Маруся. — Мы тебя на речку возьмём, сома смотреть.

— Сома?

Михалыч кивнул.

— Живёт у нас тут под корягами один, полено здоровое. Лет шесть, как завёлся. Хитёр, брат. Всех уток переловил, а сам ловиться не желает. Даже рыбаки плонули на него: пусть, говорят, нашей достопримечательностью будет, а то ничего интересного в деревне нет — леса да поля.

Возле калитки забрехал Джульбарс.

— О, Пашка явился! Сейчас ему задание дам, пусть трудится.

— Кто это — Пашка? — спросила Катя.

— Лёхин брат. Он у нас по интернету главный. Пока мы сома пойдём смотреть, он вам во флигель нужные провода протянет.

— Я так поняла, что за меня уже всё решили, — полушутя сказала Катерина.

— Что, мамочка, — Маруся дёрнула Катю за рукав, — остаёмся?

— Остаёмся, остаёмся. Ваша взяла.

С появлением квартирантов Михалыч всё реже стал проводить время в гараже со своей “ласточкой”. Нет, он не забыл про неё, свою бессловесную спутницу жизни. Просто теперь было с кем поговорить и дома. Любопытная Маруся стала непременной спутницей Михалыча во всём. Маруся всегда находила себе занятия: то в огороде, где Михалыч учил отличать сорную траву от ботвы морковки, то в саду, где нужно было побелить стволы яблонь от вредителей, а то и возле “каротинки”, которую требовалось помыть после забега в город. Вечером обязательно читали вслух по очереди: и Катя, и Михалыч, и Маруся. Михалыч под чутким руководством Маруси учил стихи.

— Дедушка Василий Михайлович, вот это ты учишь, — строгим учительским голосом раздавала задания Маруся, — а вот это — я.

— Это тебе нужно учить, память развивать, а мне зачем они на старости лет? — сопротивлялся Михалыч.

— Мама сказала, если старенькие люди ничего запоминать не будут, они памяти лишатся.

— Раз мама сказала: “Надо”, — значит, надо, — сдавался Михалыч. — Она у нас строгая.

В город Маруся в собственном автокресле ездила вместе с Михалычем, Катя оставалась дома. Привыкла. Когда домочадцы уехали таким образом первый раз, до обеда Катя наслаждалась тишиной, потом начала посматривать на часы: “Где же они там?” — и, наконец, вынесла ноутбук на лавочку в палисадник, чтобы ещё на повороте к деревне увидеть яркие бока “каротинки”.

Как только машина остановилась у дома, Катя бросилась к водителю.

— Василий Михайлович! Почему вы не позвонили, что задерживаетесь? Я же волнуюсь!

— Мамочка, — Маруся освободилась от ремней кресла, — не ругайся, пожалуйста. Мы с дедушкой в кино ходили, оттуда нельзя звонить — другим мешать будем.

— Вы же только на базар собирались.

— Уговорила твоя говорунья.

— Что смотрели-то?

— “Как приручить дракона-3”. Тебе тоже надо посмотреть: там Беззубик подружку нашёл. Она такая красивая, беленькая, как наша Маруся! Катя захохотала.

— Дожили, дракона с козой сравнивают! Понравилось хотя бы?

— Да! — в голос ответили Михалыч и Маруся.

— Ладно, прощаю! Мойте руки и живо за стол!

Когда Катя после месяца проживания во флигеле попыталась отдать деньги Михалычу, тот отмахнулся:

— Давай договоримся: если хочешь платить за что-то, то плати за интернет и электричество, и всё. Еда почти вся на огороде растёт. Молоко своё, яйца свои. Что-то я куплю, что-то ты. Хватит нам.

— Но, — попыталась возразить Катя, — это же совсем мало получается.
— Тебе девку ещё растить, в школу на будущий год пойдёт, траты будут.
— Так это ещё когда будет, школа...
— Не успеешь оглянуться, поверь мне. Так что слушай, что старшие говорят!

Скоро у Маруси появились друзья: сначала сосед Славик, внук бабки Настёны, по привычке заглянул к Михалычу на огород в поисках червяков для рыбалки. Ничего, что парень чуть старше, первый класс закончил, самостоятельный уже, да и Маруська умна не по годам. На почве червяков и познкомились. Михалыч в тот день картошку окапывал, пошёл за лопухом к забору — лопату от земли очистить.

— Дедушка Василий Михайлович, — внезапно Михалыч обнаружил под своим носом извивающегося червяка, крепко сжимаемого Марусей. — А у червяка голова есть?

— Есть, он же живой.

— Одна голова?

— Конечно.

— А Славик говорит, что две. Потому что, если червяка разрезать на части, он в обе стороны поползёт. Как он поползёт, если головы не будет?

— Без головы не поползёт.

— А где у него голова, покажи.

— Там, где потолще, поясок видите? — Дети отпустили бедного червяка на землю. — Он к голове ближе, чем к хвосту, всегда разглядеть можно.

Славик восторженно схватил многострадального червяка.

— Маруся, пойдём моей бабушке покажем. Думаю, что она тоже не знает, где у червяка голова!

Потом Алёну к соседям напротив привезли на лето, потом Лёхин Митяй прибежать стал, в общем, “детский сад на выезде” образовался под окнами.

Сначала Михалыча это напрягало, он за много лет привык к тишине и спокойствию, а тут дети. Зато и дело нашлось: качели на иву у ворот подвесил, лавочку новую сколотил. Славик с Митяем тоже поучаствовали: пилить пытались, гвозди забивали по мере своих силёнок. Не всё сразу, научатся ещё. Девкам покрасить лавочку поручили. Красиво выкрасили: половину — красной краской, половину — зелёной. Компромиссе, видите ли, устроили, чтобы никому не обидно было.

Играют целыми днями на улице, только успевай напоминать, что обедать пора. Катерина отличным поваром оказалась, запросто суп из топора сварит, если продуктов в доме не окажется. Михалыч ел и нахваливал.

Вспоминая день встречи с Катериной и Марусей, Михалыч каждый раз удивлялся: что заставило его посадить совершенно незнакомую женщину с ребёнком к себе в машину? И каждый раз радовался, что он это сделал.

Особенно Михалыч полюбил вечерние посиделки на ступеньках крыльца, когда Маруся в детских валеночках Светки (а что, ночи становятся холодными, дело к августу: “Пётр-Павел час убавил, Илья-пророк два уволок”) и в её же старой курточке на плечах придвигалась под бочок, под надёжное крыло телогрейки. И они, усевшись на нижней ступеньке, вместе смотрели на звёзды, набухающие над крышей соседского дома.

— Знаешь, Маруся, сколько созвездий на небе? — Маруся мотала головой. — Восемьдесят восемь.

— А сколько всего звёзд, дедушка?

— Не знаю, миллионы, наверное. Даже, скорее, миллиарды. Бесконечность. Вот если мы цифру восемь положим на бок, получится та самая бесконечность.

— Две бесконечности. Ты же сам говоришь: восемьдесят восемь. Восемь и восемь.

— Точно. — Михалыч был потрясён таким простым открытием.

На верхней ступеньке улыбалась в темноте Катя. Ей было так уютно в этом доме, что не хотелось никуда уезжать. Ещё месяц — и осень...

После Ильина дня задождило. Михалыч с Марусей перечитали почти все Светкины книги.

— Дождь кончится, поедem в город, купим тебе новых, — пообещал Михалыч. — Видишь ли, Светка моя не особая любительница читать была, маловато книжек осталось.

— Скорее бы кончился, — Маруся провела пальцем по следу дождинки, сбежавшей по стеклу.

— Смотри, что я нашёл в гараже, — Михалыч вытащил из кармана жёлтую монетку. — Пятак.

— Мне? — не поверила своему счастью Маруся.

— Конечно, тебе!

— Как в нашем с тобой любимом стихотворении про льва?

Михалыч кивнул.

— Держи скорее, “рыжая головёнка...”

— “Не совсем как у лвьёнка”, — Маруся радостно обняла Михалыча. — Дедушка, а у тебя голова не болит сейчас? Как у льва?

— Что, полечить решила? — добродушно усмехнулся Михалыч. — Это если ты шишку какую посадишь, тогда скорее беги пятак холодный прикладывать. Мы, когда маленькие были, только так и лечились от этих шишек. А сейчас и монет подходящих днем с огнём не найдёшь. Так что береги пятак, раритет!

Подошла Катя.

— Гидрометцентр обещает, что дождь закончится послезавтра. Дорога просохнет, и можете в город ехать. Заодно на пункт доставки заедете, посылку заберёте.

— От кого посылка? Кому посылка, мама, скажи кому?

— Заберёте и увидите, — не стала раскрывать секрет Катя.

— Значит, мы поедem в город одним из послезавтра? Твой гидрометцентр ведь точно не знает, когда просохнет дорога?

— Не знает, — Катя развела руками. — Придётся набраться терпения и немного подождать.

— Ох, и не люблю я ждать, — горестно вздохнула Маруся. Она взобралась на стул коленями, подпёрла голову руками и уставилась, не моргая, в окно. — Я буду гипнотизировать этот дождь. Вдруг от этого он быстрее кончится?

Дождь кончился через два дня. Ещё два дня Михалыч отвёл на просушку дороги. Наконец, в пятницу можно было выезжать. Катя вручила Михалычу две квитанции.

— Катерина, ты же сказала: “Заберёте одну посылку”? — недоумевал Михалыч.

— Я про вторую сама не знала. Мне только вчера сообщение пришло, что доставлена в пункт выдачи. Зато не придётся лишний раз ехать.

— Дедушка, давай сразу на рынок не поедem, лучше на почту. Я так давно не получала никаких таких посылок, — мечтательно рассуждала Маруся по дороге. — Хотя, если быть честной, я никогда не получала посылок. Это же так интересно: живёшь себе, живёшь и вдруг бац! тебе посылка. И никто, никто не знает, что там внутри...

Михалыч помалкивал: уж он за свою жизнь не только получал посылки, но и отправлял их в разные стороны.

— Хорошо, давай сначала за посылками, потом на рынок.

— Ты меня посадишь к окошку? Я тётеньке-почтальону сама мамины бумажки отдам.

— Посажу, мне нетрудно, — улыбнулся Михалыч.

На почте пришлось немного подождать. Когда подошла очередь Михалыча, и Маруся, как и было обещано, лично отдала квитанции, почтальон жестом пригласила подойти к транспортной ленте. Одна большая посылка приехала по ленте, вся обклеенная жёлтыми полосами с надписями “Не кантовать”, вторая — поменьше — оказалась без лент, но тоже прочно упакованная.

— Тележку возьмите до машины довести. Тяжёлые посылки, — почтальон указала на угол с тележками. — Сейчас Вадика позову, он вам загрузить поможет.

— Что Катерина назаказывала? — всю обратную дорогу удивлялся Михалыч. — Вроде в доме всё есть.

— И я тоже голову ломаю, — вторила девочка.

На последнем повороте Маруся попросилась выйти.

— Дедушка, пока ты будешь разворачиваться, я до дома уже добегу. Мне так хочется с мамой поделиться радостью.

— Беги, егоза! Я через пять минут буду.

Дорога огибала дуг, поэтому местность хорошо просматривалась. Михалыч видел, как Маруся бежала, смешно поднимая ноги, по высокой траве к дому. Вдруг рыжая головёнка скрылась в траве.

— Нашла кого, поглядеть нагнулась, — подумал Михалыч.

Маруся не появлялась.

— Маруся! — Михалыч затормозил, вскочил из “каротинки” и побежал туда, где последний раз заметил ребёнка.

Маруся сидела в траве и плакала.

— Дедушка, я здесь. Только я идти не могу: пытаюсь встать и падаю. Правое колено на глазах наливалось синевой.

Михалыч подхватил Марусю на руки.

— Держись крепче за шею. Сейчас дома будем.

Катя уже заметила брошенную на повороте машину и бежала навстречу.

— Катерина, беги назад, открывай мне двери, — скомандовал Михалыч. — Я Марусю в комнату занесу.

— Так больно? А так? — пальцы Михалыча забегали по ноге. — А вот так? Перелома нет, просто вывих. Сейчас вправим, только потерпеть придётся. Потерпишь, львёнок?

Маруся сквозь слёзы кивнула.

— Катерина, держи её крепко. И — раз... — Михалыч ловко обхватил ножку девочки и почти незаметным движением повернул. Раздался негромкий щелчок.

— Умница, моя девочка! Молодец, львёнок! — приговаривал Михалыч. — Сейчас компресс ледяной тебе положим и в больницу поедem, рентген сделаем. Я уверен, что это вывих, но лучше перестраховаться.

Из больницы возвращались по темноте. Маруся дремала на руках у Кати.

— Василий Михайлович, где вы так хорошо вывихи научились вправлять? — спросила Катя.

— Фельдшером на “скорой” работал, — взглядываясь в темноту, ответил Михалыч. — И швец, и жнец, и на дуде игрец в нашей тьмутаракани — всего понемножку умею.

— Спасибо вам за дочку.

Михалыч смутился.

— Да не за что вроде благодарить пока. Забегает снова, вот тогда и благодари.

— Вы не правы, она вас любит, а значит, есть за что, — твёрдо ответила Катя.

Утром Михалыч проснулся от того, что нос кто-то щекотал травинкой.

— Ах ты, егоза-стрекоза, — нарочито грозно произнёс Михалыч, — что встала? Лежать тебе надо, ногу долечивать.

— Дедушка Василий Михайлович, не волнуйся, я тихонько, бегать не буду. Мы же вчера не узнали, что там в посылках!

— Тыфу ты, забыл я про эти посылки напрочь. Так и провозил в багажнике весь день. Митяй прибежит, скажи, чтобы отца позвал помочь.

Лёха явился к полудню. Маленькую коробку легко поднял сам, большую вытащили вместе с Михалычем.

— Я пошёл, Любка меня на полчаса отпустила — картошку всей семьёй копаем.

Катерина хранила загадочное молчание.

— Мамочка, открываем?

— Открывайте, — разрешила Катя.

В маленькой коробке оказался двухколёсный велосипед.

— Как у Славика, — обрадовалась Маруся.

— Лучше, — одобрил Михалыч.
— А кататься как же я теперь буду? Я умею, меня Славик научил, — тут же расстроилась девочка.
— Подождать немного придётся. Ты же сильная, львёнок, выдержишь?
— Придётся, — огорчилась Маруся. — А потом, Славка, держись!
Катя и Михалыч рассмеялись.
— Эту коробку вы открывайте, — Катя вручила ножницы Михалычу.
Михалыч срезал фиксирующие ленты и открыл коробку.
— Катерина, что это? Зачем?!

— Это вам, Василий Михайлович, мотоблок. Хватит лопатой махать, техника сейчас на любой вкус и цвет. Тем более, сегодня у вас день рождения.
— Точно, — удивился Михалыч, — забыл. А ты откуда знаешь?
— Тоже мне, секрет Полишинеля, — фыркнула Катя. — Вы мне сами говорили в начале лета. У меня память хорошая, не девичья.
— Дедушка Василий Михайлович! — Михалыч не заметил, как вернулась Маруся. — Поздравляю тебя с днём рождения! Желаю здоровья и счастья!
Маруся протянула Михалычу букет ромашек.
— И ещё: я тебя очень-очень люблю. Можно, я тебя буду звать своим дедушкой? Просто “деда”, без отчества?
Михалыч задохнулся от нахлынувших чувств.
— Можно, львёнок, можно! Идите сюда, я вас обниму! Катерина, что стоишь? Иди! Девки мои, я вас тоже очень-очень люблю!

Катя, смущаясь, подошла к Михалычу.
— Василий Михайлович, — нерешительно произнесла она, — а можно мы у вас останемся? Хотя бы на зиму. Потом я подкоплю, и дом какой купим.
Михалыч удивлённо взглянул на Катю.
— Это что же получается: Маруся, значит, внучка моя, а её мамка из родного дома сбежать хочет? Нет, девки, так дело не пойдёт! Никаких больше чужих домов, хватит, набегались!
— Так вы не против?
— Не против, не против, — спрятавшаяся за спиной Михалыча Маруся показала Кате язык.
— Устами младенца глаголет истина! — Михалыч перехватил Марусю поперёк живота и закинул на плечо. Маруся радостно заколотила Михалыча по спине руками. — Пошли в дом, стол праздничный собирать, гостей созывать. Да и внучка проголодалась.

ВЛАДИМИР КАРПОВ



ТЕНЬ МУЖЧИНЫ

РОМАН

Серый помнил, когда мыс Ильи “под Маяком” был ещё запретной зоной. Мальчишками сюда ходили ловить креветку и краба: крадучись, затемно, крутым каменистым берегом — ноги пообломаешь! Наверху настоящие пограничники: возьмёт постовой да как полоснёт автоматной очередью! Но мальчишки-то знают: именно здесь, где опасно, краб и креветка вкусотищи небывалой! А ловля — дело нехитрое: опустили в воду специальный фонарь, море чистое, нетронутое, с густыми водорослями по дну, ракообразные сами на свет гребут, аж глазёнки под лучами искрятся!..

Теперь он закладывал здесь фундамент жилого дома. Лепота невероятная! Вид моря на две стороны: Феодосийский залив и Двукорную бухту. Город с высоты у морской косы — к ночи, когда огни загораются, полумесяцем таким, живым — мерцающая галактика!

Но водителей сюда не загонишь даже за переплату: дорога разбита, грунтовая. Бетон удалось привезти только к вечеру. Бригада наполовину разошлась: у одного зуб разломило, у второго жена рожала — пришлось отпустить. Начальник сходу сбросил пиджак, закатал рукава рубахи и “заодно с народом” приналёг на совковую лопату, чтобы успеть, пока раствор не затвердел.

КАРПОВ Владимир Александрович родился в 1951 году в Бийске. Начиная трудовую жизнь геологом в Якутии, о чём впоследствии написал роман “Минерал № 1”. Окончил Ленинградский театральный институт и по распределению работал в челябинском ТЮЗе. Дебют как писателя состоялся в журнале “Наш современник” в 1978 году. Окончил Высшие литературные курсы в Литературном институте имени М. Горького. Публиковался в журналах “Урал”, “Москва”, “Наш современник”, “Смена” и других. Автор более десятка книг. Лауреат нескольких литературных премий. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

— Серый, — окликнул помощник, рослый улыбчивый Олежка: работники в бригадах были чаще всего старше или ровесниками начальника, поэтому и звали его, как “прилипло” с детства: — Серый, тебе опять выговор дома будет...

Сергей тряхнул головой и заторопился к мобильному телефону: о людях-то он подумал, у кого какие проблемы, а про себя забыл. Жена дома, детки: три, четыре и шесть. Дочки!

— Это... — красноречиво начал Сергей, почёсывая темечко, — я тут задерживаюсь, работа...

“Выговор” Лиза ему никогда не делала. Но молчанье её, продолжительное, с лёгким, едва слышимым вздохом, было хуже укоров. Он привёл её в родительский дом восемнадцатилетней, “почти школьницей”. И она, родив подряд троих, так и оставалась совершенно юной.

— Фундамент заливаем, начало дому!.. — брал Серый более звучные ноты.

— Мне что... — ровно произнесла Лиза. — Дети папу не видят...

Он ясно представлял, как стояла она с телефоном: уровнем можно мерить, струнка!

— Всё! В выходной выедем все на Песчаную балку!

— С твоими друзьями из бригады?

— Нет, только мы и дети!

— Работай, сколько надо. Мы подождём. Я же понимаю...

Голос у Лизы особенный, неожиданно глубокий, мерный — так и хотелось разлить его по стаканам и всех угостить покоем. “Жись-то” нервная!

— Особняк мы тут закладываем одному из Москвы, знаешь, вот под “Маяком”, на пустыре? — у Сергея роились в голове свои планы: — Завидное местечко!..

Так и виделся здесь собственный домик, но сказать об этом не успел: в трубке запищали гудки.

— Вон там, — указал Олежек на крайнюю точку Двужкорной бухты, уходящую отдельным полуостровом далеко в море, — монах жил. Отец Иван.

Сергей понял дело так, что монах здесь жил недавно, и Олег у него бывал.

— Это он на месте Торпедного завода поселился? — Торпедный завод здесь располагался в советские времена.

— Ну, темнота! Торпедный завод был на мысе. Видишь, как будто коза прыгнула. Поэтому он и называется: Киик-Атлама — Прыжок Козы. Это полуостров. А вот ещё островок. “Иван-баба”. “Баба” — по-татарски “отец”. То есть Отец Иван. Так монаха звали. Он в Средние века жил. К нему паломники на мыс по жёрдочке переходили, — Олежек даже показал, как надо было идти: жёрдочка должна была лежать на высоте метров в тридцать, внизу скалы. — Так что кто попалю не шёл!

Сколько здесь Сергей бывал, а впервые рассмотрел словно оброненную каплю суши, отстоящую от мыса. И прораб удивлял: в школе был “оторви и брось”, и вдруг с годами в историю ударился, в Православие.

Вернулся Серый затемно. Поставил машину во дворе так, чтобы отцу с утра, если потребует, удобно было выехать. Громадный “кавказец” Вулкан, звякнув цепью, завилал хвостом, ласково заскулил, понимая, что поздно, попусту будить людей не надо. Сергей потрепал пса по загривку: любил он их, собак!

Справа от дома, отделённый мощёным тротуаром, благоухал огород. Под южными звёздами даже в ночи отливали светом красные щёки помидоров, грецкий орех на рослом дереве лоснился ворсистой чешуей. Вотчина мамы.

Ближе к крыльцу располагался “живой уголок”. На тёсаной рогатине в соломенном гнезде “сидел” белый аист — в полутьме, будто настоящий. В маленьком прудике, обложенном разрисованными камешками, раскрашенные утки, на первый взгляд, тоже казались живыми. Всё это рукотворные фантазии Лизы!

Мама, как всегда, с вечера варила щи. Отца когда-то научил приятель-гаишник, мол, если с вечера “употребил”, с утра обязательно первое: никакой тест на алкоголь ничего не покажет. Отец выпивал умеренно, и сын не особо, но суп с утра — как правило!

— В холодильнике котлеты. Лиза нажарила, как ты любишь, с чесночком! — мама “острого” не любила, и даже мясной суп у неё получался пресным.

Была она моложавой, очень подвижной: будто вечно куда-то спешила. Хотя по детству он её помнил совершенно другой: тихой, размеренной. Мама тогда работала чертёжницей в военном НИИ, где и отец, который был ведущим научным сотрудником: его в те годы в Крым и прислали как специалиста. От НИИ простыл и след, мама была потом и уборщицей, и продавщицей. Стала страховым агентом, и как иной человек родился. А может, это и от возраста: современные бабки, не под стать “ранешним”, они же все беспокойные!

— Ты с этой работой совсем себя изведёшь, кожа да кости...

Привычно успевала она выговаривать, будто не знала, что детей — трое, Лиза пока с маленьким, отец болен, на лекарства работает, дом строили — ещё не достроили, и куда ему? В охрану, что ли? Сутки работает, трое спит? А на что жить?

— Вон по телевизору показывали одних, — телевизор на кухне вёл свою параллельную жизнь, — он тоже всё работал, работал, а жена от скуки то с одним, то с другим. От кого родила — сама не знает, в следующей передаче покажут...

Серый повинно улыбался, кивал. Ухватил котлету, испытывая прилив нежности от сознания, что её делала жена. Кухня, просторный зал и спальня родителей Сергея располагались на первом этаже. На втором в трёх комнатах царствовали молодые с детками.

Со второго этажа сочился слабый свет. Значит, Лиза ещё бодрствовала, дожидалась его. Спешно откусывая, пошёл по лестнице, в очередной раз укоряя себя за скрип в половицах на ступенях: тоже мне, строитель — сапожник без сапог!

Лиза полулежала на кровати с открытым ноутбуком перед собой. Не сразу, через заметные мгновения, почувствовала, что он в спальне. Уже стягивал рубаху. Приподняла взгляд, сияя полуслепо в компьютерном полусне. Опустила крышку ноутбука, кажется, даже не выйдя из программы. Они были вместе без малого семь лет, но каждый раз, глядя на жену, находило удивление, как это ему, Серому, выпало заполучить такую обворожительную юную женщину?! Как строитель, он поражался выверенности архитектуры в её лице. Всё было соразмерным, исполненным в прямых линиях: ровные потоки волос на плечах, ровный лоб, брови ровными желобками, скатывающимися к переносице, идеальная черта носа, ровно, без излишеств выведенные скулы и подборок. Талантливый архитектора отличает умение найти деталь, которая, вопреки пропорциям, делает строение особенным, запоминающимся. Была эта точно найденная деталь и в лице Лизы: верхняя губа её чуть выступала над нижней, сердечком так. Губка эта, лодочка, и унесла его семь лет назад в семейную жизнь. За плечами было военное училище, демобилизация, приходилось ездить на заработки в Москву. Три месяца отбарабанил, сгонял домой, чтобы пересечь границу и заново получить миграционную карту, и обратно, за российским хлебушком: добрая половина украинских граждан так жила, отучая “москаля” от чёрной работы. Возвращался, намереваясь отлежаться, отоспаться в вагоне после нелимитированных трудов! Девушка устроилась напротив, почти девочка, да такая, что он смотреть на неё не решался: сразу виделась вся его беспросветная бесперспективная участь “пожизненного плацкарта”. Поглядывал украдкой, и вдруг верхняя губка дивной попутчицы дрогнула, да ещё раз, будто позвала...

Луна бежала вдогонку, вровень с поездом, проридаясь сквозь заросли лесополосы. И Серый осмелелся вымолвить: “Красиво”. Девушка неожиданно заулыбалась, хорошо, открыто, обрадованно закивала. В Москве Лиза поступала в театральный институт, но ей, гражданке другой страны,

за учёбу требовалось выложить немалую денежку. К тому же, сказали, нужно исправлять южнорусский выговор. Посоветовали ехать в Киев. А в Киеве на актёрский требуется свободное владение украинским языком, который она в школе для галочки сдавала, но кто в Симферополе говорит на украинском?! Хорошо одной её однокласснице, крымской татарке, которая на специальных уроках в медресе бесплатно училась турецкому, и так же, по выделенным грантам, отправилась учиться в Стамбул.

Серый теперь уже смелее любовался едва знакомой девушкой Лизой, и думал, какие же дураки эти режиссёры или кто там, кто набирает будущих артистов: да не надо никаких сюжетов — ставь камеру, снимай со всем её южнорусским выговором, и народ от экрана за уши не оттащишь!

Лиза тем же годом поступила в Университет культуры на заочное отделение. Осенью они поженились. Через год уже был первенец, через два с небольшим — ещё ребёнок, через пять — третий. Бабье царство!

Жена, наконец, отложила ноутбук, протянула к нему руки. Он примостился рядом, привлёк после работы с бетоном особо ощущаемую негу. Целовал, она не отстранялась, но была словно особняком, даже в темноте всё с тем же отдалённым сиянием. И сердце Серёги немножко так заньло, засадило его. Странно! Первые два года жизни приходилось расставаться на месяцы: надо было подзаработать, купить землю, пока вся недвижимость шла по бросовым ценам. Он верил: время придёт, Крым воспрянет! Не может такой райский уголок земли десятилетия лежать бесхозным! Уезжал на работы в Москву, Лиза оставалась с его родителями, тогда в трёхкомнатной квартире. Всё было чудесно! Возвращался богаченький, с подарками. Неделю-другую с женой были, как улитки, не разорвёшь! И фарт пошёл: один москвич, у которого отделывал квартиру, купил землю в Крыму, нанял его, проверенного специалиста. За ним — другой, третий... Серый — Сергей Павлович Головин — сколотил так же последовательно одну, вторую бригады. Организовал фирму. Приобрёл и для себя участок, построил дом. И опять всё шло складно, стало трое детей! Он уже никуда не уезжал, хотя и работал много. И вот стал замечать: всё вроде хорошо, но какая-то невидимая межа легла. Может, семь лет вместе? По статистике, на этот срок приходится самое большое количество разводов. Семья испытывается на прочность?

Женщина почувствовала его задумчивость, осторожно высвободилась, с пониманием устроилась на мужской груди: ему нравилось, когда она так гнездилась. Лиза коснулась пальцами его худых ключиц, выпирающих рёбер, вздохнула, на иной лад, чем мама, но как бы говоря то же самое: измотался ты со своими стройками, дружок. А что делать? Только опусти вожжи, завтра обгонят, обставят, а стартовать заново — себе дорожке! Сергей поглаживал жену по волосам, плечу, терпеливо ждал, что вот сейчас они оба успокоятся, вернутся друг к другу — он с работы, где мысленно всё ещё заполнял раствором опалубку. Она — из виртуального пространства...

Проснулся среди ночи — его словно вырвало из сна. В первое мгновение Сергей не понял, отчего такая тревога, даже страх. Привычные очертания комнаты, тускло просвечивающая штора на окне. И только в следующее обнаружил — нет жены рядом. Он один на кровати. И опять же, чего волноваться: в туалет пошла, в ванную, мало ли?.. Полежал минуту, пять... Вышел в коридор: за дверью в ванную никаких признаков жизни. В детской тоже, слава Богу, стояла тишина. “Чик, чик, чик”, — донёсся едва различимый звук компьютерной клавиатуры. Из-под двери кабинета сочился свет. “Чик, чик, чик”, — будто рация в ночи.

Сергей постоял, не зная, что делать. Подошёл к кабинету, потянулся к дверной ручке. Зайти? Но это как “подловить”. Как выслеживать. Развернулся. Но у двери спальни снова остановился. Прошёл в ванную, включил воду. Струя била в белую керамику раковины, кажется, сотрясая пространство. Дёрнул ручку унитаза: “Пш-ш-ш”, — прощумела на весь дом вода. “Чик, чик, чик”...

Опять постоял перед дверью, за которой жена вела “подпольную работу”. Вернулся в спальню. Решил ждать. Ну, дома же она! Чего волноваться-то?! Взял мобильник, хотел набрать номер Лизы, да вспомнил, ударив

себя по лбу: дети же спят, да и предки внизу... Повернулся на левый бок: на правое ухо он был контужен на учениях, поэтому, если левое утопить в подушку, то наступает почти тишина. “Чик, чик, чик...” — слышал он, кажется, даже пятками.

Она вдруг вошла. Лёгкая, скользящая, прижалась к нему, ласково так, прильнула вся. И надо бы радоваться, а сердце ныло, чего-то все ныло.

— А я тебя потерял тут...

— Что меня терять? Ну, с одноклассниками общалась, мне надо было...

— С этими, в Турцию уехали которые?

— С ними тоже.

— Дня не хватает, что ли?

— Днём дети!

— Старшие-то в садике.

Он устраивал дочерей в детский сад с большим трудом: актовый зал полностью бесплатно отремонтировать пришлось!

— Ты меня попрекаешь, да?! Давай я пойду работать, а ты с Селиной посиди, попробуй! Знаешь, сколько она одна требует?! Вика с Алёной приходит, тут такое, того гляди с лестницы упадут!

Старшей имя дал дедушка: Виктория! Какую уж он победу видел и над кем, но сказал категорически победным тоном: “Виктория!”. Вторую дочь Алёной назвал он, отец: хотелось ему Алёнушку из сказки. А младшей жена дала имя — Селина. Где уж Лиза его такое раскопала? Ему нравилось — космос напоминает, вселенную. Да и в школе, на работе потом люди сразу будут отличать от многих!

Лиза решительно повернулась к нему спиной.

— Да я не против. Общайся. Просто о компьютерной зависимости сейчас кругом говорят... У нас был один, на игровых автоматах просто свихнулся! Все деньги просаживал! Это же — как наркотик! Я поэтому.

— Не смей меня... Какая зависимость? Живу — как в тюрьму посадил.

— Почему это?

— Потому это. Всегда под приглядом!

— Под чьим?

— Господи!.. Родительским. Двум женщинам на одной кухне...

— Мама же для нас старается. Хочет, чтоб тебе было легче.

— Да мне не надо легче... Из ванной выхожу, она: “По телевизору передача была, что воду надо выключать, когда чистишь зубы. Очень много воды уходит”, — Лиза протараторила высоким голосом, точно изобразив маму.

— Да она же “бла-бла-бла”, сказала, и унеслось.

— Ага. И ещё добавляет: “А ещё говорили, что на Западе даже воду в унитазах не спускают, ждут, когда накопится. Экономят”.

Серый рассмеялся: всё-таки жена была артисткой! Ну, и “экономлю” представил.

— Потихонечку разделимся, землю я присмотрел... — сказал он со вздохом. — Поэтому и задерживаюсь на работе.

— Да всё у нас хорошо. Только ты не выдумывай, зависимость какая-то... Это у тебя зависимость. Трудоголик фигов!

Она ущипнула его, теперь была с ним, и он, наконец, забыл о стройке.

Вегавал Серый рано, без всякого звонка: с военного училища привык — он оканчивал “строительное” — в шесть ноль-ноль, как под команду дневального!

Мама наливала половником в небольшую глубокую тарелку вскипевший, приготовленный с вечера борщ, очищенные чесночные дольки лежали в блюде.

— Что ночью-то ходили? — присматривалась она, будто ставила диагноз.

— Ну, ходили и ходили!

— Как ходить, так ходили, а как Селинка кашляла, так никто не слышит, зашла, вся раздетая спит...

Мама протягивала ему баночку со сметаной.

— Да не хлопочи ты, я сам...

Детей в садик увозил Сергей и “закидывал” по пути на работу маму.

— Не моё, конечно, дело, — выговаривала она ему, — лезть в вашу жизнь. Но не сказать не могу. Вчера с отцом заходим, слышу, мужской голос наверху там у вас. У меня аж сердце ёкнуло: откуда мужчина? Стала подниматься, понимаю, что это она по этому “Скайпу” вашему с кем-то разговаривает. С мужиком!

— И что?! Сейчас даже задания институтские — и то по интернету присылают! Мало ли, “Одноклассники”, “Фейсбук”, блоги, чаты разные ...

— Вот именно, чады, — изобразила она всем видом клубы едкого дыма. — Голос не русский.

— Как это, “голос”? Акцент?

— Вот сидела бы я и с мужиком “ля-ля-ля”! Да меня отец на месте бы пришиб! — отрезала мать, показав, как действовал бы отец.

Около садика Сергей, остановившись, подхватил Вику, взял за руку Алёнку, которая указывала куда-то за спину и говорила:

— Папа, какая маленькая машина! — шипящие она всё ещё не выговаривала, поэтому получалось умильнее: “масына”.

Отец успел оглянуться, увидев жёлтый “Смарт” и успев подумать про дочь: “Приметливая”, — таких машинок, может, на весь город одна! Из-за руля поднималась, под стать нарядному автомобилю, ярко одетая, хотя и немолодая женщина. По нынешним временам и не разберёшь, мама или бабушка. Было непривычно, что ребёнок — девочка лет пяти — сидела на переднем пассажирском сидении: задних у “Смарта” нет. На указанную дочерью машинку Сергей внимание обратил, а вот ответить забыл. Семенящим шагом заспешил с детьми в садик.

Звонки, встречи, договоры, постоянный контроль работы на объектах, туда заскочил — дал указание, сюда заехал — мастерок в руки и подправил, а то и выложил с метр плитки, выравнивая в ниточку швы: оно порой и “опытные” хуже новичков — привыкли же всё тля-ляп!

Сам удивлялся: в жизни он был флегмой. Но стоило взяться за любой строительный инструмент, не угонишься: приноровил гвоздь, вдарил — по шляпку; провёл правилом по сырой штукатурке — уровнем мерь, с погрешностью до тысячных!

Обедал он, как придётся: чаще в забегаловке, но любил, если успевал, дома. Во двор не стал заезжать, оставил свою “работягу” у ворот. Вошёл, сделал шаг, другой, чуть поднялся по лестнице и... замер. Наверху был слышен голос, как и предупреждала мама, “мужика”. Сергей сделал несколько шагов вверх, остановился у двери.

— Согласись, — голос был сипловатым, “натруженным”. — Новые модели автомобилей лучше, чем старые?

— Лучше.

— Так и в религии. Буддизм — религия очень старая, христианство — среднего возраста. А магометанство — самая молодая из религий, то есть новая, передовая, лучшая. Но и в магометанстве есть свои ступени...

— Мне не нравится, что у мусульман много жён.

— У твоего отца была одна жена?

— Н-нет... Когда мне было семь лет, папа ушёл от нас. Женился на другой. Правда, и с новой женой не стал жить.

— То есть у него, христианина, было много жён. А детей?

— В новой семье у него тоже есть дочь.

— И вы обе, в результате, росли без отца?

— Примерно с того же возраста!

— Что же в этом хорошего? Остались одинокие брошенные женщины, которые ещё могли бы родить. В одиночку расти детей. Ладно — девочек, а мальчиков? Мальчик, выращенный без отца, не всегда мужчина. Понимаешь, о чём я? То есть твой отец номинально имел одну жену, на самом деле имел несколько. От воспитания детей он вообще устранился. Другой вариант: мужчина ни с кем не разводится, никого не бросает, но полностью

берёт на себя заботу о семье. В мире Ислама это требование для главы семейства непререкаемо! Оглянись, христианский мир сегодня вообще состоит из семейного разлада. А почему? Была семья: плотник Иосиф, его жена Мария. От кого родила замужняя Мария? От мужа? Нет!.. Да, пусть она родила от Бога. Непорочное зачатие! А если без мужа, как-то напрямую, то муж, мужчина не нужен! Выходит, если зачатие от Бога, напрямую — непорочно, то все дети в христианстве, рождённые от мужчины, мужа — порочны! Чуть не полмира от роду порочных людей! А в магометанстве непорочным может быть только ребёнок, рождённый от мужа! Муж — ставленник Аллаха! Через мужа, мужчину, Он передаёт своё Божье предназначение! А теперь слушай главное: на самом деле у мусульманина одна жена. Пророк Магомет имел одну жену Хадиджу, пока она была жива. Когда она умерла, он женился снова. Ему было пятьдесят три. Мусульманин может взять в жены вторую, третью жену, если упокоился брат, родственник, и некому о его семье позаботиться. Он берёт на себя ответственность за женщину, детей, и у них у всех есть будущее. Разве это плохо?

— А как же старшая жена, младшая? Берут же молодых?

— Да, Коран позволяет иметь вторую, третью, четвёртую жену, но с тем, чтобы муж поступал со всеми справедливо. Коран предупреждает, что справедливости не достичь, а потому лучше иметь одну жену. Но уж если взял жену, будь добр, обеспечь каждую в равной степени, у каждой должны быть свои покои, своя прислуга. Всё открыто, по-честному. Тогда как богатые христиане имеют десятки любовниц, так называемых скрытых связей, распространяя обман, ложь, которая, в конце концов, становится общественной нормой...

— М-ма-м-аа, ку-ква, — послышался голосок младшенькой, Селинки. Сергей только сейчас сообразил, что дочь там же, рядом с мамой, и тоже слушает этого большого, знать, умника.

— Опять ногу оторвала, да что же такое?! Извините, кукол таких делают, только купишь...

Послышался шум двигающегося кресла в кабинете, и Серый сбежал на цыпочках вниз.

“Да что же такое?” — повторил он мысленно слова жены, только уже не по поводу куклы. Тотчас стал себя успокаивать. Ну, разговаривает жена с кем-то, и что? Она всё-таки в “Культуре” училась, там религия отдельным предметом была, спорят или, как они говорят, дискутируют...

Хлопнул входной дверью, чтобы слышно было на весь дом: как бы вошёл. Так же нарочито, с излишней громкостью, чего за ним не водилось, прокричал:

— Лиза! Муж пришёл! Голодный!

Она скоро спустилась с Селиной на руках и одноногой куклой. На кухне отец посадил дочку на колени, и вместе они “провели операцию”: вернули ногу куклы на положенное место.

Заметил, как Лиза застёгивала пуговицу на халате, и опять сердце хорошо ёкнуло:

— Ты раздетая, что ли, была?

— Почему раздетая?

— Пуговицу застёгиваешь.

— А, — посмотрела жена на пуговицу. — Петелька разошлась.

— Ну, при мне-то можешь и не застёгивать?

— Хорошо, — удивилась она. И лодочка верхней губы её словно приподнялась на волне. — Расстегну.

Она сидела напротив, улыбалась. Какая же красивая! И с пуговицей с этой, расстёгнутой. Дочка на коленях возилась с “кукой”, нога у которой, что называется, держалась на добром слове: шарообразный крепёж наполовину вылез.

— Фуфло гонят, — опять взялся за ремонт папа.

— Ты покупал, — вынесла приговор мама.

Муж пожал плечами с тем смыслом, что виноват, как всегда, он. Пора было двигаться дальше: работа не ждёт. В прихожей поглядел наверх: как

раз там, над прихожей, располагался кабинет, где у жены завёлся какой-то свой отдельный мир. Лиза провожала его, держа Селину за руку.

Сергей ещё раз огляделся, словно пытался за что-то существенное зацепиться взглядом. Слева был широкий открытый вход в зал. Картины весели на стенах, написанные Лизой. Море, Генуэзская крепость, Карадаг... Пианино стояло, как показалось, осиротевшее.

— “PETROF” тоже я покупал. Ты говорила, очень хороший инструмент.

— Очень хороший.

— Только скучает стоит.

— Как-то не тянет.

— И Селину собиралась нарисовать?

Он шёл по двору, как из открытого окна донеслись живые звуки музыки. От сердца как отхлынуло: не к компьютеру поспешила, а села за пианино. Талантище же она, Лиза! Не чета ему, конечно, Серому.

Лиза, действительно, давно не играла, но пальцы бежали по клавишам легко: “На заре ты её не буди...” — будто сама собой полетела мелодия романса. Она любила эту музыку: вечную, аристократическую. Воодушевление забирало всё существо. Музыкай она находила ответы тому странному мужчине с глуховатым мягким голосом по имени Идрис, который, видно, пусть много пережил, познал, но ведь заблуждается! Есть же в христианском мире мужчины, которые не гуляют, не сеют этой самой общественной лжи. Далеко ходить за примером не надо. Муж её, Серёжа! Он, правда, христианин такой, относительный, в церкви не бывает, у него и времени нет, молитв не знает и не крестится, но живёт-то правильно. Полностью берёт на себя заботу о семье... Как мусульманин какой! Жена у него одна, второй не надо. И совсем ни к чему, чтобы она ходила в парандже: ему приятно, что на неё обращают внимание!

Так и манило подняться, зайти в программу и сказать всё это своему интернет-визави прямо и непосредственно. Но Лиза, как мусульманская жена какая, помнила предостережения мужа о компьютерной зависимости. Да и сама по иным видам: случается.

Сыграла ещё романс, потянуло к мольберту. Достала из-за шкафа, вытерла пыль, разложила: тоже подарок мужа. Портрет Селины был уже начат. Но что-то не пошло тогда.

Дочка смотрела, будто помогала маме, мол, вот я, какая, вся в папу — нос чуть приплюснутый, глазки серые. Не красавица, но обаяния не отнять. Лиза выдавила краску из тюбика, провела кистью, линию, другую. Почему-то было трудно сосредоточиться, стоять на месте. Оставила работу, мольберт не стала убирать: придёт муж вечером, пусть увидит.

Взяла за руку Селинку, вышла во двор. Дочка кинулась к пруду с резиновыми утками. А мама посмотрела на аиста, сотворённого из пенопласта, покрытого лаком. Белая птица “высиживала яйцо”, пока одно, по замыслу, Лиза хотела сделать три. Дедушка — свёкор Павел Валерьевич — обещал принести из телеателье, где подрабатывал, пенопласт, запомнил, а она не запомнила. Пёс Вулкан жалостно — несоответственно мощным габаритам — подвывал на цепи. Хотел ласки.

Усадьба располагалась на взгорье, так что ворота были нижней точкой, потом шёл дом и огород, разделённый мощёным тротуаром, и венчался двор “капитанской рубкой”. Так назвали мастерскую деда: Павел Валерьевич, не то электронщик, не то ядерщик в прошлом, здесь ремонтировал и собирал всякую всячину. Здесь же было единственное место, откуда открывался вид на море. Поэтому перед мастерской располагался “капитанский мостик” с большим разукрашенным штурвалом.

Павел Валерьевич, плечистый, массивный, уже стоял у штурвала и “принимал парад”: делал колебательные движения правой рукой, как главный коммунист Брежнев на трибуне Мавзолея в кинохронике. Это была обычная игра, и Лиза тотчас изобразила “подобострастные народные массы”. “Дорогой Ильич” жестом “остановил нескончаемые овации”. Медленно — магически — развернулся, скрылся в дверях “капитанской рубки” и вышел

уже факиром... с двумя большими белыми яйцами на победно вытянутых руках. Внучка, бросив куклу, побежала к деду.

Подставили стрелянку к шести с гнездом. Дед и внучка смотрели снизу, а мама, поднявшись по ступенькам, укладывала вокруг длинных ног аиста яйца. Теперь их было три, как и детишек у Лизы.

Звякнула цепь, Вулкан жалостно заскулил, но не залаял. От ворот поднимался Марк Самуилович, сосед: высохший, с отвисшей нижней губой. В кепке. Удивительно, как пёс чувствовал: Лизу также обдавала жалость при виде Самуиловича, которому стоит снять кепку, как обнажались на темчке незатянувшиеся шрамы. Прежде Марк Самуилович Орлов жил на Черниговщине и был редактором газеты, отстаивающей идеалы распавшегося Советского Союза. В девяностые перед выборами заглянули к нему в редакцию какие-то пришлые ребята, да и поколотили идеалиста металлическими трубами по голове. С той поры он устал бояться. Газету Самуилич отдал задарма, за бесценок продал квартиру, всё, что имел, уехал, поселился у моря. Но покоя не обрёл: опасность нагоняла его повсюду. Он разбивал молотком в очередной раз компьютерную плату, разрезал телефонные симки и топил аппараты, но скоро вновь обнаруживал следы слежки. Марк Самуилович осознал, что его восприятие действительности со стороны может показаться болезненным, и заранее ограждал себя шуткой:

— Знаете, как говорят: — Самуилич, как положено, картавил, — если у вас мания преследования, это не значит, что за вами не следят.

Поводов проявлять бдительность в отношении Марка Самуиловича было более чем достаточно:

— Украинский парламент голосует за Евросоюз, — звучание “угаинский”, “Евгосоюз” придавали серьёзному пафосу юмористический лад. — Голосует за НАТО, вы понимаете, что это такое?!

Павел Валерьевич артистично подался вперёд, сделав руки по швам, мол, я весь внимание. Говорят, яблоко от яблони... Ну, вот, совсем они разные, отец и сын, её Серый!

— Это катастрофа! — страшное слово в устах Самуиловича вызывало смех: “катастрофа”. — Это власть бандеровцев там, — указал он в сторону Киева, — это национализм здесь! Вы знаете, как в Крыму, когда пришли фашистские оккупанты, националисты Меджлиса охотились за евреями?!

— А русским, видимо, они приносили чак-чак? — Павел Валерьевич сложил руки блюдечком.

— Евреи — это лакмусовая бумажка! Начинают с евреев, заканчивают всеми, кто не их, а потом уже все бьют всех!

— Марк Самуилович, — был крайне уважителен Павел Валерьевич. — В две тысячи пятом году, — он сделал паузу, — войска НАТО пытались высадиться на берегах Крыма. Что вышло? Поднялись все. Украинцы, русские, татары, греки, все вместе выпроводили гостей, которых не звали.

— Тогда, батенька, Киев ещё оглядывался на Москву. Была инерция исторической общности. Советский Союз ещё жил в мозгах! А сейчас пришли иные люди, — Самуилович со звоном постучал себя по высокому, узкому лбу. — Выросло поколение в новом информационном поле. — Бывший редактор изображал политика на трибуне. — “Гитлер начал войну против СССР потому, что у него душа болела, бачимо страдания украинського народу”. “Националист Бандера — олицетворение героизма!”

— Остаётся посочувствовать Евросоюзу.

— Последует изменение государственной доктрины, которое не примет Крым, не примет Донбасс, а это — гражданская война!..

Лиза Марка Самуиловича уважала, но слушать его было наказанием, выпавшим на долю всему семейству Головиных. Она поглядела вверх, в окно второго этажа, куда опять ощутимо потянуло. Опрометью сбегала в дом, взяла купальник, сменные трусики дочери.

Стоял сентябрь. Она любила это время, когда с началом учебного года уносился людской поток. Улицы просторны, но ещё не пустыньны. Жара спадает, но солнце ещё яркое, воздух прогрет и напоит морем. Многочисленные кафешки, рестораны, карусели и качели ещё продолжают работать

в летнем режиме, но посетителей мало, и так приятно желанным гостем присесть где-то за столик, выпить кофе, вина, и ребёнок напротив будет добывать чайной ложечкой из металлической чашечки мороженое с шоколадом или вареньем, перемазав щёки и нос.

На пляже было много свободного места, дочке раздолье: камушки, песок, лёгкий морской прибой, только смотри за ней да смотри. Вдруг что-то странное почудилось в пляжном людском окружении. Молодая женщина, примерно её ровесница, шла к морю в чёрном с головы до пят одеянии. Мужчина шагал за ней в шортах: толстый, просевший от излишеств, с обильной порослью волос на загорелом теле. Держался чуть на расстоянии. Так, не раздеваясь, женщина в чёрном забрела в воду, окунулась, вполне ловко поплыла, стала с наслаждением купаться! Над морем вились чайки, и Лизе представилось, как вдруг среди них полетела ворона, выбивая брызги крылом. С внутренним смехом Лиза достала телефон, включила программу “камера”, украдкой снимала. Выходило, целый день она мысленно искала какие-то аргументы в споре со своим интернет-визави по имени Идрис (ей чудилось в нём звучание “Идриска”), и вот, довод сам “приплыл в руки”! Ну, бред же, бред — купаться и тем более загорать в одежде!

Словно выбеленная ликом, чернобровая юная женщина в длинном чёрном платье выходила на берег. Мокрый подол прилипал к телу, она его одёргивала, и было видно, что под платьем у неё ещё и чёрные штаны. Грузный мужчина так же шёл следом. Загорать, правда, они не стали, собрали вещи и подались, с неё стекало... Говорили по-русски.

Ещё недавно представить было нельзя, чтобы кто-то из крымских татарок или иных здешних мусульманок носили хиджаб: такого слова не слышали, оно пришло недавно. Теперь женщины в тугом платке и одеянии до пят, подчёркивающих религиозную принадлежность, в городе уже не были в диковинку. На пляже вот пока да...

Видео “Купанье мусульманки”, выложенное на “YouTube”, вызвало споры, переходящие порой в ругань, “закадровый” крик, как это повелось ныне на ТВ. Лиза вообще удивлялась зависимости людей от экрана: недавно модно было смотреть передачу “Дом”, и люди так же, как участники шоу, при встречах обсуждали и судачили друг о друге, будто старухи на скамейке. Пошла мода на политические шоу, и даже порой спокойнейший Павел Валерьевич и милейший Марк Самуилович начинали просто горло драть, обсуждая проблемы мировой политики.

Лизе было важно услышать мнение Идриса — она специально дала сноску на его странице. Но Идриска не отвечал. Уж и звуковое письмо ему оставила: ни гу-гу.

Среди комментариев тем временем появился графический, искусно выполненный рисунок, где лицо Лизы с чуть сгущёнными художником бровями было в рамке хиджаба: “Суди сама — ты настоящая карачаевская принцесса!”. Ей понравилась эта игра: быстро набросала рисунок, сканировала, выложила с надписью: “Я больше похожа на чукчу!” — действительно, суженные глаза, выпирающие скулы, вроде и она, только с Чукотки! Парень с Дагестана без лишних слов сразу позвал её замуж. Прикрепил фото: настоящий джигит за рулём “Мерседеса”.

— Кто это? — стоял муж в дверях. Странно: никогда не входил, не давая о себе знать. — Я хотел... объявления на заказы обновить, — всё-таки счёл он нужным оправдаться.

— Садись... — Лиза пощёлкала по чередующимся крестикам в углу экрана, обнажая фотографии одного за другим всё сплошь чернявых симпатичных пареньков. — Я над ними прикальваюсь.

— Прикальваешься?

— Ну да, прикальваюсь!

Она показала свой “чукотский” портрет.

— Прикольно, — муж смотрел на неё, как смотрел часто: милым таким дебилом: — Хы. Хы. Хы. Ладно, занимайся. Я ноутбук возьму.

Муж ушёл. В “лесенке” комментариев под “Купанием мусульманки” “выпрыгнул” ещё один. Без фото, имени, просто слова: “Как бы ты отнеслась

к тому, что мужчина и женщина на пляже прилюдно вступили в половые отношения?”

По телу бежала дрожь: она была уверена, что это объявился Идрис. Вот же Идриска, с такими вопросами!.. Лиза с опаской оглянулась на дверь: точно ли Серый вышел?

“Хы, хы, хы”, — прыгало у Сергея внутри, когда он спускался по лестнице. Девтора в зале забавлялась телефоном. “Пи-пи-пи”, — держала аппарат в руках старшая, а две младших глазели, устроившись по бокам. Он раскрыл ноутбук, стал размещать рекламные объявления по строительству и ремонту.

— Мне, что ли, компьютер купить?! — разорялась на кухне мама. — И буду в компьютере вам борщ варить! А как хорош будет, “супец компьютерный”?! С ума посходили!.. Та там сидит, этот пришёл! Дед в биндуге своей — партию в шахматы играет! Знаешь, с кем? Думаешь, с Марком Самуиловичем?! Ага, разбежался! С бразильцем каким-то, в интернете! Чемпионат у них там! До детей дела никому нет! Да и те туда же! А куда им ещё, когда такой пример?.. Есть будешь, или тебе уж “там” сварили?!

Серый разбросал объявления, полистал страницы сайтов по торговле стройматериалами, сделал выписки. Надо держать, что называется, руку на пульсе, время так быстро меняло предложения, выкидывало на рынок новые товары. Сбоку экрана то и дело всплывали окна с эмблемой в виде звезды и полумесяца: понятно, мусульманские порталы, как и любая реклама, реагировали на Лизины “приколы” — есть интерес, будут и предложения. Тем более что если над одними, красавчиками восточными, она прикалывалась, то того, с которым речь шла именно о религии, слушала. У него и самого этот голос в ушах стоял — голос очень надёжного человека. Они, нерусские, — он хорошо знал это по работе, — такими умеют казаться.

Указательный палец вдруг завис над клавишей мышки, замедлив привычное действие: “удалить”. В квадратике рекламного видео женщина с лицом, затянутым в чёрное, ехала за рулём “Мерседеса”. Мелькали кварталы, легко вращался руль с известной эмблемой трёхконечной звезды, пойманной в круг. Машина будто надвигалась, глаза женщины, окаймлённые прорезью одежды, — Сергей не мог вспомнить, как она называется, — смотрели вперёд. Красивые и такие большие, что, казалось, все вокруг, весь мир в них улетал!

Мусульманская женщина заходила в гипермаркет, такой же, как везде, выбирала украшения, яркие, недешёвые, косметику, одежду, тонкое женское бельё, обычные европейские платья и даже джинсы. Закадровый русский текст сообщал, что женщина в исламе во многом ведёт такую же светскую жизнь, как и европейская. Встречается и судачит с подругами, заседает в парламенте, занимает правительственные должности, скажем, вице-премьер в Иране — женщина (кадры демонстрировали общественную роль женщины) — всё это не возбраняется Кораном. Отличие заключается в том, что мужчина в исламском мире обязан полностью обеспечить жену и семью. Брачный договор, который в Европе только вступает в силу, среди мусульман распространён издревле. Женщина может настоять на праве стать единственной женой, пойти работать, заняться бизнесом, политикой. Но чаще всего она по собственной воле перелагает эти обязанности на мужчину, выбирая для себя то, что ближе по природе. Семью, детей. Здесь не встретишь мужеподобных женщин, каких теперь немало в Европе, и уж тем более нет места феминизированным мужчинам, какие в Европе и Америке всё шире захватывают пространство жизни. Поэтому ныне женщины так называемого цивилизованного мира с его нарушенным половым равновесием всё чаще выбирают мужчин, исповедующих Ислам.

Женщина в “Мерседесе” развозит детей по спортивным секциям. Сама в фитнес-клубе, где занятия ведёт тренер-женщина. Во дворе восточного особняка с шарообразным куполом — пятеро детей вокруг. Встречают отца. Рослый, плечистый, в белом одеянии — “кандуре” — название мужской одежды Сергей неожиданно помнил.

Наедине с чужим мужчиной женщина-мусульманка никогда не останется, сообщал меж тем ведущий, — любоваться красотой её тела может только муж.

На край ширмы, расписанной овальными узорами, кладутся женские наряды. Чуть заметно мелькают волосы, которые, прилипнув к одежде, приподнимаются над ширмой. Это всего лишь мгновение, внимания бы не обратил, будь они чёрные. Но волосы шокирующие светлые. Блондинка! В кадре — глаза единственного мужчины, которому даровано наслаждаться наготой этой женщины. В особняке — восточном дворце — бассейн. Мужчина смотрит, как воды пронзает тело, рыбе ли, женское, но явственно белое. Во всём сюжете, выходит, была женщина мусульманка европейского происхождения. “Правда о жизни мусульманских женщин”, — гласило заглавие.

— Так, всё. Сеанс окончен! — взяла на себя команду мама. — Все за стол! Внуки — мыть руки! Зови Лизу, я за отцом схожу. Господи!..

Сергей шагнул, было, на ступеньку лестницы, приостановился:

— Давай я за отцом...

Какие же они были разные, прожившие почти четыре десятка лет вместе, мать и отец. Павел Валерьевич — сын всё чаще называл отца так, как звали его все даже во время застолий, — в абсолютной безмятежности пребывал за “шахматной доской”, которую представлял из себя экран компьютера. Вообще не припомнить, чтобы он когда-либо повышал голос! При этом спокойно, ласково умел любого поставить на место. Когда документы на землю и дом оформляли, Серый, поднимая связи, давая мзду, замучился бегать. Павел Валерьевич взял папочку с бумагами, методично, отсеживая очередь, стал ходить в управу, по инстанциям, и без копейки сверху всё ему везде подписали!

— С бразильцем? — кивком указал Сергей на экран с шахматными фигурами.

— Бразильца я уже сделал. — Отец плавным движением передвигал коня. — Соединённые Штаты Америки. Полуфинал.

— На этом этапе пора подкрепиться.

Отец глянул на сына поверх очков.

— А нельзя передать Евдокии Семёновне, — отец любил “включить” манеру старосветских помещиков, — чтобы специально для международных состязаний она пожаловала тарелочку сюда, на место проведения ответственного матча?

— Нет уж, нет уж, Павел Валерьевич, это вы сами извольте. — Сын в меру сил подыгрывал отцу. — Телефончик лежит, звоните, сообщайте.

— Я к такому удару не готов, — стал подниматься отец. — Да, кстати. Я тут на досуге все наши компьютеры, и ваш там, наверху, и свой, и ноутбук твой — коммутировал в домашнюю сеть с общим доступом.

— Зачем?

— Ну, мало ли... Кто владеет информацией, тот владеет миром.

Сын шёл следом за отцом и думал: Павел Валерьевич мог шутить, как бы пустословить, но если он что-то делал и “выдавал информацию”, то в этом всегда была цель. Скорее всего, отец тоже заметил странные интернет-пристрастия Лизы. “Общий доступ”, — ну да, наверное. Только это не по нему, Серому, залезть в программу, где Лиза общается, в душу, что ли, без проса. Интимные вещи, они есть, каждый имеет на них право.

— Ты заходил на почту? — светилась радостью за столом Лиза.

— Какую почту? — Серый предположил, что речь идёт о почтамте.

— На электронную! Письмо пришло из Управления образования! Селинке место в садике выделяют!

— Ага, пришло бы оно вам, — раскладывала запеканку Евдокия Семёновна по тарелкам. — Это дед ходил, поговорил там. Ты бы взял его менеджером, с кем хочешь договорится!

— Павел Валерьевич! Место выделяют, но в другом садике. Не в нашем, куда Алёнка с Викой ходят. Сергею очень трудно всех развозить, потом на работу. Я бы сама хотела. У вас “семёрка” всё равно стоит, с утра можно на ней?

Сергей улыбнулся умиленно: фильмец этот, про мусульманку за рулём, конечно, она смотрела, вот и захотела, как та, сама детей развозить. Чисто ребёнок...

— Если справишься, то... — Павел Валерьевич заметно хотел угодить снохе. — Машине десять лет, без гидроусилителя.

— Да я на “Москвиче” училась! Там вообще руль не повернёшь. Ничего! Сдала!

— Замётано. — Павел Валерьевич повёл растопыренными пальцами, теперь имитируя блатной манер.

“Удивительно, — подумалось Сергею, — если тихая молчаливая мама с годами стала шепотливой и говорливой, то отец в молодости был шумным, широким”. Любил петь в машине, за рулём звонким высоким голосом. При этом старался на поворотах сохранить предельно высокую скорость, соревнуясь сам с собой. “Сорок пять, пятьдесят”, — выкрикивал он, закладывая виражи под девяносто градусов на высоком военном “уазике”. Пока жили в Сибири, у него были ружья, сети. Зверья привозил, рыбы! Занимался классической борьбой, всех давил на руках!.. А ныне — как перебродившее вино.

— Ой, “Большая стирка” началась! — добавила Евдокия Семёновна, услышав звук телевизора. — Вот вы зря это не смотрите!

— Раньше на заседаниях парткома проводились воспитательные мероприятия, — Павел Валерьевич с улыбкой обращался к “высокому собранию”. — “Показательные суды” по выявлению морального облика коммуниста. И так же иным нравилось перемывать косточки! Вашего покорного слугу тоже обиждали!

— Это, — указала хозяйка на экран, — современная жизнь! А ты прячь голову от жизни, как страус!

Павел Валерьевич с улыбкой развёл руками, соглашаясь не столько с Евдокией Семёновной, сколько с самой мыслью, что женщина всегда права.

С утра Лиза сама побежала с младшей по направлениям, с анализами, за справками, чего прежде за ней не водилось. Вечером незамедлительно Сергей с женой решили проложить маршрут: от дома до детских садов и обратно. Муж вывел “семёрку” из гаража. Лиза устроилась на водительском сиденье, стала выворачивать к открытым воротам. Ещё недавно ездили на машинах без гидроусилителя, ничего, нравилось. А теперь он аж перекосялся, мысленно помогая женщине повернуть руль:

— Может, тебе лучше на моей? — у него тоже была не ахти какая, “десятка”, но всё же “нового поколения”.

— Нет, мне больше нравится эта.

Понятно: его трёхлетняя машина — разношенная работяга! А отцовская старая “семёрка” — как вчера из магазина!

— Ты на ходу старайся поворачивать: чуть тронулась, и тогда. Только всё медленно и плавно.

Он специально не стал выезжать на улицу, чтобы Лиза развернулась и проехала меж створок ворот сама: на улице легче!

Всё она сделала. Улыбалась. Серый “инструктором” сидел на пассажирском сиденье. И радовался, и горевал: не по её красе эта дедовская “тачка”! Не вышла бы за него, наверняка был бы очень богатый муж, ездила, как мусульманка из видео, на “Мерседесе” или около того.

Лиза, впрочем, сияла от восторга: у неё получалось! Всё у неё при желании легко получалось. Когда “инструктор” сел загнать “семёрку” в гараж, машина дёрнулась, заглохла, и Серый вынужден был признать, что справляется с этой моделью автомобиля жена лучше.

Мысль одна захватывала интересная: желание купить машину. Деньги он, понятно, подкапливал на землю, домик, отдельный с родителями. Ну, да это ведь иные, серьёзные суммы. Машину для Лизы! Тем же вечером “полистал” сайты автосалонов: брать решил только новую, никаких б/у. Модель он давно облюбовал: “Мицубиси-Лансер” — красивый дизайн, экономичная, приёмистая. Средних размеров: для крымских улочек оно самое то! И будет ездить она, девчонка, с тремя дочками в современном, удобном, стильном автомобиле!

Так манило сразу показать жене машину на рекламном фото. Сдержался. Нет, он купит, у дома поставит, как сейчас “звёзды” делают, ленточкой обвяжет: “Посмотри-ка — скажет, — Лизанька, в окошечко...”

Лиза не стерпела, всё-таки хотелось этому Идриске ответить, что нельзя загонять людей в рамки. Хотят купаться в одежде — это их дело. Хотят прилюдно обнажаться и заниматься сексом — тоже не должно возбраняться.

— Я приемлю всё. Личный выбор каждого, — писала она, уверенная, что на это ему нечем будет крыть.

— В Украине, в России — в христианских странах вообще — вдоль дорог часто стоят проститутки. Ты видела?

— Ну... Может быть.

— Они стоят — поодиночке, толпами. Иногда, для наглядности, веером.

— И торгуют ими чаще всего чёрненькие мальчики — мусульмане!

— Не обязательно мусульмане: грузины, армяне — тоже чёрненькие.

Но могут быть и мальчики из мусульман: соблазны, они с разной степенью, но распространяются везде. Но это мусульмане, которые так себя называют. Они далеки от истинного Ислама. Итак, дело было в Воронежской области: остановился один мой хороший знакомый у такого веера — стоят у дороги девушек двенадцать, как на витрине. Выбрал по виду самую прожжённую. Как говорят, отпетую. И спросил её: “Скажи, только честно, как на духу, чего ты больше всего в жизни хочешь?” Как ты думаешь, что она ответила?

Лиза хорошо представляла, как у обочины, где на опущке располагался “веер” — двенадцать продажных девушек, — остановилась красивая белая машина. Вышел из неё мужчина в белоснежном восточном одеянии, с закрытым платком лицом и венчиком вокруг головы. Посмотрел спокойно и выбрал ту, “отпетую”. Задал вопрос, глядя лучистым взором. Воплощенный ангел! Только это никакой не “знакомый”, а сам Идрис. И девушка — как увиделось — была с её лицом. Почему? Она же никакая не прожжённая!

— Ну, наверное, ответила, — старалась быть хладнокровной Лиза, — что хочет заработать много денег, стать богатой, уехать, может быть, в другую страну...

— Она ответила, что хотела бы снова стать девственницей. Жить чисто. Выйти замуж за порядочного человека, который бы о ней заботился. Родить детей. Много. Жить только с мужем... Так она ответила.

— Понимаю.

— Она хочет жить чисто: согласно природе человеческой. Но живёт иначе. Почему?

— Мало ли. У меня одноклассница была, красавица, вокальные данные отличные, родители юристы, всё по кастингам возили её, везде облом, подседа на наркотики, тоже оказалась на трассе...

— Ты полагаешь, была бы большая разница, если бы она стала, как это принято говорить, звездой? Добавилось бы благообразия, добродетели? Или было бы то же самое, только с разными уровнями удобств и телесных наслаждений? И был бы тот же самый внутренний разлад: хочу жить так, а живу иначе?! Чёрные дыры!

Лиза это очень понимала: ей на самом деле были чужды эти устремления ровесниц, мир шумной музыки — она любила напевную, потому что росла с бабушкой, мама всё зарабатывала деньги в Москве. И замуж вышла за человека постарше, для которого любая музыка была просто лишним шумом.

— Тебе нравится, когда к твоему телу липнут мужские взгляды? — Идрис направлял тему в новое русло.

Она вновь “увидела” его взгляд: абсолютно не липкий взгляд ясных голубых глаз.

— Я ведь женщина. Любая женщина немножко актриса, — столь же честно, как та девушка у дороги, отвечала Лиза.

— Тебя совершенно не смущает, что мужчины, прежде всего, видят в тебе сексуальный объект, а не личность?

— Не знаю. — Лиза была растеряна.

— Не унижает, когда твоя человеческая ценность определяется физическими данными, тогда как есть духовные достоинства?

Лиза не отвечала.

— Общественные приоритеты западного общества расставлены так, что насильно подвергается сама природа человеческая, — продолжил Идрис.

Лиза, казалась, слышала его, пережившего насилие над собственной природой. — И мужчина, и женщина хотят жить так, как предписывает природа, но живут иначе. Живут в разладе с самими собой. Скромность, стыд, верность — основа женской природы. Но общественные приоритеты так называемого цивилизованного мира зовут к обратному: к бесстыдству, измене, показухе! Ислам основывается на природе. Исламская концепция женственности состоит в том, что уважение и статус женщины определяются не её длинными ногами или высокой грудью, что применительно, скажем, для оценки лошади, а определяются — благочестием женщины. В христианстве благочестивой может быть только монахиня! Ислам считает половое влечение сущностью человеческой природы. Благочестивая женщина не уходит в монастырь, а становится женой, матерью. При этом носит одежды, как у монахини, чтобы предотвращать соблазны. В женских мусульманских покрывах есть одно великое значение: сейчас ты молода, на тебя смотрят с вожделением или с восхищением. Но пройдут годы, как на тебя будут смотреть?

— Есть для этого фитнес, косметика.

— Продлишь молодость на пять, десять лет. Над временем никто не властен. И ты обязательно столкнёшься с мужским равнодушием или, хуже того, безразличностью. Для западной женщины это трагедия. Ислам заботится о женщине: по воле Аллаха, юная или преклонных лет женщина под покрывами одежд не имеет возраста. Она только женщина: мать, жена, хранительница очага. Мужские глаза видят не её плоть, а лишь её божественное предназначение. Душу. Ты хотела бы, чтобы в тебе видели в первую очередь твою душу?

Лиза с удивлением и оцепенением обнаружила, что кивает в согласии. И даже прослезилась. Хотелось продолжить разговор с Идрисом не письменно, а через видео, чтоб видеть и слышать. Но поздно уже было, Серый, наверно, ждал в спальне.

— Извини, мне пора, — завершила Лиза беседу.

В спальне она скользнула к мужу под одеяло, положила голову ему на грудь, он обнял её с глубоким сладким вдохом.

— Ты чего такой сегодня? — прошептала Лиза.

— Какой?

— Радостный.

— Да так. Хорошо просто.

— И мне хорошо.

С утра он отправился в банк: деньги были на срочном вкладе. Сомнения, конечно, глодали. Машина машиной, но уплывут дешёвые участки. Хотя представить оформление: такая земельная политика, что везде тормоз, нужно прокачивать — и связываться неохота! Всё, решено: машина! Встал в очередь, достал бумаги. И так легко стало опять, просто. Прямо невтерпёж сделать жене подарочек!

Подъехал к автосалону: за большим, во всю стену, окном полировкой отблёскивала она — япошечка такая косоглазая! Снова представил машинку у ворот, обвязанную, как задумал, бантом, и самому смешно стало. Нет, для артистов, оно, может, и хорошо, но для него такие финты ушами не подходят! Соседи и без того судачат: среди нищеты, они же как бы богатые! Надо нормально взять Лизу, привезти в салон, пусть сама выберет. Вон и “Хундай” стоит, тоже посмотрится!

А придёт время, когда он купит жене “Лексус”, и водителя наймёт! Водительницу...

Одна нога здесь, другая там: через считанные минуты Серый уже вбегал на второй этаж своего дома. И опять остановился: нога прямо зависла над ступенькой. Эффект присутствия чужого человека в доме был абсолютным: шёл разговор между мужичиной этим, как сказала мама, с нерусским голосом и Лизой. Хотя почему нерусским? Никакого акцента. Интонация...

— А та девушка, из веера у дороги, она вышла из вашей машины или всё-таки осталась? — голос Лизы звучал на высокой ноте, подобострастно.

Мужчина раскатился в смехе:

— Я ведь говорил о приятеле. И не говорил, что она была в его машине! Тем более что и он был не на машине.

— А на чём?

— На велосипеде!

— А вы ехали... Ваш приятель ехал на велосипеде, как Вы сейчас, с закутаным лицом?

Сергей слушал — подслушивал, как последний ревнивец, — а сердце билось, стучало: так радужно Лиза говорила с ним, мужем, лишь в самом начале семейной жизни. Да и то не так.

Вышел запал: сдох! Внутри скисло, свернулось всё, как молоко от капли самогона. Посидел на ступеньке лестницы. Поднялся, пошёл. А и хорошо — никаких машин, подарков. Пусть рулит на дедовой, иным и это было бы в награду!

В дверях столкнулся с отцом:

— Сделайте милость, — отстранился не хуленький Павел Валерьевич, вобрав живот и склонив почтительно голову, — я пройду после...

Отец разыгрывал интермедию из Гоголя: специально ведь его поддавливал, ну, специально! Сыну ничего не оставалось делать, как подыгрывать в ответ. Серый тоже вобрал живот, без того впалый, и показал, мол, нет уж, нет уж, проходите вы. Он знал, что как только шагнёт — шагнёт и отец. И дальше придётся протискиваться, изображая кого-то из классической литературы: отец когда-то был большим книголюбом, да и Серый почитывал. Куда всё ушло?

Двери отцовской биндогои были открыты настежь. Ничего никогда отец просто так не делал!

Серый решительно прошёл в мастерскую Павла Валерьевича, заставленную электронной утварью. На “шахматной доске” сложилась явно патовая ситуация. Мгновение поколебавшись, открыл страничку Лизы. На экране был мужчина в одежде бедуина: одни глаза. Неожиданно светлые.

— Почему женщины носят такую одежду, я поняла. Но вы же не женщина? Почему у вас закрыто лицо?

— Так удобнее скрываться от Интерпола, — мужчина чуть посмеивался.

— А вам надо скрываться?

— Помилуйте. Это я пытался шутить. Просто я долго жил в пустыне. Нихаб, — мужчина провёл рукой по белоснежной ткани своих одежд, — прекрасно защищает от палящего солнца, песка, который разносят частые сильные ветры. Представь, если ты приехала на Крайний Север, где лютые морозы, и пошла гулять в шляпке?

— Ну да! — Лиза чему-то очень радовалась. — Там же носят шапки-ушанки, закутываются, так что тоже одни глаза остаются! А крестьянки в поле, в кино показывают, туго были повязаны платком, и платья на них до пят! А в православный храм и по сей день женщине нельзя войти без платка!

— В храм — в платке. А вышла — и забыла про него! — был радостен и “бедуин”. — А почему поведение в храме должно отличаться от поведения в обществе? Это и есть разлад с собой. Бог остался там, за стенами, а здесь как, сами по себе?! Так не бывает. Мусульманин, мусульманка с Аллахом всегда, в каждом шаге, движении, биении сердца...

В прорези одежды глаза его казались бездонными, как ясное небо над морем.

— Вы ведь сейчас не в пустыне. Трудно говорить с человеком, когда не видишь его лица, — протяжно произнесла Лиза.

“Бедуин” одним движением снял повязку с лица. Серый ожидал увидеть что-то изуродованное, ненормальное, иначе зачем было бы прикрываться? Открылось... явственно русское лицо. Или так: лицо славянской национальности. Белая кожа, русая борода. Прямые, чёткие, мягкие черты. Про такие говорят: иконописные...

Странно: ревновать Серому повода не было. Но щемящее чувство не оставляло: собственной несостоятельности, что ли?

— Вы очень красивый мужчина. — Лиза явно превозмогала смущение.

— Как мудр был пророк Магомет, — воздел ладони действительно красивый мужчина, — предписывая мусульманам глухие одежды! Вот только что мы говорили о существе бытия, а теперь поведём речь о внешности, которая к существу не имеет отношения. Я мог быть уродцем, но при этом иметь высшие намерения?! Как может быть и наоборот?!

Мужчина с экрана смотрел так, словно перед ним был милый ребёнок. Голос звучал мерно, чуть отстранённо и с той уверенностью в знании истины, с какой часто произносят самые обыденные слова восточные люди.

— Хорошо, — светилась улыбкой и Лиза. — Не будем про внешность. Вы не ответили на вопрос о той девушке, которая торговала телом, а хотела быть чистой? У обочины дороги?

— Она стала жить так, как звала её женская природа.

— Снова стала девственницей? — Лиза умела уколоть.

— По существу — да. Она приняла магометанство и живёт в согласии с собой...

— Но ведь вы же по виду русский?! Или украинец?! Или белорус? Шляхтич? Поляки обычно красивые...

— Опять по виду...

Серый так настроился чувствовать себя всё видящим и слышащим невидимкой, что забыл про телефон, который вдруг жучком забился в кармане. Выскочил стремглав из отцовской мастерской, не зная, могли ли интернет-собеседники расслышать звонок?

Звонил помощник, Олежка, из-под “Маяка”. Как дети малые! Чуть отвлечёшься, у них там вся работа встаёт.

— Гипсу привезли — не формат! Выщербленная, левая какая-то!

— Ты её, надеюсь, не принял, накладную не подписывал?!

— Что я, совсем, что ли? Вот он, водила, стоит...

— Щас буду! — отвечал начальник на ходу, обретая прежний ритм.

Мчался, сдерживая себя, чтоб не гнать. Почему-то так: душа не на месте, и начинаешь подавливать гашетку газа. А что, собственно, случилось? Только то, что не умеет он вести такие разговоры, на которые мастер этот “бедуин” с нерусским голосом.

— Надо на отгрузку всегда посылать своего человека! — выговаривал помощнику Серый.

— Так что ты не послал? Я же на объекте!..

Вопрос был решён: машину с грузом отправили обратно, Серый — генеральный директор Сергей Павлович — лично пообещал прибыть на склад, разобраться.

Серый занимался делами, а сам ловил себя на мысли, что торопится вернуться домой. Но для чего?! Сесть к компьютеру, подслушивать и подсматривать за женой? Он направился, было, к машине, оставленной на дороге, открыл дверцу, постоял. Захлопнул с силой. Нет уж! Не будет этого! Не станет он больше входить в её программу, у каждого есть право на свой мир, общение. Пошёл к склону высокого крутого берега.

Вид открывался... “Иван-баба” словно пытался отбиться от суши. Монах этот, отшельник, который жил на островке в Средние века, представился похожим на мусульманина с лицом славянина: к этому бы тоже шли люди, не боясь, по шаткой жёрдочке. Тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Ближе к берегу плавала утка-нырок, держа длинную шею вопросительным знаком. Ушла под воду, долго не было видно, вынырнула вдали от прежнего места, взмахнула крылами и с воды, вытянувшись стрелой, полетела в небо.

— У тебя что, проблемы какие-то? — приблизился чуткий Олежка.

— Да... — хотел было отмахнуться и уйти Серый. Но вдруг сказал: — Жена изменяет.

Олежка помолчал. Посмотрел внимательно, с недоверием:

— Что-то по Лизе не похоже...

— С компьютером изменяет.

— Ну, знаешь... Как гора с плеч! Что там, виртуальный секс?

— Какой секс!.. Общение с интеллектуалом. О религии беседуют.

— Так это же загребись! Религия, она... — Олешка что-то несколько раз отсёк воздух ребром матерой ладони.

— О мусульманской религии. Об их одежде... — теперь Серый провёл перед собой по воздуху ладонями, показывая глухие покровы.

— Он наш, из татар?

— Да нет. Где-то в песках живёт...

— И чё? Не бери в голову! У них там с женщинами-то проблемы! С ослицами живут!..

Мужчины на крутом берегу посмотрели друг друга и рассмеялись в голос.

Лиза шла между новенькими автомобилями, расставленными по салону: делала шаг и оглядывалась, ещё не вполне веря, что всё взаправду, не розыгрыш и не шутка. Она открыла дверцу красного цвета “Лансера”, села, взялась за руль, муж помог установить удобное положение сиденья. Понравилось сразу, никуда не хотелось уходить. Но рассудительный Сергей настоял, чтобы она опробовала и другие машины — в данной ценовой категории, разумеется. И Лиза стала примеривать автомобили, как платья в магазине одежды. Обошла вокруг, села, завела, опробовала руль. Вернулась к первому, “помидорчику”.

Дома, во дворе, всё семейство ходило вокруг новой машины, и Павел Валерьевич присаживался, и детвора — и на заднем сиденье устраивались, и за руль садились: сначала маленькая, Селина, запросилась, а потом и старшие, Алёна с Викой, тесня друг друга. Марк Самуилович случился рядом. На этот раз настроенный абсолютно философски:

— Идёт борьба за скорость. Интернет всё наращивает скорость передачи информации. Плата — что это такое? Память. Уничтожение памяти — самое большое преступление, которое может быть в человечестве. Сегодня руководство государства Украина занимается именно этим: уничтожением памяти. Подменой понятий. У них воображения не хватает понять, что в человеке хранится память на уровне ДНК.

— Как? — разделяя слова, Павел Валерьевич указал на машину.

— Что “как”?

— Машина? Только из магазина!

— Машину купили? — заметил, наконец, обновку большой философ. — Хорошая машина. — И тотчас, не нарушая мысль, вернулся к явно более важной теме: — Человеческая память хранится в сахарозе ДНК, а память человечества — в сети интернет!

— Этого фактора руководство Украины не учитывает, — как бы очень глубокомысленно пояснил всем Павел Валерьевич.

— А материнская плата всемирной интернет-сети где? В США, и лишь частично в Европе! А это что означает?

— Что?

— Власть над миром!

Взрослые в большом согласии кивали, но у детей чувство такта было вне уготованных миром сетей:

— Поехали, прокатимся! — загалдели наперебой. — Поехали! Папа! Мама!

Неделю Лиза буквально не вылезала из машины. Развезёт детей по садикам, вернётся, поставит, тянет снова ехать. Без всякого смысла, просто по улице, выедет на трассу, вернётся обратно.

А в выходные решили осуществить то, что хотели сделать ещё на “десятке”, да всё никак не могли собраться: поехали по Крымскому кольцу. С собой взяли только среднюю, Алёну: старшая ходила на платные подготовительные занятия в школу, младшую мучить в машине сутки напролёт смысла нет — какие у неё ещё могут быть впечатления?

Алёнка и задала тон дальнейшему путешествию. Первую остановку сделали в Судаке, у Генуэзской крепости. В Феодосии есть своя Генуэзская крепость. Помощник Олешка там рядом живёт, так просто помешан на её истории. Генуэзцы построили крепость в Феодосии и обосновались — тогда в Кафе — на полтора столетия раньше, чем в Судаке. А покинули Кафу

из-за чумы — чума разразилась среди монгольского войска, осаждавшего крепость. Они катапультировали заражённые трупы через стену. Начало четырнадцатого века, а до сих пор район вокруг крепости называют “Карантин” — впоследствии всех прибывавших в Кафу сначала отправляли сюда на карантин. Поэтому, зная, и мыс Ильи, красивейшее место, находящееся далее крепости, оказалось незастроенным. Судакская крепость, по преданию, заложенная аланами ещё во втором веке, более отреставрирована, окультурена. Здесь и фильмы многие исторические снимали. На её территории есть музеи. Зашли Головины в музей, и четырёхлетняя дочка выдала громким голосом:

— Что это за спонаты в этих музеях?! Все старые! Все разбитые! — с буквой “р” пока были проблемы: получилось почти негодующе и воинственно: “ставые!”, “вазбитые!”.

Народ, находившийся в музее, что называется, грохнул от смеха! Рассмеялся в голос, непривычно для себя, и Сергей. И поймал на себе взгляд жены: Лиза смотрела на него как... на полного дебила. На микроба. Но хуже того: взгляд этот переносился и на дочь.

Отец погладил по голове дочку: ему понравилось то, как она сказала, — угадывал в этом бабушку Евдокию или даже просто бабу, сибирскую, из деревни, как он их помнил. Им тоже бы казалось, что негоже старьё разбитое выставлять. Поднови, покрась, тогда и показывай!

Блюмкнула “эсэмэска” в телефоне жены: открыла, прочитала и сразу затеплилась своим прекрасным лицом. Ликом.

Дорогу вдоль крымского побережья называют серпантином. Вьётся она гребешком по горам и долам, то взмывая по крутому склону, то дугой ухая вниз! Лепота вокруг эдемская: и море, вот оно, разлитое — слепящая синева, — и решительно выдвинувшаяся остроковая скала, и утопающая в южной сочной растительности ложбина. Вдруг обрыв, и нависающие камни! А на заднем сиденье — дочь, смотрит во все глазёнки, а машину ведёт жена... За рулём без году неделя. При этом норовит обогнать впереди идущую “шестёрку”.

— Под горку не надо, — осторожно остепенял Серый, понимая, что каждое его слово для неё может быть ущемлением личности. — Наоборот, в горку пойдём — тогда.

А как не обгонять, дедуля сидит себе, затылком отсвечивает и жмёт километров под тридцать. Местные, молодые, наловчившиеся, снуют быстро: прижмутся почти вплотную к заднему бамперу, на дороге чуть ровный промежуток — обогнал. Ну, и вездесущие “москвичи” на крутых иномарках, словно везде пытаются судьбу: закладывают виражи, только их и видели. На взгорье — дух захватывает! — море, будто полная, поданная на невидимых руках чаша. А с другой стороны — стекающие потоками вихрастые леса. И куда 77-й гонит, чётко отслеживая перед собой только фрагменты трассы да габариты машины впереди, которая тотчас остаётся позади? Слева по дороге, в селе Малореченское, совсем на краю берега, как “Ласточкино гнездо”, высился храм-маяк Святителя Николая Чудотворца. Воочию Серый видел его впервые: он только начинал разворачивать в Крыму свои строительные дела, когда происходила его закладка. Будто по мановению палочки, вырос храм, похожий на ракету перед стартом. Архитектурное попадание в точку: словно был тут всегда!

— Давай левее, вон стоянка, — предложил жене Серый.

— Зачем? — ехала она небыстро.

— Зайдём. Самый высокий храм Крыма!

Снова проиграла музыка смс-сообщения: Лиза, не отрываясь от руля, правой рукой взяла телефон, провела пальцем по монитору. Сергей обратил внимание, что исчез маникюр, а прежде длинные ногти острижены. Жена тем временем прочитала сообщение, в задумчивости задержав взгляд, когда смотреть надо на дорогу. Положила телефон на панель между сиденьями. Но храм уже миновали, по дороге шла сплошная линия, не развернуться.

— Потом зайдём, — улыбнулась Лиза. — Мы же хотели в Солнечногорском остановиться, давай сначала с местом определимся.

Солнечногорск был сразу за Малореченским, считай, один посёлок. Свернули в кемпинг: открытое, охраняемое место на берегу, где можно разбить палатку. Ты, вроде, и дикарь, но в то же время есть так называемые удобства. И просто россыпь магазинчиков, кафешек, где всё вполне по карману!

Первым делом, понятно, в воду! Он брал Алёну на сомкнутые ладони, подталкивал, чтобы могла плыть. Лиза медлила с раздеванием, вдруг сказала, что здесь людно, она не может, отойдёт купаться в сторонку.

— Что людного-то, полтора человека! — удивился Серый.

— Не могу. Мужчины, — кивнула она. — Мужской взгляд. Липнет.

— Ну, хорошо... — Серый потащил дочку за мамой. — Мы все можем в сторонке.

Серый осознал, что с женой происходят более серьёзные перемены, чем игра или увлечение: новое длинное платье до пят, платок тугой означали не просто форс, а нечто более серьёзное.

Ближе к вечеру расположились в открытом кафе, на диванчиках вокруг невысокого татарского стола. Серый полулежал, как восточный мужчина, Алёнка перебежала с места на место, усаживалась на диванах с ногами, пока официантка в татарском убранстве приносила еду.

Лепота: бокал вина в руке, рядом красивая жена, счастливый ребёнок, море зеркальное, вечернее, дышит! Храм отсюда, с низины, виделся на крутизне в высоте, пронзающим небеса!

— Красавец! — оценивал как строитель Серый.

— Да, красиво! — соглашалась Лиза.

Дочь посматривала вслед за взрослыми.

— Помню, прабабушка говорила не “церковь”, а “церква”. “В церкву пойду”, — со смехом вспомнил Сергей. — Надо и нам сходить в “церкву”.

— Какая прабабушка, наша? — заинтересовалась Алёна.

— Нет, моя прабабушка, ваша прапрабабушка. Она в Сибири жила, далеко.

— Сходите, — милостиво улыбалась Лиза.

Вновь закатился проигрыш эсэмэски на её телефоне. Жена прочитала, улыбнулась чему-то.

— А ты? — вернулся муж к прежнему разговору.

— Что я?

— Ты что, с нами в храм не хочешь?

— Да я так за рулём устала...

— Завтра, с утра.

— Завтра будет видно, — вздохнула жена.

“Рюмка водки на столе...” — пел за электронной музыкальной установкой ди-джей. На пятачке перед ним танцевали отдыхающие. Странно: Сергей как местный даже на отдыхе не мог себя к ним причислить. Потянул Лизу танцевать, но жена не захотела, пожав плечами.

Как хорошо краем берега идти к палатке по вязкому песку! Море тихое, готовящееся ко сну. Звёзды низкие, ясные — с чем их там сравнивают? С гроздьями? Россыпью? Взрывом? Марк Самуилович, наверное, сравнил бы со строением ДНК? Всё верно. И всё не так.

В палатке Алёна легла посредине. Молчали. “Вших, вших...” — полнил чувства нарастающий прибор.

С утра Серый обнаружил в телефоне кучу неотвеченных вызовов. Спешно перезвонил — можно сто лет бегать в поиске хорошего заказчика, но как только собрался отдохнуть, тебя нет не месте — он тут как тут! Посмотрел на Лизу, которая у воды причёсывала волосы — как же это красиво: женщина у моря с чуть склонённой головой и прядями волос, спадающими к плечу... Возвращаться не хотелось. Да и план весь нарушался. Решили: дальше без ночёвки, за день по кругу успеют, да и хватило её, палаточной жизни!

Серый сам сел за руль: серпантин после Солнечногорска вихрился очень крутыми виражами, для неопытного водителя опасно. Да и Лиза пусть повертит головой, посмотрит с высоты на море, распадки, долины. Вдохнёт ширь!

Хотя вдыхать ей не давали смс-сообщения: блюм да блюм.

— Кто там тебе всё шлёт?
— Пророк Мухаммед.
— Кто?!
— Просто я зарегистрировалась на одном умном сайте, и ко мне приходят хадисы пророка Мухаммеда. Хочешь, прочту.

— Давай.

— “Не слушай советы одиноких людей”.

— Никогда не думал об этом, но ведь правильно!

Ну, вот. Он уж начал Бог знает что думать, а тут на тебе, пророк!

Следующую остановку сделали в Балаклаве. Турки в своё время Балыком кликали: залив, если сверху глядеть, похож на большую рыбину (балык — рыба). Бухта также сравнима с морским клыком, вонзившимся в сушу. Ныне для большей туристической привлекательности Балаклаву зовут Крымской Венецией. Оно и правда: прогулочные судёнышки снуют туда-сюда, есть и гондолы, на одной стороне берега дома, гостиницы, эллинги. С другой — советское чудо света! С виду — гора горой. Называется Таврос. А внутри, в скале, будто в фантастических фильмах, громадные рукотворные цеха и ангары завода по ремонту подводных лодок!

— Это укрытие, — сообщила девушка экскурсовод, — может и сейчас выдержать удар ядерной бомбы в сто килотонн и вместить около трёх тысяч человек...

В рукотворных подземных катакомбах было студёно, гулко. Торжественно. Сергея поражал объём выполненных работ: пробитые в камне просторные ангары и коридоры, идеально выравненные стены, столь же идеально параллельные берега водного канала, выходящего через сквозной проём в открытое море! Он держал дочку за руку покрепче, дабы не вырвалась, не потерялась, не свалилась, страшно подумать, в канал с глубиной, спланированной под движение субмарин. Экскурсовод рассказывала об истории судостроения подлодок, экспонаты можно было потрогать руками. А в батискафе даже посидеть и сфотографироваться.

Великая держава готовилась к отражению возможного вооружённого нападения. А вторжение произошло иное, без выстрелов и видимой военной техники. В девяностые годы всё это добро, усилия ума и рук человеческих, хирело и разворовывалось, сдавалось в утильсырьё, а в двухтысячные группа энтузиастов, бывшие судостроители и подводники, оставшиеся без руля и хлеба насущного, собрали по крохам останки и пробрили организацию музея.

В одном из рукавов подземного лабиринта, на стене, ещё не реставрированной, с жучком эрозии, было начертано: “Не всё говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь!” Красными буквами, заключённые в рамку, с нарушением пунктуации, эти строки казались написанными кровью. Девушка экскурсовод поясняла, что в условиях строжайшей секретности слова древнего латинского поэта обретали особую актуальность...

Серый заметил, что все вокруг — люди, шествующие за экскурсоводом, — переглянулись с текучей улыбкой. Будто и сейчас не хотели сболтнуть лишнего. Лиза тоже улыбнулась, прижалась щекой к его плечу, как бы говоря: в этом мире с ядерными бомбами, подземными укреплениями и прочими военными хитромудростями только и можно спастись, что любовью.

Видно, и киевский князь Владимир, правитель Великой Руси, на двадцать восьмом году жизни прозрел, что без любви никуда! В Херсонесе, где принял Владимир Крещение, молодой красивый экскурсовод с лёгкой бородкой рассказывал, что князь с отроческих лет был блудником и насильником. Родился вне брака, от рабыни, в пятнадцать лет убил родного брата, силой взял его невесту на глазах её отца и матери, а потом убил их. Всё это было абсолютной нормой поведения для язычества! Кроме жён, имел восемьсот наложниц. Серый мысленно прикидывал: если к каждой всего по разу заглянуть, и то дел более чем на два года! Победные войны привели киевского князя в Крым. Здесь, на благоденственной земле, ему открылось чудо любви — высокий красивый экскурсовод оглядывал пространство, море, ясные небеса, останки древнего Храма с углублением купели, колоннами, подпирающими

открытое пространство. И останавливал взгляд исключительно на лице Лизы. И дальше, будто только ей одной, говорил:

— Князь Владимир полюбил сестру византийских царей Анну. Да так, что стала одолевать его слепота.

Слепота, как понимал легенду рассказчик, не буквальная, а душевная. Это же и сегодня случается с пресыщенными людьми: деньги, власть, женщины, а покоя душе нет! Владимир попросил у именитых братьев Василия и Константина руки Анны. Византийские цари дали согласие при условии: киевский князь примет христианство. А это означало — полный жизненный переворот. Отказ от лобострастия. Князь Владимир крестился и тотчас, как сообщают летописи, прозрел. Слепота исчезла — потому что был сделан главный жизненный выбор. Личный и выбор исторический: для всего народа. Женится на Анне, а всех своих прежних жён и наложниц отпустил по их воле выбрать себе мужей.

— Но ведь Владимир прежде принимал ислам? — услышал Сергей голос жены.

Он в первое мгновение не поверил — да, говорила она, прежде вроде не интересовавшаяся историей.

— Такая версия существует, — внимательно, иначе посмотрел на неё молодой экскурсовод. — Об этом сообщают некоторые арабские источники. Но древнеславянские документы этого не подтверждают.

— Новая вера. Новая власть. — Лиза сдвинула брови к переносице. — Мы являемся живыми свидетелями, когда переписывается история. Сейчас всё в угоду Америке. А тогда — в угоду Византии.

Сергей был поражён: не без пользы она там, в интернете сидит.

— С той разницей, — улыбнулся экскурсовод, — что киевское войско было не слабее византийского. И не князь Владимир, а царь Василий просил о военной помощи русичей. Так или иначе, никто не оспаривает факт, что Владимир принял христианство, чтобы жениться на Анне. Победила любовь!

Слушатели зааплодировали. Вновь пришедшее смс-сообщение Лиза зачитала мужу сама: “Я увидел, что большинство из обитателей ада — это женщины, потому что они проявили неверие”. И его спросили: “Неверие в Аллаха?” И он ответил: “Неверие в мужа...”.

Сергей снова в приливе чувств крепче приобнял жену:

— Мне нравится этот парень, Мухаммед!

В Севастополе только сфотографировались у памятника 300-летия Русского флота: время поджимало. В Бахчисарае, как подтверждение исторического выбора, дворец хана Гирея и наскальный Успенский собор расположены неподалёку друг от друга. И часы работы были одинаковы: всё уже закрыто. Но полюбоваться ущельем, удивляясь (хотя были здесь не в первый раз) ещё одному непостижимому крымскому чуду света, ничто не мешало: на заре христианства гонимые византийские монахи в скалах, на высоте сотен метров, выбили кельи, напоминающие теперь чижинные гнёзда в обрывистом берегу. Как они это делали без альпинистского снаряжения? Как жили в них, надо было ведь спускаться, подниматься? Готовить еду? Не птицы же, чтобы приносить пищу в клюве? Создан был и наскальный пещерный храм. Сила веры!

Лиза снимала на камеру, как Сергей с дочкой набирали святой водицы из родника, шли с бутылками вниз, где оставили машину.

Перед последним броском решили поужинать в татарском открытом ресторане. Пока Лиза с дочкой отлучались “помыть ручки”, Сергей быстренько открыл страничку сообщений в забытом на столе телефоне жены. Действительно, лентой шли поучения: хадисы пророка. “Для того чтобы стать лжецом, человеку достаточно передавать всё, что бы он ни услышал”, — остановился кадр. И опять ему это нравилось! Да пусть она читает умные поучения, а не какую-нибудь “жёлтую” прессу, где как раз и передают всё, что ни услышат!

— Шашлык из баранины, говядины, свинины? — учтиво подошёл к ним хозяин заведения. Сам он, по признанию, свинину не ел, но приготовить для гостей — от всей души!

— Из баранины, конечно. Из заливки!

Подобно восточному человеку, Серый любил полулежать на диванчике. Позволил себе винцо: женщина взяла дальнейшее управление машиной на себя. Лепота!

— Почему татары всегда дружнее, чем русские? Друг друга выручают. И живут круче, посмотри дома в татарских деревнях.

— Раньше и у нас так было.

— Когда раньше? Помнишь, из школьной программы, образ Сонечки Мармеладовой? Девушка проституткой стала, чтобы семью кормить! У мусульман бы этого никогда не случилось.

— Ну, не знаю. Что они дружные, то да. А всего остального у них...

Лицо жены дрогнуло, как от боли. Лиза покосилась на площадку диджея, откуда разносилась восточная мелодия. “За тебя калым отдам, душу дьяволу продам...” — только сейчас обратил внимание на музыку и расслышал слова Сергей. Знал, что для Лизы всё это трень-брень, как скрежет колёс.

Её глазами он увидел то, что мгновение назад мнилось верхом блаженства, — еда, диванчики, открытое небо, дешёвое вино с пенным ободком по стеклу бокала — всё обрело облик затрапезности.

— Крымские татары никогда не были настоящими мусульманами, — словно улеталя куда-то Лиза. — Они осколки Золотой Орды. Такой же сброд, как и русские.

— Почему русские сброд?

— А кто ещё? Большой сброд только американцы!

С удивлением и гордостью, подняв бокал, муж провозгласил хвалу:

— Поднаблатыкалась ты в этом интернете!

Зачем так сказал? Это ведь не его словечко? Хотелось как-то в шутку всё перевести, что ли?

Когда подъехали к Симферополю, стемнело. Среди уличных огней ещё был обзор, а выехали за город — мрак. Небо беззвёздное. Свет фар высвечивал узкое пространство, скакал вместе с “Лансером”, как по волнам. Вести машину было непросто. Сергей даже предложил, может, всё-таки ему сесть за руль?

— Да нет уж, вышил — сиди.

Странно, вопреки очевидной опасности, Лизе хотелось ехать всё быстрее. Она глубже топила педаль газа, обгоняла автомобили, попадавшие впереди. Интересно: надвигаешься так на высвеченный задок машины, руль влево, подбросил ещё газку, и дальше! Под музыку в салоне.

— Можно я на секунду убавлю звук, — спросил Серый. — Послушаю, как работает двигатель.

— Слушай.

Он сделал музыку неслышимой.

— И что? — было интересно ей.

— Думаю, к весне начнём строиться. Там, на мысе Ильи, под “Маяком”. Будешь с балкона море обозревать. Балкончик такой сделаем, лепестком.

— Я про звук.

— Какой звук?

— Ты хотел двигатель послушать. Всё нормально?

— Отлично!

— Можно музыку включить?

— Конечно, конечно!

Летом в Феодосии в любое время ночи на улице обязательно встретишь прохожих, даже в окраинных домах тут и там горит свет, слышится движение, ибо отдыхающий — он не спать сюда приехал! Осенью ночью город, особенно частный сектор, напоминает сказочное заколдованное существо. Тишь, мрак! В свете фар — причудливые морды деревьев из-за заборов, выложенных из камня, глины, ракушечника. Камни и глина на дороге, где не ухаб, там яма. Древний крепостной мир.

По всей улице светилось только окно двухэтажного дома на взгорье: бабушка, зная, всё неустанно колдовала на кухне.

Лиза поднималась из-за руля, вставала на твёрдую землю: всё её тело гудело приятной победной усталостью — такое расстояние преодолела, сама, да ещё ночью! Муж открыл ворота, загнал машину во двор. Взял с заднего сиденья, понёс на руках спящую дочь по узкому, с чёткими гранями тротуару. Свет из кухонного окна шёл неровно, а вдруг притухая, как бы подавая знаки. Спина мужа в этой пульсирующей полутьме, свисающие ноги дочери, очертания дома показались нереальностью, в которую сейчас она снова войдёт вслед за Серым. Евдокия Семёновна будет варить борщ на завтра, муж с утра умчится на работу, она отвезёт детей в садик, потом их заберёт, муж вернётся затемно, когда его мама варит борщ на следующий день... Остро, спасительно Лизу потянуло на второй этаж, в угловую комнату, где, ведомо только ей, в доме существует некая пробоина, выход в открытый космос, в бесконечность человеческого общения, где — Бог ведь где? — в пустыне ли, в подземелье, находился на другом конце невидимого провода Идрис! Он — как сама Вселенная — необъятен.

Муж поднялся по ступенькам, чуть присел, чтобы, удерживая на руках ребёнка, открыть дверь. Она опередила его, открыла сама. Свекровь в мигающем свете стояла не у плиты, как обычно, а посреди кухни с половником в руке. Странная, неподвижная.

— Отца на “скорой” увезли, — произнесла она, так и не двинувшись с места. — Обострение с почками.

Не плакала.

— А дети? — спросил, как Лизе показалось, не к месту Сергей.

— Дети спят. Что им, детям?.. Садитесь есть, баклажаны натюшила, чего теперь?..

— Да мы в Бахчисарае объелись! Или как ты? — повернулся муж к Лизе.

Она в ответ только покачала головой.

— Устали? — как-то резко постарела свекровь, которую невестка даже мысленно никак не могла назвать мамой. — Клади иди Алёнку-то, да пусть бы пописала, так не клади. Давай я сама... Говорила ему: “Иди на обследование, иди на обследование”, — дак всё в этой биндюжке!..

Лиза помнила, как сладко растянулась, разогнув затёкшую спину, прикоснулась затылком к подушке, и всё. Утро, свет в окне. Ни Сергея, ни детей: всех он заботливо собрал, увёз в сад, не разбудив её. Дал отоспаться. Всё как всегда.

Лёгкость во всём существовании была, весёлость. Всё-таки молодцом она вчера по ночи: вжиль, вжиль! Душ, кофе... и в интернет. На страничке Идриса неожиданно были выложены рецепты восточной кухни. Никак она не ожидала этого от него, существующего, казалось, вне бытовых интересов. Широкий он и всегда неожиданный!

Снова была за рулём! Ловко так стало у неё получаться: чуть притопила газ, и авто из-под тебя!.. Метеор! Арабский скакун!

Припарковалась у рынка. Мяса надо было взять и приправ. По рецепту Идриса. Вышла из автомобиля, звонко пискнула сигнализацией — мысленно поставила скакуна в стойло! И увидела, как подъезжает на свободное пространство, словно понуждая прочие машины раступить, “Мерседес-Бенц”. Чёрный, отливающий синевой. Полировка — хоть смотришь, как в зеркало. За рулём была... “купающаяся мусульманка”, видео которой Лиза выкладывала в интернете! Полноватый мужчина, который сопровождал мусульманку на пляже, поджидал машину на тротуаре. Шагнул, открыл дверцу. Женщина в долгополом, теперь фиолетовом, из тончайшего шёлка одеянии ступила на хромированную подножку. Выглянула туфелька — Лиза успела заметить — модельная, на высоком каблучке. Юная восточная красавица спускалась на землю, придерживая подол, и ткань платья катилась волнами по её точёной фигуре. Вдруг посмотрела и дружески улыбнулась Лизе, будто знакомой. Мусульманка была не выше ростом, но Лиза почувствовала себя несоразмерно маленькой, убого одетой и, как почувдилось, принадлежащей низшему миру. Её “Лансер” рядом с “Мерседесом” смотрелся сиротиной, поджавшим хвост и опустившим нос. Какой там скакун! Пресмыкающееся!

В нескольких метрах к свободному пространству плавно, как морское судно, причаливал белый “Лекус”. Рослый плечистый мужчина в белом европейском костюме с иголки и белой куфии — она уже знала, как называется такой мужской головной убор с венчиком — вышел из этой машины. Лиза смутилась, когда он, заметив её интерес, посмотрел в ответ: глаза большие, печальные. Тоже легко улыбнулся и склонил почтительно голову. Лицо смуглое, черты тонкие. Восточный принц!

Лиза глянула на номера машин, ожидая увидеть арабскую вязь, нет — номера были российскими, но не московскими. Так вышло, что шла за восточными людьми. Женщина, одетая в хиджаб, указывала пальчиком с маникюром, полный мужчина свершал покупку, травы, пряности. “Принц” иногда одобрительно кивал, с высоты роста со смиренной улыбкой, как у монаха, оглядывая людей на рынке. В мясном павильоне он взял длинную вилку и неожиданно сам потыкал баранину — рёбрышки, бедро, загривок, — пошёл к другому торговцу. “Дэтям, для дэтекого дома бэрём”, — поясняла с улыбкой торговке женщина.

Зелень в изобилии росла дома в огороде, Лиза взяла острых пряностей — Сергей же любит, а у мамы всё вечно пресное, — и баранины с того же прилавка, мясо на котором одобрил “принц”.

По возвращению домой первым делом она отчитывала Идриса:

— Ваше мнение о том, что мусульманская одежда уравнивает женщин разного возраста и внешности, не выносит никакой критики. Сегодня видела женщину на рынке в хиджабе. Все на неё смотрели, мужчины шеи выворачивали. Так что привлекательность не скроешь, если она есть.

Идрис вышел на визуальную связь. Был точно в таком, как у “принца”, платке, с ободком вокруг темечка. Милостиво улыбнулся:

— Восток красив сам по себе. Во всём. В природе. В дворцах Хорезма. В женщине, которая совсем не обязана быть сирой, как это часто бывает с прихожанками в православных церквях. Батюшка — в золочёных ризах, а согбенная женщина в дерюжке целует ему руку. Мусульманский мир, как мы уже говорили, не признаёт безбрачие как святость. Наоборот: Аллаху угодны плодоносящие женщины и мужчины.

Собеседник улыбался чуть шире, и у него чётко прорисовались ямочки на щеках!

— Но ведь вы же русский, Идрис, русский: национальность это не внешнее, это склад... — она искала подходящее слово, — генотип!

— А разве где-то сказано, что только арабы или тюрки должны быть мусульманами? Среди славян есть народы — мусульмане. Русские до христианства были мусульмане...

— Это утверждают только арабские источники... — поторопилась со знаниями Лиза: не зря слушала лектора в Херсонесе!

— Арабским летописцам не было выгоды лукавить. Их история во времена молодой Руси насчитывала тысячелетия! Можно предположить, что не все, а только отдельные княжества были мусульманами, как не все хазары были иудеями... Да, я русский, хотя отец мой был из обрусевших латышей, а мама, скорее, белоруска.

Идрис смотрел с необъяснимым обожанием, так, будто она сама должна была про него всё понять и знать.

— Вы были в плену? — заглядывала внутрь его души Лиза. — И там приняли Ислам?

— Нет, нет, — он так просто, от души рассмеялся: даже смахнул слезинку с глаза. — Это расхожее мнение: славянин попал в плен, поддался обработке... Нет, Лиза. В плен брал я. Исторически это не раз случалось, когда народ-завоеватель принимал веру и образ жизни завоеванного народа.

Он опять долго смотрел на неё, теперь грустно, хотя и с улыбкой, и почему-то сочувственно.

— Вы воевали в Афганистане?

— И в Таджикистане. И в Чечне. Но я не вижу в себе такой ценности, чтобы досаждать небу рассказом о себе. Тем более, ты же это знаешь,

Лиза, что даже самый искренний человек, начав рассказывать о себе, обязательно расскажет легенду?

— Да, да, — радостно закивала она.

— Я постараюсь рассказать не о себе, а том пути, которым Аллах меня вёл к самому себе, а значит, к вере. Простые афганцы меня поразили. Вокруг война, бедность, но никто не ропщет. Человек встаёт спозаранку, свершает намаз. У него хозяйство, скот, целый день в трудах, и он счастлив, что Аллах послал ему то, что есть. Человек не зарится на чужое, не завидует. Помню дервиша, который во время боя на рынке продолжал сидеть на циновке, погружённый в свои медитации. Только когда пули вздымали песок рядом с ним, он поднимал посох и грозил — причём то одним, то другим воюющим сторонам! Из Афгана меня вывозили на носилках. Я плакал. Афганец в аэропорту сказал мне на ломанном русском: “Не плячь”. И подал мне конфетку. — Идрис рассказывал о слезах с улыбкой, тихим светом. — Я понял про него, что он душман: днём мирный работник, а ночью воин. А он, единственный, понял, что я плачу не потому, что больно, а потому что не смогу больше воевать. — Глаза Идриса искрились. — Но я вернулся на войну. В Закавказье. Многого бы я не понимал, если бы не довелось выходить в составе колонны российского контингента войск из одной республики бывшего СССР с населением сугубо христианского вероисповедания. Большого предательства, мародёрства я не встречал никогда! Вчера только мой сослуживец, майор, из местных, поднимал рог за дружбу и нерушимое братство, а сегодня приходил грабить. Многие наши офицеры выходили семьями. Но без оружия: главнокомандующие новой России подписали приказ за приказом о разоружении войск, находящихся за пределами границ. О передаче собственной армии без оружия и вооружить другую, далеко не дружественную армию?! Единорезцы насильовали наших жён и дочерей! Я сумел припрятать только гранату, чтобы, в крайнем случае, подорвать себя, не испытав позора. Потом Чечня. Чеченцы вообще особый народ. С ними может воевать только русский Ваня. Вот этот Ваня где-то в быту робок, трусоват, но дай ему винтовку, поставь в строй, и он идёт и идёт вперёд, падает, поднимается и опять идёт. И чеченцы этого Ваню уважают! Демобилизовался, думаю, ну, начну мирную трудовую жизнь. Приехал в свой родной подмосковный город, известный производством стали! Мой отец был знатный сталевар! Герой Труда! Привык много работать, хорошо зарабатывать и быть уважаемым в городе человеком! Приехал сын с боевых полей, сели мы с ним, я — с воинскими орденами, он — со звездой Героя Труда, приговорили одну бутылку, другую... А что остаётся? Два безработных. Мама, инженер, работала вахтёршей, ушла в ночь. Я заснул, как в угаре. Утром просыпаюсь рано, выхожу на кухню — жажда... И отец... в петле, на трубе парового отопления. Оставил две записки. Одну маме: “Прости”. Другую Ельцину. Во весь листок рваным почерком. “Борис Николаевич! Вы говорили, что ляжете на рельсы, если в стране будет продолжаться бардак. Я Вас поддерживал, митинговал, стучал каской об асфальт у горкома партии. Результат: завод стоит, второй год без работы и зарплаты, в холодильнике шаром покати. На шею у жены, которой тоже месяцами не платят. Бандитизм, развал, предательство! Борис Николаевич! Я принял решения лечь вместо вас на рельсы”. А на кухне — телевизор включённый. Мы его ещё с вечера смотрели. Всенощную службу в храме транслируют. И кадры: президент России стоит в церкви со свечкой... — Идрис долго, опять с улыбкой, только иной, горькой, смотрел на Лизу: как бы оставляя время на раздумья. — Вышел я на улицу, чтобы продохнуть. — Он показал, как не хватало воздуха. — Куда податься? Прежде это был город с двумя школами олимпийского резерва! Что ни боксёр, то борец. Все ушли в бандиты. Все друзья детства! С ними? В криминал? Стал петь в ресторане.

Идрис наклонился и... оттуда, из-за кадра взял гитару: красивую, двенадцатиструнную. Заиграл: умело, легко. Песню известную, но на свой лад, сильным баритоном усталого путника:

*А в небе голубом горит одна звезда.
Она твоя, о, ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят.
Пускай ведёт звезда тебя дорогой в дивный сад...*

— Как вы хорошо поёте! — успела воскликнуть Лиза.

— В ресторане петь нужно то, что хочет слышать публика. А что тогда хотела публика в ресторане: “Владимирский централ, ветер северный...” Хорошая песня. Но я — боевой офицер. И вот пою, и так ясно, сильно, по душе когтями: там ребята кровь проливали, ни дней, ни ночей! Помню, подлетаем на вертолёте, а внизу мои бойцы в огне мечутся. Горят, тринадцать человек! Ничего не сделаешь, смотришь сверху, а вертолёт только “ры-ры-ры” кругами, спикировать не может. Сели, давай тушить, а всё уже... И запах горелого мяса. Обычный запах. Я потом на мясо года два смотреть не мог. А я воспеваю того, кто банковал... Директором ресторана был друг. Тоже спецназ, тоже поющий. Со мной рядом пел. Свои песни, бард. Выехал ночью, после ресторана. На лежащем полицейском приостановился, и его как бы прохожий расстрелял в упор прямо за рулём... Схоронил его, вышел ночью, стою, думаю, а не поспешить ли за ним, за отцом, за ними, всеми невинно убиенными, какой смысл так жить? И вдруг месяц над головой. Ясный, как вырезанный. И тогда, в порту, когда афганец-душман, — а он был душманом, хотя работал в аэропорту, — дал мне конфетку, тоже на небе был ясный месяц. И нашло ясное понимание: те, кто воевал против нас, воевали не против нас, а против чего-то очень вредоносного в нас, против того, с чем самим бы надо воевать... Они — друзья, а враг — непрост и многолик, он изопрённо делает из нас, людей, нелюдей...

— А разве нужно обязательно воевать? Есть воздействие воспитанием, культурой?

— Я этого не отрицаю. Советский Союз этим умело пользовался. Доктрина чистого Ислама, по существу, близка его идеологии. Бытие определяет сознание. Только коммунисты из бытия изъяли Бога. А Бог — Аллах — есть начало бытия. И каждому народу было дано его откровение, только народы забыли или потеряли его, как евреи — скрижали Завета, а Мухаммед и арабы сохранили. Только чистый ислам, который во спасение мира был возвращён арабам стараниями Абдуль Ваххаба, может установить мир и порядок на постсоветском пространстве. Но нельзя и отрицать воздействия и этого инструмента, — в его руках теперь был автомат.

— Настоящий?

— Нет, нет, что ты, это муляж, игрушка, иначе наш портал мгновенно закروют.

— Да, да, я знаю, Марк Самуилович говорил. Весь мировой интернет-ресурс размещён на платах, которые находятся в Штатах и частично в Западной Европе.

— Марк Самуилович правильно говорил! — Он убрал “игрушку” из видимости экрана. Смотрел опять — продолжительно, так, что взгляд проник в грудь, расходился немотой по телу.

— А в ресторане ты пел, — перешла Лизы на “ты”, — “Я хочу быть с тобой...” — легко напела она.

Он показал рукой, чтобы она продолжала. Снова взял гитару и подыграл:

— Я так хочу быть с тобой... — продолжила она. — И я буду с тобой...

У них получилось слаженно, хорошо: он играл, она пела — на двух концах связи! Оба рассмеялись, радуясь этой возможности подхватить в музыке один другого, стать заодно.

— Да ты талант! — похвалил мужчину. — А теперь послушай песню человека, который поёт не для людей. А для Всевышнего!

Идрис сбросил снотку на адрес сайта. Певец с мужественным лицом, густыми сросшимися бровями и при этом чётко очерченными чувственными губами пел голосом, словно летящим из ущелий:

*Но недалёк уже тот день,
Когда без жалости и страха
В страну, где правит иудей,
Придут воители Аллаха...*

Странно: Идрис был ярко выраженным славянином, а этот бард, Тимур, явным уроженцем Востока, но они казались очень похожими: молодыми царями!

*И будет страшен этот бой,
А гибель и для нас награда,
Шахид небесною тропой
Придёт к обители Аллаха...*

Лиза снова вызвала Идриса:

— Что нужно, чтобы принять Ислам? — не терпелось ей.

Идрис опять продолжительно посмотрел с этой его способностью заглядывать внутрь.

— Вера, — просто улыбнулся он.

Склонился к гитаре. Особой изящной выделки пальцы жёстко ущипнули струны: звук стаял, словно прокричала птица в ночи.

— Только мусульманин может быть счастливым человеком!

Мужчина с венчиком вокруг головы снова смотрел на неё с улыбкой, а глаза лучились, теплились.

— Пробьёт миг, — продолжил Идрис, — когда из души твоей запросятся слова шахады: “Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед — Его раб и Его посланник”.

— Мне кажется, что они у меня просятся сейчас. — Она запомнила эти слова сразу. — “Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед — Его раб и Его посланник”.

— Их нужно произнести на арабском.

— Я не знаю арабского.

— Многие мусульмане не говорят на арабском. Но слова шахады известны каждому: “Ашхаду алла иляха илля аллах, уа ашхаду инна Мухаммадан расуль алл”.

Тонкие пальцы Идриса шли перебором по струнам: вязь звуков сливалась в восточную успокаивающую мелодию, уносила туда, где шёл караван, палило солнце, и всё было неторопливым, мерным, вечным...

Внизу, в гостиной, Лиза высвободилась от переполнявших чувств за клавишами пианино. Музыка заполняла пространство. Она даже не отдавала себе отчёт, что играет, только мысленно повторяла, что верит, и как же можно не верить, если такой удивительный человек, который прошёл такой тяжёлый путь, обрёл истину в Исламе?!

Она никогда не считала себя способной к кулинарному искусству, да и к пище была почти равнодушна: ей чашку кофе с долькой шоколада, и сыта. Но хотелось сделать угодное — Лиза не могла точно сказать, кому, — просто тому, вышшему, что придаёт жизни порядок и смысл. Поэтому она не готовила пищу, она священнодействовала, касаясь сокровенного знания, дарованного Идрисом.

Она перебрала несколько его рецептов мусульманской кухни: плов, шашлык, манты — это было везде, в каждом кафе у набережной. Остановилась на блюде под названием “кус-кус”. Как оказалось, кус-кус был всего лишь кашей из манки, пшёнки и муки с добавлением масла. Но подавался кус-кус и с мясом, и с рыбой, орехами и фруктами. Она прочитала несколько раз рецепт, закрыла глаза, всё представила и начала.

Скатывала манку, обрызгивая водой, подсыпала муку, поливала оливковым маслом, добавляла пшена, снова кружила пальцами, ощущая скатывающиеся шарики. Тушила баранину с луком, корицей, миндалём... Запах расходился по дому божественный! Всё оставила доходить до готовности под полотенцами.

Съездила в садики за детьми: решила проверить своё угощение на дочках, а потом уж давать на суд взрослым. Выложила на чашу кус-кус, сверху мясо, зелень — всё как положено. У девчонок глазенки забегали: что-то невиданное.

— “Кус-кус” называется, — поясняла Лиза, уверенная, что девчонкам понравится уже само название. Так и случилось. Все трое заулыбались. Старшая, Виктория, не торопилась, присматривалась. Средняя, Алёна, любопытная до всего, сразу выбрала крупный кусок мяса. А младшая, Селинка, смело загребла ложкой сам кус-кус и положила в рот.

— Гойко! — скривилась она.

— Господи, что это такое?! — некстати была на пороге свекровь. — Запах, как... Ты этим бешбармаком детей кормишь? Жирное, острое всё!

— Это кус-кус, а не бешбармак! — постаралась быть сдержанной Лиза.

— Хрен редьки не слаще! На водички, — кинулась бабушка с чашкой к внучке. — Да пойдём, выплонь всё!

У средней дочки мясо замерло на полпути ко рту. В растерянности переводила взгляд с бабушки на маму старшая.

— У татар насмотрелась, что ли? — продолжала отповедь бабушка. — Они к жирному от роду привычные!.. А у этих сейчас животы полопаются!..

— Думала, вам понравится.

— Да мне уж ничё не нравится. Отца выписывают. Лечить не берутся...

Лиза не то, чтобы забыла, что Павла Валерьевича увезли на “скорой”, но полагала, что не первый раз, обойдётся.

— Жить может только на искусственной почке. Аппарат такой, его подсоединяют, чистят. У нас в городе его нет, есть только в Симферополе. А чиститься надо два-три раза в неделю!

— Я могу возить, — вызвалась Лиза.

— Что ты, не знаешь Павла Валерьевича? Не станет он никого напрягать. Ездить ещё полбеды, всё денег стоит. Два-три месяца поездим, а дальше всё равно не потянем...

— А как тогда?

— Как, как...

Павел Валерьевич вернулся после единственной пробной чистки из симферопольской больницы таким, каким некогда и предстал Лизе, когда вошла в семью мужа.

— “Я люблю тебя, жизнь”, — неожиданно напевал он, как герой советских фильмов.

Его дюжие плечи расправлялись, и наполнилась рвущимися наружу силами грудь.

— Это что тут за персидские пряности?! — нашёл он в холодильнике почти нетронутые кулинарные изыски Лизы. — Божественно!

— Тебе же нельзя, нельзя ничего острого! — бросилась жена.

— Мне многое было нельзя, когда я был членом КПСС, — с философским оттенком декларировал Павел Валерьевич. — А теперь КПСС нет.

Но через два-три дня всё геройство потаяло, грудь спала, вылез живот. Он слёг, стало ясно: врачи не шутили, и приговор суров.

— Пап, деньги есть. По крайней мере, на первое время. Я на землю откладывал. Бог с ней, с землёй.

— Нет. У вас и ни у кого я ничего не возьму. Я знаю, где взять деньги. У меня есть квартира. То есть она у всех у нас есть: по существу, мы все её хозяева. И всем нам каждый месяц она приносит какую-то копеечку. Однако полагаю, что я имею моральное право распорядиться ей по своему усмотрению. — Павел Валерьевич посмотрел на сына, хотя тон его не подразумевал вопроса.

— О чём речь?! — встрепенулся Серый. — Это твоя квартира. Ну, ва-ша с мамой. Распоряжайся, как хочешь.

Павел Валерьевич, казалось бы, не спрашивал у сына разрешения. Но вот тот его дал, и отец, при всей болезненной тяжести, заговорил легче, с энтузиазмом даже и мечтательностью, неистребимой в его поколении:

— На эти деньги: А — я смогу оплачивать лечение минимум пять лет, Б — куплю хороший автомобиль, чтобы самому ездить в Симферополь. Скоростной. Полноприводный. Зимой, знаете ли, на трассе гололёд.

Было видно, что Павел Валерьевич всё хорошо, обстоятельно продумал и, как настоящий семьянин, обсудил с женой. Для убедительности он, не единожды успешно защищавший свои проекты, загибал поочередно пальцы:

— В — хватит на непредвиденные обстоятельства, которые, как вы понимаете, могут возникнуть в данной ситуации, несмотря ни на какие наши благие устремления.

Лиза была со всем согласна. И с предложением мужа, не жалевшего скопленные деньги для отца, и тем более с планом Павла Валерьевича. Только вот никто ни о чём не спрашивал её. Ни муж, будто Лиза ничего не значила в этих планах по строительству отдельного домика, их маленького семейного гнезда, ни свёкор, будто она не жила в той же квартире, не рожала и не приносила туда внуков. Нет, выходит, её в общей семейной жизни. Так, поставь, передвинь.

Квартира в центре ушла влёт. Павел Валерьевич всё сделал в согласии с планом. Купил десятилетнюю “Субару”, 4 WD, и летал на ней так, что стали ходить легенды о появившемся на трассе Феодосия-Симферополь “Шумахере”. При этом гонщик за рулём звонко, на всю степную и холмистую ширь пел: “Заправлены в планшеты космические карты!..”

Однако дома бывший научный сотрудник всё больше уходил в себя. И даже на ночь порой оставался в своей биндое, куда втиснул односпальную кровать. Бренные дела — ремонт старой техники — оставил вовсе, продолжал международные матчевые встречи в шахматы и взялся писать. Не для печати, как объяснил сыну, а исключительно для своего потомства: сын родословной и трудовым героическим прошлым отцовского поколения особо не интересовался, а внучки, их дети, глядишь, и начнут. Время отсчитывает маятник — Павел Валерьевич для наглядности делал плавные колебательные движения рукой. При этом стоило Серому заглянуть в его казематы, спешно прятал литературный текст: на экране тотчас появлялась шахматная доска, а “гроссмейстер” в глубокой задумчивости мышкой начинал двигать фигуру, почему-то всегда крайнюю пешку.

Так было и на этот раз. Сын, возвращаясь с работы, прошёл к “капитанской рубке”. Приклонился к дверному косяку, специально давая отцу время, чтобы успеть щёлкнуть мышкой по крестик в углу монитора. И Павел Валерьевич сделал движение, картинка сменилась. Только вместо шахмат на экране появилось нечто совсем иное. Причём отец, оглядываясь на сына, этой картинке не видел, а Серому она открылась.

Фотографии юноши, смуглого, очень красивого, в разных обстоятельствах жизни чередой менялись на экране. Вот он белозубо улыбается, вот молится, держа ладони перед собой. Здесь вдруг на улице большого города, среди потока “белых” людей. Тоненький, хрупкий, страдающий. Затерянный. А здесь горы, скалы, он с автоматом в руках. Неожиданно мужественный, угрюмый. И вот... убит. Красные точки по телу от ран. Лицо проясняется, полнится абсолютным счастьем и словно тает, а от тела, как бы из груди отделяется заметное лёгкое облачко, плавно возносится ввысь...

Павел Валерьевич, поняв по взгляду сына, что за его спиной что-то не так, развернулся, вновь спешно щёлкнул по крестик в углу, пытаясь сменить картинку. Но вместо желанной шахматной доски с экрана смотрел другой чернявый юноша. И этот погибал. Также светел в последние мгновения был его лик, и возносилось облачко из груди — душа, — воздушная и лёгкая, туда, за пределы видимого. Музыка лилась ласкающая, нежная, парящая...

— Чепуха какая-то лезет, — пробормотал Павел Валерьевич.

— Ну да, — не стал спорить сын.

Хотя, как день ясно было, отец заглядывал в компьютер Лизы. И это на её экране разверзалось воспевающее гибель действие. Зачем ей?! Зачем ему?!

Дочки в гостиной собирали “лего”. Бросились, повисли на папе. Он прошёл с ними, волоча всех охапкой: одно многолапое существо.

Серый вместе с детьми разбирался с “лего”, думая, как подниматься и что говорить жене. И говорить ли вообще? Ну, смотрит странное видео, и что? Изменой, по крайней мере, здесь и не пахнет!

Отец появился в прихожей. В руках он держал маленький графин и фужер. Снял уличную обувь, надел тапочки. Размеренно, как всё, что он делал, стал подниматься на второй этаж. Не обернувшись на сына, который провожал его взглядом.

Павел Валерьевич, как умный профессиональный начальник, не придавая вопрос огласке, пошёл лично уладить ситуацию. Тихо постучал в дверь. Три раза. Постоял. Постучал громче и, уже не дожидаясь, приоткрыл:

— Разрешите?

Лиза была в наушниках. А на экране менялись лица смуглых красивых юношей неславянской наружности, но сюжет оставался прежним: жив, убит, благой лик, что-то отделялось от изуродованного брэнного тела, лёгкое, облачное...

— Разрешите, — повторил он громче.

Лиза быстро сорвала наушники. Послышалась музыка. Воздушная, нежная. Умело смонтированная с кадрами, делающая смерть на экране красивой. Более того: желанной. Снова от тела, простреленного автоматной очередью, всплывало облако, и в гибели виделось высокое умиротворение, благоговейная сладость...

— А у меня вино созрело. — Павел Валерьевич в зрелости лет обнаружил в себе талант винодела. — Пришёл за дегустацией.

Свёкор с улыбкой наполнил до половины фужер, с улыбкой подал снохе: он любил её, как дочь, да и как её можно было не любить?!

Она оживилась, взяла вино, пригубила, забыв выйти из программы. Лиза очень уважала Павла Валерьевича. Он тихо перевёл взгляд на экран, не переставая улыбаться. Лиза спохватилась, спешно взялась за мышку, но Павел Валерьевич остановил её движением руки.

— Мне тоже это интересно.

— Да? — обрадовалась она.

— Я живу на грани того, что происходит там, — он кивнул на экран. — Но я, немолодой, больной, всеми силами сопротивляюсь, чтобы задержаться здесь. — Вновь кивком указал он место. — На этом свете.

— Это шахиды. Мученики, — спокойно поясняла Лиза. — У христиан тоже есть мученики. Их называют святыми.

Павел Валерьевич помолчал.

— Как вино? — улыбнулся он.

— Вкусное, — улыбнулась и она.

— В своё время, — продолжил с улыбкой свёкор, — я занимался фотографией, снимал камерой. Тогда всё было на плёнке, резали, монтировали фильмы. Скажу почти как профессионал: здесь всё продумано, очень хороший монтаж! Наложена музыка. Всё сделано, чтобы привлечь внимание молодого человека.

— А немолодого? Вы сказали, что вам интересно?

— Мне это интересно, как кино. Кино, которое смотришь ты. Смотрят другие молодые люди. Смерть в этом кино привлекательнее жизни. Молодому человеку так думать опасно.

— Почему? — спросила она с искренним удивлением.

— Захочется туда, в небытие.

— “Жизнь тела есть зло и ложь”, — считал Сократ. И выпил чашу с ядом. “Надо освободиться от жизни”, — говорил Будда.

Павел Валерьевич внимательно посмотрел на сноху: приходилось открывать неожиданные стороны.

— Ну да, ну да, “как посмотришь с холодным вниманьем вокруг”, жизнь “такая пустая и глупая шутка”... — процитировал и он великого человека.

— Только почему же в небытие?! В бытие, вечное. В райскую жизнь, если ты праведник. Мученик. А наша земная жизнь всё равно кончится!

Павел Валерьевич опять помолчал. Помигал, будто соринка попала.

— Ты считаешь, что мне не стоит носиться в больницу? Жить, зная, что ты приговорён?

— Приговорены все. Павел Валерьевич, я же не о вас, вы, конечно, живите, лечитесь. — Лиза подняла указательный палец вверх, мол, секунду, сейчас, взяла лежавший рядом телефон, пролистнула сообщения. Прочла вслух: — “Чем больше стареет человек, тем больше молодеют в нём два чувства: жажда к богатству и жажда жизни”, — улыбалась она, как улыбаются, когда открывают истину.

— “Жажда жизни” — да, трудно не согласиться. “Жажда к богатству” — разве в том смысле, что появляется страх. Страх, что ты не сумеешь больше зарабатывать на хлеб, а жить ещё надо. Страх болезней, когда требуется лекарства. А чьи это слова?

— Пророка Мухаммеда. Хадисы.

Павел Валерьевич оценивающе повёл головой.

— Обязательно лечитесь, живите! — Лиза пожала ему тыльную сторону ладони. Указала на экран, где продолжалось действо: — Вы же не шахид, не мученик. Чтобы стать мучеником, надо свершить подвиг!

Свёкор собирался с мыслями, медленно с немим вопросом распростирая руки.

— Это не кино. Это документ! — Лиза объясняла для неё очевидное: — Души шахидов забираются в вечную жизнь так же плавно и мягко, как вытекает вода из кувшина, — произнесла она, как по-писаному. — Они счастливы и чувствуют, что переместились в лучший из миров!

Лицо её сделалось озарённым. Павел Валерьевич любовался им, как принадлежностью действительно какого-то лучшего мира.

— Может быть, и так. Когда погиб наш старший сын, Дмитрий, Митя, тогда мне показалось, что я тоже видел, как из груди его что-то отделилось. Но я считал, что показалось.

— Он же погиб в Афганистане? Вы что, там были?

— Это мы говорим, что в Афганистане. Хотя, по существу, именно так: он ведь намного старше Сергея. Другого поколения. В Афганистан ушёл советский мальчик, идеалист. А вернулся... искалеченный человек. Наркоман. Я, к несчастью, тогда не понимал, что это болезнь. Считал, что он слаб!.. До сих пор эхом стоит мораль, которую я ему читал. Митя потерял равновесие на лестничном пролёте и концом перил пробил висок... — Павел Валерьевич чуть улыбнулся, из деликатности, чтобы не драматизировать разговор. — В сталинских домах перила обшивали деревом, а во времена экономии, которая должна быть экономной, железные перила даже перестали закруглять на площадках: концы торчат, и обязательно их ещё кто-нибудь загнёт... Богатыри! Сергею я морали не читаю. Да ему и не требуются.

На экране меж тем появился ещё один чернявый молодой человек, вихрастый, беспечный. Он вёл под уздцы верблюда.

— Хы-хы-хы, — вырвались у свёкра три раздельных смешка, — посмотри, как у этого верблюда губа торчит. — Павел Валерьевич и сам выпятил нижнюю губу: — Как у Марка Самуиловича...

Засмеялась и Лиза: в самом деле, верблюд смахивал на старого еврея. И смех такой у Лизы был, здешний, земной.

У горцев есть такой обычай: если где-то в пути мужчине и женщине, которые не являются супругами, приходится ночевать вместе, они кладут меж собой кинжал. Законная жена Лиза лежала на совместном брачном ложе явно особняком, растянувшись прямо на спине. И Сергей лежал так, руки по швам. Пространство меж ними отчётливо ощущалось межой, словно обозначенной кинжалом.

— Зачем тебе это? — заставил себя заговорить Сергей.

— Что? — будто не понимала она.

— Ты знаешь, о чём я.

— Не знаю.

— Картины смерти. Шахиды. Зачем ты это смотришь?!

— Тебе Павел Валерьевич сказал?

— Да нет, я сам видел. Компьютеры же зациклены.
— Не поняла?! — приподнялась она на локте. — Вы что, за мной следите?! У вас там, в биндогое, подсматривающий пульт управления?!
Он понял, что не надо было ему этого говорить. Да уж сказал.
— Никто не следит. Случайно вышло. Сеть же. Да и так, что я не видел, что ли, что ты там с ними... Прикальываешься.
— Прикальываюсь?!
— Да прикальвайся, сколько хочешь! Только эти... шахиды-то зачем?!
У меня аж, как увидел... Мне вот страшно стало!
— Чего тебе страшно?!
— Да... смотришь, и умереть охота.
— Тебе?!
Серому не лежалось. Встал. Прошёлся. Сел на кровать. Спина к Лизе.
— Влюбилась ты, однако!
Она тоже приподнялась.
— В кого?
— Видишь, — он усмехнулся, — спрашиваешь — в кого? А в кого ты ещё можешь влюбиться? У тебя вроде муж есть?
Она там, за спиной его, упала навзничь.
— В этого, в чалме. С гитарой, с автоматом! Мусульманина!
— Ты и про него знаешь?! — вспыхнула Лиза. — Да, влюбилась! Всецело, понимаешь! Кто ты в сравнении с ним?! Плоскогубцы! Вот с таким миром, — она отмерила ноготок. — А он — Вселенная! Я впервые почувствовала, что такое мужчина!
— Как это? Прямо через экран?!
— Через экран! Потому что он — душа, он мысль, он сила!
— То есть прямо там у тебя перед экраном оргазм?!
Тотчас пожалел, что так сказал. Он ведь и не говорил так никогда, и терпеть не мог, когда другие говорят.
— Именно! Оргазм! Только ты в этом ничего не понимаешь! Духовный оргазм. Ты даже не подозреваешь, что это такое! У меня с тобой и обычно-го никогда не было! Женщины рассказывают, хвалятся, а я трёх детей родила, а не знаю, что это! А ты даже никогда не спросил!
— Давай тогда откроем интернет, — схватил он ноутбук, — и начнём! Смотри на экран!
Он сунул ей ноутбук в руки, развернул, стал целовать. Сам чувствовал: зверь!
— Для этого мне ты не нужен!
Она резко высвободилась, откинула волосы за плечи. Стала открывать программу. Смуглый юноша улыбался с экрана. И вот он был уже прострелен автоматной очередью. Серый знал, что дальше станут проваливаться и растворяться черты лица, а потом собираться в лик с выражением счастья... Жена Лиза смотрела и светло плакала, закидывая голову назад. Верхняя губка её, лодочка, сердечко, колыхалась так, вздрагивала... Он смотрел обречённо, с тем чувством, что жена при нём занимается с кем-то любовью. Ролик менялся, всплывало другое лицо. И вдруг с экрана посмотрел взрослый мужчина с небесно-голубыми глазами. Лиза вздрогнула и даже призвала взглядом к своему восторгу мужа:
— Идрис! — выдохнула она.
А человек на экране, явственно отходя, промолвил со слабой улыбкой:
— Я не умираю, я становлюсь счастливым...
Как ноутбук оказался в руках Серого?! Он ещё с ним пометался, словно с взрывным устройством, запущенным в ход, и с силой, чтобы не достало осколками, швырнул в окно, которое обычно держали открытым... Он и швырнул. Но окно оказалось закрытым, и звон стекла сотряс ночное пространство именно подобно взрыву.
Он ещё победителем разворачивался к жене, а когда увидел, уловил — не женщину, а словно мираж, метнувшийся тенью. Сергей поздним взглядом видел, как Лиза вскочила на подоконник, голым локтем выбила остатки стекла и прыгнула. В одно мгновение. Была и нет. Только звон стекла

остался в ушах. Компьютер светился на бабушкиной грядке, а женщина впереди передвигалась к нему на четвереньках.

Серый сбегал по лестнице. Мама выглянула из своей спальни, напуганная спросонок:

— Что такое?!

— Спи, спи.

— А-а, а-а, — стонала Лиза.

Он бросился к ней, стал поднимать, полагая, что это она из-за боли, поранилась: на лице и руках её была кровь. Жена с силой оттолкнула его и взвыла. Зарыдала, склоняясь над экраном. Там, на экране, подёрнутом паутиной трещин, было мученическое лицо Идриса. Светлело, наполнилось благостью, покоем. Тело его, рельефное, красивое, лежало среди скал, в руке был зажат автомат, а из простреленной груди возносилось лёгкое облачко. Лилось и лилось воздушной рекой. Сладкая музыка востока неслась в ночи по огороду. Лиза теперь молчала, только смотрела. Так умиленно, что Серого прошибла слеза.

Он поднял её, понёс в дом вместе с ноутбуком. Дитя с любимой игрушкой.

Среди ночи Лизу словно вырвали из сна эти слова: “Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха... — Ашхаду алла иляха...” Наяву она уже вряд ли могла доподлинно повторить, но во сне точно произнесла их на арабском.

Муж спал, дрых: никакие потрясения не могли вывести его из рабочего ритма. Лиза поднялась, легко, быстро. Была совершенно выспавшаяся. Прошла в кабинет, включила стационарный компьютер. Слава Богу, тещь хоть ночью не может подсматривать за ней. А хотя бы и подсматривал!.. Слава Богу, последний разговор с Идрисом был сохранён! Слава Богу — повторила мысленно она ещё раз, вдруг поняв, что обращается не к тому Богу, на расиятье, а к другому. Пока ещё чётко не представляемому, какой он, но другому. Простреленному вдоль груди...

На сохранённом видео Идрис был ещё живой. Тогда, вчера ещё он и был живой! Улыбался, смотрел на неё... с обожанием. Грустно так смотрел, будто уже знал, что больше они не увидятся, не поговорят. Грустно и счастливо: он ведь знал, что скоро ждёт его.

Она скользила по записи, возвращалась, снова смотрела, всё проживая заново, то задыхаясь от слёз, то от неожиданного чувства блаженства: причастности к чему-то самому значительному в существе бытия. “А в небе голубом...” — ласково смотрел на неё Идрис: куда там всем известным певцам, вместе взятым! “Пускай ведёт звезда тебя дорогой в дивный сад...”. “Они ушли, они ушли в иные вечные пространства...” — подпевал другой голос, сильный, гордый.

На последней записи Идрис был совсем иным. Страдающим: “...те, кто воевал против нас, воевали не против нас, а против чего-то очень вредоносного в нас, против того, с чем мы самим бы надо воевать... Они — друзья, а враг — непрост и многолик, он изопрённо делает из нас, людей, неподей...”

“Ашхаду алла иляха илля аллах, уа ашхаду инна Мухаммадан расуль алл”. Она произнесла, вторя ему. С верой, которая, как предрекал Идрис, просилась из души.

Чуть светало. Лиза тихо вышла со двора дома, вера вела её...

Серому снился новый дом. Под “Маяком”, на мысе Ильи, у обрывистого высокого берега, с видом моря на две стороны. Дети бегали по пустынным, не обставленным ещё комнатам, резвились. Казалось, что они играют в догонялки. И только потом он заметил, что девочки оглядывались, будто кого-то искали. “Мама”, — позвала старшая. “Мама”, — вторила средняя. “Ма-ма” ... — младшая смотрела в окно, за которым простиралась морская даль. “Лиза!” — хватился и он жены!

С тем и проснулся. Опять один в супружеской постели. “Спозаранку к компу”, — понял дело Сергей. К мусульманину своему, откуда он такой, писаный, взялся?! Ну, а что с того? Это же всё игра! Тем более что его уже и нет! Это и плохо, что нет: теперь он останется навсегда. Таким, каким ей представлялся. С покойным мучеником не поспоришь...

Из разбитого окна приятно задувал ветер. Сергей медленно, преодолевая странную, будто вагон цемента разгрузил, ломоту в теле, поднялся. Оделся. Постоял у двери кабинета: ну, сидит она там, наверное, про этого хочет узнать, подробности, и что?! Что ей сказать?! Серый сделал пару шагов вниз по лестнице. Остановился: замер. Да ведь нет же там никого, в кабинете. Мертво. Нет её там!..

Он метнулся в детскую: дочки спали. Сбежал вниз, на кухню, во двор. Машина на месте. В мастерскую отца: мало ли, пошла разделаться с “подсматривающим пультом управления”?! Нигде.

“Абонент не доступен или находится вне зоны действия сети”, — прозвучал ответ в трубке телефона.

— Лизу не видела? — заглянул Серый на кухню.

— Здорово ночевали! — развела руки мать. — Вы же до утра манифестировали!

Вернулся в свою спальню. Посидел на кровати. Ещё раз нажал клавишу вызова в телефоне: “Абонент недоступен или...”. Подошёл к окну с пустыми проёмами. Посмотрел на грядки внизу, на дорожку. Вверх посмотрел, над воротами. В небо.

Сел в кабинете к компьютеру. Набрал в поисковике имя жены в одной социальной сети, другой. “Страница удалена”, “страница удалена...”

Вёл машину полуслепо: кто-то рядом посигналил, кто-то на перекрёстке повертел пальцем у виска. Приехал на стройку, под “Маяк”. “Кирпич”, “цемент...” — говорил помощник Олежка. Начальник кивал, старался отвечать впопад.

— Ты кого-то знаешь из мусульман? — нащупал, наконец, нужную тему Серый.

— Так полно знаю. И ты знаешь, помнишь, Эльсан Исламов, в борьбу и в карате вместе ходили. Он же такой сейчас правозащитный. А что?

— Лиза ушла.

— От тебя?!

— Не знаю. Проснулся — её нет.

— А при чём здесь мусульмане?

— Да я ж тебе говорил, в интернете она с ними стала... ну, общаться. Особенно с одним.

— К нему ушла?

— Да нет, его убили...

Олежка только руками развёл.

— Короче, — пытался разъяснить, сам ничего не понимая, Сергей, — она увлеклась мусульманской религией.

— Сейчас позвоню Эльсану. Да его найти — нечего делать. Он же секцию ведёт в “Тайфуне”. Я иногда хожу, шлифуюсь. Тебе бы тоже надо, а то кожа да кости. — Олег нанёс имитирующий удар в область живота.

И начальник принял стойку. Так, шуточно, со смехом, они побоксировали на высоком берегу.

— Только прикинь, как ему всё это более вразумительно объяснить, — предупредил прораб. — А то ведь чепуха получается...

Олежка не оставил друга одного в переживаниях. Отправились вместе. Эльсан в спортивном зале отрабатывал с подростками каты. Вызвал из строя одного из учеников, передал бразды правления. Приблизился.

— Бойца тебе привёл! — широко взмахнул рукой, здороваясь, Олег.

— Х-хороший б-боец.

Сергей немножко опешил: Эльсан помнился ему немногословным, но никак не заикой. Подвижный улыбчивый узловато-мускулистый борец лёгкого веса, который ещё в юности выполнил КМС. Потом, правда, уезжал. Говорили, воевал где-то. Теперь казался заторможенным, слушал внимательно. Попросил деликатно, если можно, подождать: спортзал, видимо, был не подходящим местом для разговоров. Заговорил точными выверенными формулами:

— Е-если жена С-сергея приняла ислам, это её п-право. Согласно Корану, м-мусульманка не может выходить замуж за христианина или иудея.

Но никто не будет требовать, чтобы она ушла от м-мужа на том основании, что он х-христианин: нельзя не считаться с обстоятельствами в-времени.

Головин кивал, а задним умом думал: почему Эльсан стал так заметно заикаться? Что это? Травма была? Или вера так действует? Скорее всего, контузило? Он ведь родом откуда-то с Кавказа...

Эльсан, как выяснилось, служил ещё и в мечети: помогал безвозмездно, как это часто делают люди сирые и душевные.

Приостановились у входа. В мечеть направлялась одетая в хиджаб девушка, явно славянка. Эльсан, уловив взгляд Сергея, пояснял, что среди мусульман русских становится всё больше. Но Лизы, жены Сергея, он не замечал. Что касается сайтов интернета, именем мусульман или именем христиан могут прикрываться посланцы Иблиса — Сатаны.

— Христиане-неговисты, — подхватил Олег, — открыто проводят службы в кинотеатре “Пионер”, но это никакого отношения не имеет к Православной Церкви. А есть еще Аум Синрикё, которая также относит себя к христианству, между тем это террористическая организация!

Эльсан кивал в согласии, понимая, что друга интересуют не тема как таковая, а конкретный вопрос.

— П-п-попробую у-узнать, где может б-быть твоя жена.

— Так, — вдруг просиял Олежка: — Она с детьми ушла?

— Нет, дети дома.

— Тогда чего ты гоношишься?! Придёт, куда она денется?! Мать же! Езжай домой и жди. Она, поди, уж там.

Мобильник из руки Серый не выпускал. Посмотрел на дисплей: позвонить матери? Отцу? Нет, что их, стариков, дёргать?! Да и сами бы они позвонили, сами бы... Ещё раз отправил вызов жене. Теперь вместо сообщения о “вне зоны” последовало: “Этот вид связи недоступен абоненту”, — заблокировала она его номер, что ли? Значит, жива-здорова...

Заходил во двор и почти верил, что жена, как Олежка сказал, вернулась, сидит себе у “компа” этого долбаного, да и пусть — лишь бы была! Виртуальный мир, он, как мечты, что к нему ревновать?

Отец показался из “капитанской рубке”, встал к “штурвалу” и, как повелось, помахал рукой на манер военачальника, принимающего парад. Сыну было не до шуток, но, по принятому обычаю, он отмаршировал вдоль дома строевым шагом. Мама, слава Богу, была на работе, а то бы замучился объяснять. Картинки висели на стенах гостиной. Акварельки — Лизина душа. Стена Генуэзской крепости. Камни в морской воде. Странно... Из камней не то складывался, не то рассыпался на части силуэт мужчины. Никогда прежде этого не замечал: камни да камни, в бликах... Распавшийся атлет...

Поднялся, медленно ступая, прислушиваясь, нет ли этого “чик, чик” — привычного перестука клавиатуры. Никого — ни в кабинете, ни в спальней.

— Стекольщика вызывать? — в дверях стоял отец. Кивнул на разбитое окно. Остатки стекла зловеще торчали из рамы. Как она пролетела в узкое пространство меж кривых, будто сабли янычар, острых осколков? Птица...

— Или сам справишься? — отец ждал ответа.

— Вызывай, — ответил сын: не до стекла ему было, чтоб вставлять.

Да не будет отец никого вызывать: всё сделает сам.

— Возьми, — протянул Павел Валерьевич сложенный пополам лист бумаги.

— Что это?

— Шпаргалка.

Сергей развернул листок: на нём рядом были выписаны электронные адреса. Вопросительно посмотрел на отца.

— По местам боевой славы. Страницы интернета, которые в последнее время посещала твоя жена.

Сын кивнул как бы в знак благодарности, сунул “шпаргалку” в карман.

— Да придёт она, куда денется...

Павел Валерьевич втянул голову в плечи и развёл руками на манер соседа-еврея.

Серый сам забрал детей из садиков. Без машины. Наконец, он мог никуда не торопиться. Дела переложил на Олега.

Младшая, Селинка, вытянув верх ручки, спросилась “на коньку”.

— Ехать замечательно, на плечах на папиных, — тотчас пропела средняя, Алёнка.

— Доставать макушкой до сигнала стоп! — пели уже вместе со старшей. И Селинка пыталась подтянуть: “засмеятельно”...

Двигались не в сторону дома — по улице вверх, а вниз — к морю. Море умиротворяет. Три лебедя плавали у набережной. Это были ещё те, прилетевшие со стаей на зимовку прошлой поздней осенью. Самка поранила крыло; когда стая улетела, самец остался с ней: говорят же, лебединая верность. Третий — народившийся здесь детёныш, который к весенней миграции пока не окреп. К следующему лету он улетит в стаю, оставив родителей одних, если, конечно, не залечится больное крыло лебедя-мамы, и тогда все вместе отправятся в положенный маршрут.

Люди на берегу кормили белых птиц, которые предельно доверчиво брали кусочки лакомств почти из рук. “Папа, папа”, — загадели дочки, тоже захотев угостить лебедей. Серый сбегал в ближайшую палатку, накупил сухариков, которые вообще-то никогда не брал, но сейчас... Девчонки бросали хлебное крошево, птицы ловили их на лету, иногда промахивались клювами в воздухе, но тотчас выхватывали из воды.

Какие же они были разные, его дочки. В садике обе старшие девочки занимались художественной гимнастикой. И на берегу Вика вела себя, как на выступлении: откинута плечи, каждый шаг с оттянутым носочком и вывернутой ступней. И любой поворот головы — с приподнятым подбородком, с идущим вперёд плечом. Мамина гордость проглядывала в Виктории, что называется, в каждой жилочке. Средняя, Алёнка, тоже умела делать шпагат, мостик, но в жизни была моторной, предельно резвой, постоянно разбивала колени, лоб, не заботясь, как все это выглядит. А младшая Селинка — вот кинула сухарик, — и задумалась. Да так, что будто и нет никого. Даль только там, где-то. И это было в Лизе — мгновения внезапной отрешённости ему очень в жене нравились. Лицо такое светлое делается, благое!

Отец легко пробежал ладонью по затылку задумавшейся дочери, — мол, чего ты, лепота вокруг! Алёнка прижалась к нему, хихикнула вдруг: флотилия уток приблизилась к лебедям, разыгралось сражение! Большие белые птицы властвовали в воздухе, а на воде неказистые серенькие утки брали числом и напором, успевая урвать кусок, что называется, перед носом лебедя. Скоро, однако, внимание берега переместилось к его дочкам. Виктория долго не могла, чтобы не повторить одно из гимнастических упражнений: подняла над головой ногу, удерживая её рукой. У Алёнки это упражнение не задалось, и она пошла колесом. Началось маленькое состязание. И Селинка тянула ножки в шапугате. Можно идти с шапкой по кругу!

В эти дни Сергею Головину открылся мир, ради которого он жил, крайне любил, но, по существу, не знал: мир его детей! Он любил потрепать дочек по волосам, посадить на колени, подарить подарок, даже собрать вместе “лего”. Но не предполагал, что дочки — очень взрослые люди! И за каждой — своё человеческое пространство, столь же ощутимый мир, как ощущение свежий воздух, дуновение моря, солнечные лучи. Дети удивляли, причём они словно разделяли меж собой время и дни, когда кто-то из них начинал копировать, особенно выывая себя. Так, он был уверен, что старшая — больше в маму. Такая же породистая, умная. Рано научилась читать, а вот счёт не шёл: мама ведь тоже в магазине порой путалась с расчётом. Уже осознавала свою красоту, любила манерничать перед зеркалом на пример рекламных див. Средняя же, Алёнка, тоже красивая, хотя и лицом более простонародная, ему казалось, в бабушку: с зарядом на три оборота! Но без царя в голове: всё разбрасывала, руки и ноги у кукол как-то сразу отлетали. Читать получалось, но раздельными слогами. Причём ей было всё равно, как держит книгу — кверху ногами даже лучше получалось. Буквы не все в торопливости своей не выговаривала. Зато с цифрами была сразу в ладу: от него, отца, тоже должно что-то быть!

Младшая Селинка, на него похожая, как считали, после рождения долго не подавала ни звука, так, что родители и дед с бабушкой пугались — не родилась ли немая? В ладошки хлопала у её уха, песни пели. Не поймёшь. Так и молчала долго, была очень тормозной, где-то в себе. А потом заговорила чисто и почти всё. Обнаруживала какой-то своеобразный ум. Неожиданный.

Так, у обочины вновь стоял куцый “Смарт”.

— Опять эта маленькая машина! — воскликнула первой моторная Алёна.

А младшая Селинка, пройдя шагов пять, озадачила вопросом:

— Папа, а маленькие машины растут?

И такое неожиданное напряжение, заинтересованность почувствовал папа во всех трёх дочерях. Вика как старшая и умудрённая чуть усмехнулась, а в глазах-то сомнение и ожидание: а вдруг?! И в Алёнке шла какая-то серьёзная, до выпученных глаз работа. Действительно, несправедливо же оставаться машине маленькой?!

— А как ты думаешь?

— Думаю, что маленькие растут. — Селинка пошла впереди. Через несколько шажков продолжила: — А большие не растут.

Папа и сёстры шли следом. Младшая приостановилась:

— Папа, а ты знаешь, почему большие не растут?

— Почему?

— Потому что они станут великанами!

Самое интересное: старшие на неё смотрели с признанием — вот, мол, голова! Он где-то слышал или читал — ребёнок во время родительских конфликтов взрослеет быстро. Взял он как-то детей на стройку. Ничего не рассказывал про мыс Ильи, про экологию, но младшенькая посмотрела с необжитого берега и глубокомысленно произнесла:

— Чистое море.

Ну, может, Сергей бабушке говорил, что море у мыса, где он строит, чистое? Но не ребёнку же?!

— Мыс Ильи, — также сосредоточенно, по-хозяйски, оглядывала маленькая Селинка землю вокруг.

— Мы будем здесь жить, — выдавала через периоды гранёные фразы Селина, наполняя их странным глубокомыслием.

И вдруг, будто и сон его знала:

— А где будет мама?

“Здесь, здесь же, с нами”, — чуть не вырвалось у него. Смолчал: детям врать нельзя. А как будет — не знал. Но более всего по отношению к этому вопросу поразила его Вика. Он, уверенный, что она, старшая, а значит, самая понимающая, переживает внутри себя более других, спросил её:

— Плохо без мамы?

— Мне по фиг, — скинула красиво подбородок шестилетняя дочь.

Иногда между сёстрами разыгрывались настоящие битвы. Средняя Алёна с виду была самой активной: внешне плотная, при этом гибкая. Она бросалась на старшую, не поделив какой-нибудь карандаш, кусок пространства. Вдруг получала жёсткие тычки — худоцавая Вика могла жёстко ударить кулачком. Не сдавалась и младшая, силёнок и роста не хватало, так линейку в руки или подушку! И гоняет старших под общий визг! Но ещё вопрос, от чего шума-гама больше, — от распри или внезапного прилива чувств сплощённости? Сёстры вместе пели, танцевали, играли в догонялки, прятки, устраивали спектакли, которые взрослые обязательно должны были смотреть! Дом уж точно шёл вверх дном!

Жена пропала и, что называется, ни слуху, ни духу. Серый решил обратиться в милицию. Пришёл, ступил на порог — на ступеньку крыльца, — нога просто одеревенела. Что он скажет? Жену соблазнили через интернет? Развернулся обратно. И снова встал. Ну, делать-то что-то надо! Опять шагнул к порогу. Да его за сумасшедшего примут! Ославят только на весь город! Сел в машину, с силой хлопнув дверцей.

Ехал по улице Федько, сразу за автовокзалом тормознул гаишник: на Украине ГАИ переименовали в ДАИ, но сотрудников всё равно все звали

гаишниками. Знакомый парень, Лёня, капитан: в юности он пел под гитару на дискотеке, тогда уже был раскаченным, а сейчас превратился в настоящего великана. Ванька-встанька такой на дороге! В Феодосии знакомых у любого гаишника полгорода, поэтому — нарушил, пусть друг, приятель, а платить придётся. Серый в последнее время ездил на автопилоте — рулил подсознательно, следуя, как приученный конь, по наезженным маршрутам. Стал нашаривать денежку, чтобы выложить без спора.

Гаишник Лёня шёл и лыбился во все хомячьи щёки.

— Анекдот про майданутых хочешь? — говорил он высоким звонким голосом, какой часто бывает именно у крупных людей. — Би-би-си на Майдане спрашивает бомжа: “Вы за Януковича?! — Боже упаси. — Так вы за ассоциацию в Европу? — Та вы шо, боже упаси! — Так за кого вы всё-таки, за что?” А бомж стоит такой, в одной руке пол-литровый стакан кофе, в другой — гамбургер с полметра, вся борода в капусте: “А за то, чтоб эта сказка не кончалась!”

Лёня зашёлся смехом, сузив глазки, будто сам был тем счастливым бомжом. Похмыкал и Серый.

— У тебя плиточник хороший есть? — брал деловой тон капитан.

Пока Серый переключался на мысли о плиточнике, гаишник опять со смехом продолжил:

— Нанял одного, по рекомендации, всё, он половину ванной выложил и запил! Запойный, гад!

— Да они, плиточники, все запойные. А как не запойный, так руки от другого места растут! Всё вкривь и вкось положит. — Серый искренне заразился смехом.

— Ну, мне так, чтобы между запоями попасть. Ты же у своих-то ритм знаешь?!

— Найду.

Обменялись номерами телефонов. Серый помедлил с уходом: потянуло с Лёней, своимским этим парнем, поделиться своей бедой.

— У меня тоже проблема. Жена потерялась...

Человек-гора выслушал, вытянувшись, держа полосатый жезл концом вниз. Направился к патрульной машине, попросил по радиации пробить адрес владельца автомобиля, марку и номер которого помнил наизусть. Его напарник меж тем успевал останавливать очередную проезжающую машину.

— Кино, говоришь, насмотрелась, как мусульманки на “джипах” ездят? И у нас в городе есть одна. В этом самом ходит. — Он описал жезлом круг у лица, обозначая одежду. — Красавица! И “Мерс” у неё — обалденный! Проезжает, я честь отдаю! Невольно, рука сама — раз! — Он продемонстрировал, как отдаёт честь.

Капитан протянул вырванный из блокнота листок с записанными регистрационным номером автомобиля и адресом его владельца.

— Машина российская, рулит лихо, — Лёня симитировал движение вишневого пути. — Паркуется в Каменке.

В Каменку Серый решил, конечно, съездить, но сначала завернул на Строительную, где плиточник из его бригады завершал отделку кухни в квартире, купленной недавно москвичом. Направить парня доделать ванную гаишнику Лёне.

Переживания — переживаниями, а дела — делами. Надо было на “Маяк”. Слева мелькнула станция Айвазовского, справа — автовокзал. Подумалось, а почему все говорят: “Район автовокзала”, “район станции...”? Вот же, у дороги, православный храм. Красавец! Как он называется? К стыду своему — житель города! — не помнил... Детей крестил в Казанском соборе, свечку поставив потянет — туда же! Центр, удобно. Как-то надо бы зайти, узнать, как этот храм называется?

И вновь за рулём “улетал” — перебирал мысленно прошлое с Лизой: где, в чём дал промашку? Любила же она его, любила! По крайней мере, первые два года — опять эти два, про которые говорят, как про длительность химической реакции любви.

Стоял на Советской перед светофором, “джип” остановился напротив — по диагонали, на встречной полосе. “Мерседес”. Номер... российский. И женщина за рулём. Лицо в покроях одежд. Точно ведь, как в том кино, — машина один в один! И номер, записанный Лёней!

Светофор мигнул зелёным, “Мерседес”, взяв с места хорошую скорость, пролетел мимо. Серому требовалось подождать, пока освободится встречка, сделал резкий разворот, рванул вдогонку. Он не любил экстремальной езды, но на этот раз придавливал гашетку, выкруливал, не теряя объект из виду, благо, “джип” возвышался над другими легковушками.

Женщина ехала, как обычно ездят на таких машинах, — споро, невзирая на лежачих полицейских, обгоняя и справа, по обочине, и выскакивая на встречную полосу. Куда они так летят? На Володарского, по прямой, как дунула, и на развилке с Симферопольским прямо ли ушла, влево ли? А у него уже красный на светофоре!

Сергей в сердцах ударил ладонями по рулю, впервые подумав, что надо, надо купить скоростную машину, лошадей под триста, и делать их, делать! Откуда у них деньги?! Он работает, работает, и дела идут вполне успешно, а не потянет на такой “Мерседес”! Разве что крепко подержанный, так обслуживай его потом!

Серый ещё сделал кружок, поехал по Керченскому шоссе, вдоль Берегового. И здесь всё скупали россияне: строили гостиницы, открывали рестораны. Недвижимость, говорят, уже процентов на пятьдесят в городе принадлежала россиянам, а гостиничный бизнес — так на все семьдесят! По Береговому не разгонишься: переход на переходе.

Развернулся, направился по прежнему маршруту: “Да лети они все, и она вместе с ними! Ушла — так ушла, дети с ним, чего ещё надо?!”

Дом на мысе Ильи вырос до крыши. Прораб Олежка смотрел вопросительно, и Серый в ответ покачал головой.

— Баба с возу, кобыле легче! — объявил строитель.

Начальник Сергей Головин теперь не задерживался на работе до ночи. Ему понравилось забирать из садика детей. Волнение какое-то нашло: если будет забирать не он сам, а бабушка или дедушка, что-то может выйти не так. Самому — оно и в удовольствие!

Подъезжал домой с оравой — “Лексус” белый поодаль ворот. Лебедь такой громадный на их захолустной улочке — почти сказочная невидаль! Дверца машины распахнулась, и на землю сошла, как воспринялось, чёрная птица в женском обличье. Лиза, жена! Да жена ли?.. Вроде как монахиня, только лицо в ободке платка. Но у монахинь одежды обычно грубые, балахоны. Лиза шла, и чёрное платье струилось по тонкому телу, полы раскидывались хвостом, и платок был с отделкой венчиком. Грациозная, хоть на подиум.

Дети должны бы рвануться к маме, но дочки сгрудились вокруг него. Даже маленькая Селина не проронила ни звука. Старшая чуть тронулась с места, он придержал её, также чуть. Вика всё-таки высвободилась, поднырнула под руку и пошла себе как ни в чём не бывало домой.

— Идите за ней, — сказал он младшим. И те пошли, взявшись за руки. Теперь Селинка оглянулась разочек, туда-сюда глазками, но Алёнка твёрдо потянула сестру вперёд, за ворота.

— Я пришла забрать младшую, — приблизилась Лиза.

— Почему только младшую?

— Потому что она ещё не крещена.

— Станет мусульманкой?!

— Да.

— Я уже окрестил её.

— Ты лжёшь. Ты живёшь по плану. Ты не мог вот так взять и окрестить.

Она была, конечно, права: он врал.

— Неужели ты можешь предположить, что я отдам ребёнка? Куда? Зачем? Вот её дом. И твой дом тоже!

— Хорошо. Я заберу всех.

— А на какие шиши, интересно, ты будешь их кормить? Или эти, — кивнул он сторону машины, — будут подкидывать? За какие услуги?

Она помолчала. Усмехнулась. Надменно:

— Я работаю. Занимаюсь важным делом, не чета твоему.

— Каким, если не секрет?

— Гуманитарная миссия. Мы идём в дом к сиротам, к больным, многодетным. К нуждающимся. Помогаем. Одеждой. Продовольствием. Выделяем гранты талантливым студентам.

— А откуда средства?! Их сначала нужно заработать!

— Есть богатые благородные эмиры. Они не могут войти в каждый дом, к каждому нуждающемуся человеку. Это делаем мы.

— А кто это — “мы”?

— Джамаат — община.

— Мои дети не нуждающиеся! Вы их не получите: ни всех, ни поодиночке!

— Я мать. Я имею право.

— Так и живи. Растить их. Что тебе мешает?!

— Я могу быть женой только мусульманина.

— И что ты предлагаешь? Мне принять ислам?

— Почему бы нет?

Ёкнуло сердце: а может, и правда? Всё равно в церковь не ходит, и в мечеть не пойдёт. Присмотрит для острастки... И Лиза останется с ним!

— Ты с кем приехала? — Серый невольно бросил взгляды на тонированные стекла белого автомобиля.

— С другом.

— Вдвоём?!

— Вдвоём.

— А ты знаешь, что мусульманке запрещено оставаться наедине с чужим мужиком?! — припомнил Серый. — Позволительно только с мужем!

Из белого автомобиля вышел человек в белом костюме и белой чалме. Белый аист с человеческим смуглым лицом. Учтиво, едва уловим движением отвесил поклон. Как бы приглашая — туда. В мир с павлиньими перьями. Серый ещё раз глянул на человека возле машины: белки глаз, как у парнокопытных, подумалось, отливают белизной. Шейх, подо, какой-нибудь?!

— Я приехала с мужем, — мерно произнесла Лиза.

Его как током ударило, закоротило мозги:

— Как?.. Это?.. С... мужем?! Мы ж с тобой, вроде, пока не разведены?! Хе-хе-хе, — стал разбирать смех: икота какая-то, — так сказать, брак по-ваххабитски? — Он за эти дни напился соответствующей информацией.

— Ты глуп. И невежествен. Тебя нет на Земле. Ты лишь телесная оболочка. Без смысла. Я могу быть женой только мусульманина.

Серый смотрел на женщину и узнавал, и не узнавал её: верхняя губа, обычно плывущая навстречу лодочкой, вдруг совершенно сравнялась с нижней. Идеально пропорциональные губы. И покой такой в лице. Непробиваемый покой.

— Мои дети также должны воспитываться только в лоне ислама.

— Ну уж выкусите! — Серый с изумлением обнаружил в себе, в груди, в висках, во всём существе бунт, физически переполняющий прилив несокрушимости: крещёный он! Отец, хоть и был рьяным коммунистом, но закрыл глаза, когда бабушка крестила. На том простом основании, что и сам крещён, и дед, и прадед, века в их роду люди были крещёными! Тот парень вспомнился, солдат, который в плену принял жестокую казнь, отказавшись снять нательный крестик. Он, Сергей Головин, крещённый!

— Так и рожайте, — заговорил, делая ударенье на каждом слове, — со своим мужем! В лоне! Мои дети останутся со мной! Оболочка я или кто, а выращу их людьми! Селинку окрестим завтра же!

Он думал, что Лиза всё-таки не уйдёт. Ну, не должна же — мать! Но женщина в чёрных покровах развернулась и пошла. Божественная. Не его. Восточный мужчина раскрыл перед ней дверцу белого лайнера.

На семейном совете — отец детей Сергей, дедушка Паша, бабушка Дуся — детей решили пока в садик не водить. Мало ли? Подъедет мать со своими богатыми наставниками, заберут — одну, как хотела, или всех — и что потом? Пусть пока побудут дома, где — дедушка с ними, а когда ему в больницу, на чистку, бабушка или он, Сергей. Благо — сам распоряжается своим рабочим днём.

Селинку крестили в Иверском храме, что возле Генуэзской крепости. Олечка, который знал историю города, будто был свидетелем всех времён, разводил изумлённо руками:

— На карте Средневековья Генуэзская республика — вот такусенький округ Италии, — отмерял он в пространстве пару сантиметров. — Как они охватили владениями берега всего Средиземного моря! Крым-то для них вообще — как для нас Дальний Восток! Через моря, проливы, на веслах и парусах! Так ещё и воевать надо!

Через несколько шагов приостанавливался:

— А монголы как сюда дошли? Доскакали? Мамай-то вон там казну Золотой орды схоронил, — указывал на полосу моря. — Богатства его так на дне и лежат! Я в девяностые в акваланге нырял: почти нашёл! Кувшины поднимал, меч римский, короткий. Сундук нащупывал, только поднять как? Выхожу на берег. Подходит человек, показывает удостоверение: полковник УСБ. Говорит, будешь искать, оттуда не выплывешь. И дальше то, что меня до сих пор изумляет, говорит: “Это наш стратегический запас”. То есть они её давно нашли, казну Мамаю, и не берут до поры до времени.

Олечка, понятно, мог и присочинить, причём так, что был уверен в своих словах. Евдокия Семёновна по привычке к недовольству, какую приобрела в страховых агентах (или по возрасту), заворчала в ответ, почему ребёнка, мол, решили здесь крестить — здесь же раньше были армянские церкви. Для Олега — какого рожна он работает на стройке, ему бы в лекторы, — что называется, пробил час. Держал он речь, возвышаясь над другими и вскидывая длань:

— Храм Иверской иконы Божьей матери прежде носил имя Иоанна Предтечи. В этом храме перед путешествием за три моря молился Афанасий Никитин, коему памятник теперь стоит на церковном подворье, у выхода к морю. Именно здесь, у стены крепости, в каньоне, веками располагался один из центров мировой работорговли.

Вокруг родственников и друзей, ожидавших начала обряда крещения, толпились слушатели, уверенные, что перед ними экскурсовод. Олечка высоко поднимал руку, указывая места, где торговали невольниками, в основном, захваченными в славянских землях. Мужчинами, большинками из которых становились гребцами, прикованными к вёслам на военных и торговых судах. Мальчишками, пополнявшими ряды османских воинов: армия янычар, обращённых в ислам, набиралась исключительно из славян. Юных дев — отсюда, вот она, здесь ступала, — была продана в рабство пятнадцатилетняя славянская девушка Настя, будущая правительница Османской империи, ставшая известной в истории как Роксолана. Она, дочь сельского священника, обращённая в магометанство, прослыла непревзойдённой красавицей, знатоком и покровительницей искусств, образованнейшей женщиной своего времени...

Серый вздрогнул на этих словах. Он отдалённо слышал про судьбу Роксоланы, но только сейчас внял тому, что прежде, чем стать султаншей, та приняла ислам. А чем Лиза — не Роксолана?

— Времена менялись, но всё повторялось. Работорговле в Крыму положила конец другая талантливая женщина, урождённая католичка, принявшая Православие и ставшая повелительницей России. Когда захват людей принял глобальные размеры, — южные губернии ежегодно теряли десятки тысяч молодых, сильных, лучших подданных Российской империи — Екатерина Вторая направила в Крым сорокатысячную армию под командованием Василия Долгорукова, впоследствии прозванного Долгоруковым-Крымским. Стотысячное объединённое войско османов и крымского хана, выдвинувшееся защищать свой прибыльный бизнес, было наголову разбито!

Сколько их, русских солдатшек, в кровопролитных боях полегло у стен древнейшей Феодосии, на ту пору Кафы?!

“Работорговля исчезала, но ведь она возрождается, — думал Серый, — на иной лад, без набегов и оружия, уводят людей, сильных мужчин, красивых женщин... Уводят — по их доброй воле, а то и страстному желанию!.. Да и тогда, в старые времена, так ли уж всё происходило вопреки желанию? А сказки откуда? “Прилетел Змей-Горыныч, унёс в жаркие страны, и стала девица, опоенная зельем, жить в саду райском...”

Подъехал гаишник Лёня. Машину с мигалками оставил у ворот храма, шёл пешком, и земля, казалось, колыхалась под ним. Лоснился в улыбке — блин-блином, масляный, с пылу с жару! На Лёне возлежала важная миссия — стать восприемником и после обряда — крёстным.

Восприемник Лёня с Селиной на руках, кажется, занял всё невеликое пространство храма, остальные люди чудом лепились вокруг. Восприемницей была Ирина, жена Олега: даже со спины видно, как она переполнена жизненных сил, ожидая своего важного часа — момента омовения, после которого ей и надлежит принять на руки, а вместе с тем и всю духовную ответственность за ребёнка как крёстной матери.

Павел Валерьевич не был в церкви, похоже, со времени собственных крестин. Вся жизнь. Но всё здесь ему было знакомо. Царские врата, которые могут отворять только иерей или диакон и только во время богослужения: все знания из великой русской литературы, которую в студенческие годы поглощал собраниями сочинений! А вот в алтарь во время службы простым смертным также вход закрыт, но особо почитаемые в обществе люди здесь находиться могут. Хоть тресни, хоть лопни, Павел Валерьевич, человек строго советской формации — совок, воспитанный на идее равноправия, — не принимал этого, не принимает и не примет! Да ведь нет же ни эльфина, ни иудея перед Богом?!

У священника была редкая клочковатая борода, а ямочки на щеках улыбались даже тогда, когда он в значимости момента хмурил брови. “Старый ребёнок”, — вспомнил Павел Валерьевич одну из транскрипций имени Лао Цзы, древнего китайского мыслителя, на которого — каким его принято изображать — удивительно был похож приходской батюшка.

Священник, оставив трёхлетнюю Селинку в длинной белой ночной сорочке, кропял водой из купели голову и омывал лицо со словами:

— Крещается раба Божья...

А девочка — Павел Валерьевич это почувствовал, как разряд электричества, — так стрельнула глазами, будто вдруг опустело вокруг. “Мама! Мама!..” — кричал её взгляд. Маму девочка искала, хотя и папа был здесь, и сестрёнки, и бабушка, и... На нём, дедушке, взгляд и остановился, сверкнул — родное, опора!

Павел Валерьевич едва удержался на ногах: и радостно, и такая слабость... Жалость невероятная: вот она, над купелью, в начале своего земного бытия — столько в ней жажды жизни и ожидания чего-то сверхвозможного! А сколько сложностей предстоит, борьбы, разочарований, разлук, предательств?! Но и радости, побед... А жизнь пролетит, как промелькнула у него! Словно так и не начал жить, всё приноравливался, всё думал: вот-вот, главное будет завтра! Разбежался, а тебе уж двери открывают, на выход, говорят! И все они, собравшиеся на крестины в храме, молодые и здоровые, пока и не подозревают, насколько быстротечна жизнь. Между крестинами внучки и крестинами деда — миг...

Батюшка передал новообращённую в руки восприемницы — теперь уже крёстной Ирины. Надевал крестик, а восприемник Лёня своими невероятными ручищами помогал оборачивать в простынку. У всех троих были ямочки на щеках! Да какой у троих? Четверых — у Селинки тоже ямочки на щеках! Вишь, как подобрались!

Вместе с внучкой крестили грудного младенца — мальчика, который кричал до спазм и вырывался из рук юной восприемницы. Батюшка, приблизившись, в сердобольном порыве стал совершеннейшим “старым ребёнком”

и вдруг потряс перед глазами беспокойного малыша сосудом с елеем, как погремушкой. Спыхватился, что отошёл от канона, в строгости сделал губы трубочкой, обмакнул в елей кисточку, трижды крестообразно помазал младенца: — Помазуете раб Божий... во исцеление души и тела....

“Стручец” — всплыло в памяти название этой кисточки. “Стручец” — память уносила обратным потоком туда, в сибирское детство, когда все эти названия знали и где он был крещён и так же голосил, настаивал на праве жить по воле своей! Да и сейчас, это не чужого малыша крестят, а его и крестят... Его, Павлика, крестят, а он тут же стоит, одной ногой там, откуда не возвращаются... Из точки в точку.

После обряда крещения у врат храма жизнерадостный народ рвал друг друга из объятий, вдруг обнаружив, что Ира, жена Олежки, а значит, и сам Олег теперь стали как бы родственниками Сергею! Гаишник Лёня — тоже кум! И между собой они все кумовья! Селинка всех породила!

Дальше новой родне и приглашённым друзьям надлежало отправиться в кафе на набережной. Павел Валерьевич тоже собирался — специально накануне сгонял на чистку в больницу, — но так что-то тяжко стало, причём не то, чтобы физически, ногам, рукам, а тому, что внутри где-то. Такая очевидная собственная непригодность для праздника давала о себе знать! Перед старшей внучке телефон с камерой, попросил, чтобы всё снимала.

“Субару” его стояла за воротами подворья храма. Прошагал, не оповещая родню: освободил от себя! Какой людям праздник, когда полумёртвый рядом?! Сел в машину, тронулся, выворачивая руль.

Взгляд скользнул по двум красивым “джипам”, стоявшим чуть поодаль от обочины, на взгорье, по диагонали к дороге. Чёрный и белый, отливая одинаково тонированными стёклами. Белую машину он уже видел у своего дома. Тогда ещё сердце ёкнуло. И сейчас остро кольнуло. Ну, да его, сердце, теперь уж без всякой причины словно змий сосёт...

Кумовья подходили к машине с мигалкой. Лёня толкнул Серого локтем, указывая на стоящие неподалеку “джипы”: “Вот она”. При этом великан отвесил почтительный поклон.

Женщина в чёрном стояла у чёрной машины. В белой, подумал Сергей, наверняка Лиза с этим большеглазым “принцем”.

Мусульманка что-то протягивала в руке. Он приблизился.

— А-акрестили, — сказала с горным эхом в голосе.

Серый промолчал: его не спрашивали, знали.

— Па-ра-авильно.

Он кивнул, мол, само собой.

— Ей на-а сердце легче.

Ему нечего было добавить: легче, значит, легче. Взял поданные корочки. Свидетельство о разводе.

— Как?! — растерялся он. — Я же не давал согласия! Это же только через суд можно, у нас же дети!

Теперь промолчала она. И такой покой в лице, непроницаемость. И ещё что-то во взгляде — будто он микроб.

— Она там? — показал кивком Серый на белую машину.

— Нет. Она да-алеко.

— Где?

— Тебе туда пути нет.

— А если я приму ислам?

Она мгновение помолчала. Ответила резко, с нескрываемым пренебрежением:

— Нэ-э примешь!

Круто развернулась, открыла дверцу автомобиля. Встала на подножку, туфелька открылась из-под длинного платья: на высоком каблуке-шипильке, с золочёным рантиком.

Свидетельство пошло по рукам — открыл большими лапищами, посмотрел Лёня, взяла Ира, Олег. Лица каждого одинаково забавно вытягивались. Потянулась старшая, Вика, но Серый выхватил у неё, сунул в карман:

— Всё, поехали! У нас крестины!

— Баба с возу... — хлопнул по плечу Лёня, обращаясь к народной мудрости, как уже это делал Олежек.

— Без плеча оставишь! — просел Серый.

Замелькали огни на автомобиле с мигалкой. “Шьюу-шьюу-шьюу”, — крестный вёз новообращённую по городу с сиреной, разгоняя по обочинам попутные и встречные машины — хорошо иметь гаишника в родне!

Павлу Валерьевичу уютно было в своём “склепе”, как стал он именовать мастерскую. Хорошо одному, без людей, даже любящих его и любимых. Устроился поудобнее в мягком свободном кресле, включил компьютер, открылось окошечко — в мир большой, необъятный. В небытие, отражающее бытие. Выходило, что невольно, подсознательно “замуровывал” себя, готовил к уходу. А как если и реальная черта, кончина, это всего лишь уход за окошечко? В своеобразный интернет, где есть окошечко в обратную сторону, на Землю?

Может быть, видео про шахидов, как они высвобождённо и сладко уходили и как возносилась облачком душа, действительно, вовсе и не монтаж? А была такая возможность у оператора — подсмотреть, поймать момент... Сколько их там гибнет, только снимай! Набрал в поисковике “шахиды”, видео сразу же открылось — музыка завораживающая, утягивающая, просветлённый юный лик, и душа, скользкая ввысь... И так полегало на сердце. Вот они, молодые, уходят, а чего же он-то боится? Чего цепляется? Веры не было? Вера была — в жизнь! А жизнь — она обманчива. Маленьким думаешь: вот стану большим, окончу школу, институт. И тогда что-то начнётся! Взрослым думаешь: вот вырастут дети, окончат школу, институт. Внуки появились — вот уже ходит, уже говорит!.. Жизнь ли, Бог ли заманивает будущим? А будущее — твоя старость, немощность, уход...

Поманило лечь или даже не ложиться, а просто раскинуться в кресле, и чтобы душа — чего ей делать в больном теле? Так поманило, что испугался. Прошил страх: нет, нет, нет, ну, надо же хотя бы дожидаться, чтобы вернулись с торжества жена, сын, внучки, посмотреть, как они в кафе справили крестины?!

Павел Валерьевич уже повёл мышкой, чтобы “щёлкнуть” по крестику в углу экрана, как выстрелило рекламное окошечко новостной страницы сайта. Лицо мелькнуло, как обожгло. Он ещё мгновение не верил, надеялся: показалось, ошибся! Сюжет был кратким, но ударным. Тиражировался так, что в сознании Павла Валерьевича уже не одна русская девушка, а бесчисленное множество выходили замуж за мусульманина, свершая обряд никаха, и не одна, а тысячи провожали мужа — и уходил тот мужчина с автоматом! И у всех этих тиражированных красавиц было лицо Лизы! С глазами её прекрасными, с взглядом оттуда, издали, где в окошечко небытие смотрит на бытие.

Павел Валерьевич вдруг с ясностью обнаружил, что вся его хандра, нахлынувшее нежелание тянуть лямку жизни, — от тоски по ней, Лизе. Она, именно она в этом доме была для него самым близким человеком — не по крови, по высшему человеческому родству!

Он поднялся, прошёл в дом. Стал рассматривать картинки, ею нарисованные. Камни, лежащие в море так, что напоминают силуэт мужчины, то ли распадающегося на части, то ли не собравшегося в единое целое? Крепостная стена, тоже как бы из разделённых квадратиками каменных глыб. И дорога летящими отдельными булыжниками...

Открыл крышку пианино, нажал клавишу: одинокий звук улетел на второй этаж. Павел Валерьевич даже проследил его путь. И направился словно вдогонку. Открыл дверь кабинета — на миг почудилось, будто Лиза так и сидит здесь, перед компьютером, как сидела... Пусто было место её.

Взгляд упал на альбом с фотографиями на полке: “Свадьба”. Открыл — глаз за последнее время привык к изображению на экране, поэтому фото на матовой шероховатой бумаге относили чувства к милому “раньше”. Даже не

к тому, когда всего лишь семь лет назад была свадьба, а к тому, когда задачи большой страны могли перекинуть его с семьёй из одного континента в другой, когда звание научного сотрудника и уж тем более руководителя проекта в секретном НИИ было окружено ореолом значимости, а у мирового прогресса существовала разумная перспектива.

И в этом, казалось, чудном прошлом и происходила свадьба его сына Сергея и невестки Лизы. Уже у себя в каморке, устроившись поудобнее на узкой кровати, Павел Валерьевич обстоятельно просматривал фотографии. Вот молодые обмениваются кольцами — в лице молодой жены абсолютное счастье! Улыбка лучезарная, глаза светятся! Вот скрепляют узы поцелуем... Вот молодожёны в окружении родственников, друзей. Сватья приезжала из Симферополя: только в её лице и есть предвещание чего-то опасного — лицо подверженной алкоголизму женщины. Но этого пагубного пристрастия Лиза не унаследовала совсем, она не раз говорила, что в отца, с которым ему так и не довелось познакомиться. А вот Сергей и Лиза возлагают цветы к Вечному огню. Внутренне собраны — причастны к памяти войны, — лица, будто из тех времён...

Павел Валерьевич вдруг вспомнил, что в контактах телефона у него есть номер Путина. Он давно собирался ему позвонить, и решил, что пришла пора. Путин ответил сразу, знакомым этим своим торопливым говорком.

— Владимир Владимирович, — стал спешить и Павел Валерьевич, — в Крыму нужно снова открывать НИИ. Это очень важно для мирового прогресса.

— Да, да, я с вами согласен, этим вопросом уже занимаются. Сейчас я вас переключу на человека, который занят организацией НИИ в Крыму.

Последовали длинные гудки. Теперь ответил другой голос, более размеренный:

— НИИ в Крыму уже организован. Скоро он начнёт работу.

Павел Валерьевич должен бы радоваться, что дела движутся, и мировой прогресс восстановил свой ход, но он, скорее, огорчился: опять обошлись без него, уникального специалиста...

— Дедушка, возьми, я тут всё снимала. Там есть, как бабушка танцует!

Внучка стояла у кровати. Павел Валерьевич не сразу понял, почему телефон у неё в руке, когда он только что звонил Путину. Грусть на сердце ещё оставалась, хотя, по логике, он должен радоваться!

Усмехнулся, поняв, что это был сон. Не довелось, выходит, поговорить с Путиным. А жаль.

— Что ты дедушке отдохнуть не даёшь? — окончательно развеяла иллюзию бабушка. — Как ты тут? Подушку приподнять?

Винцом дыхнуло от Евдокии Семёновны. И сама она была разругавшейся, помолодевшей.

— Бабушка танцевала? — улыбнулся Павел Валерьевич.

— Да, да, так красиво! — запрыгала внучка.

— Нашла, что снимать!.. — поправила подушку заботливая супруга.

Павел Валерьевич прикрыл глаза, будто засыпал. Как только дверь за бабушкой и внучкой закрылась, он решительно приподнялся, сел на кровать. Подсоединил телефон к компьютеру, по монитору, словно пробиваясь, протискиваясь сквозь неведомое давящее пространство, поползла полоска. Павлу Валерьевичу не терпелось посмотреть видео, отснятое внучкой. Празднование крестин младшей внучки! И если уж быть честным перед собой, то более всего манило посмотреть, как танцует бабушка. Она ведь здорово танцевала! В художественную самодеятельность ходила, и твист, и ча-ча-ча, и шейк так отчебучивала — загляденье! Да и он был танцор ничего: как-то в Доме отдыха они приз сорвали за лучший вальс!

Павел Валерьевич пролистнул кадры, где провозглашал тост речистый Олежек, гаишник Лёня звонко пел, подыгрывая себе ударами по столу, поднимал рюмку со слезами в глазах блаженный батюшка...

Евдокия Семёновна танцевала одна. Сольно. На площадке перед диджеем с громадём музыкальной установки. Без него, мужа — освободившись от

забот о нём, — она явно позволила себе расслабиться. Навеселе, что называется, давала шороху, как это и бывает с немолодыми людьми, которым хочется доказать, что они ещё ого-го!

Эта была танцовщица варьете. Вполне ладная, экзальтированно подвижная — приподнятая ножка была оттянутым носком воздух, а теперь и вся нога шла вверх, чуть не выше головы... и мелькнули трусики, белые, и мелькнули ещё раз! Икры такие крепкие ещё, вполне ещё...

Снова прилёг, растянулся по кровати. Что же он творит, эгоист несчастный?! Зачем мучит собой здоровую, крепкую, да и, в сущности, молодую женщину? Ей ведь ещё и мужчина нужен как мужчина...

Настойка на алыче стояла в шкафу, на нижней полке в трёхлитровой банке, чуть выше — в графинчике. Чего он дурака-то валяет?! Налил рюмочку. Сделал глоток. Как по рту-то пошло, покатилося по жилочкам...

— Пап, ты что?! — стоял на пороге сын.

Заходят, будто он уж мертвец, стучались бы хоть, что ли?

— Давно ты не называл меня папой, всё Павел Валерьевич.

— Я же играючи. Пап, тебе же категорически...

— Категорически можно.

— Разрешили?

— Абсолютно.

Сын заметно был под хмельком. И пришёл он не за тем, чтобы уличить или поучить отца. Павел Валерьевич достал вторую рюмочку, наполнил, поднял свою. Выпили за вновь обращённую.

— Отец, — так, кажется, сын вообще родителя никогда не звал. — Ты всю жизнь — убеждённый атеист?

— Крещёный атеист. Член КПСС.

— Но если есть человек, который живёт по-божьему, то это ты.

— У морального кодекса советского человека с десятью заповедями расхождения небольшие. Всё то же самое, только без упоминания Бога.

— Но свечку в церкви всё-таки поставил?

— Поставил... Поставил свечку, и какое-то обращение из меня пошло. Попросил не за себя — за себя я просить не могу. За вас. За тебя, за внуков. — Павел Валерьевич со значением повёл головой. — За неё... И так спокойнее стало.

— И я просил. Тоже не за себя. За детей. За тебя. Хотя по большому счёту, это и есть за себя?

— Атеист во мне никуда не делся, и я также понимаю, что всё это, может быть, иллюзия. Самоутешение.

— А вот я за неё почему-то не просил...

— Пусть живёт, как хочет. Никого не надо отягощать собой.

Сын помолчал, подумал: стоит ли переводить разговор в более щекотливое русло?

— Деву Марию просил?

— Божью Мать.

— А ты веришь во всё это?.. Живёт семья, муж жены не касается, вдруг на тебе — ждёт ребёнка... Непорочное зачатие?

— Я отношусь к этому, как к художественной литературе.

— Но ты же не станешь свечку ставить Татьяне... — Сергей затряс ладонью в воздухе, — из "Онегина"?

— Резонно.

Оба помолчали, глядя друг на друга.

— Почему семьи мусульманские — крепкие? — загорячился Сергей. — Семьи христиан трещат по швам?! Не потому ли что самая почтенная для нас женщина родила не от мужа? Да, от Бога. Но не от мужа. Каково было этому... плотнику?!

— Иосифу.

— Да помню я всё, просто мозги чего-то!..

— Я понимаю, почему тебя это волнует. — кивнул Павел Валерьевич. — Я тоже об этом думал. В последнее время. Скажу тебе так: я часто

бывал в длительных командировках. Представляю: возвращаюсь, а Черёмушка моя беременна. Нет, нет и нет! Я бы, скорее, поверил в непорочное зачатие, чем в измену Евдокии Семёновны! Так что все дело в мере доверия. Или, точнее, в силе любви.

Сын чуть не прослезился: как же его родители всю жизнь любили друг друга! Отец вновь наполнил рюмочки, вздохнул:

— А сам-то по молодости погуливал. Было. За это и расплачиваюсь.

— Ну, может, всё-таки тебе...

— Очень даже на пользу, — отец высоко поднял налитое.

— Что, прямо врачи разрешили?

— Рекомендуют. Однозначно. — Он точно изобразил Жириновского. — Только, батенька, Евдокии Семёновне — ни гу-гу!

Сын ушёл. А Павел Валерьевич стал ждать смерти. Почки-то не работают совсем. Какой алкоголь? Но ни болей, ни иных симптомов, обычно уже ощущаемых на второй день после чистки, не было. Как раз наоборот, лежал и обнаруживал в себе неожиданное, казалось, навсегда угасшее желание. Он ещё сомневался, а так ли всё в самом деле, получится ли? Но уже что-то за него решало, и ясно виделось, как в доме, сразу в комнате налево лежит с крепкими икрами Евдокия Семёновна — Черёмушка. Он поднялся, пошёл — легко, спокойно, просто здоровый мужик!

Дуся не спала. Готовила суп, глядя в телевизор.

— Тебе обязательно надо смотреть такие передачи! — воспалённо пригласила она, бывший чертёжник-конструктор, мужа к экрану. — Тут про артистов показывают...

— Черёмушка, — взмолился Павел Валерьевич, — при всём уважении к чужой жизни, я ещё хочу пожить своей...

Потянул жену за руку Павел Валерьевич, повлёк в опочивальню. И она подалась, заскользила так, как это делала когда-то. Ответила жарко на его поцелуи. И всё было, как прежде, или даже так, как не было никогда, а было что-то запредельное. Она плакала у него на плече. А он не мог плакать, потому что так был воспитан. А плакать хотелось, счастливо пустить слезу. Жизнь-то, жизнь-то как сладка!

Он проснулся на рассвете. Евдокия спала рядом, сладко свернувшись калачиком. Лежал пластом, думал, как подняться, не разбудив её, не потревожив. Поясница словно залита бетоном. Набрал воздуха, медленно высвободил руку, преодолевая боль и охватившую немощь, сделал движение вверх, помогая локтем. “Овощ, овощ, — обзывал он себя, — окаменевший овощ!”

Ехал на машине с перехваченным дыханием, вытянувшись на сиденье. Съезжал к обочине, останавливался, когда становилось невозможно, глотал таблетку обезболивающего.

В больничной палате сестра привычно воткнула одну иглу с подсоединённой к ней прозрачной трубкой чуть выше запястья, другую чуть ниже локтя. Оставив нетронутым — незадействованным — маленькое пространство. Трубки стали наполняться кровью.

В палате были не только почечники. Так же, подсоединённый к аппарату гемодиализа, “чистился” с виду абсолютно здоровый представитель криминального мира, весь в наколках: после долгих лет тюремной диеты пустился он во все тяжкие: неумеренная еда, питье, — и теперь врачи помогали искусственно восстановить здоровье. Гуляй, хлопец, дальше! Бандит посмеивался на кровати, уткнувшись в планшет, — смотрел боевик!

Павел Валерьевич достал телефон, надел очки, теперь уже подробнее прокручивал видео крестин. В храме, в кафе. Но манило, и он, не стерпев, заторопился — посмотреть танец жены! Подняла коленочку, округлую, гладкую — ножкой с оттянутым носочком тык-тык, словно по мячу и — опа! — чуть тебе не шпагат! Трусики опять мелькнули... Ни ревности, ни обиды, что люди, мужчины, там, в кафе, сидели и смотрели.

Счастливым понимал, что минувшая ночь — это милость Божья! Да, именно так он неожиданно думал: дал ему Господь напоследок ещё раз вернуться

в молодость, насладиться жизнью. Укрепил. Потому что близость с любимой женщиной, подарившей ему детей, придавала сил, чувство исполненной земной миссии. И старший сын, Митя, не воспринимался теперь покойным, трагически погибшим, — душа его вознеслась, он видел это своими глазами! И скоро они свидятся, и отец уж не будет читать морали...

— В баньку пойдём со мной? — слышался масляный бас с хрипотцой. Молодая пышногрудая медсестра бинтовала бандиту руку. Разрисованный здоровяк аккуратно, не касаясь тела, сунул свёрнутую кушору меж её волнующих округлостей в уголке халата. Та хихикнула.

Всё это Павел Валерьевич за жизнь видал-перевидал, а всё одно: умиляло!

Ножка в окошечке телефона — оп, оп! Крепкая, упругая... Птица в клетке! Белка в колесе! Пора и честь знать. Отпустить её надо на волю. Стыдно же, не по-мужски — д-д-дрожать д-д-до озноба — за свою жизнь. Не овощ он!

Некогда у него был целый ружейный арсенал: и карабин с оптикой, и ружья, и мелкашка. Теперь осталась лишь двуствольная тулка. И патроны к ней. Павел Валерьевич с любовью держал в руках ружьё. Почему он, уехав из Сибири, забросил охоту и рыбалку? В Крыму всем этим вполне можно было заниматься. Но у него в представлении с охотой была связана тайга, причём зимняя, с топким снегом, а с рыбалкой — низовье Оби, куда отправлялись всем НИИ, используя подводственные катера со снастями: сети, невода. Чавыча, нельма, таймень... Может, и здесь что-то бы организовалось, перестроился бы на промысел в иных условиях, да всё рухнуло вместе со страной, ставившей высокие задачи. Цели были перечёркнуты, а всё остальное, как подпорки, развалилось за ненадобностью. Хорошо, хоть семья сохранилась: многие учёные тогда и семьи потеряли.

Патроны один за другим желанно вошли в стволы. Всё по науке: гильза папковая, пересыпанная крахмалом дробь “двоечка”, согласно таблице Плюского, идеальная для шестнадцатого калибра. Правда, всё давнее, просроченное, ну да с расстояния ноль целых ноль десятых миллиметра разнесёт в клочья. Он приставил дуло к сердцу. Колотилось оно, простукивало до запястий...

Шаги, знакомые, словно пальчиками по ладам, слышались от крыльца: обострён был слух в эти мгновения, как у зверя. Сунул ружьё под одеяло, остался сидеть как ни в чём не бывало.

— На ужин что? — заглянула Евдокия. — Гречечку или овсяночку?

— Какой разнообразный кулинарный выбор! Свининку, Дусенька, свининку хочу, с салцем такую, полосками.

— А ты чего такой?

— Какой?

— Какой-то в лице странный?

— Размечтался.

— О чём? — Она просияла: конечно, в её представлении мечтать можно только о счастливом.

— Как ты будешь цветы носить.

— Куда?

— На могилку ко мне. Придёшь, всплакнёшь, постоишь, поговоришь со мной.

— Типун тебе на язык! Ты ещё меня переживёшь! Грех о таком говорить, грех!

— Уж и помечтать нельзя. — Павел Валерьевич улыбался.

— Тебе гречку с молочком или на водичке?

— На водичке, — сказал он шипло, как на издыхании, — чего добро переводить?!

— Ты опять?!

— Сви-ни-ны!

Евдокия Семёновна махнула полотенцем в руке:

— Овсянку сварю.

Павел Валерьевич остался один: никогда он не был согласен с этими словами, что человек приходит в мир один и уходит один. Как же приходит один? Мать рядом, акушеры, отец в отдалении, но всем сердцем с новорождённым: Павел Валерьевич хорошо помнил своё волнение, когда он ждал первенца. А когда появился Сергей — поздний ребенок! — места себе не находил!.. Живёт человек среди людей. Оставляет о себе память. Но последнее время ему не то, чтобы одному лучше, но лучше, когда он собой не докучает другим.

Павел Валерьевич закрыл потуже дверь. Повернул с щелчком рукоятку замка. Подумав, щёлкнул в обратную сторону: иначе дверь снаружи ключом не открыть, ломать придётся. А ломать, как известно, не строить.

Достал ружьё из-под одеяла. Он немало пострелял зверья и относился к этому как охотник, с гордостью. Но в памяти возникла подстреленная собака, овчарка егеря, которую не он, а его приятель принял за волка. Овчарка поднималась, падала, волочила зад, и кровь струей била из рваной раны.

Дверь дёрнулась, но не открылась, зажатая тугими косяками. Со второй попытки Дюся распахнула дверь настежь:

— Ты чего так закрылся?

— Да закрылась. Дунуло.

Погода стояла безветренной.

— А ружьё зачем?

Он про него и позабыл, сидел, уткнув приклад в пол.

— На охоту собираюсь. На утку. Помнишь, сколько я утки привозил?

— Как не помнить, всем соседям раздавали... А где здесь утки?

— Ты на море давно была? Здесь стаи уток!

— В городе, что ли, стрелять будешь?

— Зачем в городе? На Азов поеду, на Генеральские пляжи.

— А я тоже хочу туда. Там красиво!

— Вот и поедем. — Павлу Валерьевичу было тяжело разговаривать.

Дюся почти прослезилась:

— Есть-то иди! Овсянка — чего она, три минуты! — побежала, размахивая полотенцем.

А если и он, как тот пёс, не померёт сразу? И будет кататься по биндюге с пробитым пузом, — а выстрелить хотелось не в сердце, а именно туда, на уровне поясицы, откуда всё время тянуло и сосало, — зальёт всё здесь, как раненый зверь, кровавыми следами? Дюся увидит его изуродованным? Таким и останется в памяти?

“Нет, брат, — катились мысли в другую сторону, — дрейфишь ты просто, так и признайся, кишка тонка”. Всю жизнь, выходит, обманывал себя и других, не раз повторяя, что не любит менять решений. “Нет, братец кролик, так не пойдёт, необходимо восстановить план дальнейших действий”.

Из читанного помнилось: дуло приставить к груди — всё-таки к сердцу, — а большим пальцем ноги нажать спусковой. Павел Валерьевич всегда был волевым, неспроста же, не особо тренируясь и не имея никакого опыта соревнований, становился чемпионом Сибири по борьбе классического стиля в полутяже!

Взвёл курок, прилёг на дуло, крепко зажав руками ствол. Приподнял ступню, пытаясь отвести в сторону большой палец.

Пальцы ног и рук у него от рода были широкими, теперь же обнаружилось, что их разнесло, они не разделялись, почти не гнулись: не лезли в предохранительную скобу! Он почти рассмеялся мысленно. Счастливо, что не надо стрелять. И горько: делать-то что-то всё равно надо.

Павел Валерьевич отложил ружьё. Посидел недвижно на кровати. Не обязательно же пальцем, можно взять палку, и с таким же успехом привести в действие спусковой механизм.

Не обязательно и ружьё. Верёвка. Ни ран, ни крови. Вельможных ханов в Турции казнили удавкой, чтобы не проливалась кровь: по их понятиям, с пролившийся кровью веками мается душа, не находя места.

Павел Валерьевич открыл интернет, стал искать пособие по удушению верёвкой. И нашёл, как ни странно. Ничего нового не сообщалось: верёвка крепкая, не толстая — хорошо, если бельевая, — мыло, табуретка.

— Ладно, я тебе сюда принесла, — влетела Дуся.

Он спешно переключился на шахматы.

— Всё с американцем? — заглядывала с любопытством жена.

— С китайцем. Лао Цзы.

— И как? — Её совершенно не смутило имя противника.

— Проигрываю. Напрочь.

— Ты?! Китайцу?! Да не поверю!

— Я же свинины просил, что ты мне опять овсянку?!

— Правда, что ли? Ну, есть свинина. Я её как раз оттаяла в микроволновке, не знаю только... Ну, ладно. — Ушла.

А зачем бельевая верёвка? Ему жаль было снимать с крепежей бельевую верёвку, вотчину жены. Буксировочный трос — тонкий, крепкий. Как раз недавно купил. Кстати. Сходил, взял из багажника машины. Дверь уже не закрывал, чтобы Дуся не могла явиться незамеченной.

Бутылочка с жидким мылом стояла на раковине. Удобная: с пульверизатором. Нажал на головку, подставил ладонь лодочкой под носик, чуть капнул воды. Повёл по тросику: скольжение идеальное.

— Что они творят! — поднимался от ворот, возмущённо размахивая газетой, Марк Самуилович. — Просто сошли с ума! Они хотят запретить русский язык!!!

Павел Валерьевич продолжал заниматься своим делом, но не мог не усмехнуться этому раскатистому гордому “гусский”!

— Я полагаю, это даже для Львовщины не пригодно! Но как без русского в Крыму?! В Восточной Украине?! Неужели они не понимают, что это — гражданская война?!

Хозяин, кивая в согласии, натирал верёвку мылом.

— Сносят памятники Ленину! Ленину, единственному правителю, который подерживал украинское национальное движение! До восемнадцатого года ни Донбасс, ни Львов не были в составе Украины! Ленин, по существу, создатель украинской государственности, которая в полной мере была реализована в составе СССР! Ставят памятники Бандере, который расстреливал евреев в Бабьем Яре, убивал детей в Белой Церкви, причастен к холокосту. Только на Западной Украине от рук националистов погибло двадцать восемь тысяч евреев!

— Что вы за народ, евреи! — вдруг возмутился Павел Валерьевич. — Я вот, русский, обязательно вспомнил бы и евреев, и поляков, и русских, и украинцев, которые также гибли от рук бандеровцев! А еврею дороги только евреи! Сам националист!

— Извини! Я пришёл сказать о русском языке, для меня родном! Я хочу и буду отстаивать право русского языка, право русскоязычных в Крыму и на Украине даже ценою жизни! — Марк Самуилович погрозил кому-то сухоньким кулачком. — А вот некоторые, бывшие члены КПСС, кстати, прячут голову в песок!.. Страус!

Павел Валерьевич в сердцах забросил петлю под кровать.

— Почему ты, русский образованный человек, безразличен к общественной жизни! Сколько я тебя прошу: напиши статью, призови к объединению с матушкой Россией! — Марк Самуилович вдруг замер с вознесённым вверх пальцем. — Нет, “объединение” — слово неверное! Призови к возвращению Крыма в сложившееся за века единое историческое пространство! А что касается того, что я еврей, так я никогда даже не был в синагоге! Я просто уверен, что вот так, в разногласии, в раздоре, ничего на этом пространстве не будет!

Павел Валерьевич скончался ночью. Тихо, спокойно, никому не досаждая. Лежал, как это часто бывает с усопшими, помолодевшим. С пугающе живой улыбкой. Будто притворялся. Разыгрывал. Сергею даже на миг пока-

залось, что отец приоткрыл глаза. Подмигнул. Он вышел из комнаты с телом покойного. Через минуту вновь вернулся. Озорство играло в лице отца — таким сын его и помнил по раннему детству, когда жили в Сибири. Павел Валерьевич, вернувшись с охоты, вынимал чёрствый хлеб из рюкзака, приговаривая: “Это от зайчика!”

И ещё что-то в облике покойного было такое, словно потянувшее ввысь: “Почти как у этих, на видео”, — против воли думалось Сергею. Имя “этих” он даже в мыслях произносить не хотел.

— Так и не съездили мы на Генеральский пляж, — почему-то произнесла мама, и потом ещё не раз повторяла. Будто главным в жизни и была эта неосуществлённая поездка.

Похоронили. Отпели, как положено. Все уже давно привыкли к мысли о скорой неминуемой кончине Павла Валерьевич, поэтому особого горя не чувствовалось. Тем более что даже в минуты панихиды в церкви он лежал с таким видом, будто уезжает по льготной туристической путёвке.

На Серого этот загробный оптимизм отца подействовал угнетающе: что называется, опустили руки. Не то чтобы переживал утрату: как говорится, все там будем. Прессовала душу простая мысль: Лиза жива, но для него она хуже, чем умерла. Умерла — было бы легче. Он даже представлял, как её хоронит, льёт скупую мужскую слезу. Потом, дома, один, рыдает. Но на душе светло, без мути. Ладно, даже бы изменила, ушла к другому. Но Лиза перевернула всю жизнь! Все мыслимые понятия! Это как для отца — распалась страна!

Дела свалил на Олежку. Тот не прекословил, успевал по работе, от всей души желая помочь товарищу, у которого шла чёрная полоса. Был Олежек при этом человеком обеспеченным: дом его располагался на первой линии от моря, сразу за Генуэзской крепостью; на земельном участке он построил мини-гостиницу (само место обязывало!), а жена Ирина держала мини-бар. Здесь же на сход собирались казаки, священнослужители, всех он привечал. Сергей не любил ходить по гостям, но Олег с Ириной просто вырвали его из “домашних тенёт”, устроили ужин. На веранде, казалось, нависающей над морем. Ирина то присаживалась с друзьями за стол, пригубляла наливочки, конечно же, домашнего производства, то убегала и приносила угощение: плов с мидиями, запечённую в сыре картошку пластинками, соленья, копченья.

— Вот я думаю, для чего живёт человек? — Олежка окидывал взглядом свои добротные владения и морскую ширь.

Сергей насторожился, полагая, что сейчас, устами Олега, живущего складно, знающего историю, откроется непонятая им тайна жизни.

— Поесть, попить, — стал загибать Олежек длинные сильные пальцы, — женщину полюбить! — Рядом случилась жена Ирина, и муж, понятно, смачно приложил пятерню к завидной плоти её.

Сергей не ожидал такого разворота мысли.

— А зачем ты в море ныряешь с аквалангом? Рискуешь, в общем-то? Историей интересуешься? В церковь ходишь? Постишься?!

Олежек постучал себя сначала по лбу, затем по сердцу:

— Так для этого тоже еда нужна!

Всё для него было предельно ясным.

Нет уж, коли вытащил его — не из дома, из ила подводного, в который затянуло по темечку, — простыми решениями не отделаться.

— Ей эсэмэски приходили с поучениями пророка Мухаммеда, — заговорил из долгих дум Серый. — Лизе.

— Вот это пропагандистская машина! — округлил глаза Олег. — ЦРУ, не иначе!

— Так мне тоже эсэмэски приходят! — откликнулась занимающаяся столом Ирина. — Из магазина нижнего белья!

— Хадисы называются, — продолжал Серый. — Запали в ум слова: “Не слушай советов одиноких людей”. Когда я прочитал, показалось, так правильно. Что одинокий может насоветовать? Я был уверен, что сам никак не одинок! Дети, родители, жена, работа! Счастливый человек! И вот —

жена... — слов не находилось, Серый только развёл руками. — Отец... — он пустил руки.

— Родителей рано или поздно приходится хоронить каждому, — рассудил Олежек.

— Да в том-то и дело, что... Стою у могилы, крышку закрывают, последние мгновения лицо отца вижу, а я... — Он постучал себя ладонью по лбу, — думаю, где она? В Турции? В Иране, Сирии? Где?! Кажется, ухнул куда-то, в воронку такую. — Серый показал ладонями сужающееся её горло. Посмотрел и пальцем указал в эту сужающуюся воображаемую воронку. — Один там!

— Да не бери в голову, бывает и с женой: вот она, рядом, а ты всё равно один! — приобнял жену Олежек.

— У тебя бывает?! — не поверил Серый.

— А то!

— Как сейчас надаю тумачков! — шутливо толкнула мужа Ирина. — Бывает у него! Как девчонок населит в номера, так только и ходит, глазами-то, как жеребец!

— Что написал Фёдор Достоевский в своём предсмертном послании жене? — смотрел значительно подкованный прораб. — Он написал: “Аня, я тебе никогда не изменял... — выходил Олежек победителем. — Только в мыслях”.

— А вот и не так! В школе, в отличие от некоторых, по литературе у меня было “пять”. Эти слова я запомнила: “Даже в мыслях”!

— О-о-о, — изобразил Олег жеманную деву, — “даже в мыслях”! Почему спорим?!

— По “ку-ка-ре-ку”!

Хозяин сорвался с места, с жаром потирая руки. Принёс репринтное издание трудов классика. Ткнул под нос одному, другому, указывая пальцем: “Только в мыслях”.

— Кто ме-ня, — запел речитативом Олежка, вскинув ладони на манер дирижера, — на рас-свете раз-бу-дит?..

— Кукареку, — выдала без стеснения Ирина.

Хохотали оба. Да и Серый прослезился от смеха: это же для него они, его растормошить!

— А я, ей-богу, даже в мыслях. Как табурет какой! — не без горечи веселился Серый.

— Да ну?! Так не бывает! — изумился Олег.

— Дело не в тебе, — улыбнулась Ирина, склонив голову: — Она, видишь, особенная. Лиза. И ничего с этим не поделаешь...

У Сергея просился на язык вопрос его “пунктика”, как он сам называл свои навязчивые думы.

— Вот вы оба носите кресты. Иконы у вас, а вы в непорочное зачатие верите?

Ирина в оторопи посмотрела на мужа. У Олега ответ был готов:

— А как же?! Теперь это и научно доказано, что такое возможно. Самка есть самка, ей надо родить. В Библии, дочери Лота, не было мужчин, родили от отца. В животном мире акулы, я читал, нет самца, происходит самоосеменение! А в древней мифологии сплошь женщины рожают от Бога! Тогда же Бог по земле ходил, его часто люди встречали. И сейчас в мире много примеров, когда девственницы рожают!

Жена Олега кивала, влюблённо глядя на языкастого мужа.

— Я не о том. — Головин ставил вопрос ребром. — Мухаммед у мусульман жил обычной человеческой жизнью. Жены были, дети. Только пророк. Пример для подражания. А у нас? Вот ты хотел, чтоб твоя жена понесла от Бога?

— Шею бы свернул!.. — засмеялся хозяин, сделав грозное лицо.

Посерьёзней.

— Богу — Божье... А мы люди. Сказано: “Прилепится муж к жене своей”. “Да убьётся жена мужа своего”. Куда как яснее! — обнял долгой рукой Олег крепкую Ирину.

Счастливые супруги провожали его. Не находил он ответа у людей на вопросы души своей. Шёл по тропинке холмистым берегом: то в ложбинке, то на гребне. Море разыгралось беспокойно, плескало так, что обдавало брызгами. “Как же одинока Лиза с ним была, если он сам с собой одинок?” — саднило сердце, подавляло. Хоть бери да езжай, где там она, разыскивай! Стал шарить по карманам, не вполне отдавая себе отчёт, в поисках чего? Не сигарет же — он раза три за всю жизнь курил. Так, с друзьями, когда они до невыносимого чадили вокруг. В нагрудном кармане на заклёпке обнаружил бумажку. Отец, видать, оттуда напомнил: это же подготовленная им сводка по интернет-связям Лизы!

Переданные отцом электронные адреса уводили к “проповедникам”, вызывающим к исламу: их всех отличала страсть, энергия, которая так и лилась с экрана и забирала в свой мир — на фоне всей этой пузырящейся ТВ-тусовки они привлекали подлинностью!

Какая тут борьба разворачивалась! Вот парень двадцати лет, крепко сбитый, сухощавый, за решёткой в суде читает рэп о готовности к любой жертве ради Аллаха. Прямо и смело обращается к прокурору, к судье, обещая им муки, потому что на зарплату такие хари не наешь, — а у тех, действительно, неприятно гладкие, холёные лица! Медузы такие! Молодой мусульманин-моджахед — родом из Белоруссии, при этом в рядах современных бандеровцев борется за национальную чистоту Незалежной: “Всё зло от русских! — так же истово восклицает он. — Там, куда приходят русские, начинается война!”. Глаза горят, в руке, высоко поднятой, Коран!

На видео под другой сноской муж с женой, оба славяне. Он, как молодые коммунисты в ранних советских фильмах, с абсолютной праведностью в светлых очах, повторяет слова главного мирового террориста: “Если бы крокодил повстречал ребёнка, у которого есть силы только на то, чтобы кричать... Разве крокодил принимает какие-либо аргументы, кроме оружия?” “Крокодилом” в его толковании выступает Америка!

Лицо у “врагов ислама”, по версиям интернет-проповедников, было разным. Девушка, на этот раз из Дагестана, главного врага видела уже не в другой стране или национальности, а в самой жизни, в которой нет ничего хорошего, и в мужчинах, которые предают, а поэтому верный путь — сразу к Всевышнему, в шахидки!

Слова у них не расходились с делом. Молодая супружеская пара скоро после своих призывов устроила теракт, подорвав почему-то совсем не американского крокодила, а мирных граждан в Ставрополе. Дагестанка разрядила пояс шахида в обычном рейсовом пассажирском автобусе... Это сокрушало: вот только на экране они были живыми, пылкими и азартными, и вот в том же квадратике видео от них оставалось лишь облако дыма!

По следующему выписанному отцом адресу был каскад размещённых аудио-видео-сюжетов. Сразу же шокировал авторский пост, крайне оскорбительный для мусульман.

Сергей запустил первый попавшийся сюжет. На экране появилась ночная освещённая улица, на противоположной стороне от съёмочной камеры располагалось современное здание из стеклобетона: “Вайнах-телеком”. Перед зданием на просторной площадке перемещались четыре парня: четыре силуэта в ночном освещении. Один вёл разговор по телефону:

— Ну, выходы, где ты?! — в голосе звучало горное эхо.

— Мы же договаривались, ты один придёшь! Хрена ли вы пришли вчетвером? — с заметной усмешкой отвечал красивый “радийный” баритон.

— Давай один на один, — парень перед “Вайнах-телекомом” занервничал и усилился акцент. — Выходы! Где ты?!

— Я здесь, чурка, рядом. Сейчас выйду. Пусть остальные уйдут.

— Я — чурка?! А ти гондон! Выходы!

— Знаешь, в чём твоя беда? Ты веришь, что Аллах — Бог! А Аллах — ...

Парень с красивым голосом явно забавлялся, выводил собеседника из себя. Да и Сергею, далёкому от веры, становилось не по себе: мурашки по коже побежали. Как это, про Бога — так на весь мир!

Парень с телефоном на экране взрывался грозными грязными ругательствами.

— Посмотри за стекло, — забавлялся невидимый ведущий. — Я же там, в “Вайнах-телекоме”, — и опять со смешком шли унижительные оскорбления.

— Я тебя найду, трыдыдыды! Я у тебя вырву, трыдыды! Вы все у меня, русские, будете...!

А забавляющийся человек, довольствуясь эффектом, пуще жал на “больное”. Со смаком скатывая имя Бога с матом.

Серого поразило, что парень на площадке не бросает трубку, а всё больше выязывается в оскорбительный для него разговор, и даже признательно называет измывающегося человека братом. Хотя и грозит этого “брата” убить!

Серый отключил видео, глянул на количество просмотров: зашкаливали за сотни тысяч. Удивительно: его также манило посмотреть иные сюжеты. Ничего особо нового: оскорбления, мат, цепляние, на этот раз за национальное чувство, потому что “Забавник” представился азербайджанцем, и его новый визави возле “Вайнах-телекома” костерил этот народ.

Что так затягивало в эти просмотры? Отсутствие рамок? Отвязность? Некая загадка, которую устроил “Забавник”: его-то никогда не было видно, и кто он, откуда реально ведёт свой “эфир”? Ну, и смелость определённая.

Выложенных широко востребованных сюжетов был поток, ибо “Забавнику” звонили отовсюду, и все, в общем-то, для того, чтобы “вправить мозги”. Серый уже хотел бросить это дело, но ещё раз, напоследок, щёлкнул указателем мыши по сноске следующего сюжета.

Зашипела полоса записи.

— Не говори оскорбительно про Аллаха, — заполнил пространство ровный мерный голос...

Это была Лиза! Серый даже прогнулся, влип в экран, хотя сюжет был сугубо звуковым: беседа.

— А откуда ты знаешь, что я говорю про Аллаха?

— Я слышала.

— Где?

— У тебя в блоге.

— А зачем ты ко мне заходишь, если тебе не нравится, что я говорю?

— Не знаю. Случайно.

— А про что мне говорить?

— Про то, во что ты веришь.

— Хорошо. Я верю, что я центр вселенной, и все женщины обязаны улаживать меня! У тебя она волосатая? Мусульманкам же нельзя брить, волосатая?!

— Ты понимаешь, что оскорбляешь религиозные чувства?! За это могут привлечь по статье! — выходила из себя Лиза. — Если тебя не видно, думаешь, тебя не найдут?! Думаешь, Москва там у вас большая?!

Забавник смеялся в голос:

— А с чего ты взяла, что я в Москве?! Я из Тель-Авива с тобой разговариваю.

— Ты иудей?

— А ты хочешь мой обрезанный? — послышался еврейский акцент.

Женщина отключила линию. Сердце Серого прямо саднило: чего же она раньше-то не отключала? Однако и сам не отключился, а стал читать комментарии. Имя “Забавника” просто утопало в дифирамбах. Оказалось, существуют целые группы его фанатов. Также было много ругательств и обещаний разделать с “Забавником”.

Вдруг, среди сорных реплик с нарушением орфографии и пунктуации, Сергея остановил гладкий добротный текст, снабжённый неожиданными здесь запятыми и точками.

“Фёдор Михайлович Достоевский ввёл такое понятие: подпольный человек. Подпольный человек, который, сидя в камерке, попивая сладкий чай,

в мыслях сокрушает мироздание, потому что мироздание его, этого человека, не заметило, не оценило и не сделало Наполеоном, каким вполне мог он быть”, — Сергей точно знал, кто написал эти строки. Отец! Павел Валерьевич, оказывается, вёл здесь свою борьбу. И борьба это была за Лизу!

“Интернет вывел подпольного человека из его внутреннего склепа, помог ему раскрыться, и теперь уже не мысленно, а воистину во весь мир объявляет он о себе: мне испить чайку или миру перевернуться? — Так мне чайку испить! Подпольный человек — это сила, сегодня переворачивающая мир. “Забавник”, как вышедшая на люди подпольная душа, несравним по силе воздействия с прошедшими подготовку и обучение сотрудниками спецслужб. Хотя обязательно окажется вовлечённым в их работу. “Идрис”, — а это имя исламского пророка, обучавшего народы, — тоже подпольный человек. С “Забавником” они составляют замечательную пару, работая по принципу конокрадов, когда один с одной стороны пугает табун лошадей, а другой на бодром скакуне заходит бросившемуся в бег табуну в изголовье и уводит за собой”.

Серый даже увидел, как отец сидит за компьютером, набирает текст. С виду безмятежный, само спокойствие. А что там у него внутри было?! Буря!

“Я не удивлюсь, если Идрис и “Забавник” — один человек...” — заключал Павел Валерьевич.

— Как вы смеете?! — восклицала Лиза. — “Забавник” — гадкий пошляк. А Идрис — святой!

Догадывалась ли она, что спорит со свёкром?! Похоже, нет! Её даже не насторожило, что оппонент знает об Идрисе: ведь “учитель народов” вёл работу только в личных контактах.

Домочадцы, выходит, когда собирались на кухне или в огороде, жили одной жизнью, а когда расходились, каждый по отдельности — другой, “подпольной”, миссионерской?!..

В Каменке Серый без труда нашёл дом, где могла быть Лиза или можно было узнать о ней. Он просто спросил у первой попавшейся бабки про женщину на чёрном “Мерседесе”, при этом показав руками долгополье одежды.

— А, это вербовщики-то?

— Какие вербовщики? — оторопел Серый.

— Ну, в эти, в каких их, в шахиды вербуют.

— Они что, так открыто вербуют?

— Ну, они-то, может, и скрывают, но мы-то знаем. От соседей что спросишь?

— А милиция? УСБ?

— Что милиция?

— Они что, не знают?

— А знают, так что? Люди тихо живут, по-соседски. Пройдёт, поклонится. Недавно мясорубку у меня спрашивала: у них электрическая, а электричество отключили. Ничего, взяла, накрутила, вернула, там отчищенная, вся блестит, мне ещё фаршу принесла! А что вербуют, так не ходи! Они же силком не тащат! Я вот не пойду, так меня и не вербуют!..

“Это как сказать, тётка”, — подумал Сергей. Казалось, что и он уже не свободен: в него она тоже как-то вцепилась, вербовка!

Дом стоял на высоком обрывистом берегу Азова. Волна шла большая, с гребнями. Зубастая. Ворота откатные, с электроприводом — не то, что у него, строителя, которые до сих пор открываются руками. Первый этаж — без окон: дело обычное для домов, используемых, как дачи, где люди бывают наездами. Надпись на фронтоне, выложенная лампочками, сейчас, к зиме, не светящимися, так что сразу букв и не разберёшь. Прочитал, распутывая вязь: “Мини-гостиница “Идрис”. И слабость такая по телу пошла. Немота, к щиколоткам. Это что же, он здесь, что ли? Так как же тогда его убили? А “Забавник”, поди, тоже здесь?

На двери был кодовый замок. Смотрел глазок видеорегистратора. Нажал кнопку вызова. “Блинь, блинь”, — тишина. Ещё раз: “Блинь, блинь”.

Затвор щёлкнул, воротники приоткрылись. В глубине двора лепестком располагался бассейн. Парил: знать, вода подогретая. Сергей приблизился к краю: двое купались в тёплой воде, мужчина и женщина.

— Администратор там, — махнул мужчина.

Сергей поднялся по высокому крыльцу, вошёл в дом. Оказался в небольшом пустом фойе гостиницы со стойкой администратора. Повернулся в одну сторону, другую:

— Вы в бани? — словно поймал его каркающий женский голос.

Знакомая женщина-вещунья чёрной вороной стояла на винтовой лестнице. Сергею хотелось прокричать: “Где Лиза?!” — но вместо этого он кивнул, ещё не понимая, о чём его спрашивают.

— Вам какие? — женщина говорила так, будто видела его впервые.

— А какие есть? — отвечал в том же духе Серый.

— Возьмите прейскурант, — кивнула она на стопку рекламных листочков.

Он взял листок, долго глядел, никак не в силах уразуметь, куда он попал?

— Есть финские, римские, хамам, — не дождалась ответа “администратор”. — Есть и русская, с веником!

— Хамам? — переспросил Сергей.

— Восточные. С массажем. До шести человек такса одна. Если больше, плата добавляется в зависимости от количества.

— С массажем? — почему-то затревожился Серый.

— Вы можете отказаться, если вам не нужен массаж. Но тогда какой смысл брать хамам? Возьмите римскую.

— Нет, нет, хамам.

Серый расплатился, снова вышел во двор. Только теперь обратил внимание на череду одноэтажных строений по другую сторону двора. В каждое вёл отдельный вход. Администраторша провела его в ближнее к выходу строение.

Восточная баня оказалась сауной, только с каменными полками и маленьким бассейном посредине: если в русской пар идёт оттого, что поддают на каменку, то здесь пар бассейна и заполняет пространство.

Сергей разделся, присел на прогретый каменный полоч. Стал ждать с немеющим сердцем: ему представилось, что попал он на самом деле в притон, и под видом восточных дел здесь занимаются проституцией. Неужели и Лизу завлекли сюда, чтобы сделать, так сказать, “массажисткой”?! А вдруг бывшая жена сейчас к нему и придёт?! Да нет, эта чёрная ворона не пустит: она же на самом деле знает, кто он, всё отлично понимает. Сердце застучало, застучало, так захотелось, чтобы пришла Лиза. И что же? Простит её? Она же была уже с другим, замуж как бы вышла... Не простит. Не примирится. А зачем тогда он здесь? Зачем?!

— Ложитесь, а я пока приготовлю мыло, — стоял перед ним полный смуглый мужичок, одетый, как санитар. В руках, поросших густой растительностью, он держал тазик и наволочку.

— Нежарко тут у вас, — заметил Сергей.

— Это же не русская парная. Это восток, релаксация.

Банщик вспенил воду в тазике, окунул наволочку, потом раскинул по воздуху, как парус. И стал выжимать пенную жидкость на спину Сергею. Когда всё тело было покрыто пеной, повёл по коже руками.

— А разве здесь массаж делают не женщины? — Серый всё ждал, что банщик завершит свои приготовления и появится массажистка, женщина.

— Могут быть и женщины. Это не принципиально. Вам хотелось, чтобы женщина была?

— Нет, нет, — почему-то испуганно отказался Серый, хотя ему именно этого и хотелось — женщину.

— В хамам нужно ходить с друзьями, чтобы не только мыться, но и беседовать, философствовать.

— Философствовать? — удивился Серый.

— Нет, можно и деловые вопросы решать. Но тогда это не релакс. Релакс, это всё-таки размышление на абстрактные темы.

— Идрис бывал здесь? — поставил вопрос Сергей, как ему подумалось, в лоб.

— Идрис? — теперь удивился парильщик. — Идрис — пророк. Учитель. Он жил более тысячи лет назад. Знал семьдесят языков и с каждым человеком мог говорить на его родном языке. Многие народы привёл в Ислам.

— Многие народы?

— Многие.

Сергею становилось ясно, почему этот мужчина из интернета, так увлечённый Лизу, назвался Идрисом. Он тоже умел говорить на языке тех, кого обращал в свою веру.

— Я про другого Идриса: славянина, голубоглазого?

Банщик чуть приостановил свою работу, отклонился, посмотрел в лицо Сергея.

— Он тоже проповедовал, — сказал Сергей. — Его недавно убили!

Восточный человек снова отклонился, глубже, посмотрел внимательнее.

— Даже если ты её найдёшь, приедешь туда, где она сейчас, — продолжил парильщик натирать спину ворсистой варежкой, — она не услышит тебя, как ты не слышишь её.

Больше Сергей ни о чём не спрашивал. И парильщик молчал. Смывал пену, поливая из тазика. Не было никакой лёгкости, которую обычно человек испытывает после бани. Откуда она, лёгкость? Серый окинул на прощанье двор взглядом: от бассейна в глубине обильно шёл пар. Хозяйка стояла на высоком крыльце, вся в чёрном.

— Женщина — тень мужчины, — гортанно произнесла она. — Не ищи свою тень.

Серый глянул себе под ноги, откуда должна идти тень. Тени не было. Но её и не могло быть: туча нависла.

— На, возьми, — протянула хозяйка мобильник. — Она оставила. Ей он без надобности.

Серый завёл в машину. Облокотился на руль, уронив голову. Посидел так, достал телефон, оставленный Лизой. Прежде в нём потоком шли сообщения с поучениями, ныне шла чередя сноска на видео. Это были клипы барда по имени Тимур. Голос у певца был низким, с лёгкой хрипотцой, — голос мужественного человека. И слово было крепким, не из потока — не про “два кусочка колбаски”! Пел он на русском:

*Они ушли, они ушли
В иные вечные пространства
И за пределами Земли
Приобретают постоянство...*

И лица шли по экрану. Нерусские, чужие. Но Сергей чувствовал, как захватывает душу — прямо вот за грудки берёт и встряхивает:

Они находят свой покой...

Невероятно! Манило в этот их мир сильных людей, гордо презревших земной порядок. Может, в иное время и не манило бы, но когда не знаешь, куда себя деть, так бы и подался куда-нибудь в горы или в лес. И ещё понял страшное: она к ним ушла, к решительным.

В следующем сюжете мужчина с автоматом говорил о том, что мусульмане хотят жить миром со всеми: христианами, буддистами, иудеями. Но никогда лично он не примирится с теми, кто убивает мусульман только потому, что они мусульмане. Кадры видео демонстрировали расстрел мирных людей. Танк на экране надвигался гусеницей, казалось, прямо на него.

Зазвонил телефон. Серый сначала поднёс к уху тот, который держал в руке. “Это был репортаж из Сирии, который ты не увидишь по телевизору”, —

завершался сюжет. Отбросил Лизин мобильник, стал искать свой, суетно ощупывая карманы. Но его нигде не было, а звонок шёл. Наконец, увидел светящееся окошко телефона между сиденьем и порогом машины.

— Я н-нашёл её...

Только в следующую секунду по лёгкому акценту и заиканию Серый понял, что звонит Эльсан Исламов.

“Не ищи свою тень”, — промелькнуло в сознании напутствие женщины-ворона.

— П-приезжай к мечети, у меня есть видео.

Зачем ехать? Какое видео? Всё, всё, всё! Решено. Но, словно приговоренный, направил машину к мечети: что делать, сам же парня “загрузил”!

Эльсан ждал его с планшетным компьютером наготове.

На экране был посёлок из типичных для пригородов России коттеджных строений, только в гористой местности, с лозами виноградинок во дворах. Молодые женщины в покрывах одежд, но с открытыми лицами, сидели кружком на траве где-то в саду. Гутарили — именно этим казачьим словом Сергей мог определить женское общение: слов было не разобрать, но скажет одна что-то весело — все в смех, добавит другая — опять хохот! Дикторский закадровый голос пояснял, что это ваххабитское село в Дагестане, женщины после намаза забавляются анекдотами, касающимися общения с муллой или исполнения заветов. Да, среди гомона и смеха можно было разобрать часто поминаемое имя Аллаха. Камера то и дело фокусировала взгляд на лице красивой юной женщины с губкой лодочкой. Лиза ничего не говорила, но лицо сияло, а вдруг и она закатывалась в смехе. Она и не она! Видел ли он когда-нибудь жену такой весёлой?!

В подростковом возрасте пацаны кружком пробовали сигарку анаши — потом все гоготали! Он только раз курнул, да и то не в себя, для вида. Смотрел на других и думал: придуриваются, что ли? Или вправду хохот разбирает? Испытывать не стал. Зовут уличные парнишки “приторчать”, он в ответ: “Мне на борьбу”, — и никаких вопросов. Некоторые, правда, задирались: “Поборемся”! Ну, с ними-то, неподготовленными да закуренными, в прямом смысле — одной левой!

Сергей невольно глянул на Эльсана, как бы ища ответ на свой немой вопрос: товарищ юности, отличный борец, держал планшетник перед собой, и они оба заглядывали в чужой мир, почти касаясь друг друга головами.

Брошенный муж, кажется, забыл про свой вопрос. Лицо Эльсана светилось, как-то странно переключаясь с сиянием глаз Лизы! Сергей секунду-другую наблюдал за Эльсаном, но старый приятель совершенно не замечал его взгляда. Вдруг сошлись к переносице его строгие кавказские брови, проступили желваки.

На экране Лиза была рядом почему-то не с арабом, которого назвала мужем, а с парнем, видимо, из местных, из этого дагестанского села, где проводились съёмки. Парень держал в руках автомат с приставным прикладом. Прицелился, сделал несколько одиночных выстрелов. Передал автомат женщине. Лиза, вся в чёрном, стояла рядом. “Тень мужчины”, — мелькнуло в сознании Сергея.

Женщина в чёрном выстрелила. Чуть отклонилась, прочувствовав отдачу. Отставила правую ногу назад, как учил инструктор, выстрелила несколько раз подряд.

Всё происходило в лесистом ущелье, где-то за пределами села. Мишенью был силуэт человека с двумя выведенными точками: лоб и сердце.

Лизе нравилось стрелять! Возвращая автомат, она смотрела — выходило в камеру — с гордостью. Будто знала, что этот взгляд её, победный, увидит он, Серый.

Но с каким обожанием смотрел на его бывшую жену Чеченец — так звали Эльсана в детстве, когда всем давали клички. Хотя на самом деле отец его был лакец, а мама — татарка. Серёжа Головин (по детству — Голова) хорошо помнил: седовласый, казалось, древний дядя Цехил подбивал ботинки в будке у рынка. Гвоздики рядом он держал в зубах. Взмахивал молотком

и, не разжимая зубов, гордо и горячо говорил: “Знаешь, кто такой Амет-хан?! Дважды герой Советского Союза, лётчик-истребитель! Знаешь, кто был его отец? Лакец! — Он с силой тыкал себя в грудь. — Мы, лакцы, самый воинственный народ на Кавказе! А кто была мама Амет-хана — крымская татарка! Как мама Эльсана! А-а! Понял?!”

— Красивая, — произнёс зайка без запинки.

— Ты её знал раньше?

— В-видел. С тобой. В г-г-городе. — Чеченец очень смущённо улыбался.

— Слушай! — стало доходить до Сергея. — В кадре — виноград ещё на ветках! Это же, выходит, месяца три назад снимали!

— Этот, который учил с-стрелять, уже п-погиб.

— У тебя какая-то агентура своя, что ли? — поинтересовался Серый.

— Это всё из интернета. М-мне п-просто сделали под-б-борку...

Эльсан запустил новый сюжет. Пустыня. Караван. Палатка бедуинов...

Звонок телефона вырвал Сергея из состояния, близкого к присутствию в параллельном измерении.

— Ты где пропал?! — кричал прораб Олег. — Подпись твоя нужна! Ты хоть там застрадайся, но поставь свою закорючку!..

— Да поставь её за меня!

— А заказчик вот не хочет, чтобы я ставил. Хочет, чтобы ты!

— Всё, еду.

Не успел сунуть мобильник в карман, снова звонок:

— Ты почему не отвечаешь?! — тараторила мама. — Тебе из садика дозвониться не могут! У Селинки температура!..

Эльсан заторопился с помощью:

— Я т-т-т-т-т-те...

Сергей закивал, поняв, что приятель скинет ему файлы.

На перекрёстке Красноармейской и Десантников, излюбленном для гаишников, капитан Лёня замахал палочкой.

— Новый анекдот! — хохотал высоким голосом гигант.

— Не могу, спешу, в садик, в садик!

— Шесть сек! А то штрафану — поворотники-то кто будет за тебя включать? — расплылся в улыбке гаишник. — Идут Штирлиц и Шерлок Холмс по Киеву — и набрали на Майдан. Штирлиц забегает на сцену Майдана, хватает микрофон и кричит: “Да здравствует Советский Союз! Слава КПСС!” Ему Майдан хором: “Героям слава!” Штирлиц спускается со сцены: “Холмс, а почему меня не побили?” “Элементарно, Штирлиц, вы были в эсэсовской форме!”

— Ха-ха-ха, — засмеялся Сергей, чуть не плача.

Тронулся, поехал, и машину как-то повело, повело. Так что пришлось свернуть в тупичок слева, в “кармашек” возле церкви. Тьма разверзлась перед глазами: прокол! Диск заел резину.

Выскочил остановить такси — никого! И фура с порта улицу перекрыла — Лёня там, видно, свой интерес справлял. Вытащил запаску. Болты на колесе прикипели. Он давил ногой на баллонный ключ, который со скрипом, казалось, выкручивал что-то из его сердца.

— Бог из чего создал человека?! — словно созданный из воздуха, объявился рядом Марк Самуилович.

Сергей продолжал давить на баллонный ключ: ну, как-то мало его интересовало, из чего Бог создал человека!

— Бог создал человека из глины! — страстно продолжил мысль бывший редактор. — А что такое глина?

Болт, наконец, поддался, и Сергей склонился к колесу, вместо скрипа болтов услышав свой зубовой скрежет.

— Что такое глина?! — взвился Марк Самуилович.

Серый хотел было послать его — глину месить! Но сосед, вытянувшись в струнку, расширив глаза, смотрел с такой надеждой и тоской, из другого, будто бы, опять же, параллельного мира! Сумасшедший, конечно, ну да,

а кто не сумасшедший? Он, бегающий за своей тенью? Гаишник Лёня, перекрывший улицу ради потехи? Эльсан, который как увидел, так и влюбился в его сбежавшую жену?

— Глина, — не в силах был дожидаться ответа старый еврей, — это кремний! Сегодня микросхемы на основе чего созданы?! На основе кремния! А человек на основе чего создан?

— На основе глины. — Серому показалось, что он здорово помог закрыть мысль: по Библии-то, из глины, кажется, Бог Адама слепил?

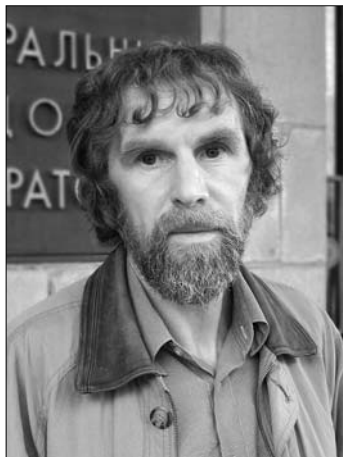
— На основе углерода! — был устремлен на него воспалённый взор прорывавшегося к истине человека. — Но жизнь может быть создана и на основе кремния! Абсолютно идентичная жизнь! Но с другой частотой дискретности!

Серый решительно кивнул, подумав про себя, что ему тоже решительно надо менять “частоту дискретности”. Смыслов может быть много, но есть один, простой, непререкаемый: если ты дал жизнь детям, то обязан их вырастить. И нечего искать ни свою, ни чужую тень. Почему он, зная, что у дочери температура, помчался сначала по делу: ну, вроде, подпись поставить быстренько, а если за ребёнком заехать, ты уже и повязан. Да Бог с ними, со всеми подписями, делами, женщинами, даже если это жена и мать твоих детей. Всё же просто. Произвёл на свет — расти!

Серый ставил запаску, а Марк Самуилович всё кружил рядом, вдалбливая в самое ухо про компьютерную материнскую плату, которая идентична Адаму. Колокола зазвонили в храме, переливчато, мягко. И пока Марк Самуилович, подняв взор, отвлёкся на решение новых вопросов, Серый поспешил на водительское сидение, и был таков.

(Окончание следует)

СЕРГЕЙ АГАЛЬЦОВ



ДЕНЬ ВЕЧЕРЕЕТ, ТЬМА СГУЩАЕТСЯ...

* * *

В том лесу темнеет чага
На берёзовых стволах.
Вглубь лишь сделай два-три шага —
И откроется овраг

Всей своею чёрной бездной...
Пробиваясь из-за туч,
Не слетит сюда небесный
Сквозь листву, играя, луч.

Глухо здесь. Темно и сыро.
Каждый куст глядит, как враг.
И от солнечного мира
Вечной мглюю скрыт овраг.

В чёрной мглистой бездне око
Ничего не различит.
Лишь, незрим, ручей глубоко
Где-то, как сквозь сон, журчит.

АГАЛЬЦОВ Сергей Александрович родился в 1954 году в посёлке Сараи Рязанской области. После окончания Рязанского пединститута работал учителем на Дальнем Востоке, в Рязанской области, а позже — тележурналистом в Туркмении, редактором в издательстве "Современник" в Москве. Публиковался в "толстых" журналах. Автор нескольких поэтических сборников.

Не поёт здесь звонко птаха,
Не узреть вовек тут птах.
Бездна дикого оврага —
Это вечный мрак и страх.

* * *

Дом пуст. Давно в нём нет хозяина.
Давно никто в нём не живёт.
Ветрами изгородь повалена,
Пустеет сорный огород.

Глухой, и дикий, и заброшенный,
Печально сиротеет сад.
Как гость незванный,
 гость непрошенный,
Стою и я. Уныл мой взгляд.

Куда ни глянь, дух запустения
Витает всюду — там и тут.
Дурные, дикие растения
Во двор забытый так и прут.

День вечереет. Тьма сгущается.
Когда-то кров здесь и ночлег
Мне был...
 Теперь душа прощается,
Пустынный дом, с тобой навек.

СОН

Среди елей древних, тёмных —
 Древний, тёмный сруб.
Лишь трава да мох на брёвнах —
 Неказист он, груб.

И так сумрачно и дико
 Много лет глядит
И своим угрюмым ликом
 Душу леденит.

А совсем неподалёку
 Звонкий бьёт родник.
Он в кустах открылся оку,
 Так светло возник.

Животворной влагой губы
 Мне омает он.
Я помедлю возле сруба,
 Тих и утомлён...

...Без умолку свищут птицы...
 Возникают вдруг
Перед взором лики, лица...
 И, толпясь, вокруг

Реют тени — тень за тенью.
 Слышен чудный звон.

Наважденье ли? Виденье?
Таинство ли? Сон?

Снова, снова лица, лики,
Тени, окружив,
Нагоняют страх великий.
Я смотрю, чуть жив.

Что же замер я, так грубо
Ужасом объят?
Отчего я возле сруба
Сам себе не рад?

Всё — лишь бред души, смятенье,
Всё — виденье, сон...
Почему же эти тени,
Эти лица, звон

Явственно так слышу, вижу
Всюду я, кругом?
И они всё ближе,
ближе,
Ближе
с каждым днём.

* * *

Ларисе

Даль закатная смеркла.
Ночь. И будто бы сон:
Вижу — белая церковь.
Слышу медленный звон.

Чисто поле. Дорога.
А над нею луна.
И легко издалёка,
Тихо, ликом бледна,

В белом платье венчальном
Шла навстречу Она.
И кольцом обручальным
Мне казалась луна.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО



КУСОЧЕК СЧАСТЬЯ

РАССКАЗЫ

В ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Это случилось вчера, в троллейбусе. Был час пик. С трудом протиснувшись к окну, я оглянулась — Андрей пробирался ко мне.

— Ну что — цела? — он смотрел на меня сверху вниз и был похож на великана.

— Какой же ты большой!..

— Это не главное моё достоинство.

— Надеюсь... А интересно, что ты считаешь главным?

— М-м... Я добрый!

— Правда?

Он весело кивнул.

— Я знал, что это тебе понравится.

Мы замолчали, прижатые тисками плеч, спин, чьих-то, рук, в жарком дыхании людей, разных и одинаковых в тусклом освещении сумерек. Где-то закричал ребёнок.

— Не могу выносить детского плача, — шепнул он мне и сморщился страдальчески.

Троллейбус тряхнуло, мы вцепились друг в друга, и я почувствовала его сильные, надёжные руки. “Как хорошо, что он рядом. Большой и добрый.

МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО Светлана Николаевна – поэт, прозаик, публицист, возглавляет Краснодарскую краевую писательскую организацию, главный редактор газеты “Кубанский писатель”. Заслуженный деятель искусств Кубани, лауреат литературных премий, публиковалась в журналах “Наш современник”, “Роман-журнал 21 век”, “Московский вестник”, “Медный всадник”, “Невский проспект”, “Север”, “Земляки”, “Дон”, “Бийск литературный” и многих других. Живёт в Краснодаре.

Мой рыцарь с голубыми, как небо, глазами. Удивительно — глаза как небо...”

— Ты чего задумалась?

— Так...

Он осторожно поправил у меня воротник: “Так ты ещё лучше”. А троллейбус всё ехал. Нас трясло, покачивало, но мне было всё равно.

— Неудобная штука — транспорт, — вздохнул Андрей. — Завидую людям двадцать первого века: они лишь по фильмам будут представлять наши грохочущие трамваи и троллейбусы, доверху набитые людьми. Или по книгам...

— Да, ты прав... И я бы лучше с удовольствием читала об этом, чем испытывать каждый день, — почти машинально поддакнула я.

— Как я не подумал об этом!.. — неожиданно оживился Андрей. — Ну, ничего, сейчас тебе позавидуют все, кто здесь стоит.

— Ты хочешь поднять вон ту старушку и посадить меня на её место?

— Да нет, ты слишком молода, чтобы сидеть на местах для инвалидов. Правило буравчика по физике учила?..

Он говорил, а его рука протискивалась между мной и стоявшим рядом мужчиной, пока не ухватилась за поручень.

— Поосторожней нельзя? — пробасили мне в ухо.

— Сейчас ты увидишь... ещё одно моё достоинство...

— Что ты задумал, Андрей? — встревожилась я.

— Я хочу, чтобы тебе было удобно стоять...

Он медленно выговаривал слова, а его руки, как стальные прутья, раздвигали толпу, образуя вокруг меня свободное пространство.

— Вы что, молодой человек?..

— Куда толкаешь?!

— Брось, парень, здесь не место спортом заниматься!..

Андрей молчал, как будто это его не касалось, и смотрел на меня:

— Теперь тебе лучше?

— Что? Лучше?..

Да, руки Андрея, отвоевав пространство, предохраняли от нечаянных толчков, но как же неудобно было стоять под прямыми колючими взглядами.

— Прости, Андрей, но я не понимаю, зачем это?..

На него давили сзади, и я видела, что он с трудом сдерживает этот натиск.

— Андрей, мне это не нравится. Прекрати, слышишь?

Пузатый дядька толкнул его кулаком в спину. Андрей недобро хмыкнул, глаза загорелись дерзостью:

— Ну, там, полегче!

— Я те покажу полегче, ёлки-палки!..

— Прекратите это безобразие! — седая женщина в очках с негодованием смотрела на нас. — Вы что, одни здесь?

— Совести у них нету!..

— Хулиганьё! — высокий женский голос перекрыл всех и, казалось, звенел в ушах.

Андрей молчал.

— Андрей! — Я смотрела на него, широко раскрыв глаза, надеясь, что сейчас всё кончится, ведь это — шутка. А резкие, злые слова падали, точно град:

— Вы посмотрите: девочка, а такая нахалка!..

— Мать бы видела...

— У них и матери такие. Нарожали, ёлки-палки!..

— Не обращай внимания, — произнёс Андрей, едва разжимая губы, пытаюсь улыбнуться. — Тебе хорошо, а я выдержу...

— Что ты говоришь!..

— Не обращай внимания, — повторил он твёрже. — Не надо.

Какая-то пружина лопнула во мне, и решимость действовать толкнула меня вперёд:

— Хватит!..

— Постой, постой, сейчас я его! — высокий женский голос противно звенел в ушах. Я быстро пробиравась к выходу, чтобы не слышать, избавиться от поскорее от всего происходящего.

Троллейбус, наконец, остановился.

— У, бесстыжая!

Кто-то больно толкнул сзади, и я чуть не кубарем вылетела из дверей. Горячие слёзы навернулись на глаза.

— Ты что? — услышала я раздражённый голос. — Нам ещё две остановки! — Андрей взял мою руку, но я отшатнулась от него.

— Не трогай меня!

Я быстро устремилась вперёд, не зная, куда, зачем, почти побежала, спазмы давили горло. Ускоряя шаги, я уходила от ненужных слов, ничего не значащих объяснений.

— Стой! Да подожди ты!.. — сильные руки обхватили меня за плечи.

Я обернулась и... увидела чужие серые глаза.

— Ты что, не в себе?.. Неврастеничка!

Меня словно по лицу ударили. Я кусала губы, чтобы не разреветься. Как он мог? Он, большой и добрый? Он, мой рыцарь с голубыми, как небо, глазами. Как он мог?..

КУСОЧЕК СЧАСТЬЯ

Она хлопнула дверью так, что разом оглохли все девять этажей, а сердце в груди сжалось холодным комочком. Ждать лифта бесполезно — час пик. Бросила себя в лестничную темноту, но уже на третьей ступеньке замедлила шаг, боясь оступиться. Да, прыть уж не та. А всего-то десять лет назад, в сорок с небольшим, брала лестничные марши одним махом. В тридцать тащила при этом сумки с продуктами, а в двадцать детскую коляску с горлающим Серёжкой. Валерий в это время бредил партитурами и делал инструментовки. Забывал даже о еде. Приходилось чуть ли не силой отнимать его от рояля, иначе свою язву он заработал бы не в тридцать девять, а гораздо раньше. Соответственно, намного раньше пришлось бы придумывать для него диетические блюда. А сколько сил могло уйти на то, чтобы впихнуть их ещё и в Серёжку! Готовить для каждого отдельно она тогда была не в состоянии: свою долю времени и здоровья требовала кандидатская.

Защиту перенесли в Ростов, обязали дать мастер-класс, да ещё перед самым его началом поменяли программу. Ничего. Справилась. От натиска её интеллекта раскололся крепкий орешек: малоизвестная прелюдия Баха вместе с оппонентом, профессором Огрызко. Правда, “скорлупа” от “орешка” осталась — нервная хроническая бессонница, изматывающая, словно лихорадка. На правах старой подруги она всегда может накинуться с “объятиями”. Как нынешней ночью. Хотя с вечера всё складывалось удачно. Внук Виталька быстро уснул. Нужно было воспользоваться этим и лечь самой, считать овечек, авось... Так нет же! Вспомнила про дипломную работу Лены Заречной, решила посмотреть. Искать пришлось в стопе бумаг на рояле. Туда теперь частенько кладут важное, сберегая от Витальки. Партитуры мужа она бы никогда не тронула. Но от неловкого движения они качнулись и полились на пол нотным дождём. Фотография выглядывала из новой, ещё не дописанной рукописи. “Любимому профессору Валерочке от вечной студентки Натки”, — прочла она. Перевернула снимок — старая знакомая. “...Зачем он хранит? Год назад клялся, что давно забыл, и опять? ...Или от вечной студентки Натки зависит его вдохновение?..”

Она собрала бумаги, положила фотографию сверху. Помедлила. И решительно засунула её обратно в ноты.

Утром, смурясь от ноющей головной боли, сварила овсянку для Витальки и мужа, выставила сметану, чтоб к завтраку подогрелась.

— Ма, где мой чистый халат? — заглянул на кухню Серёжка. — Сегодня сложная операция. Только не говори мне о нашей прачечной и о том, что они должны платить тебе зарплату!

— ...Возьми в шкафу на плечиках.

— И ещё, ма, Софья просила памперсы купить, а я не успею. Выручишь? И чернослива!

Когда вернулась в комнату, мужа в постели уже не было. Быстро принялась собираться на работу. Стараясь не встретиться с Валерием, выскочила в прихожку, чуть задержалась у зеркала. “Жаль, так и не купила тот синий костюм, а я в нём такая стройная”...

— Солнышко, я ведь просил: не покупай сметану в магазине! — настиг её голос мужа. — Договаривались же — только на рынке. Есть невозможно! Ты меня слышишь?

Она схватила сумку и вместо ответа хлопнула дверью так, будто вцепилась затрещину.

Жиденький серый воздух обесцветил мир и саму надежду на светлое будущее. “Если тебе почти шестьдесят, всё хорошее уже случилось”, — думала она, глядя вслед убегающему трамваю. Остановка пуста. Зябко, сыро. Когда теперь подойдёт следующий? И вдруг ярко освещённый трамвай выплыл из-за поворота, лёгкий, пустой и грохочущий. С весёлым треском распахнулись дверцы-гармошки. Она осторожно поставила ногу на ступеньку, точно не доверяла везению.

И предчувствия оправдались! Внушительный толчок сзади едва не сбил её с ног. Должно же было что-то случиться! Влетевший в последнее мгновение пассажир сам испугался содеянного. Большая серая шляпа сползла ему на нос. Он неловко поправил её, принялся бормотать извинения. Наконец, сообразил помочь даме: усадил на изодранное сиденье и сам плюхнулся рядом. Сразу заговорил. У него были длинные пышные усы. Густой баритон пробирался сквозь них, и, наверное, от этого слова звучали и мягко, и одновременно весело. Его приятно было слушать. Говорил он увлечённо, с живым огоньком в глазах. Сорок минут пути пролетели незаметно. Она вышла в мокрое утро, он поехал дальше.

В институте сонный вахтёр молча протянул ключи. Вошла в класс, бросила сумку и осторожно разжала ладонь. Алый коралл со дна Красного моря блеснул тонкими искрами. “Это кусочек от рифа Счастья, — вспомнила она голос Серой шляпы, — я безмерно рад подарить его вам!”

Она подошла к окну, чтобы лучше рассмотреть подарок. Вдохнула поглубже — и точно морской свежестью наполнило грудь. Улыбнулась. И вдруг смущённо прижала коралл к щеке...

МАТУШКА

Снег начал падать за полночь. Тихий, едва заметный. К утру вся округа, деревенские дома, дорога, обсаженная кряжистыми тополями, дальние холмы — всё побелело и обновилось. Мягкое укрывистое одеяло благолепным нарядом своим радовало глаз и взрослых, и детворы. Только матушка Наталья, выглянув во двор, равнодушно обвела взглядом снежное убранство. Дорожку на кладбище теперь пробивать придётся, с лопатой идти надо.

После вычитки утреннего правила у большой, старинной иконы Богородицы, с которой печальными глазами смотрела на неё Мать Божья, бережно прижимая к себе младенчика Иисуса Христа, после хлопот домашних Наталья вновь приблизилась к иконе, поправила лампадку и вздохнула коротко: “Пора Гришу проведать”.

Лопату выбрала полегче да пошире, снег вроде и небольшой, лёгкий, но расчищать тропинку сразу надо, иначе потом вовсе не пробраться. Надела дошку на вате, в шаль шерстяную закуталась и отправилась к могиле мужа. Скрипел снежок под ногами, дальше с морозами он повизгивать начнёт, точно поросёнок молочный, сейчас же хрустел, как огурцы малосольные, Гриша их так любил. Матушка солила огурчики особым способом, и вкуснее не получалось ни у кого. Уж это все в деревне давно признали. А пироги да олады разве не признали? Вспомнилось ей, как лет десять назад, в Петров пост, прибежала соседская девчонка Галинка и с порога: “Тётъ Наташ, вас

батюшка к себе зовёт! К нам из Москвы едут! Про монастырь кино снимать!”

Наталья в ответ только руками развела — надо так надо. Поспешила на призыв к батюшке Алексею. Тот про киношников всё подтвердил и попросил её как признанную мастерицу на кухне поработать. А то они, мол, в пост приезжать боятся, оголодают будто в деревне. От этих последних его слов Наталью аж в жар бросило, взыграло ретивое: “Ах, так! Вот я вам покажу, какой у нас пост!”

К приезду киношников стол накрыли во дворе длиннющий, и чего там только не было. Супы-похлёбки в горшочках, грибы белые и всякие прочие в маринаде и без, картошка фаршированная, запечённая, кабачки во всех видах, пироги открытые и закрытые, кулебяки на четыре начинки, расстегаи с ягодами лесными, кисели-квасы, горошницы, блинчики овсяные кружевные с черникой, варенья, мёды, взвары, квасы. А уж хлеб какой Наталья испекла, всем хлебам хлеб. Духмяный, на домашних из хмеля дрожжах изготовленный. И вкус-то деревенских продуктов с городскими не сравнить. У киношников чуть животы не лопнули, а от стола всё отойти не могут. Утёрла матушка Наталья нос городским гурманам. Гриша гордился своей хозяйкой. Почитал.

“Только как же ты нас покинул? Зачем управился рано? Я должна была лечь, а не ты...” Могила мягко сияла белизной. Над ней строго чернел деревянный крест. Фотографию, прикреплённую к перекрестью, уже слегка припорошило, и матушка бережно обтёрла её рукавом, повесила обратно. Поправила свежие ещё венки, постояла у изголовья, опершись на лопату.

Когда возвращалась с кладбища и поравнялась с крайним домом, окликнули её. Обернулась — из калитки выскочила навстречу старушка-соседка. Поздоровались, и Марковна с ходу:

— На кладбище была? Да как не боишься! Или не слыхала: волки у нас объявились!

Матушка удивлённо вскинула брови на бабуся:

— Откуда здесь волкам взяться? Про них уже лет тридцать никто не вспоминает! — улыбнулась на слова соседки.

— А зря смеёшься! Я вот сама только по телевизору видела, в новостях передали. Три волка сбежали со двора в соседнем посёлке. Мужик какой-то в клетках зверей держал. Зачем — не сказали. Может, продать в зоопарк хотел, может, ещё для чего, это уж мне неизвестно. А только волков видели. Гуляют они по округе, в деревни заходят!

Марковна схватилась за локоть матушки Натальи, оглянулась по сторонам. Видно, и вправду боялась волков встретить.

— Ты уж слухай меня, старую. Не ходи на кладбище. Не ходи, пока волков не поймают. Я вижу из окна, как ты могилу седьмой день проводишь... Не надо. Пожалей себя, — частила Марковна, не давая и слова вставить. — И то ведь, как пережить, рана свежая совсем... Сколько у нас этим вирусом проклятым заболели, сколько старых да больных свалились, а все выздоровели! Григорий твой самый здоровый был. Никогда его не забуду. Как запоёт на службе — дрожь по жилам пробегала! Не зря батюшка его протодьяконом поставил, голос — с небес будто! И вот надо ж такое... А я чего тебе сказать хотела. У нас говорят, по молитве его Господь забрал.

Матушка Наталья молчала, локоть не отнимала, с места не двигалась. И соседка осмелела:

— Я сама, грешница, слыхала, как года два назад, когда у сына вашего рак признали, Гриша твой кинулся в ноги к батюшке. А тот ему: “Готов ты за сына умереть?” Григорий вроде дрогнул даже, отшатнулся от батюшки, а потом выдал: “Готов...”

— ...А батюшка ему что? — глухо вымолвила Наталья.

— А батюшка сказал: “Ну, считай, вымолил ты его”... Вот так и было, клянусь, ни слова ни прибавила, клянусь! Как сейчас помню! — закрестилась Марковна.

— Слава Богу... — невольно вырвалось у матушки Натальи. Она освободила руку и, скрывая взгляд: — Спасибо, Марковна. Пойду я.

— А как сынок? Как здоровье его? Невестка родила?

— Невестка скоро... Вот-вот должна. Молось за неё. У Николаши — лучше вроде, ремиссия, врачи говорят.

— Ну, а ты как? У тебя ж тоже вроде признали... Мне сам Григорий твой проговорился. Или не подтвердилось?

— А чего мне сделается? — двинулась от неё Наталья. — Вот проведала Гришу — домой иду. Заходи в гости... А про молитвы Гришины знала я. Он как вышьет, от меня сторонится, а душа-то горит. Звонит друзьям, порой, плачет. Слышу однажды — причитает: “Как же я отпевать буду, как закапывать... Не приведи, Господи”. Вот и управился...

Соседка хлопнула носом, матушка Наталья коротко смахнула слезу.

Уличную снежную тишину разрезал телефонный звонок, сродни трамвайному.

Испуганная Наталья полезла в карман дохи: “Да где ж он, окаянный!” Непослушными пальцами с трудом достала вёрткий аппарат: “Николаша!”

Ткнула кнопку. Молодой мужской голос прокричал и огорошил: “Ма, у меня сын родился! Настя сына родила! Гришу! Григория! Ты бабушка теперь!” Даже Марковна, стоявшая в полуметре от Натальи, расслышала каждое слово и ахнула от радости. Матушка Наталья, забыв про соседку, чуть пошатываясь, побрела домой, плотно прижимая к уху телефон, расспрашивая про ребёнка и роженицу. А соседка крестила её сухонькой своей щепотью, крестила, пока та не скрылась из глаз...

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ



НА КАЖДЫЙ ПИР — СВОЙ ЧИР

ПОВЕСТЬ

07–13.07.2017 года, Игарка, полярный день
(вместо предисловия)

Север всегда таил для меня какую-то северосианную притягательную силу. Своей загадочностью, своей, прежде всего, удалённостью, а значит, кажущейся недоступностью и непостижимостью манил и притягивал. Так было в школьные годы, так было, когда одолевал университетские ступени. И вот, прожив много лет в Западной Сибири, познакомившись с природой края, народами, проживавшими здесь испокон веков, с историей, в том числе и новейшей, я принял всей своей сутью сибирскую землю, влюбившись сердцем и душой в эту суровую землю. А вот в Заполярье бывал только один раз и то в период полярной ночи.

Посетить Заполярье, объекты, связанные с пятьсот третьей стройкой, или, на худой конец, — музей, посвящённый тем событиям, и обязательно

МИХАЙЛОВСКИЙ Валерий Леонидович родился 13 июня 1953 года в г. Хмельник Винницкой области на Украине. Окончил Винницкий медицинский институт. Работает врачом-психотерапевтом. Более 40 лет живёт в Западной Сибири. Организатор нескольких крупных научно-исследовательских экспедиций по изучению истории Сибири, этнологии, культуры коренных народов Севера. Создатель этнолитературного музея на действующем стойбище “Карамкинское”. Автор более тридцати научных работ, многих книг прозы. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, “Югра” и других. Главный редактор литературно-художественного альманаха писателей Югры “Эринтур”. Живёт в Нижневартовске.

в период полярного дня, мне хотелось с того момента, как я закончил роман “На тонкой ниточке луна...”. Хотелось самому испытать, увидеть своими глазами, что такое есть полярный день. В романе есть главы, действие которых происходит в это время года. Хочется самому прочувствовать, насколько это возможно, заполярную природу; ощутить, хоть краешком, какими были условия в казармах-бараках той зловещей стройки, названной “номер пятьсот три”. И музей сохранил представление об этом нечеловеческом быте. Хотелось сверить часы, как говорится, всё ли правильно изложил в романе... Съездил... сверил...

А ещё причиной поездки в Игарку явилось желание моего друга Михаила Сергеевича Кайдана, родившегося в этом заполярном городке, найти могилу своей матери. Она была сослана в Игарку с родителями ещё ребёнком. Там прожила всю свою сознательную жизнь, там и умерла.

Поселились мы в Игарке с Михаилом и моим братом Фёдором на пятом этаже пятиэтажного дома. Дом выходил фасадом на большую пустынную площадь.

Солнце проделывало круг за кругом, не садясь, однако, ниже горизонта. К ночи, правда, оно прижималось к тёмной и ровной линии земли, тени вытягивались от дома до дома, солнце освещало то один фасад, то другой, то оно заходило с тыла, то оно лунило в окна кухни. И так круглосуточно.

Михаила Сергеевича Кайдана я знаю давно. На северах он появился значительно раньше и севернее меня: он родился в заполярье, в Игарке. Он и раньше коротко рассказывал о своей родине, но уж очень коротенько. Ну, допустим, то, что он сын известного композитора Сергея Фёдоровича Кайдана-Дешкина, автора мелодии “Взвейтесь кострами, синие ночи” — пионерского гимна советских пионеров, — я знал. Обычно о своём, как принято теперь говорить, биологическом отце он много не распространялся: “Нехороший человек (он употреблял здесь другое слово) он был, вот что скажу тебе. Ушёл от мамки, бросил её с детьми, беременную мною, в самое трудное время. Он в педучилище преподавал. К юным девчонкам приставал, его чуть и по этой статье не посадили. Короче, сбежал он куда-то от статьи, и больше ничего мы о нём не знали. Я его никогда не видел: я ещё не появился на свет, когда он смылся. Воспитал нас другой человек...”

Этот факт его биографии уже выделял его среди прочих. Но он ещё и правнук по материнской линии Михаила Владимировича Миррера, известного петербургского народовольца, цыганской крови, сосланного в Сибирь, ставшего крупным банкиром, директором Благовещенского отделения Сибирского Русско-Американского банка, управляющим пароходства. Именем Михаила Миррера был назван пароход на Амуре.

В честь него и был наречён именем Михаил правнук, родившийся в Игарке. Вот такая вот история с географией: Петербург, Благовещенск, Игарка. Теперь вот Нижневартовск, где живёт в настоящее время Михаил Сергеевич Кайдан.

Мы с братом вызвались помочь Михаилу Сергеевичу осуществить поездку, найти могилу. Да и не смог бы сам Михаил одолеть путь-дорогу в северные края: и по состоянию своего пошатнувшегося здоровья, и по другим причинам.

В 1989 году Михаил приезжал в Игарку на похороны матери. В декабрьские морозы, провозая мать в последний путь, сидя в кузове какого-то грузовика, он обморозил колени, но тогда ничего не замечал. Это потом заметил, что кожа вспузырилась.

— Я, когда с озера добирался, так не обморозился. Тогда мы, правда, были одеты соответственно, а тут обмишурился, — сокрушался он.

И он рассказал историю о том, как их — троих подростков и одного опытного рыбака по имени Виктор — забросили самолётом за двести километров на озеро Хантайское добывать чира в сентябре и не забрали обратно. И как наступила лютая зима, и как кончились продукты, и как добирались до посёлка, преодолевая нечеловеческие препятствия, замерзая; рассказывал с ужасающими подробностями, которые возбуждали в душе чувство сострадания, с одной стороны, и восхищения мужеством ребят — с другой. Я вкратце записал фабулу. Что-то зацепило меня в его рассказе.

А могилу его мамы Ольги Николаевны Кайдан мы не нашли. Никто не помнит, где она захоронена. Реестр могил стали вести только с 1995 года. Мы нашли много безымянных могил. Возможно, одна из них была его мамы, но это установить нам было не под силу.

Мы возвращались с кладбища по пыльной бесконечной, как мне тогда показалось, дороге. Михаил рассказывал об Игарке, о том, что вот там стояла школа, а там был наш дом, а на той улице жили воры, а вот там... а вот там... а вот там... Но сейчас всё заросло кустарником, молодым лесом, и ничто не указывало на то, что когда-то здесь кипела жизнь, что всю эту огромную площадь занимал город — деревянный город. Рассказал о пожаре, который в 1966 году уничтожил целые улицы, кварталы.

Теперь город Игарка состоит из нескольких десятков каменных зданий, сгрудившихся на небольшом пятачке, и нескольких улиц деревянных построек.

Солнце прилепилось к горизонту, свету на улице чуть поубавилось. Я начал фотографировать через каждый час с пятого этажа фасады домов, освещённые светилом. И так всю ночь.

Всякого было переговорено в той поездке за “пунктирную линию”. Михаил вспоминал множество различных историй, особенно касающихся его семьи. Но каждый раз на кухне за чаем ли, в музее ли, в самолёте ли, Михаил возвращался и возвращался к истории той роковой рыбалки на озере Хантайском. При этом он обязательно, с чувством несколько пригорчённой гордости, подчёркивал: “Наш чир-то в самую Москву, говорят, доставляли, в сам Кремль. Вот как...”

И я подумал, что эта история, как и история его семьи, заслуживает того, чтобы о ней узнали.

**Москва. Кремль. 3 часа 30 минут пополуночи.
Год 1896. Май, числа 18-го.**

Государь Император, отодвинув тяжёлую штору, взволнованно, с чувством душевного смятения посмотрел сквозь чисто вымытое окно на широко раздавшуюся ровную площадь. Тёмный и пустынный вид её никак не способствовал душевному умиротворению, а наоборот, в груди возникло просто невыносимое тягостное чувство не то вины, не то какой-то гнетущей тоски. Глаза увлажнились. “Зачем, зачем так случилось... Зачем?” — простонал вслух. Кулаки сжались в бессильной злобе на всех затейников этой безобразной вакханалии, случившейся утром; на полицию, не смогшую воспрепятствовать случившемуся горю... Да, именно горю... Его взор поднялся к куполам Успенского собора, уже проявившимся в приближающемся рассвете.

Вот только четвёртого дня прошёл торжественный обряд помазания на царствование в главном соборе, в котором короновались все его предшественники — самодержцы России. Ещё звучит в ушах торжественный голос митрополита Палладия, подхватываемый басовито и рокотно митрополитом Киевским Иоанникием и зычно-возвышенно — Московским, Сергием; ещё ощущается отдающий хладом обруч по всей голове от прикосновения короны. Он вздрогнул, по телу прошла противная волна от головы до самых пяток: между его теперешней жизнью и прежней поселился этот холодящий и лоб, и душу металлический обруч, холодный и жгучий одновременно. Мелькнула возникшая в мутнеющем сознании картина поднимающегося на Голгофу измождённого Христа-Спасителя с терновым венком на голове. По лицу спускаются капли крови, смешавшиеся с потом, заливают тускнеющие глаза. Государь потрогал рукой лоб, посмотрел на ладонь, не обнаружив крови, перекрестился: “Боже милостивый, прости за дерзость — сам себе не принадлежу. Даруй силы пережить горе всем пострадавшим, упокой души погибших...”. Помолчал в тишине.

Он искал не то защиту и Господнее покровительство, не то, наоборот, пытался спрятаться от Божьего ока, осознавая всю драматичность прошедших суток, подсознательно и робко впуская мысль о своей причастности к происшедшему несчастью. Душу разрывало от нахлынувших чувств. “Зачем так случилось...” — простонал дрожащими губами. Взгляд его не был

тускл, а скорее скорбен, брови, низко нависшие над глазами, прикрыли ещё не восплаившие золотом купола за чисто вымытым окном. Он отпустил што-ру, поглотившую враз какую-то часть тёмного стекла, медленно подошёл к углу стола, взял рапорт о происшедших сегодня утром событиях, пробежал его глазами, нервно бросил на стол. “Какой вздор!” Рука потянулась к колокольчику, но вдруг Государь глянул на часы. Они показывали полчетвёртого утра. Не стоит будить прислугу. Электрические лампочки давали достаточно света, чтобы ещё раз пробежать глазами опротивевший рапорт обер-полицейстера Александра Власовского. Николай II присел на край стула, макнул перо в чернильницу, что-то нервно черкнул в углу рапорта. “Провести тщательное расследование. Уволить!!! Немедленно — в отставку!” — твёрдо прочитал он написанное. Резко сдвинул рапорт к углу стола. Больше он не трогал этот белеющий лист бумаги.

Император приоткрыл ящик стола, достал толстую тетрадь с надписью крупными буквами “Дневник”, открыл его, задумался на какое-то время, уставившись взором в угол кабинета, где стоял резной буфет. Долго не мог начать фразу, вертя ручку. Потом встал, прошёл к буфету, достал открытую бутылку мадеры, налил в фужер, покрутил пальцами хрустальную ножку, посмотрел сквозь золотистое вино на окно, отметив, что стало уже светлее, отпил самую малость, подержал во рту сладковато-приторную жидкость, сделал паузу, проглотил, ощутил приятное тепло. Ещё глоток... ещё... Отставив бокал с золотистым напитком на дне, открыл дневник. Привычка вести дневник была приобретена давно. И хоть не всегда являлось вдохновение, а тем паче в такое время, как сейчас, Государь заставил себя сделать первый росчерк. Он знал — стоит только начать, а дальше мысль поведёт перо по белой бумаге, снимая с души тягостное томление, будто через перо уходили в бумагу и печали, и тяготы... Строчки ложились ровными рядками: “До сих пор всё шло, слава Богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки, напёрла на постройки, и тут произошла страшная давка, причём, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек!! Я об этом узнал в 10 1/2 ч. перед докладом Ванновского; отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 1/2 завтракали и затем Алике и я отправились на Ходынку на присутствие при этом печальном “народном празднике”. Собственно, там ничего не было; смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой музыка всё время играла гимн и “Славься”. Переехали к Петровскому, где у ворот приняли несколько депутатов и затем вошли во двор. Здесь был накрыт обед под четырьмя палатками для всех волостных старшин. Пришлось сказать им речь, а потом и собравшимся предводителям двор. Обойдя столы, уехали в Кремль. Обедали у Мама в 8 ч. Поехали на бал к Montebello. Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 ч.”

Захотелось расстегнуть воротник, туго, как показалось Императору, сжимавший шею. Вдруг родилось чувство, будто кто-то невидимой рукой держит его за горло, пытаясь перекрыть дыхание. Привычным движением он протолкнул одну, следом и другую пуговицу в тугие петли, ощутив на большом пальце острое ребро второй непокорной, раздвинул воротничок, потёр шею, освобождаясь от невидимой руки; стал у стола, поджав к кресту на груди левую руку, и замер.

Почему-то восстали в памяти слова герцога Эдинбургского, сказавшего пренебрежительно, как показалось Императору в тот миг, что при праздновании 50-летия царствования Виктории было 2500 человек убитых и несколько тысяч раненых, и никто этим не смущался. Он доподлинно помнил свой ответ герцогу: “Мы, русские, таким трагическим происшествиям не можем не смущаться, у нас есть совесть и честь, что в Европе теперь не очень в цене”. Он вспомнил сморщившееся лицо герцога, его приподнявшиеся от этого бакенбарды.

Император вздрогнул, приподняв плечи, он крепко зажмурил глаза. Ему хотелось забыть сегодняшний день, тот неприятный разговор с герцогом. Маркиз, напротив, был участлив и предупредителен, деликатно обходя тяжёлое

событие в своих речах, лишь в начале разговора, выразив “искреннее сочувствие”.

Император задумался... Вдруг его лицо посетила еле заметная улыбка. Да, маркиз Монтебелло пышно по-европейски обставил бал, но кухня французская даже с её лягушачьими лапками в изысканных соусах, с её круассанами всё же не то, что наша, русская. Император сладостно улыбнулся. Мысли перескочили уже на другое. Конечно, обед после коронации: фаршированные рябчики, заливные сиги, прелестные осетры — был роскошнее французского... Особенно Государь отметил заливные сиги, подаваемые в серебряных блюдах, о которых гости говорили только в превосходных тонах. Но то был обед в честь коронации! Да, не чета — французская кухня... Богатая страна наша Россия, богатая...

Вдруг он вспомнил своего друга по охотам министра Воронцова-Дашкова, во многом отвечавшего за поставку дичи к императорскому столу, вспомнил его рассказ о крестьянине из Углича Козьме, ловившем белорыбицу, осетров да стерлядей, “утонувшем под лёд”. Сам собирался в Углич осенью, с Козьмой было намерение встретиться. Дивные там места под Угличем: лоси по осеням трубят по лесам дремучим. О том не раз рассказывал министр Воронцов-Дашков. Будто охладило ладонь прикладом охотничьего ружья, будто на мушке колыхнулись рога-лопаты сохатого. Государь Император вновь перевёл взгляд на окно, замер на мгновение. Не рыбалка прельщала Государя — он любил охоту. Император встряхнул головой, освободившись от наваждения, обвёл взглядом кабинет.

Надобно бы послать, пожалуй, подарок вдове Козьмы, как его фамилия-то? Да ладно, Воронцов знает. И бутылку мадеры, пожалуй. Да... и кружку с вензелями... Жаль мужика. Что ж он так-то, разве можно через Волгу да по тонкому льду, да с тяжёлыми санями, гружёнными под верх стерлядями да осетрами? Пусть отыщет вдову непременно. Поди уж, призабылось горе. Император почему-то начал считать, сколько могло пройти времени, как ушёл под лёд Козьма. Получалось никак не меньше полутогда.

Теперь другой мужик поставляет волжские деликатесы ко двору. Пока Император не знал, что тот другой мужик не кто иной, как старший сын Козьмы — Савелий. Да и к чему знать ему то, что и без его императорского повеления уже справилось, как и должно быть.

Нет людей незаменимых, нет... Народу много... Течёт народ реками, морями, раскинувшись по России. Вот и на Ходынке, — снова вернулся мыслями к утреннему греховному происшествию, — только убрали растерзанных толпою мужиков да баб, растоптанных сапогами; а народ, будто и не случилось ничего, веселится, песни распевает; пьёт даровое вино да пиво, радуется полученной расписной кружке...

Император поймал себя на мысли, что стоит в той же позе, как стоял перед художником в прошлом году. Вот так этот Репин поставил его у стола, велел не шевелиться. Препротивнейшее занятие — стоять истуканом по воле какого-то художника, не смея сделать хоть какое-то движение. Он нервно поправил усы, подкрутив сверху.

Пододошли к буфету, император тронул рукой бумажный пакет с подарками по случаю коронации, в давке за которыми погибло сегодня столько народу. Рядом стояла расписная кружка, какие были изготовлены специально к празднованию великого события — коронации. Император взял кружку, повертел её в руке, разглядывая государственные вензеля. Кружка ему понравилась. Умеют наши мастера делать такие шедевры. Именно так он подумал. Не перевелись мастера на земле русской.

Мадера золотистой струйкой перетекала в фужер. Пожалуй, и раненым и потоптанным, попавшим в госпитали, тоже пусть разошлют по бутылке... Такая вдруг взошедшая, как показалось Императору Николаю II, свыше мысль согрела его, придала бодрости. Пожалуй, пусть тысячу бутылок возьмут, пусть возьмут, сколько понадобится... Распоряжусь завтра... И вдове Козьмы тоже... Не забыть бы...

Никакой суеты при погрузке в самолёт провизии, сетей для ловли рыбы, одежды и прочей необходимой утвари не наблюдалось. Хоть и пыгались лётчик с бортмехаником как-то подстегнуть мальчишек, подтолкнуть этого здорового рыжего мужика в затёртой до дыр фуфайке, но от этого Виктор, а именно так звали рыжего, шибчей не зашевелился. Получаемые из рук мальчишек кули и мешки он осматривал тщательно; уносил внутрь самолёта и там долго укладывал в определённом порядке. Он был предусмотрительным и расчётливым, как и каждый опытный таёжник.

— Мишка, — командовал он, — аккуратно! Не бросай! Посуда тама. Эмаль отскочит.

И Мишка аккуратно подавал ему мешок с посудой. Так же, словно дорогой фарфор, Рамазан подавал в проём самолётной двери замотанные в тряпье двуручную пилу и топоры. Уже загрузили лыжи, ружья... Затолкали в двери с трудом прошедшую по габаритам собачью нарту, и только теперь пришла пора для собак.

— Да проходи ты уже со своим Джеком, — понимающе сказал Виктор, заметив, как Джек развернулся, заскочив в самолёт не без помощи Мишки, умыл лицо своему хозяину влажным языком. Мишка хотел передать поводок Виктору и вернуться за другими собаками. — Прходи, прходи, он же выскочит....

И Мишка скрылся в тёмном нутре самолёта. Рамазан и Валерка подали оставшихся на улице собак.

— Рюха, Берта, Найда, Швед, — словно пересчитывая, чётко изрекал клички Виктор.

Только затолкав в дверь самолёта Шведа, неожиданно оказавшего сопротивление, на борт поднялись Валерка и Рамазан.

— Наконец-то, — проворчал командир и быстро поднялся по качающемуся трапу. Бывалый бортмеханик с нечёсаной с проседью бородой, носивший странную кличку Килька, втянул короткую лестницу, закрыл дверь.

— Так, цыган, сядь на место! — строго прикрикнул он на Мишку, делая ударение в слове “цыган” на первом слове. — Скоро взлетаем.

Двигатель набирал обороты, переходя на визг, обшивка самолёта лихорадочно затряслась, пол задрожал под ногами. Мишка ещё никогда не летал в самолётах, и им овладело тревожное предчувствие. Он сел на жёсткую сидуху у окна, припал лицом к холодному стеклу.

Самолёт, вырвав из тихой бухточки на чуть сморщенную лёгкой рябью большую воду, повернулся против ветра и сразу начал разгон. Стиральная доска кончилась, и, оторвавшись от воды, самолёт успокоился от тряски, словно повис в невесомости. Мишка инстинктивно сильно сжал скамейку, но потом руки его расслабились, и он уже без испуга смотрел в иллюминатор на появившийся внизу посёлок.

Не то от непрерывного моторного гула, не то от набираемой высоты до боли заложило уши, и Мишка сморщил лицо.

— Глотай слюну! — крикнул бортмеханик.

Мишка с усилием сделал несколько глотательных движений, в ушах что-то щёлкнуло, боль отлегла, и мотор взревел ещё громче.

Монотонный гул становился привычным, внизу извивалась какая-то речушка, уходящая вдаль. Разбросанные как попало озёрки и достаточно большие озёра блестели яркими синими зеркалами на фоне буро-рыжей тундры. Справа не видно было ни облачка, а вот в левом окне далеко в рассеянной синеве растянулись по горизонту серые облака. Мишка теребил ухо лежащего у ног Джека и смотрел с благодарностью на рыжие кудри, выбивающиеся из-под кепки сидящего на переднем сидении Виктора. Это он помог ему договориться с хозяином Джека, человеком тяжёлым, грубым, имевшим дурную славу, из воров. Мишка тоже был знаком с Клецом. И знакомство это было не из приятных. Клец был из бывших зеков-уголовников.

В свои пятнадцать Мишка легко отличал “бывших пятидесятвосьмушников” от уголовников. Политические часто собирались в его доме: мама

служила в театре. От них-то он и узнал, что “уголовники бывшими не бывают” или “уголовники и есть уголовники, их только могила исправит”, “им бы только воровать да разбойничать”, “ничего святого”.

На вечерние посиделки приходили политические, но не только артисты, а и учителя, врачи, бывшие учёные и другой интеллигентный люд. Мишка любил эти вечеринки-посиделки, эти долгие застольные разговоры. С особым вниманием он слушал громко декламируемые длинные монологи из пьес. Он наблюдал, как, затаив дыхание, слушали выступавших артистов, а по окончании аплодировали, как в театре. Но больше всего ему нравились анекдоты. Иногда он слышал в свой адрес:

— Вам, молодой человек, это слушать не полагается.

Обычно так пыталась призвать его к порядку общепризнанная прима театра Элизабет. Так её все называли. Бывало, что Мишке нужно было обратиться к ней, и он, запинаясь, смотрел ей в глаза, не решаясь назвать её этим необычным именем. А другого, обычного, чтобы с именем и отчеством, он не знал. Для всех она была Элизабет. В такую минуту она наблюдала за неловкостью юноши, будто это доставляло ей удовольствие, и низким голосом произносила, как бы приходя ему на помощь: “Элизабет...”. “Элизабет”, — обращался к ней Миша. И так было всегда: его замешательство, театральная пауза и грудное низкое: “Элизабет”.

— Пусть слушает, — снисходительно, обращаясь к Элизабет и публике, бросал балагур и весельчак Марк Ильич, — он уже большой мальчик.

— Боже мой, на улице он и не такое слышал, — на одесский манер говорил дядя Женья, отец одноклассницы Женьки, — так что слушайте, Миша, слушайте. Пусть ви узнаете ЭТО здесь, чем, простите, там, — он показывал большим пальцем за своё плечо, за которым темнело окно.

Миша садился обычно за фанерной перегородкой, чтобы “не маячить”, и слушал, запоминал.

Освободившиеся уголовники (их обычно называли ворами) тоже собирались на свои воровские сходки, собирались в стаи, в своры, терроризируя местных и политических. Народ их недолюбливал и побаивался. Часто среди них случались разборки, нередко и с поножовщиной. Вот и Клец — хозяин Джека — был из этих. Жил он через улицу — в “воровском углу” — так в городе прозвали несколько крайних домов, где поселились вору.

С Джеком Мишка познакомился в прошлом году зимой, когда проходил мимо дома Клеца. Этот угловой дом с поваленным забором и вечно не закрывающейся калиткой никак не миновать, когда идёшь в Дом культуры. Вот и в этот раз, возвращаясь с дневного киносеанса, Мишка увидел, как пьяный Клец, придерживая Джека за ошейник, дубасил его своими увесистыми кулаками, а тот, визжа, пытался освободиться, но хозяин держал его крепко. Мишка подошёл вплотную к истязателю и крикнул ломающимся голосом:

— Брось собаку мучить!

Клец повернулся к нему перекошенным от злости лицом, громко выплюнув уже затухшую папиросу, прорычал низким пропитым басом:

— Ишь ты, защитничек нашёлся! По соплям захотелось?! — в это время крепко подвыпивший Клец пошатнулся, и Мишка, удучив момент, ловко подставил ногу. Клец, запнувшись, упал на спину. Поводок выскользнул из заскорузлой варежки. Джек убежал. Клец поднялся и, шатаясь, подошёл к Мишке, рыча на ходу:

— Я те козью морду-то начищу! — тут он смачно матюгнулся. — Ты у меня счас другую песню запоёшь. Кровью харкать будешь! — Мишка не сдвинулся с места. Не хотел показать свою слабость. А мог убежать. Клец в таком состоянии не угнался бы за ним, но Мишка стоял на месте, упёршись взглядом в заросший подбородок. Клец, нависая громадиной над невысоким мальчишкой, замахнулся. Кулак пролетел над головой. С другой руки Клец тоже не попал: Мишка ловко уходил от ударов, пригибаясь. Это ещё больше раззадорило Клеца, он схватил Мишку за болтавшийся шарф, повалил в снег и стал душить, больно подавливая костяшками кулаков подбородок. И тут Мишка изловчившись, укусил за руку своего обидчика, тот

выпустил мальчугана. Мишка резво вскочил на ноги и валенком с размаху врезал по лицу барахтавшегося в снегу Клеща. И только теперь включил, как говорят, скорость.

С тех пор Джек стал узнавать своего спасителя, часто прибегал к нему, а тот подкармливал его, чем мог. Из школьной столовой, где подрабатывала посудомойщицей его бабушка, доставались Джеку косточки или булочка, пахнувшая котлетами, припрятанные Мишкой.

Самолёт начал снижаться, и Мишка вновь вернулся из воспоминаний в существующую явь. Джек, словно почувствовав взгляд, открыл глаза, посмотрел Мишке в лицо, его хвост едва заметно дрогнул.

— Это ещё не наше озеро, — шепнул он собаке. Джек, будто поняв Мишку, закрыл глаза, громко зевнув.

— Ребята, приготовились, сейчас тряхнёт, держитесь! — крикнул Виктор. — Мишка, подашь вот эти мешки! — Виктор показал рукой.

— Ладно, — ответил Мишка. Он знал, что сначала они должны сгрузить еду и сети рыбакам на Круглом озере.

Самолёт коснулся воды, резко сбавил скорость, отчего Мишка с трудом удержался. В открытую бортмехаником дверь Мишка увидел болотистый берег. Самолёт правым бортом прижался к самому берегу. Виктор стал выбрасывать мешки: один, другой третий, ещё, ещё. Мишка только успевал подавать.

— Всё, готово! — крикнул Килька в кабину лётчику. Взревел мотор, и самолёт, разогнавшись, оторвался от воды. Тряска закончилась, мотор вновь вышел на максимальные обороты. Джек заскулил.

— Глотай слюну! — крикнул ему в ухо Мишка. Джек облизнулся и действительно слотнул.

— Вот и молодец, — потеревил мохнатое вислое ухо Мишка, а Джек в ответ огладил его лицо тёплым языком. Мишка отметил, уж который раз, что это вислое ухо немного портит умное лицо Джека. Да, именно так подумал Мишка — лицо. В окне — там, далеко внизу, у рубленной избы на берегу озера стояли трое рыбаков и махали руками. Самолёт, заложив крутой вираж, выровнялся и направился на Север.

В глубине самолётного нутра завозились Рамазан с Валеркой, устроив борьбу на сложенных кулях. Звякнула посуда.

— Ну-ка, успокойтесь! — прикрикнул Виктор. — Эмаль поотскакиват. Посуда новая, так вы её до обороту изомнёте.

— Чё ей сделается, — хотел было возразить Валерка, но Виктор строго прикрикнул:

— Поговори мне тут! Философ! Брысь от посуды!

Виктор проворно влез в просторный прорезиненный комбинезон.

— Приготовились! — скомандовал он.

Ребята расселись по своим скамьям-сидениям, уткнувшись каждый в своё окно. Внизу появилось большое озеро. Виктор глянул на своих помощников, поправляя лямки от комбинезона на плечах. “Пацаны — есть пацаны...” — подумал вслух. А самолёт уже снижался, лётчик поставил машину против ветра, резко накренившись, выровнял крылья и приводнился, подкатив к высокому берегу, на котором стояла большая рубленая изба.

Виктор выпрыгнул из открытой Килькой двери. Глубина под берегом была небольшая — по пояс. Он вышел на берег, стащил деревянный трап, перебросил на самолёт, пришвартованный верёвкой. Всё Виктор делал проворно, движения его были привычны и ловки. Разгрузились быстро. Самолёт развернулся, взревел всей мощностью своего мотора и, набрав разгон, легко отделившись от воды, скрылся за хребтиной высокого леса. Стало тихо. Только собаки нарушали возникшую тишину. Они носились по поляне перед избой, разминая лапы, то и дело вступая в мимолётные стычки. Это молодёжь, почуввав свободу, решила порезвиться.

Большая рубленая изба сидела на берегу, двумя окнами повернувшись к озеру и одним — к впадавшему прямо за мысом ручью. Посередине избы

стояла сваренная из толстого металла печка-буржуйка; под стеной слева и дальней — сколоченные из грубого теса нары, а над ними вздыбились матрацы, навешанные на натянутые верёвки, чтобы продувало.

Правый угол был свободен, туда и перенесли свой скарб прибывшие рыбаки. Первым делом, как только управились с работой, Виктор прошёл в угол, закрывая окно своей габаритной фигурой, достал из-за пазухи увесистый, сверкнувший жёлтым металлом крест, уместив его на пригнороченные для этого гвозди, перекрестился трижды, коснулся губами холодного металла.

— Не смотрите так. Здесь свои порядки. Хотите — креститесь, хотите — нет. Это дело каждого. Никто вас не неволит. Только знайте: здесь, на краю света — только мы и Бог. Всё! Здесь других помощников и охранителей нет.

— А что нам смотреть: я крещёный, Валерка крещёный... Я и молитву “Отче наш” знаю, бабушка научила... — смело изрёк Мишка.

— И я знаю, — Валерка подошёл к кресту, перекрестился. Вслед ему перекрестился и Мишка.

— Мне нельзя креститься, я мусульманин, — смущённо произнёс Рамазан, — но мама моя говорила, что у русских Бог крепкий, шибко помогает. Пусть и нам помогает, я только радоваться буду.

— Ну, и лады, — будто подвёл итог Виктор, — только помните: на Бога надейся, да сам не плошай.

Виктор затопил печку, поставил выдавший виды чайник. Прямо к стене у левого окна прилегал намертво пришитый плинтусом к бревну стол из доски-сороковки. Мишка подёргал его за угол. Стол стоял, как литой.

— Крепкий, — качнул он головой.

— Для себя делали, — сказал Виктор, похлопав по столу тяжёлой дланью. — Та-а-ак, — сказал он с протяжкой, — здесь жить будем. Мамок тут нет — всё самим придётся делать: и готовить, и стирать, и посуду мыть.

— Я берусь посуду мыть, — сказал Мишка, будто пытался опередить всех, чтобы не перебили; и все повернулись в его сторону. Самая противная работа, а он сам вызвался.

— Я люблю посуду мыть, — добавил он тихо, и Виктор и его друзья Валерка и Рамазан ещё больше удивились. Возникла пауза.

Эту странную и тихую привязанность к мытью посуды привила Мишке его бабушка. Будучи женой сына управляющего Благовещенским банком, высланного сначала в Красноярск, а потом в Туруханск, а оттуда уже в Игарку, она сопровождала мужа в лучших традициях жён-декабристок. Мужа Николая Михайловича Миррера расстреляли, а она, оставшись одна с детьми на руках, поселилась в крошечной комнатке одного из первых построенных бараков. Это потом её дочь стала артисткой, и они получили жильё попросторней. Часто, сиживая за чаем, она рассказывала о своём житье-бытье в той, “прошлой” жизни. Мишка слушал, открыв рот. “Ты друзьям не говори о том, что слышал, — повторяла она не раз, — нельзя сейчас — не время, потом как-нибудь детям да внукам расскажешь. Может, время такое придёт...”

Но, чтобы к чаю приступить, нужно вымыть посуду. Так заведено.

— Ну, что, Мишуля, время пришло чай пить, — сообщала она, принимаясь собирать со стола грязную посуду.

— Бабуль, я вымою, — говорил внук, принимая тарелки из рук бабушки.

— Помогай, помогай, внучек, я от помощи не откажусь. Быстрее управимся, раньше к чаю сядем.

И Мишка с удовольствием помогал бабушке, чтобы приблизить чаепитие, чтобы взять кусок сахара, расколоть его блестящими щипчиками, Бог весть как уцелевшими после стольких переездов, раздать женщинам: маме и бабушке, — а они благодарно кивали головами, говоря всем своим видом: “Вот какой у нас кавалер за столом”. Не только думали, иногда слышал эти слова с горьковатым прикусом, слетавшие с бабушкиных уст.

— Нет у нас мужчин в доме, — горько констатировала бабушка, поднося платочек к увлажнившимся глазам, — так что ухаживай за нами, ухаживай.

За чаем бабушка часто вспоминала свою многотрудную жизнь.

— Я хочу, Мишуля, чтобы ты знал о своих предках. Они не были врагами народа, они не были врагами России. Деда твоего Николая Михайловича расстреляли не потому, что он вредил государству новому. Не вредил он и в заговорах никаких не участвовал. Он был совершенно мирным интеллигентным человеком. Высказаться мог, конечно, заявить, так сказать, своё несогласие с революционным курсом, но и то только в своём кругу... Кто-то заложил, как сейчас принято определять наговоры. Оговорили его... А पुще всего, не смогли простить ему новые власти происхождения благородного да образованности. Они же, эти революционеры (бабушка в слове революционеры всегда выговаривала буквы “е”, как “э”), доброе, интеллигентское обращение к себе воспринимали чуть ли не как оскорбление. Скажешь ему “господин” или “сударь”, так он тебя сразу на мат возьмёт, да ещё и доложит, куда следует на такие неприличности.

— Мама, может, не нужно это Мише... — примется унимать бабушку испуганная Мишина мама.

Мама обычно в такие минуты озиралась по сторонам, словно боялась, что сказанное здесь на кухне может просочиться сквозь стены. Она-то больше общалась с людьми и, конечно же, в большей мере осознавала опасность таких разговоров.

— Олечка, перестань так бояться — отбоялись уже, — успокаивала бабушка свою дочь, — с нас уже нечего взять, нас уже некуда высылать, и так живём на самом краю.

— Дети... — тихо возражала мама.

Как много было в этом “дети”.

— Ну, и ладно, — сказал Валерка, — раз Мишка вызвался посуду мыть, я готовить буду, — разрядил он обстановку. — Мамка у меня только недавно освободилась, а до того я сам наготовливал на всю семью.

Рамазан не успел вставить свои три копейки в такой важный разговор.

— Ладно, мужики, — громко сказал Виктор, горло ему спёрло комком, и от этого голос просел, — все мы тут не без рук, разберёмся.

Он осмотрел свою бригаду, состоящую из этих троих щуплых пацанов: долговязый Рамазан, Мишка — небольшого росточка, но крепко стоящий на ногах, и совсем щупленький с впалыми щеками, но жилистый Валерка. На каждом задержал взгляд, а те преданно и отрешённо смотрели в глаза своему бригадиру. Теперь он им и мамка, и папка, и старший товарищ. Но робости в глазах не заметил. Знал, что каждый уже прошёл свои “университеты” северной жизни. Знал Виктор, что нет лишнего народу на рыбзаводе, в посёлке все при деле, вот и набирают в бригады рыбаков всякую пьянь да пацанов-подростков. “Уж лучше они”, — подумал Виктор.

— Будем живы — не помрём, — выпалил он бодро, — чаю попьём, и все на заготовку дров, а вечером поставим сети. Сначала за избой в ручей кинем сетёшку. Тут чир в прошлом году дуром пёр, да и щук собакам поймать нужно. Так что, мужики, некогда нам тут разговоры долго разговаривать: осень — дни уже короткие.

— Чир — это хорошо, — деловито и даже важно сказал Мишка.

Виктор улыбнулся.

— Да, мужики. За чиром нас сюда и забросили. Прямо в Москву, говорят, наш чир пойдёт. Так-то вот...

— Самому Никите Сергеевичу Хрущёву, поди? — искренне удивился Валерка.

— Возможно, сам товарищ первый секретарь будет нашей рыбой потчеваться, — может, гостей иноземных угощать будет. Вот только никто им не скажет, кто ловил рыбу. Никто из них не узнает, каково это тут горбатиться, до смерти убиваться. А сколько так-то и гибнут? Что ж вы думаете, мало таких было, да и будет ещё... В позапрошлом году целая бригада замёрзла. На Долгом озере сига да чира брали. Изба у них сгорела в самые лютые морозы. И всё, только весной нашли... Вытаяли... чуть до города не дотянули. Так-то вот, предупреждаю! — строго посмотрел на стоящих перед ним подростков. — Чтoб никакой самодеятельности. Тута и медведи, и росомахи

водятся. В лес по одному не ходить. С огнём осторожно... — что-то ещё хотел сказать Виктор, но осёкся. И так до смерти запугал пацанов.

— Разберёмся, — сказал Рамазан как можно спокойней.

— Понятно, — подтвердил Валерка твёрдо.

— Не маленькие уже, — вставил Мишка басовито.

Виктор сел у окна на нары, сделанные из толстого теса, поставил на стол курящуюся густым паром эмалированную кружку. Все обратили внимание на необычную кружку с каким-то непонятным рисунком, еле угадывающимся под слоем времени. Перехватив любопытствующие взгляды ребят, сказал спокойно:

— Семейная реликвия. Дед рассказывал, что сам Император Николай II соизволил подарить прабабушке моей, — как-то картинно и торжественно сказал Виктор.

— Ух ты-ы-ы-ы! — удивлённо протянул Мишка. Он потянулся рукой к кружке. — Можно посмотреть.

— Посмотри, а я выйду пока покурю. Пусть чай остынет, а то железо пришекат.

Ребята стали рассматривать ещё сохранившийся рисунок.

— Это же сколько ей лет? — поинтересовался Валерка.

— Ну, вот и посчитай... Если от революции брать, и то уже больше сорока годов, — Рамазан картинно вознёс указательный палец к потолку.

Зашёл Виктор.

— Только уговор такой, — сказал он властно, — никто из вас не видел этой кружки. Понятно? — он строго обвёл взглядом своих помощников.

— Понятно, — вместе ответили мальчишки.

Углич. Год 1896. Май, числа 31-го, Троица

Служба шла торжественно и весело, так, во всяком случае, показалось Пелагее Порфирьевне. Её рука в крестном знамении вспархивала сама в нужных местах легко и непринуждённо, её колени легко и мягко касались пола, устланного толстым слоем разной зелени. Густо слоился дурмящий травяной дух по низу. Большею частью угадывалась мята, татарское зелье, берёзовый лист, и от того поклоны принимались душою сладостно и благостно, как нечто, ниспосланное свыше. Вроде как не руками таких же, как и она, грешников постланы эти благоухающие травы, а самими ангелами принесена зелень.

Разливаемые в изобилии еле видимыми облачками благовония, исходящие от кадил, смешивались с терпким зелёным духом и елейно-сладостным пением самих херувимов, как казалось Пелагее Порфирьевне; смиренно растекались по готовым впитать в себя всё праведное и благочестивое душам прихожан.

Вот до её слуха долетела молитва о здравии Алексея Яковлевича — губернатора Ярославской губернии. Она ждала поминания именно его имени. На каждой службе во всех храмах Ярославской губернии молятся о здравии губернатора Алексея Яковлевича Фриде, захворавшего каким-то тяжёлым недугом. Не так давно болеет тяжкой болезнью губернатор, но людская молва уже растекалась по всем, даже самым маленьким селениям. Молва о болящем справедливом и всемиростивом человеке ширилась и росла. Все монастыри, все храмы и небольшие церквушки губернии и многие в Москве и Петербурге молятся о здравии, в надежде на исцеление Фриде Алексея Яковлевича. Пелагея Порфирьевна хорошо знала губернатора: он дважды бывал в их скромном доме в Рыбной слободе, а в Ярославле принял её и мужа Козьму Афанасьевича со всеми почестями, “аки дворян”, как говаривал не раз Козьма, долго вспоминавший это губернаторское приглашение.

Алексей Яковлевич, устремляя деятельность свою на недопущение недомимого всякого рода, обладал правильным взглядом на государеву службу, которую нёс более чем безупречно. О его честности и благоразумной требовательности ходили легенды. При всей его строгости, которую он приобрёл на

военной службе, он в состоянии был понять самого простого человека, снизить до его забот. Вот и Козьму оградил от беспочвенных обвинений волоостного начальства в якобы сокрытии доходов от рыбного промысла, а стало быть, и освободил от несуществующих недоимок.

— Ознакомился я, Козьма, с бумагами и твоими, и на тебя состряпанными. Не вижу ясных доказательств вины твоей. Ничего такого в представленных канцелярией документах я не нашёл. Что сам скажешь? — и губернатор строго посмотрел на крешкого мужика, сидевшего перед ним.

— Не вор я, ваше высокопревосходительство. Вот те крест — не вор, — Козьма широко, с размахом перекрестился, вскочив на ноги и повернувшись к окну, где вдалеке виднелись церковные купола.

— Вижу, верю: чернотёбые луны крестятся быстро и тайком, чтобы Боженька не узрел, а ты крестишься так, словно сатану разгоняешь. За версту видать, — улыбнулся Алексей Яковлевич.

— Как привык, так и крещусь, — смутился Козьма.

— А пошто это Щуровский осерчал на тебя? Дорогу не то ли ему перебёг? Он такую бумагу на тебя состряпал, что хуже человека уж и нет на свете. Хоть на кол тебя, хоть на дыбу, — напирал губернатор.

— Што сказать-то, ваше высокопр... — запнулся Козьма, — высокопревосходительство... Не знаю, что сказать, не могу в толк взять... не зобижал я его, дорогу не перебегал. Разные у нас дороги-то, — чуть не вскочил с места Козьма. От волнения язык не слушался.

— Сядь, не суетись, Козьма Афанасьевич. Алексеем Яковлевичем меня зови... Понял? Алексеем Яковлевичем... Не всем так дозволяю себя величать. Я вот интересуюсь, Козьма Афанасьич: чем ты всё же насолил так этому Щуровскому? На вот, посмотри! — и губернатор бросил на стол исписанные ровным почерком листы.

— Что я там понимаю, в этих бумагах, дорогой Ляксе́й Яковлевич? — хоть этим “дорогой” Козьма хотел снять свою дерзость, назвав губернатора без этого обязательного “высокопревосходительство”, — я читаю-то чиже́ло, с трудом, что ли. Грамоте-то ши́рко не научен. Что я там пойму...

— Ну, счёт-то рыбе ведёшь исправно, денежку считать умеешь, — улыбнулся Алексей Яковлевич.

— То счёт, а то вон сколь бумаги измарано, — Козьма Афанасьевич понурил голову.

— Прости, если обидел. Не хотел. Тут что-то не так: нутром чую, что неспроста он столько бумаги извёл. И дело ведь не в трёх рублях недоимки. Это дело пустяшное...

— Нет у меня недоимки! Пустые это слова. Нет недоимки, Ляксе́й Яковлевич, охаял меня этот Щуровский, будь он неладен, — упрямо повторил Козьма. — Никогда у Климовых не бывало недоимок. Вот те крест — исправно плачу, ничего не таю...

— Знаю, уже проверено, сосчитано, — задумчиво произнёс губернатор. — Что ж я тут с тобой вот так беседовал бы, если б всю правду не знал?..

— Моот это он оттого пишет, что своего Митяя на моё место помышлят? — Козьма взглянул в лицо губернатора. Его лицо будто озарилось. — Он давно трыщется на мои места. Покажи да покажи Митяю, сыну евошному, где белорыбца ловится, да осетёр залегат, в какие ямы. Всё выпытыват, вынохиват; да и этого своего Митяя пытается в напарники всучить. А он мне на кой ляд? Ямы-то мои! Отцом мне оставлены. Да тут дело не в этом, не в ямах этих. Уметь нужно промышлять. Есть у меня свои законы, есть, но я никому не покажу, токо сыновьям, токо им. Хоть казни меня, Ляксе́й Яковлевич, никому. Это же хлеб мой! — сверкнул глазом Козьма и тут же остепенился, обмяк телом — не лишку ли сдержал.

— Да я что ль тебя неволю чем? Ну, твоё так твоё. Каждый должен своё беречь, а то так, когда ничьё, то большое непотребство взрастится средь людей. Порядка не будет. Вот теперь становится понятно, отчего это он так старается ушат грязи на тебя опрокинуть. Ямы ему подавай. Там много чего написано, — губернатор перстом указал на кипу бумаг.

— Я вот чего хотел испросить у вас, благодетель наш Ляксей Яковлевич, в силах ли ваших... — Козьма нерешительно поднял глаза от бумаг, к которым он уже утратил всякий интерес. Ну, разобрался же Алексей Яковлевич, ну и ладно.

— Говори, говори, не робей, — мягко прозвучал голос губернатора.

— Бумагу нужно исправить... На ловлю, ну, как сказать... Время кончается.

— Грамоту на рыбную ловлю? Исправим. Как в Москве буду, так исправим тебе бумагу, чтобы всё по закону.

— Ну, вот и я о том же — чтоб по закону...

Губернатор повернулся к письмоводителю:

— Запиши, чтоб не запамятовать про бумагу-то Козьме.

Разговор вёлся в присутствии Пелагеи Порфирьевны. Всё помнит. Каждое слово помнит. С Козьмой, как с ровней, беседовал.

“Ох, и крут губернатор, — подумалось ей, — прищемил хвост Щуровскому. Да так, что тот опосля только “здравствуйте” да “пожалуйте”... Вот какой силой обладает Алексей Яковлевич, а вот надо же — болезнь, говорят, его шибко скрутила. Говорят, и половины его от того былого не осталось. “Даруй, Боже, здоровья Алексею Яковлевичу, даруй силы и терпения”. Она опустила на колени, перекрестилась трижды, трижды коснулась лбом душистой травы.

— О! Пелагея Порфирьевна! Здравствуй, любезная. С праздником! — услышала молящаяся.

— Здравствуйте, Игнатий Тихонович. И вас с праздником, дай вам Бог здоровья, — Пелагея Порфирьевна прилежно рассматривала письмоводителя уездного урядника, отряхивая с одежды прилепившуюся зелень.

— Я тебя уж обыскался, Пелагея, — тихо сказал он, чтобы голос не коснулся чужих ушей.

— Чем же это я вам так пригодилась? — с вызовом спросила Пелагея Порфирьевна.

— Да не мне, Пелагеюшка, Борис Михайлович прямо хотел видеть. Послал меня. Сказали, что ты в церкви. Вот и искал.

Служба уже подходила к концу, и Пелагея в сопровождении косматого и седого как лунь Игнатия Тихоновича вышла на белый свет из Свято-Преображенского храма.

— Дождик был, пока служба шла, — сказала Пелагея.

— Добрый дождь прошёл, прям ливнем лило. Ко грибам. Дождь в Троицу — ко грибам, дело известное... Прошлый год-то сухо было на Троицу, вот грибов-то толком не было...

— Да, — подхватила Пелагея, — дождь на Троицу — ко грибам... Так что там Борис удумал? Не пойду я к им, некогда мне.

Она уже представила себе Борису жену, что болтает без умолку, неся “прелюбезнейшую глупость”, как говаривал сам Борис, да разговоры-то у неё всё пустые, грошковые. Зайдёшь на часок, а к вечеру выйдешь. Сегодня действительно Пелагея хотела пораньше вернуться домой. Вчера ходила на кладбище, проревела на могилке Козьмы горько и безутешно. Выговорила ему всё, что на душе накопело, жалилась на жизнь без него. Тоска такая, что и жизнь не жизнь. На сына старшого Савелия жалилась — только и знает, что свою рыбалку. Сердце болит, за него тревожится. Всю ночь лезла не сомкнула.

В управу шли главной городской улицей по деревянному, ещё не обсохшему тротуару. Встречающиеся редкие экипажи никуда не спешили. Лошади плелись шагом, будто с ленцой. В образовавшихся после дождя лужах купались городские голуби, курицы и бродячие свиньи.

Что нужно Борису? Пелагея не могла представить, какую такую надобность он мог иметь в ней; так мало того, ещё и старого Игнатия погнал в церковь. Однако странно. Так ещё он не искал ни её, ни Козьму, с которым вельсь у них дружба чуть не с детства. Избы родителей их рядом, почитай, стояли. Только вот Борис выучился, урядником стал, дом себе — хоромы царские выстроил, а Козьма рядом с родительской избой себе пятистенку срубил.

Управа расположилась в старой рубленой избе с большим крыльцом, выходящим прямо на деревянный тротуар. Поднялись по ступеням.

— После дождя-то не скрипят, — обратила внимание на такую особенность всегда скрипучих ступеней Пелагея.

— Опосля дождя не скрипят, а вот лишь маленько подсохнут, так и запоют, — поддержал разговор Игнатий Тихонович.

На разговор вышел Борис Михайлович в новой, чуть не с иголки форме. Поправил характерным движением ремень, подтянулся вверх, как бы растягивая свою внушительную фигуру, шевельнул могучими плечами, приподнял форменную фуражку.

— Здравствуй, дорогая Пелагеюшка, — он подхватил её за локоть, и ей пришлось быстро переметнуть вязанную из вымятого лыка корзину в другую руку, — с праздником тебя, дорогушенька, с Троицей.

— И тебя с праздником, и Глаше тоже от меня поклон и поздравления.

— Так сама и поздравить Глашу-то. Она уже мне все уши прожужжала... Пирог, поди, уж испекла с икряным судачком-с. Зять расстарался. Ишшо с весны в леднике судак-то своего часа ждал. Ну, так как?

— Не смогу я, Боренька. Ночь не спала, прямо ноги уже не держат, глаза прямо закрываются. Шибко устала я. Вчерась на могилку ходила. Наревела-а-ась... — и она будто в подтверждение своим словам достала платочек, промокнула увлажнившиеся глаза.

— Ну, ну, ну, — картинно повернулся Борис, — негоже в светлый праздник слёзы лить.

— А я уже и не лью — всё вылилось. Так пошто ты меня с таким тщанием разыскивал? — Пелагея резко сменила тему, присела на предложенный Борисом стул.

— По высокому повелению самого губернатора — его высокопревосходительства Фриде Алексея Яковлевича, а в первую руку — Императора нашего Николая Александровича, тебя позвал, чтобы вручить подарок в память, можно сказать, о Козьме... — Борис зашнурлся. — Так в бумагах и написано, что, мол, за заслуги, за рвение и прочая, прочая, прочая... Ну, что я тебе всю бумагу буду зачитывать? Много слов хвалебных удостоен Козьма Афанасьевич Климов.

Тут Пелагее захотелось, чтобы всё же прочитали всю бумагу, что там пишут о Козьме, какие такие слова об нём написаны в бумаге. И она уже повернулась лицом к Борису, и уже хотела оборвать его речь, но вдруг подумала, что не может заставлять Бориса читать всю бумагу. Ей чтение давалось с трудом, и она не хотела так утруждать Бориса, он же растолковал, что сам Император помнит Козьму, и за труды его вознаграждает.

— Сам Его Величество Император Николай Второй помнит его, — услышала она, будто после затмения мимолётного, — так что вот — прими, — Борис Михайлович сделал полуоборот в сторону своего письмоводителя.

В это время Игнатий Тихонович, туго знавший своё дело, поднёс Пелагее рогожный кулёк. Пелагея смиренно растеклась в благочестной благодарности. Вот она, надобность, в чём состояла, чтобы её разыскать. Защемило в груди, но Пелагея сдержалась, чтобы не разреветься. Ей захотелось воспеть хвалу и Императору, и губернатору, что, мол, не забывают Козьму, за память к его честной службе, но язык не шевельнулся. Она боялась, что со словами и слёзы душевного смятения взольются обильно, а там и до рёву недалече. Игнатий Тихонович так же тихо, как и вручил кулёк, взял его из рук Пелагеи, положил на большой стол, разглядел перед ней какой-то листок.

— Распишитесь в получении, — казённо изрёк он и ткнул пальцем, — так положено-с, — извинительно принизил голос письмоводитель.

Пелагея неловко взяла перо левой рукой, переложила в правую, наклонилась низко к бумаге, поставила в нужном месте неровный крестик чуть выше пальца письмоводителя. Не обученная с детства грамоте, она каждый раз, когда приходилось ставить в каком-то документе крестик, “тряслась нутром”, как она обычно говаривала, и рдела лицом. Игнатий Тихонович, заметив неровную дрожь в руке Пелагеи и яркий румянец, подумал, что нет нужды так взволновываться с каждым крестиком. Но разве может равняться

с ней, неграмотной женщиной, письмоводитель, каждый день исправляющий множество самых разных бумаг? А тут бумага от самого Императора, да и касается она еённого Козьмы, по десятку раз поминаемого вдовой каждый Божий день. Он промокнул свежие чернила и с усилием вытянул плотный лист из-под ладони Пелагеи. Всё это он сделал ловко и вовремя, ибо в тот же момент голова Пелагеи упала на стол. Раздались рыдания такие неистовые, что у стоящих за спиной мужчин невольно появились слёзы.

— Дождь в Троицу — слёзы по покойникам, — грустно заметил Борис Михайлович.

— А лило-то седни... а гремело... не приведи, Господи, — поддакивал как-то скорбно Игнатий Тихонович, слывший большим знатоком разных поверий и примет.

Он, пока вдова громко всхлипывала, сотрясаясь плечами, уложил в плетёнку рогожий кулёк, тронул за плечи Пелагею. Она встрепенулась, будто очнувшись, произнесла в нос:

— Премного благодарна и губернатору, и Императору нашему. Дай Боже здоровья им — заступникам нашим. Детям покажу, пусть знают, пусть берегут... Как там здоровье-то Алексея Яковлевича? — вдруг поинтересовалась она, глянув Борису в лицо.

— Ничего обнадёживающего не говорят, — сухо сказал Борис, — шибко хворает наш губернатор. На Бога одна надежда. А вот же — ещё 14 дня мая сего года с рук Императора нашего Николая Александровича Орден Белого орла получить изволили. При народе... на коронации. Самолично в Москву ездил. И откуда она взялась, эта болезнь? — голос Бориса Михайловича притушился в скорбности до шёпота.

— Я седне молилась за здравие его. Читал батюшка, читал! Все молились. Народ-то всё знат, молится за здравие, молится, — всё повторяла Пелагея.

— Будем молиться. Можот, услышит Бог-от... Можот, не даст помереть безвременно... Всё в руках Божьих... Повезло нам с Алексеем Яковлевичем, повезло-о-о... Губернию во как подъял! — письмоводитель поднял вверх перст. — Вот только... Нет бессмертных, видимо, — как-то обречённо добавил Игнатий Тихонович, — всё в руках Божьих, всё в руках Божьих... — повторил и перекрестился на икону. Его примеру последовали Пелагея и Борис Михайлович.

31 октября 1961 года. Озеро Хантайское

Виктор обвёл взглядом потемневшие от постоянной копоти стены рублёной избы. Дневной свет едва разбавлял темноту её нутра. Он уже привык к этому скудному свету. За столом сидели его помощники, его друзья, его надежда. Три мальчика-подростка деловито черпали ложками сваренную вчера и подогретую на буржуйке уху. Изба после холодной ночи ещё не прогрелась, и уха курилась густым паром. Крупные окуни горкой возвышались в большом деревянном блюде.

— Пожалуй, из окуня уха повкуснее будет, чем из чира, — деловито гнусавым голосом хриловато изрёк Мишка. После сна голос ещё не обрёл привычной звонкости. Он набрал сухарей в руку, закинул в рот и с хрустом начал жевать, прихлёбывая деревянной ложкой курящуюся уху. Мишка принципиально ел деревянной ложкой, которую привёз с собой. Все знали историю этой мастерски сделанной ложки из берёзового капа отчимом Мишки на пятьсот третьей стройке.

— Да-а-а, — протянул Валерка, проглотив ложку варева, — окунь — для ухи, а чир — для строганины.

— Надоел уже этот чир — сплошной рыбий жир, фу! — Рамазан смешно скорчил лицо. Он так и не привык к сырой рыбе. Его нутро не принимало жирную строганину, и он предпочитал этому деликатесу обычного варёного окуня или язя. Даже в варёном виде Рамазану чир не очень нравился — “слишком жирный”. Вот и сейчас он аккуратно выбирал косточки из окуня.

— Хоть бы птичку какую добыл, а, бригадир? — Мишка посмотрел на Виктора. — А то рыба уже во где, — он картинно резанул ладонью по горду. — Хлеб кончился, сухари тоже надоели.

— Понимаю, мужики, — проговорил хрипловато Виктор, теребя свою рыжую бороду, — всё уже обрыдло, но хорошо, что ещё есть сухари. Скоро и они кончатся. Вот тогда уж точно — беда.

Он оглядел своих “героев”, как иногда называл членов бригады. Хотел посмотреть реакцию на такую вот невесёлую перспективу. Никакого испуга или паники на лицах своих подчинённых Виктор не заметил: не тот народ, чтобы испугаться, — пуганые уже. А предположение Виктора выглядело не так уж и бесосновательно: все же знают, что недели две, как установился достаточно прочный лёд, уже прилетал самолёт, уже приняли на борт первую партию чира. Сбросили с самолёта два мешка провизии. Но, как в насмешку, один мешок содержал мыло, рукавицы, соль, брикеты с чаем и махорку, в другом — сухофрукты, перловка, консервы “Килька в томате” и несколько клеёнчатых фартуков, которые надевают работницы разделочных цехов. Больше всего обрадовались сухофруктам, но и горечь и досада приютжила рыболовецкую артель: хлеба в мешках не оказалось.

— Когда тут за птичками ходить, — продолжил Виктор, — целыми днями то с сетями возимся, то самолёт караулим. Вот прилетит сегодня, завтра же утром пойду за куропатками. Их там, за гривой, много бегаёт — всё истоптано. Да, Миша, должен признаться, ты был прав: то была росомаха. Она к нам в ледник забралась, несколько чиров стырила, падала. Я сутресь ходил к леднику — дорожку, думаю, прочищу. А там следы от гривы и до ледника. Выломала доску и украла рыбу. Так что ходит она тут, пока мы подушки мнём. Прямо рядом ходит.

— А ты мне не верил. Я же её вот так, как тебя, встретил... Чуть в штаны не наложил. Страшнющая, ужас один! Она подпрыгнула вот так над снегом. Я уж думал, она на меня, а это она от неожиданности, — Мишка оживился. Он рассказывал своим друзьям историю, как повстречался с росомахой, когда ходил на охоту по первоснегу. Росомаха выскочила из-за густой ёлки внезапно с птицей в зубах. Мишке показалось, что с тетёркой. От неожиданности она подпрыгнула на месте, подняв снежную запарошь, развернулась и скрылась в ельнике так же внезапно, как и явилась. Таким внезапным появлением, да ещё и прыжком из-под пушистого снега, испугала она Мишку вусмерть. Вот когда он понял смысл высказывания “речь потерял”. Какое-то время он действительно не мог и слова вымолвить. Тогда Виктор с недоверием слушал перепуганного парня. Мало ли чего почувдится малоопытному человеку в тайге...

— Не может, — приводил аргументы Виктор — опытный охотник, — росомаха так приблизиться к человеку. Она, поверь, тварь осторожная.

Мишка тогда настаивал, чтобы проверил, чтобы посмотрел следы, но даже этого не сделал Виктор, напрочь отвергнув даже самое малейшее предположение в таком событии. Теперь вот сам удостоверился, что не боится она человека — рядом ходит.

— Я уж, по правде говоря, думал, что это глухарь тогда из-под снега выпорхнул да испугал тебя. Извини, был не прав. Тут, в этой глухомани, зверьё совсем непуганое. Пока мы её не изловим, она нам покою не даст: раз уж закушала рыбу, так пока не вытаскат, не успокоится. Она и до запасов наших съестных доберётся, и до собак.

— Как же ты её изловишь? — вступил в разговор Валерка. — Говорят, она тварь умная. Не так легко её изловить.

— Есть способ. Потом покажу... А сейчас опять рыбу таскать будем на лёд. Вдруг сегодня самолёт.

— Вчера таскали, позавчера таскали... — как-то обречённо сказал Рамазан.

— Такая у нас работа, друзья мои дорогие, — бодро ответил Виктор, — расписания движения самолётов нет, это тебе не аэропорт. Тут “предположительно в конце месяца”, — Виктор изобразил сиплюю интонацию директора

рыбзавода, — и то, если погода не испортится. Но сегодня вроде погода ничего: метель прошла, ветер урезонился. Так что будем ждать.

— Будем ждать, — как-то обречённо буркнул Мишка.

— Что там на улице, а то я так на градусник и не глянул? — спросил бригадир обыденно.

— Тридцатник, — также обыденно ответил Мишка.

— Хоть ветра нет, и то ладно, — пробасил Валерка.

— Чую, самолёт сегодня прилетит. В первую очередь нужно остатки рыбы вытащить на лёд, да ту, что на льду, в ниточку выставить. Опять на ходу будем забрасывать.

— Сейчас вытащим, — буркнул Рамазан.

— Мишка, нужно рыбу привезти от дальних сетей. Собак запряги... Пусть промнутся. А ты правильно выбрал место для собак. Там бы под гривой оставили, уже не досчитались бы кого-то. Моего любимого Тарзана в позапрошлый год съели. Мы его в сених заперли от них же, от росомах, а сами пошли капканами заниматься. Приходим: дверь выломана, а собаки и след простыл: только лужа крови да шерсти клок. Вот всё, что осталось. Было такое дело, когда я промысловиком работал. Там-то и научили меня опытные охотники, как ловить росомах. Потом покажу. Тоже будете знать, может, и пригодится когда.

Все примолкли, слушая своего бригадира. Уже говорил он о каком-то хитром способе ловли росомах.

— Пока мы на дальние сети ездим, вы тут ближние проверьте, — обратился Виктор к Валерке и Рамазану, — и смотрите, верёвки не вморозьте... — но сначала рыбу вытащите.

— Знаем, не беспокойся, бригадир, сделаем, как надо, — ответил Рамазан, наливая компот из сухофруктов в бригадирскую эмалированную кружку.

— Ты сам-то компот уже пил? — поинтересовался Виктор строго.

— Да, наш бригадир-отец родной, — шутливо выпалил Рамазан, — все пили компот, все приняли витамины, — добавил он. Но в голосе уже отсутствовали шуточные интонации. Виктор строго следил за тем, чтобы в пище присутствовали продукты, содержащие витамины, а компот входил в этот список под номером один.

— Цинги мне тут ещё не хватало, — ворчливо скрипнул Виктор, — ну, ладно, иди, помогай мужикам, а тут я уже сам управлюсь. Скажи Мишке, что посуду вымою.

Виктор подвинулся к окну. На улице Мишка возился с собаками, распутывая упряжь. Собаки носились вокруг него, то и дело норовя лизнуть его в лицо. Надоело сидеть на привязи, почувствовали свободу. Валерка и Рамазан укладывали в сани мешки с мороженой рыбой. Делали всё не спеша, размеренно, деловито, словно всю свою жизнь выполняли эту работу.

А чему тут удивляться: сызмальства на реке, и зимой, и летом. И не забавы для, но ради прожитку на этой самой северной стороне рыбачили, чтоб в доме хоть рыбий хвост водился, чтоб с голодухи не окочуриться. Вот они, обученные жизнью, как управляют, не каждый взрослый так сможет. Мишка да Валерка здесь, на севере рождённые, а Рамазан... Не знал Виктор, как Рамазан на северах оказался, кто родители — тоже не знал. Слышал, что отца пристрелили при попытке к бегству, а что случилось с матерью, никому не ведомо. Ушла в лес и не вернулась — так молва обказывала её таинственное исчезновение. Говорили, что на совести воров её жизнь. Интернатовский Рамазан сейчас у тётки живёт. Что-то ещё хотел припомнить о своих подопечных Виктор, но так ничего не наскреблось в его памяти. Не было в привычках переселенцев ли, осуждённых ли особо интересоваться чужими судьбами, но, так сказать совать не в своё дело: со своими-то наворотами не все могли разобраться. Каждый свою тайну носил в сердце, каждый свою боль таил.

Вот таким подростком он в 1947 году вместе с семьёй был выслан в Сибирь. Отчего же его сразу не расстреляли, зачем было столько измываться

над человеком, над отцом, Богом поставленным во главе семейства, чтобы хранить детей, жену, чтоб в нужде плечо сильное подставить, чтобы в стужу укрыть. Так думал Виктор теперь, вспоминая судьбу отца, умершего на стройке № 503 от непосильного труда и болезней. Неужто судьбой ему было так навешано, чтобы испытать непомерные муки телесные и душевные. Такие мысли часто роились в голове. Разве забудется тот длинный, страшный и мучительный путь от родной и тёплой Рыбной слободы до чужой и холодной Игарки сначала на трясучих телегах, потом на поезде в душных товарных вагонах, и в заключение — в душном трюме ржавой баржи. Странное ощущение тогда овладело им: душно, воздуху не хватает, смрадно, но вместе с тем — как-то зябко, сыро. Тепло, вот что помнится, тепло, исходящее от отца, от его постоянного присутствия рядом. Даже не рядом, а плотно прижатого к его юношескому худенькому тельцу.

Его ладони обхватили старую эмалированную кружку с затёртыми, еле угадывающимися царскими вензелями. Только на охоты да на рыбный промысел брал эту кружку Виктор. Дома он ею не пользовался, оберегая от чужих глаз. Компот не жёг руки, а приятно грел ещё сохранившимся теплом. Виктор встрепенулся от наваждения, от мучительных воспоминаний. Это тепло, исходящее от кружки, взбудоражило память. Он повернул кружку, рассматривая на свету сохранившийся рисунок.

Заголосила женщина рядом. И все всё поняли. Она обвела людей безумным взглядом, прижала бездыханное тельце своей маленькой доченьки. Худенькие ножки в маленьких затёртых сандалиях безжизненно колыхнулись, безвольно застыв вместе с окаменевшей матерью. Женщина, только что потерявшая ребёнка, смолкла, через гнетущую паузу произнесла тихо и беззлбно:

— Не дам выбросить в воду. Дайте похоронить по-христиански.

Умерших в начале пути выбрасывали за борт. Стражники не церемонились. На берег арестантам выходить запрещали, боясь побегов.

Но теперь пароход так далеко ушёл на Север по Енисею, что охранники позволили похоронить малютку. Бежать там уже некуда. Вызвался помогать в погребении отец Виктора Ерофей Савельевич и священник отец Онуфрий. Он был одет в одежду, ничем не отличающуюся от других. Разве что из-под рваной фуфайки выставлялась какая-то чёрная длинная рубаха, что выделяло его среди арестантов.

Молодой охранник, кстати, сам вызвавшийся конвоировать погребальную процессию, когда девочку отпели и могила была зарыта, а над холмиком водрузили самодельный крест, подошёл к священнику.

— Отец Онуфрий, — сконфуженно и тихо произнёс он, — а можно меня покрестить?

— Ты точно не крещён? — спросил строго батюшка.

— Нет.

— Раздевайся! — скомандовал отец Онуфрий.

— Й-й-я?

— Быстро, пока нас не хватились, да и здесь за поворотом нас не видно с баржи, быстрее. Да не бойся ты, никто не тронет твоё оружие.

И парень стал раздеваться. Отец Онуфрий закатал свои широченные брюки выше колен, зашёл в воду. Следом быстро заторопился и парень, казавшийся щупленьким подростком с тонкой шеей и очень бледной, давно не выдавшей солнца кожей.

— Как тебя зовут? — спросил мягко священник.

— Николай.

— Вот сюда проходи, тут глубже. — Отец Онуфрий взял за руку Николая и, как ребёнка, проводил, где было поглубже.

И тут священник достал из-за пазухи медный крест, обмакнул его в воду и громко произнёс

— Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! Крещается раб Божий Николай...

Он возложил руку на голову Николая и силой наклонил его к воде. Николай послушно присел, наклонился, погрузив голову в воду, и так трижды.

“Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!” Голос священника летел над водой. Отец Виктора с опаской посмотрел в сторону баржи, но её не было видно, и, конечно же, отсюда молитва священника не могла долететь до ушей начальства так необычно крещённого Николая.

После совершённого обряда отец Онуфрий извлёк из кармана деревянный крестик с дырочкой для нитки. Но ни у кого нитки не оказалось, и тогда Священник снял свой нательный крестик, разорвал нитку, вдел её в деревянный крестик и повесил на шею Николаю. Свой же крестик он бережно спрятал во внутренний карман.

— Носи этот крестик, он самый дорогой — с ним ты крещён Николаем.

— Поздравляем, Николай, — произнёс отец Виктора Ерофей Савельевич.

— Поздравляем, — присоединились и родители умершей девочки.

— Беги в кусты, выкручивай трусы. Мы подождём, покараулим оружие, — весело сказал отец Онуфрий.

Николай исполнил, как велел священник, затем оделся по форме, и все в каком-то возвышенном и приподнятом настроении, несмотря на только что совершённое погребение маленькой девочки, вернулись на баржу.

Виктор помнит, как, вернувшись на баржу, вечером, когда солнце присело к горизонту, спрятавшись в слоистые облака, и стало чуть сумеречнее, нескольким арестантам разрешили подняться на палубу. Отец открыл бутылку мадеры, которую так долго сохраняли в семье, как самую дорогую реликвию.

— Эта мадера хранится в нашей семье с 1896 года, — глухо произнёс Ерофей Савельевич.

— От чего же это так бережно хранили её? — спросил отец Онуфрий.

— От бабушки слышал, что сам Император Николай Второй прислал, — Ерофей Савельевич заозирался при произнесении вслух имени царя.

— О как! Сам император! — воскликнул отец похороненной сегодня девочки.

— Так, можот, не надо открывать... — виёс сомнение священник.

— Открою, — Ерофей Савельевич вытащил уже пробку, — куда её. Обнаружат — отберут, так уж лучше сами... Да вот и повод такой: и печальный, за упокой души выпьем, и светлой повод — за рождение ещё одного христианина.

— Благословляю! — возвысил голос отец Онуфрий, однако не настолько, чтобы выдать себя, чтобы услышали те, кому слышать не нужно.

— За упокой души...

— За вновь рождённую душу...

Выпили за усопшую девочку и вновь крещённого Николая тихо, с благословения отца Онуфрия.

Дверь избы резко открылась. Виктор даже вздрогнул от неожиданности, и сразу явилась реальность вместе с морозным клубящимся по полу воздухом.

— Самолёт! — закричал Валерка.

Виктор быстро оделся, выскочил на улицу.

— Бросайте всё! Быстро на лёд! — Крикнул он. Его команда и так уже готова была к встрече самолёта, который, сделав круг, начал заходить на посадку с дальнего берега. Пока самолёт выруливал к выставленным в одну линию мешкам с рыбой, бригада была уже на льду. Двери “кукурузника” открылись, и в проёме двери показался Килька.

— Здорово, мужики! — крикнул он. — Принимайте хлебушек, поди, соскучились по хлебу! — хрипло кричал он, пытаясь пробиться сквозь рычащий двигатель. Из дверей вывалился один мешок, потом ещё один. Самолёт скользил на лыжах; поравнявшись с мешками с рыбой, он чуть притормозил, но, однако, не остановился. Лётчику категорически запрещалось останавливаться на льду. Виктор с Валеркой подхватили один мешок, забросили в открытую дверь, потом следующий; самолёт подрулил уже к Мишке и Рамазану. Те так же ловко забросили в самолёт два мешка, а в это время Виктор с Валеркой перебежали к следующим мешкам. И так по цепочке, мешок

за мешком рыбаки закидывали мороженого чира в нутро самолёта, а там уже орудовал бортмеханик, по совместительству штурман.

— Всё, хватит! — крикнул Килька. — Сколько у вас ещё осталось?

— Да с десятков мешков. Чир уже не ловится! — кричал Витька. — Можете забирать нас! У нас продукты кончаются!

— Следующим рейсом остатки рыбы заберём и вас! К седьмому ноября будете дома! Готовьтесь! — крикнул Килька и захлопнул дверь. Самолёт набрал скорость, оттолкнувшись от снежной глади, ушёл круто вверх и вскоре скрылся за лесной хребтиной. Снова наступила привычная тишина.

— Мы всегда готовы... — тихо произнёс Виктор, но слова прозвучали как-то убежденительно и даже обречённо.

Притащили мешки в избу. В одном содержалось десять буханок белого хлеба, гречневая крупа. Зачем-то снова рыбные консервы и бутылка с подсолнечным маслом, очень кстати присланная, ибо своё масло уже было на исходе. А в другом мешке — меховые рукавицы, стёганные ватные штаны на всю бригаду и ватные фуфайки.

— Если забирать собираются, так зачем одежду выслали? — удивился Виктор.

— Пригодится, — обыденно произнёс Валерка.

— Накаркашь, — недобро зыркнул на него бригадир.

— Попируем?! — торжественно изрёк Рамазан и разрезал булку хлеба. Изба наполнилась аппетитным хлебным ароматом.

Москва, ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года

20:00. Кабинет первого Секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва.

Просторный кабинет. Тяжёлая мебель из тёмного дерева. Несмотря на то, что люстра одаривала электрическим светом всё пространство кабинета достаточно щедро, Никита Сергеевич включил настольную лампу, подошёл к боковому бра, щёлкнул выключателем. Все лампочки в кабинете были включены. Он сел в своё уютное кресло, которое подогнали под фигуру первого секретаря тщательнейшим образом, как только судьба усадила его за этот непомерно большой стол. Дававший о себе знать всё чаще радикулит и сегодня напомнил о себе. Никита Сергеевич, уместившись удобно, покряхтев, забарабанил по столу пальцами, как делал обычно в минуты нетерпения или нервного ожидания.

Раздался резкий звонок, дверь распахнулась

— Товарищ первый секретарь, — громко рапортовал человек в полковничьих погонах, — члены комиссии по перезахоронению...

— Зови! — нетерпеливо перебил его Никита Сергеевич.

Кабинет заполнился офицерами — членами комиссии по перезахоронению Сталина, вчера назначенной Президиумом ЦК КПСС. В помощь комиссии, состоящей из пяти человек, было привлечено несколько военных. Сам Никита Сергеевич утвердил список, поданный Шверником, председателем комиссии. Три человека выделялись тем, что были в штатском. Никита Сергеевич на каждом ненадолго задержал свой взгляд, словно пересчитывал, будто слыхал со списком. Вопрос о выносе тела Сталина был решён на только что закончившемся XXII съезде КПСС. Нужно было рассмотреть детали такой щепетильной процедуры, так неоднозначно воспринятой партийной и военной верхушкой. Большинство боялись засветиться несогласием с принятым решением, ибо иное мнение грозило самыми жёсткими последствиями, вплоть до...

— Садитесь, товарищи! — отрывисто произнёс Никита Сергеевич. Он с большим, чем обычно, тщанием рассматривал сидящих за столом офицеров. Каменные лица, невыражавшие никаких эмоций, не дрогнули под пристальным взором своего главнокомандующего.

— Могилу вырыли? — грохнуло в наступившей тишине.

— Т-так точно, товарищ первый секретарь! — выпалил Николай Михайлович Шверник, первым выступивший с докладом о проведённой работе

на правах председателя комиссии. Он, несмотря на свой преклонный возраст, вскочил с такой рьяностью, что массивный стул взвизгнул, скользнув по паркету. Он подобострастно глянул в хозяйские глаза.

— Площадь оц-ц-цеплена, могилу обнесли фанерными щитами, как было принято на первом заседании комиссии. Привлечены товарищи из в-в-оенных... — он обвёл глазами присутствовавших за столом. В моменты волнения Николай Михайлович чуть заметно заикался.

— В газеты подготовили материал? — Никита Сергеевич строго посмотрел в сторону первого секретаря и председателя исполкома Москвы, сидевших рядом в конце стола, — про подготовку Красной площади к ноябрьским торжествам напишите, чтоб не было там всяких кривотолков вокруг, чтоб народ успокоить. И так уже ползут сплетни всякие. Не успеешь пёрднуть, как все знают. Эти Евтушенки, Ахмадуллины, Солженицыны так и ждут чего-то такого. Им только на зубы попадёт, так не отмоешься от дерьма... Чтоб завтра уже в газетах было про подготовку к параду, ремонт мостовой, ещё что-нибудь придумайте... Что-нибудь про благоустройство там... Придумайте... Репетицию парада проведите, и пусть журналоги эти напишут, — нетерпеливо ворчал главный.

— Всё подготовлено, — вступил тихим вкрадчивым голосом Николай Александрович Дыгай, — завтра и в “Правде”, и в “Известиях” выйдут статьи, по радио московскому и по “Маяку” пройдут сообщения о подготовке Красной площади к сорок четвёртой годовщине Великой Октябрьской революции и о репетиции тоже.

— Гроб готов? — грубо перебил Хрущёв

— Так точно! Готов, товарищ первый секретарь! — по-военному строго отрапортовал генерал Фёдор Тимофеевич Конев. Именно ему было поручено это ответственное дело. Он намеренно не назвал Никиту Сергеевича главнокомандующим. Всю войну провоевавший под командованием Сталина, генерал воспринимал Хрущёва ниже себя по званию. Хрущёв чувствовал это несколько презрительное отношение высшего генералитета армии к своей персоне, и это его в какой-то мере раздражало.

— Кто понесёт? Мне там лишние люди не нужны, — резко скрипнул Никита Сергеевич.

Из-за стола поднялся генерал Андрей Яковлевич Веденин.

— Товарищи офицеры! — пророкотал он. Встали несколько человек в военной форме.

— Это надёжные люди, проверенные, — с хрипотцой в голосе произнёс генерал. Именно ему было поручено подобрать команду офицеров для выполнения миссии.

— Надёжные, говоришь? — Никита Сергеевич поднялся, прошёлся по кабинету, рассматривая вытянувшихся в струнку офицеров.

— Так точно, надёжные, — повторил генерал глухо.

— Ну, что ж, приступайте, — первый секретарь тяжело приземлился на стул, обхватил голову руками, произнёс тихо, чтобы никто не слышал: “Ну, вот и всё...”

Никита Сергеевич остался доволен этим коротким совещанием: каждый знал своё дело и место, каждый готов был выполнить любой приказ, и это приятно щекотнуло его до болезненности взрослее самолюбие. “Вот где они у меня!” — он стиснул кулак.

— Зароете, и в столовой жду всех... — возникла пауза, — на поминки... Ну, по-нашему, как положено. Я распорядился, чтобы накрыли стол. Всем всё понятно? — Он строго зыркнул глазами, вытер вспотевший лоб. — Приступайте! — скомандовал он. — А вы, товарищ Шверник, останьтесь.

Николай Михайлович Шверник подошёл к столу, за которым стоял Хрущёв, по-хозяйски манявший его пальцем, и тот вплотную подошёл к своему начальнику.

— Вот что, Николай Михайлович, обращаюсь к вам как к председателю комиссии, — чуть ли не шёпотом заговорщицки произнёс Никита Сергеевич. — Есть мнение ЦК: золото нечего в землю зарывать. Сними Золотую Звезду Героя Социалистического Труда с мундира нашего генералиссимуса, —

тут Никита Сергеевич криво улыбнулся, — и пуговицы золотые срежь, простыми медяшками замени. Золото сдать в Охранную палату: для истории пусть останется, — уже строго, с нажимом закончил Никита Сергеевич.

— Будет исполнено, — с готовностью ответил Николай Михайлович и почувствовал, как зануло сердце, как заломило за грудиной. Он придержался рукой за стол, чтобы не пошатнуло, чтобы не выдать слабости, чтобы не заподозрил шеф в лояльности к бывшему...

21:00 Москва. Мавзолей.

Ровно в 21 час восемь офицеров вошли в Мавзолей. Как по команде, подняли саркофаг и направились к лестнице, ведущей в подвал. Там уже стоял гроб, обитый красным кумачом, отороченный чёрной лентой.

— Вы, вы, вы и вы... Перенесите тело в гроб, — негромко скомандовал Шверник, и голос его дрогнул. Четыре майора немедленно подошли к саркофагу, открыли его. Какое-то время, не решаясь притронуться к священному телу, как считал каждый из них; они всё же осторожно перенесли тело Сталина, поместили в гроб. Образовавшийся круг членов комиссии с опущенными головами придавал всему этому действию особую скорбность и трагичность. Старик Шверник не смог сдержаться, его глаза предательски заблестели. Он поднёс к глазам носовой платок, и тут тишину разорвали громкие рыдания. Ведь именно при Сталине он достиг высшей точки своей карьеры. Он и сейчас на мёртвого бывшего шефа смотрел с необъяснимой благоговейностью и даже страхом. А вдруг разлепятся глаза, а вдруг разверзнутся уста...

Товарищи по партии постарались не заметить проявленной слабости со стороны председателя комиссии, но, естественно, запомнили.

Николай Михайлович громко просморкался, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку.

— Товарищ Мошков, — наконец-то произнёс Шверник, нарушив образовавшуюся тишину. Он подошёл вплотную к полковнику, — вам поручается ответственное дело. Приказываю снять с мундира Сталина Золотую Звезду. Пуговицы золотые срежьте и пришейте вот эти, — он разжал кулак и передал полковнику простые медные пуговицы. Полковник Мошков недоуменно посмотрел на своего старшего товарища.

— Хрущёв распорядился. Это не моё решение, — сказал он мягко, — пожалуйста, прошу... Никита Сергеевич сказал, что нужно для истории оставить. Велел сдать в Охранную палату.

— Товарищи офицеры, — скомандовал генерал Веденин, — поднимаемся в Мавзолей. Есть ещё одно поручение.

И они быстро покинули подвальное помещение лаборатории, чтобы передвинуть саркофаг Ленина на середину мавзолея, на то место, которое он занимал до подселения Иосифа Виссарионовича Сталина.

В темноте ноябрьской ночи, скудно подсвеченной ручными фонариками, Сталина в заколоченном гробу опустили в яму, каждый из участников церемонии погребения бросил горсть земли в могилу, солдаты спешно засыпали её, водрузили на место захоронения подготовленную заранее гранитную плиту с надписью “СТАЛИН ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 1879–1953”. И здесь не сдержался Николай Михайлович. Рядом стоявший товарищ Джавахишвили тоже вытирал мокрые глаза, его плечи тоже вздрогнули, сотрясаясь чередой произвольных конвульсий. Вокруг могилы, понуро опустив головы, в могильной тишине стояли бывшие соратники Сталина. Можно было только догадываться, какие чувства испытывали они в такой скорбный час.

7 ноября 1961 года Озеро Хантайское

— Не нравится мне это. Очень не нравится. Обещали, что 7 ноября будем праздновать дома... — задумчиво сказал Виктор, глядя в окно. Он, характерно обняв ладонями свою кружку, отпивал маленькими глотками чай. Наступила тягостная тишина.

— И что делать будем? — спросил Мишка деловито и въедливо.

— Ждать, — коротко ответил Виктор. И столько в этом “ждать” уместилось, что каждый ощутил какую-то безысходность, тоску и безнадегу.

— Сколько ждать? — спросил Валерка. — У нас еды-то на неделю-две. Я имею в виду — хлеба, сухарей. Сухофрукты кончаются. Рыба уже обрыдла.

— Сколько у нас там муки осталось? — спросил Виктор.

— Да килограмма три, не больше.

— Не разбежишься, — мрачно произнёс Виктор. — Так, мужики, на паёк с сегодняшнего дня садимся. Валерка, ты ответственный: по кусочку хлеба и горсти сухарей в день! — возвысил он голос. — Сахар? — спросил он строго.

— Сахару достаточно — почти полмешка.

— Хорошо, — мягко произнёс бригадир, — будем подслащивать себе жизнь. — Прозвучало это как-то неубедительно, и даже фальшиво.

На фоне окна из тёмного угла Мишке бригадир казался этаким огромным великаном, заслонявшим тусклый бледно-молочный свет, протискивавшийся через небольшое окно. Сегодня 7 ноября, а настроение у всех совершенно не праздничное, скорее наступившее пасмурное утро внушало обитателям этой тёмной рыбацкой избы если не печальные, то, во всяком случае, невесёлые мысли о дне сегодняшнем и завтрашнем.

Вдруг с какой-то ясностью он ощутил тревогу, он содрогнулся перед неотвратимой неизбежностью беды. Именно так он ощутил проскочившую тревогу в словах Виктора. Бригадир так вот просто, без веских на то причин, не стал бы пересчитывать оставшиеся продукты. А тут прямо на паёк посадил... “Дела плохи” — промелькнуло в голове. Он это чувствовал, с одной стороны, по-детски наивно и простодушно, но с другой — опираясь на уже имеющийся опыт.

Все ведь знали, что до праздников их должны были забрать. Они уже собрали всё необходимое, они были готовы в любую минуту выскочить на лёд, погрузиться в самолёт. Но самолёт не прилетел, связи с рыбзаводом не было: аккумуляторы сели окончательно, рация стала бесполезной железячкой. Мишка обвёл взглядом избу. Молчаливые мрачные лица, неподвижный тёмный силуэт бригадира на фоне окна.

— А взлётную полосу я подготовил, — сказал Рамазан, разорвав гнетущую тишину.

— Ну, и добре! Сегодня уж точно самолёта не будет, — отозвался Виктор.

Подготовить полосу — это значило пройти вдоль выстроенных в линию мешков с рыбой и стряхнуть снег с ёлочек-маячков, воткнутых возле каждого мешка и дальше, на длину посадочной полосы. Около пятисот метров на фоне белого снега стояли ёлочки, воткнутые в снег на расстоянии друг от дружки 10–20 метров. Каждое утро Рамазан, добровольно взявший на себя эту обязанность, проходил вдоль посадочной полосы и стряхивал снег, чтобы было видно издалека. Это и называлось “подготовить взлётно-посадочную полосу”.

— Пойду, куропаток постреляю, — сказал глухо Виктор.

— Я с тобой, — сказал Мишка, — всё равно делать нечего.

— А вы с Валеркой смородины наломайте, пока тепло установилось, наварите чаю со смородиной. А то запасы уже кончаются, — обратился Виктор к Рамазану и Валерке.

— Ладно, — ответил Валерка. — Там у нас ещё корни шиповника остались.

— Пригодятся, — ответил тихо Виктор.

— Мы что, тут зимовать собираемся? — затревожился Рамазан.

— Зимовать, не зимовать, а сколько тут задержимся, никто не знает. Если самолёт в ближайшие две недели нас не заберёт, то... — Виктор запнулся.

— То нам кирдык? — спросил развязно Мишка.

— Ты эту панику брось, — погрозил пальцем Виктор. — Тогда придёт сам выбораться. Зиму нам тут не вытянуть.

— Очень оптимистично звучит. И паники не нужно, — буркнул ехидно Мишка.

— Поговори мне тут, — строго, по-отечески сказал Виктор, — собирайся! Ловушку заодно на росомаху поставим, а то надоела уже воровка, сколь рыбы перетаскала да перепакостила. Я там одну рогатину заметил.

Виктор топориком снял кору у места, где ёлка разделялась на два ствола под достаточно острым углом.

— Вот такую рогатку и нужно подыскать для ловушки — это первое дело. У неё рука-то в этом месте широкая, — Виктор показал на свою ладонь, — вот и застрянет, — говорил Виктор, пока снимал кору в месте развилки. — Кору снимешь, оно в этом месте будет скользко, лучше встрянет.

— Это ты хорошо придумал, — соглашается Мишка, помогая.

То топорик подаст, то притащит какой-то пенёк да пару валежин, чтобы Виктору лучше было работать. Развилка-то высоковатого.

— Вот эту подставочку ей приладим, но так, чтобы, когда попадётся, выбила её из-под себя. Так, жиденько сделаем, лишь бы достала приманку.

— Ловко придумано, — удивляется Мишка.

— Росомаху — зверь хитрый, чтоб поймать, нужно и самому покуме-
кать.

— Понятное дело.

Виктор достал из рюкзака тонкий тросик, сделал петлю.

— Вот так прикрепим, а как она тронет приманку, её и затянет этим бревном. Такая вот хитрость. И куда она денется, если лапу ей вот так прищепит в расщелине?

— Так она ещё и повиснет под собственным весом, — подтвердил Мишка.

— Всё правильно. Так рассчитано. Ну, теперь рыбу здесь оставим для приманки, ещё куропаточку привяжем, пёрышки разбросаем, кровью по стволу намажем... Придёт она, придёт, — повторил Виктор.

— Куда она денется. Жрать захочет — придёт.

И пришла росомаху, на следующий день пришла, не заставила себя долго ждать. Она, судя по следам, далеко и не отходила от избушки. Поняла, что есть чем поживиться, вот и крутится рядом.

Мишка обнаружил. Он вечером сходил к ловушке — нет никого. Ночью вместе с Виктором сходили — нет. А утром пошёл: издали услышал ворчание какое-то. Подходит, а она висит да крутится, как уж на сковородке. Подбежал Мишка к ней, руки дрожат, прицелился, выстрелил раз, другой в запале. Обвисла росомаху, замерла. Подойти к ней страшно. Пошёл за Виктором. Вся бригада ринулась к ловушке. Виктор освободил дошедшего зверя, бросил на снег.

— Ох, и здоровущий! — воскликнул Валерка.

— Да, — подтвердил Виктор строго, но обыденно, как долженствует опытному охотнику, — хороший экземпляр. Самец.

Чтобы не испортить шкуру и как надо высушить, Виктор топором выстругал доску, закрутив её у головы, натянул шкуру мездрой наружу. Затащив в избу, он принялся сдирать жир с мездры.

— Жирный, смотри, какой, — приговаривал Виктор.

В это время молодёжь баловалась чайком. Валерка наварил чаю со смородиновыми ветками, добавил туда шиповниковых корней, чтобы наварились витамины. Виктор, вдыхая смородиновые ароматы, тихо радовался, что сумел-таки привить пацанам привычку варить витаминный чай. А как же, думал он, уже два месяца тут торчим.

— Чай — прямо лечебный; запах такой, что голову кружит, — говорит Рамазан.

— Так стараюсь, — говорит Валерка. — Налить? — спрашивает, обращаясь к Виктору, занятому работой.

— Налей. В пятьдесят третьем мамка у меня цингой заболела. Еле вытаскивали тогда. Хорошо, что доктор Зильберт Илья Ефимович спас. Может, помните такого доктора?

— Кто ж его не помнит? Воры зарезали, сволочи, — пробасил Мишка, — моя бабушка с ним дружила. Он и её лечил. Тоже, можно сказать, спас. Вот что он им сделал? — возмущался Мишка.

— Воры есть воры. Там, кстати, без Клеца не обошлось, да только вот пойди, докажи, — Виктор отпил чай.

— Да, в пятьдесят третьем многих выпустили на волю. И политических, конечно, много вышло, но и воров тоже немало, — вступил в разговор Рамазан, — и мама, говорили, тоже от воров пострадала.

— Я помню, — Мишка задумчиво посмотрел в сине-фиолетовое окно, — я тогда ходил во второй класс, как вдруг кто-то принёс весть, что Сталин умер. Мы как раз были в спортзале. Там потолок высокие. И во всю стену — до самого потолка — был нарисован Сталин. Его сапоги кончались на уровне моих глаз. И вот мы стоим всем классом вокруг матов. Учителя плачут навзрыд, и мы плачем. Я смотрю на эти начищенные сапоги сталинские и реву прямо в голос. Это одно, чем запомнился пятьдесят третий. А ещё, вот Валерка помнит, он тоже там был. Ты же крестился там! — обратился Мишка к Валерке. — Какой-то священник освобождённый со стройки добирался домой через Игарку. Так вот, он устроил крещение в Медвежьему логу. Нас — пацанов, девчонок, — однако, человек тридцать-сорок набралось. Кто известил, кто собрал, не могу знать. Меня бабушка туда привела. Как-то все узнали об этом крещении. Мы в воду зашли по пояс: вода холодная, но не ледяная — июль месяц всё же. А священник ходит среди нас прямо в одежде, читает молитвы и каждого окунает в воду: “Во имя Отца и Сына, и вовеки веков! Аминь!” И головой в воду. Окрестил всех довольно быстро. Спешил, видимо, чтобы не помешали. И каждому крестик деревянный вручил на нитке крепкой. Я так понимаю, что он заранее их наделал. Значит, готовился. Вот так меня крестили в пятьдесят третьем...

— Помню я это крещение, — сказал Виктор, — а знаешь, что за священник крестил вас? Это же был отец Онуфрий, что крестил красноармейца Николая на барже, который и девочку умершую отпевал. Он меня узнал. Подошёл я к нему, стою. “Благословите”, — говорю, он перекрестил меня, смотрит в упор. “Я, — говорю, — Виктор, мы на барже вместе плыли...” — “А я-то думаю, где видел, — говорит. — Такой рыжий парень мне уже встречался. Помню, помню... Я с твоим отцом Ерофеем Савельевичем в одном бараке жил на стройке. От непосильной работы умер. Простыл и сгорел за три дня. Похоронили. Я отпел его, царство ему небесное. Хороший человек был”. Вот что рассказал тогда отец Онуфрий. Но он спешил, и нам не удалось поговорить дольше. Но от того, что он отпел отца, что похоронили по-христиански, мне даже как-то легче стало. Узнать бы, где могила, да где там? Отец Онуфрий спешил на пароход. Ради этих крестин здесь и останавливался.

— Помню, помню, меня тоже крестили там, — подтвердил Валерка.

— Видишь, Ромка, народ-то у нас всё крещёный, значит, прорвёмся, — обратился бодро к сидящему тихо у окна Рамазану Виктор.

— Русский Бог крепкий, Он поможет нам, — твёрдо ответил Рамазан.

— А не на кого нам больше надеяться, — произнёс глухо Виктор, — окромя себя и Бога.

Шли дни, а самолёт всё не прилетал. Каждый день Рамазан бежал на лёд, страхивал с ёлок снег, всматривался в небо, будто со льда его лучше видно. Уже иссякали запасы сухарей. Муку берегли на последний, как говорится, случай. Уже никто не требовал от Мишки рассказать анекдот. Да и кончились уже анекдоты: приходилось повторяться, что не вызывало смеха. Смешные истории, которых тоже в изобилии знал Мишка, вызывали горькую досаду. Даже разговаривать между собой стали мало, будто лень сделалось ворочать языками. Все чего-то ждали, и это “что-то” был самолёт, который не прилетал, и надежда таяла с каждым днём. Всё чаще ребята посматривали на своего бригадира, ожидая, что он каким-то чудесным образом разрешит главную проблему. Уже несколько раз Виктор намекал, что придётся добираться пешим ходом. И все понимали, что дело это почти неосуществимое,

ибо почти двести километров пройти по снегу в такие морозы пешком — это риск смертельный.

Ударили морозы за сорок. Решили переждать. Наступила полярная ночь. Теперь уже точно самолёта не будет. Ночью на озеро никто посылать самолёт не будет — слишком рискованно.

И вот немного попустило, градусник уже второй день показывает тридцать. Но подул ветер. Так всегда на севере: как только уходят морозы, приходят метели.

И всё же решили выбираться из этого опустылевшего логова. Виктор строго осмотрел каждого: проверил одежду, лыжи, рюкзаки, потрогав лямки.

— Запасные варежки не забыли?

— Не забыли, — чуть не хором ответили ребята.

— Спички?

— Есть.

— Так... топоры, посуда, одеяла... — перечислял Виктор, чтобы не забыть, чтобы не произошла непоправимая ошибка. Дорого может стоить забывчивость или пренебрежительность к мелочам.

— Ну, что, трогаем! — скомандовал Виктор, когда всё было упаковано, увязано. — С Богом! — он широко перекрестился и шагнул на лыжах в пургу. За ним с вигом взяли с места собаки, следом — Рамазан и Валерка с рюкзаками на плечах.

31 октября, Москва, 22 часа 00 мин. Кремлёвская столовая

— Товарищи, — нарушил гнетущую тишину Никита Сергеевич, — мы сегодня выполнили волю народа: захоронили Иосифа Сталина у Кремлёвской стены. Ни у кого не должно остаться ни малейшего сомнения в том, что данное решение правильное и справедливое. Я ещё раз зачитаю постановление XXII съезда нашей партии. — Хрущёв достал из внутреннего кармана листок, расправил его: — “Серьёзные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее Владимира Ильича Ленина”. Это, товарищи, постановление съезда, это воля делегатов, а значит — воля народа!.. — В этом месте он посмотрел на сидящего рядом с ним Спиридонова, озвучившего с трибуны съезда это важное решение партии. — Вот Спиридонов с высокой трибуны съезда об этом говорил. От имени всего советского народа говорил... Это я сейчас процитировал слова из его доклада, товарищи. — Хрущёв потряс в воздухе бумагой и, окинув всех острым взглядом, продолжил: — А мы должны учитывать эту волю, на то мы и есть народная партия. Вы выполнили важное поручение нашего советского народа. Мы, товарищи, несмотря на все недочёты, указанные выше, помним о роли товарища Сталина в годы становления советской власти, в победе в Великой Отечественной войне, и похоронен он в самом центре нашей столицы, товарищи. Мы будем помнить его, чтить его память, но и об ошибках нужно помнить. Культ личности, — в этом месте Хрущёв поднял указательный палец свободной руки вверх, — это, я вам скажу, политическая ошибка, это допущенная близорукость... Выпьём, товарищи, за упокой души его, пусть покоится с миром.

Все враз встали одновременно без всякой на то команды, так же синхронно подняли рюмки с уже налитым коньяком, опрокинули, как по команде. Со стороны могло показаться, что все движения были тщательно отрепетированы. И это предположение не так уж далеко от истины, ибо поводов, собирающих людей за столами, бывает в жизни каждого человека достаточно для того, чтобы действовать в каждом случае так вот стадно, так единообразно.

— Пусть земля ему будет пухом, — сказал негромко отставивший от коллектива Николай Михайлович. Но услышали все. Он не знал, что бы ещё сказать в такой ситуации, он боялся сболтнуть лишнего, он уже испугался и того, что невольно вырвалось. Сердце сжалось, отдалось жгучей болью за грудиной. Левая рука в бессознательном порыве потёрла больное место.

И это заметили присутствующие. Многие знали о его “сердечных делах”. Чисто по-человечески он почувствовал некую несправедливость, свершённую сегодня по отношению к только что погребённому вожделю. Теперь уже — бывшему. Николай Михайлович ощутил холодный животный страх и поймал себя на мысли, что привык бояться всего: бояться прямо зубодробительного взгляда Сталина, теперь он вздрагивал с первыми нотками визгливого окрика Хрущёва, он боялся ночных звонков, стука в дверь, он боялся любого шороха, он боялся тишины... Вдруг он встретился с холодным пронизательным взглядом Ивана Спиридонова.

Он знал, что молодой Иван Васильевич метит в ЦК. Первое важное поручение первого он уже выполнил: озвучил волю народа о захоронении Сталина на съезде. Николай Михайлович опрокинул рюмку, ощутив ожидаемую жгучесть во рту. Его передёрнуло, судорогой свело рот, который он прихлопнул ладонью, потом помахал перед устами. Проглоченный коньяк рвался обратно, сотрясая живот конвульсиями. Иван Васильевич криво улыбнулся. Эта сдержанно-ироническая усмешка царапнула израненную душу Николая Михайловича. Все знали, что первая рюмка Николаю Михайловичу даётся трудно. Это даже стало причиной для насмешек.

— Ничего, после третьей покатыт, — криво улыбнувшись наискось, шепнул Никите Сергеевичу Спиридонов. Никита Сергеевич, не привыкший сдерживаться перед подчинёнными, широко открытым ртом неуместно захохотал. Косым взглядом, перехватив широкую улыбку первого секретаря и взгляд, направленный на него, Николай Михайлович безошибочно принял её и донёсшийся хохот на свой счёт.

Его снова сковал страх быть выброшенным на обочину, быть схваченным, разоблачённым в крамольных мыслях. То считал он свою службу пустячной и никчёмной: ведь, по сути, он ничего не решал; то вдруг возникало душевное возвышенно-восторженное ощущение где-то глубоко в груди. Это обычно случалось в минуты мысленного погружения в атмосферу всеобщего восторженного восприятия докладов высших партийных чинов партактива. Раньше такое чувство вызывали речи Сталина, теперь — Хрущёва.

Но чаще Николай Михайлович испытывал другие чувства, они возникали под долгим тягучим взглядом товарища Сталина. Никогда не знаешь, чего ожидать от него в очередную встречу. В такую минуту тягостного ожидания холодело в груди, будто скользкая гадюка заползала; а тот, будто узревая эту гадючку, вдруг улыбнувшись снисходительно, приговаривал с растяжкой:

— Ви чего испугались, дарагой товарищ. Вам, Николай Михайлович, как честному коммунисту волноваться нечего... пока...

После этого “пока”, следовавшего после внушительной паузы, в ногах исчезала твёрдость, глаза искали опору. И этот неуверенный взгляд будто расшифровывал Сталин:

— Садитесь, — говорил Иосиф Виссарионович, указывая дымящейся трубкой на свободный стул.

Николай Михайлович вытер холодный пот со лба.

— Товарищи! — разрезал тишину скрипучий голос Никиты Сергеевича. — Слово предоставляется председателю комиссии по перезахоронению товарищу Швернику.

Объявление первого секретаря застало Николая Михайловича врасплох: он в это время вилок ловил скользкие грибочки в своей тарелке. Звонко звякнула вилка, брошенная нетвёрдой рукой.

— Дорогие товарищи! Созданная Центральным Комитетом комиссия, возглавляемая мною, выполнила важное поручение съезда, можно сказать — выполнила волю народа, — после официального вступления председатель комиссии сделал паузу. Он не знал, куда повернуть дальше, уместно ли здесь отметить заслуги Сталина. На язык уже лезли слова, воздававшие, как казалось Николаю Михайловичу — совершенно справедливо, если не хвалу, то во всяком случае заслуженную признательность за достижения советского народа под руководством... Но не решился. На критику тоже духу не хватило. Пауза затянулась.

— Ну, ладно, — перехватил инициативу Никита Сергеевич, — зарыли — забыли! — грубо продолжил он. — Мы выполнили, как сейчас сказал товарищ Шверник, волю народа! Прошу это помнить. Вот Иван Васильевич на съезде доложил об этом. Толковый доклад, молодец, — Хрущёв положил руку на плечо соратника. Иван Васильевич приосанился, вскинув голову. — Это воля народа! — Никита Сергеевич возвысил голос, будто не только присутствовавших, но и себя убеждал в правильности и справедливости сегодняшнего действия. — Прошу выпить за наше правое дело, за дело коммунизма! — Хрущёв поднял в вытянутой руке рюмку, наполненную доверху.

За такой тост невозможно было не выпить. Так же одним единым коллективным движением опорожнили рюмки. Николай Михайлович отметил, что вторая рюмка прошла легче.

— Вы тост хотели произнести, товарищ Джавахишвили? — заметив некоторую активность в конце стола, спросил строго Хрущёв.

— Нет, товарищ первый секретарь, он спрашивает, подадут ли мороженого чира. Строганины уж очень хочется, — как-то развязно сказал генерал Захаров.

— Приучил вас товарищ Сталин к сырой рыбе, — ворчливо, но не зло заметил Никита Сергеевич. — Григорий! — позвал он громко повара. Тут же явился Григорий с подносом в руках. На подносе лежала большая рыбина с уже снятой кожей. Тут же, на столе, Григорий мастерски начал строгать мороженую рыбу. Белые завитки ложились на большое блюдо. Григорий ловко посыпал каждую стружку солью и чёрным перцем.

Рюмки снова наполнились коньяком.

— За наш советский народ, за светлое будущее, за коммунизм во всём мире! — подхватил тему Джавахишвили.

Выпили. Закусили строганиной. Только Никита Сергеевич и Спиридонов отказались: так и не приучившись к сырой рыбе, они закусили заливным сигом.

— Как называется эта чудесная рыба? — спросил генерал Захаров. — Я всё время забываю.

— Это чир — самая лучшая рыба, — ответил Григорий.

— А откуда её привозят? — продолжал любопытствовать генерал.

— Эта — из Красноярского края, откуда-то с самого севера, это енисейская рыба, — Григорий продолжал строгать белую нежность енисейского чира. — Из Игарки, говорят.

— Это где стройка номер пятьсот три была? — спросил генерал.

— Да, товарищ генерал, где стройка номер пятьсот три, — подтвердил Григорий.

— Выпьем за тех людей, что ловят такую рыбу! — вдруг спонтанно выкрикнул генерал Захаров.

— Выпьем!

— Выпьем!

— Выпьем, — послышались робкие возгласы.

Выпили. После легко проглоченной уже далеко не первой рюмки коньяку Николай Михайлович, осмелев, произнёс:

— Товарищ Сталин к сырой рыбе пристрастился в ссылке, это у него — с молодости, с Нарыма, так сказать, и с Курейки. Ему и в Москву частенько присылали северную нельму, чира, муксуна, — осмелевшему Николаю Михайловичу вдруг захотелось обозначить свою осведомлённость на такую, как показалось ему, нейтральную тему, не могущую повлечь последствий: не всё можно было обсудить в этом строгом и беспощадном кругу так называемых друзей, — но раньше он получал такие посылки от случая к случаю, а вот уже с сорок восьмого года поставки рыбы стали постоянными. Как-то вызвал нас с Анастасом Микояном товарищ Сталин и говорит: “Подумать нужно, товарищи, над одним вопросом, нужно организовать поставки северной рыбы...”

— Товарищ Сталин позаботился, чтобы на северах оказалось достаточно рыбаков, безвинно, заметьте, репрессированных. За это мы его и осуждаем, — съязвил Никита Сергеевич, грубо перебив Шверника, — но многие

из них уже вернулись домой, реабилитированы. Мы ещё многих реабилитируем. Так что скоро без сырой рыбы останетесь... сыреды. — Никита Сергеевич после этой реплики зычно захохотал.

Никита Сергеевич отметил с удовлетворением для себя, что тема разговора сменилась; отметил он и то, что Николай Михайлович легко пропустил очередную рюмку, даже не поморщившись. Это говорило о том, что всё пошло нужным руслом, что люди уже готовы забыть сегодняшнее тягостное для каждого событие. Собственно, для того и пили коньяк, чтобы забыть.

— Я хочу тост... — начал Джавахишвили после непродолжительной паузы.

— Никаких тостов, Гиви, — грубо оборвал Хрущёв, — наливайте, пейте, закусывайте сыр-р-ым чиром... Сегодня не тот повод, чтобы тосты провозглашать. Будут ещё события, будут ещё поводы. Я верю. Вот построим коммунизм, тебе первому дам возможность, Гиви Дмитриевич, тост поднять. А сегодня никаких тостов! Наливайте, пейте, закусывайте...

1–5 декабря 1961 года, озеро Хантайское — Игарка

Резкий и колючий ветер со свистом прорывался сквозь редкий ельник, срывая оставшиеся клочья смёрзшегося снега с размашистых лап. По небу быстро мчались мрачные тучи; не успевая просыпаться снегом, они грязными клоками серой ваты уносились за острые вершины колючих елей. Между качающимися елями собачьими хвостами носилась позёмка... Мороз не ослабевал, держа в своих цепких лапах и путников, и лес, и небо, и звёзды, и всех обитателей этой северной земли. С бешеными порывами ветра он залезал под выдавшие виды фуфайки путников. Вокруг шапок, туго завязанных грязными шнурками под подбородками, вырос толстым слоем иней, осыпавшийся мелкой порошью от резких порывов ветра. Веки, брови, клоки волос, выбивающиеся из-под шапок, уже давно покрылись крупным ледяным бисером. Сначала ребята срывали образующиеся ледяные наросты, но они вновь образовывались с неотвратимым постоянством. Лицо Виктора и вовсе походило на снежный сугроб: борода, усы, брови срослись в сплошную белую маску. И только глубоко посаженные глаза придавали этому снежному кому осмысленность и подобие человеческого облика. Собаки, повизгивая и влзаивая, выбиваясь из последних сил, тащили гружёные сани по лыжному следу. Впереди шёл Виктор. Он торил лыжню, указывая собакам путь. Темно. Небо скоро вывездилось. Тучи прогнало куда-то на юг, выкатилась ополовиненная луна.

— Поднажмите, миленькие, поднажмите, родненькие! — кричал Мишка, держа длинную вожжу в левой руке. В другой руке у него была вышлифованная до блеска крючковатая палка, на которую он опирался. Временами он подталкивал сани, стараясь помочь своим подопечным. За собак отвечал он. Пытались править собаками и Валерка, и Рамазан, но собаки их не слушались, начинали рвать постромки вразнобой, а заканчивалась эта разнособица собачьей потасовкой. И Мишке приходилось мирить рассорившихся собак. К каждой у него свой подход. Знает он, что Джек никогда не отлынивает и не филонит: если уж впрягся, то будет тянуть с таким рвением, что постромки трещат. Не зря же он главный в упряжи — вожак. Он сильнее других собак просто по факту: крупный пёс — помесь овчарки с лайкой.

Берта — дама нежная, ну, это если по натуре. Так-то она сильная собака, выносливая, но не любит разговоров на повышенных тонах. Мишка уже знает: если уж Берта обиделась, то только ласковое слово может её поднять. А иначе ляжет калачиком, уткнёт свой нос под хвост и лежит, прижав уши. Попробуй, тронь в такую минуту, тут же ощерит зубы, да так глянёт на тебя, что мороз по коже. Вот и воркуешь, вот и уговариваешь ласковым словом.

“А Швед — лентяй. Маменькин сынок и есть маменькин сынок, — подумал Мишка. — Ни хрена не тянет. Мамка вон за двоих старается. Ну, молодой ещё”, — нашёл он оправдание молодому коблчу.

— Швед, Швед, Швед! — хрипел Мишка. — Поднапрягись, лентяй! Давай, давай, давай!

“Авай, авай, авай!” — доносилось до Валерки и Рамазана, тащившихся на лыжах следом. У каждого за спиной вещмешок, как и у бригадира. Только Мишка без груза за спиной — ему управляться с собаками, и мешок стесняет движения. Пробовал, но Виктор сам сказал:

— Сними мешок — ты и без него упаришься.

— Берта! Найда, Найда!

“Ерта! Айда, Айда!” — оставалось Валерке и Рамазану. “Джек, Джек, Джек!”, “ек, ек, ек!” — и снег, секущий косо тысячами иголок, и лыжи — пудовые гири, и гудящее внутри сердце, и полуприглушённые шапкой-ушанкой уши, и бело-синее пространство в фиолетовой круговерти. Затяжной подъём забирал силы. собаки тянули, как могли, Мишка подталкивал сани своей клюкой. Подоспели Валерка с Рамазаном. Снова закрыло луну, потемнело враз.

— Рюха, поднажми, Рюшечка-а-а-а!!!

— Подможем, мужики! — упирался клюкой в мешок с сигами Мишка.

— Подможем! — напирал на свою палку Валерка.

— Подможем! — высоко фальцетом натужно выдавливал из себя Рамазан.

В три помочи сани ускорились, Мишка потерял опору, зарылся лицом в снег, но тут же вскочил, помчался вперёд. Нельзя останавливаться. Пока собаки набрали ход, нужно бежать. Догнали Виктора. Он своей клюкой подцепил крайнего пса за постромок и потащил что есть мочи.

— Швед, Швед, Швед! — подгонял Мишка, лишь заметив ослабшие постромки.

— Давай, давай, давай! — хрипел Мишка, налегая на клюку, а сани всё замедляли ход. Взрычал Джек, огрызнулась Берта, взвизгнул Швед. “Авай, авай, авай!” — проглатывалось синей ночью. Сани совсем замедлили ход и остановились.

— Всё! — прохрипел Мишка. — Дальше собаки не пойдут. Что ж, их в первый день ухайдокать, что ли? Да и я уже не могу... Всё! — он устало подошёл к собакам.

Слова его словно подвели черту сегодняшнему дню; все поняли, что Мишка сегодня собак дальше не погонит. Он, сверкнув глазами в сторону бригадира, присел на мешок с морожеными чирами.

— Я, что ли, не понимаю? — достал трубку Виктор. — Собакам нужен отдых, да и нам тоже. Сегодня прошли порядком. Завтра до рыбаков дотянуть бы. Там и обсушимся, и обогреемся.

— Далеко ещё? — спросил Рамазан.

— До рыбаков? Ближе будет, чем сегодня прошли, — ответил бригадир.

— Это хорошо, что ближе, — тихо произнёс Валерка.

— Ну, что, Миша. Отдыхай с собаками, а мы место для ночлега поищем. Вот в том густом ельнике, однако, посмотрим, — обратился он к Валерке и Рамазану, и они втроём скоро растворились в синеве, заплутали в редких кустах, росших по склонам распадка. Ветер стих, небо снова вы звездилось.

Очутившись под куполом звёздного неба один, Мишка вдруг ощутил себя маковым зёрнышком — маленьким-маленьким. И лежащие собаки, к которым он прижался, тоже маленькие, словно муравьишки на большом-большом белом покрывале. И нет края у этого покрывала, и нет у него границ. Так можно ползти день, два, три — вечность, и не найти край. И у неба нет границ, и звёзды чёрт знает, за сколько миллионов километров, и луна такая яркая, и от этого кажущаяся ближе, тоже далеко, однако, от земли. Мишка силился вспомнить расстояние. Читал же где-то, но не вспомнилось. А Гагарин-то был там. Вдруг Мишке подумалось, что даже космический аппарат не достиг звёзд, он не достиг даже Луны. Но, если уж начали летать, так и до Луны доберутся. Только и пишут об этом газеты. Только и говорят теперь о лунных программах, о межзвёздных, а то и межгалактических космических кораблях, которые, конечно же, построят в скором будущем.

И вот он припал лицом к иллюминатору, отчётливо ощущая прикосновение холодного стекла. Словно снежинки у фонаря, проносятся звёзды,

пропадая в чёрной бездне космоса. Что-то подобное он уже ощущал и видел. А, это когда-то он ехал ночью в кабине вездехода, а в стекло летели с бешеной скоростью снежинки. Тогда это зрелище Мишку заворожило. Летят звёзды, мчатся, обтекая космический корабль, направляющийся на свет, на большую звезду, а может, на Луну. Там тепло, там светло...

— Вставай, вставай! — услышал Мишка настойчивый Валеркин голос. — Ты, никак, уснул. Ну, ты даёшь. Помнишь слова Виктора: не дай Бог уснуть на морозе — это конец.

— Но я ведь на минутку, возле собак. Да и я же знаю, что вы придёте за мной, — оправдывался Мишка, — бригадиру не говори...

— Ладно, поднимай собак. Вон там внизу нашли место. Дров там много, тихо, ветра нет.

— То, что внизу, — это хорошо. — Мишка погладил Джека. — Вставай, дружок, — он тронул ляжку. Джек потянулся, отряхнул снег. За ним нехотя поднялись все собаки. Резво взяв с места, они потянули поклажу вниз по склону. Ребята запрыгнули в сани и покатались на запах дыма, на свет костра. Мишка приближающийся свет огня воспринял как доброе предвещие короткого сна.

— Пойей чаю, — обратился к Мишке Виктор, — согрейся, да и собакам поставим. Кипяток уже есть, специально полный чайник наварили.

— Сперва собакам, — деловито ответил Мишка.

Он достал куски налива, предусмотрительно разрубленного перед дорогой, положил несколько кусков в большую собачью кастрюлю, залил кипятком, сверху насыпал снегу, чтобы натаяло, поставил на огонь.

— Теперь можно и чайку, — сказал он сипло.

— Голос, что ли, сорвал? — спросил Рамазан.

— Сорвёшь с ними, — ответил Мишка, кивнув в сторону собак.

— Устал? — участливо спросил Виктор.

— Устал, — просто, без ужимок ответил Мишка, — устал, как собака, — улыбнувшись, продолжил он, — а они, так и вовсе чуть Богу душу не отдали. На последнем подъёме, где поворот вправо, Джек аж обоссался от натуги на ходу. Вот какое напряжение, — Мишка взял из рук Виктора горячий чай.

Джек, услышав свою кличку, повернул голову в сторону хозяина.

— Лежи, лежи, отдыхай. Сварится вам хлебово, поужинаете. Заработали... — Мишка с кружкой подошёл к собакам, — отдыхайте...

Пока Мишка варил собакам рыбу, а Виктор — уху из жирного сига, Валерка и Рамазан притащили два еловых бревна.

— Нодью сделаем, — сказал Виктор. Его лицо от работы у костра приобрело привычный вид. Снежный куржак растаял: рыжая борода запылаха у разгоревшегося костра.

Пока Мишка занимался собаками, Рамазан с Валеркой таскали дрова, Виктор с каким-то неистовым тщанием выбирал снег до самого мха. Сначала он вырубал совковой лопатой куб из плотного снега, потом поддевал его снизу и вытаскивал на плотный снег. И так кубик за кубиком. “Как сахарные”, — почему-то мелькнуло в голове Мишки. Снеговые кубы Виктор выложил плотной стеной вокруг вычищенного до мха пятачка у костра. Получилась просторная площадка, окружённая снеговым валом, который защищал от ветра.

— Это ты хорошо придумал, просто дом получился, но без крыши, — сказал Мишка. Он, покормив собак, подошёл к бригадиру.

— Не я придумал, все так делают: не на ветру же ложиться. Вот и вы теперь будете знать. Займись лапником. Да побольше натаскай.

— Понятно, — с готовностью ответил Мишка, — для себя же...

— То-то же — для себя. А я пока собакам вырою конуру — от ветра чтоб.

— Это ты тоже хорошо придумал, — улыбнулся Мишка, — пойду за лапником.

Он был рад заняться какой-то работой, требующей движения, потому что начал зябнуть, топчась на месте.

Ни мягкие, выстланные еловым лапником лежанки, ни одеяла из шинельного сукна, припасённые для того, чтобы укрыться, не могли спасти путников от жуткого мороза. Они жались к огню, друг к другу, но и это не помогало. Кто хоть раз ночевал у костра, знает, что там работает правило шашлыка: пока греется одна половина, в это время мёрзнет другая. Чтобы не замёрзнуть окончательно, нужно крутиться и извиваться ужом.

Спал ли он, Мишка не мог утверждать категорично. Он то вдруг вздрагивал всем телом и быстро поворачивался, чтобы согреть спину, и тогда перед глазами возникала сплошная синева. Снег, напитанный темнотой ночи и слабо подсвеченный луной, приобретал какой-то чернильный оттенок. Как только спина согревалась, глаза закрывались сами по себе незаметно для Мишки. Он пытался поймать миг погружения в сон, но это ему не удавалось. Тут же возникало лицо бабушки. “Ты, Мишуля, запомни, что я тебе расскажу. Но до поры до времени никому ни-ни”. Она обычно прикладывала заговорщицки палец к собранным в трубочку губам. Мишке всегда казалось, что бабушка, заводя разговоры о своём муже, о тесте, в честь которого и был наречён он Михаилом, будто винилась в чём-то, будто пыталась вложить в его голову мысли, оправдывающие предков, их деяния, вольные и невольные, приведшие семью в невольничьи казематы. “Тебя, Мишуля, в честь прадеда Михаила Владимировича Миррера назвали. Не думай, что его, если царь-батюшка выслал в Сибирь, так он разбойником каким-то был или, не приведи, Господь, изменником родины. Нет, Мишуля, он человеком, знаешь, каким знатным был? По молодости лет в кружках разных в столице участвовал, народовольцем был, за справедливость для простых людей боролись эти люди. Своё разумение о государственном устройстве царю хотели донести, но вот случилось так, что царь не оценил, а может, и не понял. Царь-батюшка недовольство своё изволил так выразить: выслал самых, как ему казалось, опасных подальше от столицы. И прадед твой под горячую руку попал”. Бабушка размешивает сахар, чайная ложечка позвякивает, ударяясь о стенки. Мишка представляет почему-то действительно горячую руку царя-батюшки. Это рука от того горячая, что он чашку держит с горячим чаем, догадывается Мишка. “А почему он не убежал от царя?” — спрашивает Мишка. “От царя не убежишь, у него сила! У него по всей стране сыскальная полиция, сыщики. Везде найдут”. Бывало, бабушка читала ему письмо, написанное Михаилом Владимировичем своей жене в Ялту. Это было единственное письмо, сохранившееся от его прадеда. Он выучил письмо наизусть, ибо бабушка читала его не один, а, наверное, с десятков раз. Каждый раз бабушка плакала, читая письмо Михаила Владимировича жене: “Как-то, мой ангел, моя милая Катечка, поживаешь? Проводила ли Нину, скучаешь или нет? Долго ли ты думаешь пробыть в Ялте? Когда кончается там сезон лечебный? Как бы мне хотелось скорее увидеть, услышать тебя, обнять и целовать, целовать. Вот уже три почты, Катечка, я не имею от тебя писем. Скучно мне становится, когда приходит пароход и не приносит от тебя весточки.

Кончились занятия (мне всё время мешали), начинается уборка, надо идти, надо обедать, а есть совсем не хочется. До свидания, милая, хорошо бы — до скорого. Крепко, крепко целую. Твой всегда Миша”. После окончания письма бабушка обязательно добавляла: “Писано письмо 18 августа 1908 года”. Часто она повторяла, что носил Михаил Владимирович всегда железный браслет из тех оков, в которые был закован во время этапирования в Сибирь, и перстень, выкованный из этого же железа. И никогда не снимал его, да и снять не мог, ибо кисть в него не проходила. Так и похоронили его с браслетом. Мишка будто ощущает холодный браслет на своей руке и просыпается.

Скрипит снег под унтами Виктора, на руку просыпался снег, охолодив кисть. Виктор уже подкладывает заготовленные заранее дрова. Чайник выдвигает из себя какие-то шипящие звуки, переходящие в жалкий свист.

— Бабушка приснилась, — с хрипотцой промолвил Мишка.

— Она у тебя женщина правильная, старой закваски, — подхватил разговор Виктор.

— Да-а-а, она когда-то в институте благородных девиц училась в Томске. Звучит-то как — “благородных девиц”. Я вот о чём думаю: что им, этим моим предкам, в одном месте свербело? Прадед царём не доволен был — сослали. Деду, сыну его, уже советская власть не понравилась — расстреляли, а нам — загнивай в этих северных болотах. Я как на маму посмотрю, так прямо реветь охота. И реву по ночам, только вот стыдно признаться. Я что, не понимаю, почему она к рюмке прикладываться начала? От беспросвету, от безнадеги. А что, думаешь, ей легче от этого становится? Выпьет, обхватит голову руками и ревет как белуга, волосы на себе рвёт. Как она там без меня? — и глаза Мишки увлажнились, голос дрогнул, и он замолчал, чтобы не выдать себя.

— Ты, Мишка, не смей их упрекать. Ни в чём они не виноваты...

— Бабушка тоже только и твердит: не виноваты, не виноваты, — перебил сердито Мишка.

— Молод ещё, горяч. Ничего, пройдёт время — разберёшься. Ни за что можно было загреметь. Мои же ни за что попали. Мои — и прадед, и дед, и отец рыбу к царскому столу поставляли. Так велось испокон веков, как говорится. Никто не знает, когда началось. Углич на Волге стоит, а раньше лавливали там всякую рыбу добрую: и стерлядей крупных да жирных, и осетров добывали. Кружку-то вот эту сам царь прислал после того, как прадед под лёд ушёл с осетрами да стерлядями для царского стола. Вот Император Николай II пожаловал кружку, коврижку какую-то да бутылку вина “Мадеры”.

— Откупился, что ли? — зыркнул Мишка исподлобья, оторвавшись от кружки с чаем.

— Вроде того. Да я не об этом хотел... Получается, когда был царь, ловили для их семьи, пришли большевики, теперь им стали ловить рыбу, и так же в Москву отправлять. Нам-то какая разница, кто там, в столице, на троне. Так вот ловим, возим в столицу — все вроде довольны: мы при деле, им там рыбка наша пригождается. А вот же всё порушилось враз... — Виктор пошевелил головешки в костре, отхлебнул чай, выпустил густой пар, потёр глаза, вроде как от дыму.

Не то от разговору, не то от холода проснулись Валерка и Рамазан.

— Чё не спите? — спросонку не спросил, а прорычал Рамазан.

— О, чаёк поспел, — подсел к костру Валерка, он тёр замёрзшие ладони и дрожал всем своим худеньким телом.

— Ты, случаем, не заболел? — тревожно спросил Виктор.

— Да вроде нет, — ответил Валерка.

— Потопчись, потопчись вокруг костра да принеси пару поленев — согреешься, — напутствовал Виктор, а у самого тревога всё же закралась: от чего это его так взбульндивает. Хотя причина есть — спросонку да в такой мороз самого тоже трясло, пока не расхотелся да огонь пока не взбодрил.

— Я слышал, о чём вы тут шептались, — Рамазан грел руки о горячую кружку, — так чё там порушилось враз? — он посмотрел Виктору в глаза.

— Так вот, — оживился Виктор, — стали мы врагами народа в одночасье. Как так произошло, и сами-то не сразу поняли. Потом только дошло. Мой дед, царство ему небесное, любил повторять иногда при случае, когда рыбу простую едал. А должен вам сказать, что у нас в семье давно так велось, что стерлядей-осетров шибко-то не уваживали — больше щуку или окуня любили. То он, дед-то мой, изрекал: “Баре, оне привыкли сладко кушивать, у них нутро изнеженное, ишшо запоносит с грубой пищи, а мне мёдов не нать, мне и с репки сладко”. Никто никогда не обращал на это внимание. Ну, мало ли чего скажет старый неграмотный человек. А тут так случилось, что услышал эти слова вечный враг нашей семьи Щуровский Тихон — первый что ни на есть активист в селе. Наши родители давно друг на дружку косятся. Говаривали, что ещё дедов наших мир не брал. Что уж там случилось, какая собака меж их пробежала, не берусь рассуждать. Но только донёс Тихон на деда моего, да ещё написал в кляузе, что все мы в семье с им согласились, что наше правительство пролетарское, оказывается, “баре” и что “крайне неуважительно о советской власти отзываются в этой семье,

что, дескать, они могут и противодействие оказать советской власти”, — вот прямо так и написал. Он-то грамоте обучен, он знает, как написать. А тут ещё и корову, не сданную в колхоз, припомнили, и лошадь. А как без лошади? Рыбу-то нужно чем-то возить с реки. Вот и оказались мы здесь на северах. Ну, и кто тут виноват? — обратился Виктор к Мишке.

— И за это загребли? — спросил с недоверием Мишка.

— Вот за это... Ладно, давайте собираться. Собакам варево готово? — Виктор стал поправлять головешки в костре.

— Готово, — буркнул Мишка, — пойду покормлю...

Виктор, укладывая поклажу в мешки, наблюдал, как зашевелились его помощники. Каждый знал своё дело. “Нужно идти, пока они не выдохлись...” — подумал он и слотнул ком в горле. Он знал, что холод забирает силы быстро, и необходимо пройти сегодня максимально возможное расстояние. Завтра будет уже сложнее. “Валерка бы не свалился”, — зародилась тревога у бригадира. Что-то насторожило его вчера. “Он ещё не понимает, но долго не сдожит”, — от опытного Виктора не укрылось недомогание, нездоровый румянец и какой-то меланхоличный блеск глаз.

— Лучше на лыжах идти, чем на месте сидеть, там хоть греешься, — проворчал Валерка, будто считал мысли Виктора о нём.

— Свой рюкзак пристрой на упряжку. Нельзя тебе тащить груз, — сказал громко Виктор, так, чтобы все слышали, чтоб лишнего разговору избежать и домыслов.

— Да я нормально...

— Я сказал! Не рассуждать! — резко оборвал его Виктор. — И ты, Ромка, тоже свой рюкзак туда же пристрой, присматривай за Валеркой.

До Мишки долетела команда бригадира, и он укоризненно посмотрел на Виктора: собакам же тащить.

— Знаю, знаю, Мишаня, что тяжело собакам, но нам сегодня предстоит тяжёлый день. Мне боевые потери не нужны, — по-военному бодро произнёс Виктор. Валерка и Рамазан молчали. А что тут возразишь? Приказ есть приказ. Валерка благодарно посмотрел на бригадира. Он действительно вчера еле дополз до костра.

Отдохнувшие собаки резво вынесли нарту на гору, оттуда шёл длинный спуск по чистому месту, плотный снег хорошо держал.

— Беги вперёд, сколько можешь, а мы за тобой, — скомандовал Виктор. — Вот в таком направлении.

— Клади свой рюкзак, ещё вымахаетесь сегодня, — как-то по-взрослому сказал Мишка, обращаясь к бригадиру, тот замаялся. — Давай, давай, нам же под гору, собаки легко идут.

Виктор снял тяжёлый рюкзак.

— Идите, сколько можете, как станет неважно — мы подоспеём. — Виктор пристроил рюкзак на нарте.

— Мороз крепчает, — заметил Мишка.

— Ничего, зато ветра не стало, да и видимость стала лучше. Тут нам главное после той горы, что впереди, не обмишуриться, а то уйдём не туда. Лишние километры нам наматывать ни к чему. Под горой останись.

— Хорошо. Айда, милые! — крикнул Мишка, и собаки натянули постромки, скрипнули полозья, и нарта помчалась. Мишка, стоя на запятках, стал удаляться от поджидающего Валерку и Рамазана Виктора.

“Господи, сделай так, чтобы с ними ничего не случилось, сохрани их, не дай им замёрзнуть, дай им силы выжить”, — думал в это время Виктор, всматриваясь в уменьшающуюся фигуру Мишки; повернув голову, он наблюдал, как медленно поднимаются Рамазан и Валерка. И то, что так медленно они шли, тревожило бригадира, и в его душу закрадывалось сомнение с каким-то горьким привкусом. Зачем отправил Мишку, вдруг мелькнуло в голове. Наверное, Валерка выбился из сил. Так быстро? Это совсем плохо. Нужно было придержать Мишку, Валерка, наверное, не может идти. Ребята уже совсем близко. Да, Валерка еле передвигает ноги. Плохо,

совсем плохо. Виктор судорожно думал, как выйти из сложившейся ситуации. Он понимал, что Валерке идти дальше нельзя.

— Как дела, Валера? — спросил Виктор.

— Плохо, ноги дрожат, нет сил. Такого со мной ещё не было. Не понимаю, что случилось, — он виновато посмотрел на Виктора.

— Он еле передвигает ноги, — подтвердил Рамазан.

Виктор снял верхнюю фуфайку, снял шерстяную кофту-поддёвку.

— Снимай фуфайку, — скомандовал он.

Он помог Валерке снять фуфайку, надел на его худые плечи кофту, быстро надел фуфайку, также быстро застегнул, чтобы не потерять тепло.

— Посидите, отдохните, а я сейчас лапника принесу.

И Виктор побежал в ближайший ельник. Нарубив еловых лап, он вернулся, верёвками увязал на лыжи к креплениям.

— Ложись, — скомандовал он решительным голосом.

К носкам лыж он привязал верёвку, вдел в петлю палку.

— Берись, Рамазан, за один конец, и потащили.

Сначала волокуша подалась сравнительно легко, но по мере того, как крутизна горки совсем сошла на нет, груз стал ощущаться сильнее, но Рамазан с Виктором, не останавливаясь, тянули за собой волокушу. С каждым шагом становилось тяжелее. След от нарты отпечатался достаточно чётко, и они следовали строго по следу. Далеко показалась чёрная точка. “Догадался бы Мишка подъехать, помочь”, — подумал Рамазан. “Хоть бы Мишка не повернул к нам”, — думал Виктор, понимая, что такие манёвры только утомят собак, а потом всё равно придётся их толкать, тратя силы. “Дотащим”, — думал он.

— Давай-ка передохнём, — предложил Виктор.

— Я сам пойду, — выдал из себя Валерка, — да и согреюсь. Холодно что-то стало.

Виктор понимал, что у него температура, поэтому и знобит, поэтому и ощущает он холод, но и, наверное, одежда увлажнилась. Да и мороз не слабенький. Валерка сел, обхватив колени руками, будто решаясь на какой-то важный шаг. Виктор и Рамазан помогли ему подняться.

— Тут уже недалеко, — впереди уже отчётливо видна была упряжка. Мишка остановился. Дальше шёл подъём, две вершины. Он не знал, куда поворачивать: или влево вдоль ручья, или правее между вершин.

Мишка, наблюдая, как тащили Валерку на волокуше, как тяжело передвигается он сейчас, понял всю серьёзность положения.

— Приехали, — буркнул он.

— Без паники, — грубо и жёстко оборвал его Виктор.

— Далеко до избы? — спросил Мишка.

— Не близко, что мы тут прошли? Совсем ничего, — было ему ответом. — Не считайте метры, километры, — вспылил Виктор, — нам нужно просто идти и идти. Сейчас пойдём в сторону ручья, через три километра будет ельник, сделаем привал, сварим чаю, перекусим.

Уложили Валерку на нарту, Виктор водрузил на себя свой рюкзак.

— Видишь, — обратился он к Мишке, будто оправдываясь, — мах на мах. Твоя повозка не потяжелела.

Мишка смолчал.

— Как собаки?

— Берта припадает.

Виктор с тревогой посмотрел в сторону собак.

— Ну, так что? Погнали? — спросил Мишка.

— Погнали, — тихо сказал Виктор.

— Айда, милые! Джек! Джек! Джек! Берта! Берта! — крик его уносился в синеву. Следом за нартами Мишка бежал на лыжах, то отталкиваясь, то, когда нарта набирала ход, скользил, хоть немного отдыхая: два-три раза оттолкнётся, замрёт, поставив лыжи в параллель. “Откуда он силы берёт, — думалось Виктору, — цыганская кровь”.

А спереди где-то уже далеко доносилось: “Ед! Ед! Ед! Авай! Авай! Авай! Ерта! Ерта!..” — и исчезало в серости полярной ночи.

Лениво разгорался костёр, потрескивали еловые ветки. Валерку подвели к самому костру, где для него соорудили из лапника ложе, в котором он мог полусидеть. У него появился кашель. Обычно приступы кашля возникали внезапно. Валерка бился в мучительных конвульсиях. Казалось, что такие приступы отнимали у него силы. И вот снова Валерка закашлял, прижимая грудь рукой, словно пытаясь унять боль в груди. На парнишку накидали все имеющиеся одеяла, уже жарил всю костёр, уже растаяли куржаки на лицах, и бригадир вновь окрасился в рыжий цвет, а Валерке всё было холодно.

— Согрелся? — спрашивает участливо Виктор.

— Зябко, — отвечает слабым голосом.

Попил горячего чаю через “не могу”, через “не хочу”. Виктор заставил.

— Согрелся?

— Зябко.

— Далеко ещё до избы? — спрашивает бесстрашно Мишка. Он знает, что бригадир не любит этот вопрос, но хочется знать.

— Половину уже прошли.

— Половину — это хорошо, — бубнит Мишка, — Берта совсем сдохла. Она уже сама еле плетётся. Не знаю...

— Нам балласт не нужен, — угрюмо сказал Виктор.

— Ты что удумал? — встревожился Мишка.

Виктор поднялся, подошёл к упряжке, отстегнул БERTУ и повёл в ближайший ельник. Она послушно, шатаясь, поплелась вслед бригадиру. Ухнул выстрел. Мишка не шелохнулся, только вытер мокрое лицо. Вернулся Виктор, подсел к костру.

— Что смотришь так? Думаешь, я зверь бездушный? — голос Виктора набирал силу, напор.

— Жалко, понимаешь? — просипел Мишка и размазал по лицу мокроту, — но она бы уже не поднялась.

Мишка подсел к Валерке.

— Ты-то как, Валерка? Держись, — голос его дрожит.

— Я всё равно умру, — полушёпотом говорит Валерка, — оставьте меня здесь. Я всё равно умру, — повторяет он, и слёзы катятся из глаз прямо ручьём, и даже вздрогнуть, зареветь в голос нет сил.

Как не хочется умирать! Как не хочется оставаться в этом мёрзлом синем мире, где нет никого и ничего. Только вороны... Но Валерка думает о пацанах, и ему их очень-очень жалко, жалко друзей: вдруг не выдохнут, вдруг, ставши непосильной обузой, помешают им выжить, знает же сам, как тяжело. Собаки не выдерживают... Берта не выдохнула...

— Не говори так. Не твоё это дело, не дело человека предсказывать свой конец. Грех это. Господь думает, кому сколько отпущено, в его руках всё: и рождение человека, и жизнь его, и кончина. Никто не знает! — громко, чтоб услышали все, провозглашает Виктор.

— Вам без меня легче будет. Только весной заберите, а то ворон глаза выклюет. Больно... Помните, как у чира печень выклёвывал, — Валерка ревел.

— Что ты мелешь, — отмахнулся Мишка, — не бросим мы тебя, дотщим. Если уж на то пошло, так чира можем оставить, но пока справляемся.

— А зачем, действительно четыре мешка рыбы прём? — спросил Рамазан. — Да выбросить её на фиг! Всё же легче будет.

— Тут, мужики, такое дело. Это наш заработок. Что ж мы, зря горбатились? Продадим — разделим, а во-вторых, мало ли что в пути. Пока можем, будем тащить, — сказал твёрдо бригадир, и больше никто эту тему не трогал.

“Когда кончится эта ночь, когда кончится мороз, когда это всё кончится”, — носятся в голове гудящими пчёлами мысли. Мишка тянет вожжи, пытаясь резким взмахом взбудорить собак.

— Швед! Швед! Миленький, не падай, вставай, вставай, встава-а-ай!!! — орёт Мишка и не выдерживает, рыдает громко, не стесняясь ничего

и никого. — Не могу больше, не могу!!! — кричит, падая в снег. — Пристрели меня, бригадир, не могу больше!

Рядом валится в снег молчаливый Рамазан с остекленевшими и безразличными глазами.

— Валерка живой? — спрашивает он тихо, и нет в его голосе звонкости, выказывающей уверенность или хотя бы маломальскую твёрдость.

— Живой, — хрипит Виктор.

— Далеко ещё? — спрашивает равнодушно Мишка.

— Вон за той горой увидим... Рядом уже, мужики, потерпите, родимые, — и голос его дрожит.

— Что увидим?

— Свет увидим... свет... от огней...

— Свет... от огней... свет... свет... — шепчет Мишка и засыпает.

— Не спать! — кричит Виктор. — Не спать, вашу мать! Не спать! — орёт он так, будто весь мир хочет разбудить.

Мишка просыпается и видит, как Виктор трясёт Рамазана, а тот, как портянка на ветру, болтается, голова на тонкой шее летает в стороны. Мишка бросается на помощь Виктору.

— Не спи, Ромка, не спи, — говорит тихо, гладит лицо Рамазана, а тот выкатил зрачки откуда-то снизу, и смотрит отрешённо.

— Я нормально... я нормально, — лепечет Рамазан.

— Вставайте, мужики, пойдём, — умоляюще сказал Виктор, — боюсь я. Боюсь, что тоже усну. Тогда — всё...

Он потёр глаза тылом варежки, поднялся.

— Айда, Джек! — крикнул Мишка, стегнув вожжой. — Рюха, Найда, Швед! — крикнул он, подстёгивая вожжами. Собаки нехотя поднялись. Только Швед остался лежать. — Швед! Шве-е-ед!!! — заорал Мишка, и его крик перешёл в какой-то дикий рёв. — Шве-е-ед!!!

Швед лежал не шелохнувшись. Виктор достал нож, шатаясь, побрёл к собакам.

— Не трожь Шведа! — крикнул Мишка, бросившись на Виктора, но тот только отбросил низкорослого юношу. Мишка кувыркнулся в снег, снова поднялся. — Не трожь, я сказал!!! — орёт Мишка в синюю ночь.

Снова тычок в лицо. Мишка снова свалился в снег. Виктор подошёл к собакам, отрезал постромку Шведа. Собаки, словно почувствовав освобождение, сдвинулись с места.

Поднялся Мишка, схватил вожжи.

— Погнали, мужики-и-и-и! Погнали!!! — кричит Виктор, наваливаясь всем своим весом на нарты.

— Айда, Джек! Айда, айда! Джек! Джек!!! — с каким-то остервенением, нарастающей болью заорал Мишка.

Рамазан и Виктор, упираясь ногами в снег, подтолкнули нарты, и они начали разгон.

Уже по прошествии многих лет Мишка, выросший в Михаила Сергеевича, вспоминая те мгновения, те века и ту бесконечность, в которую превратились несколько суток пути от озера в посёлок, искренне удивлялся тому обстоятельству, что дошли, что выжили. Долго происшедшее с ними воспринималось как бы со стороны, как будто не с ними это происходило.

Он, иногда срываясь на скупой мужской всхлип, ронял хрипло: “Чуть не сдохли, не было уже надежды никакой...” — и не находил других слов. А бывало, нахлынут воспоминания, польются исповедальными словами. И тогда он вспоминал и рассказывал, рассказывал, рассказывал, пытаясь воскресить каждую деталь, каждое оброненное тогда товарищами слово. И как много значили вот эти детали, вот эти слова...

Разве забудет он, как они толкали нарту в гору, как, запинаясь огромными унтами о снег, падали, катаясь в снегу, поднимались, толкали, выбиваясь из сил; как визжали собаки, как Берта, свернувшись калачиком, отказалась тянуть; как уговаривал её Мишка, стоя перед ней на коленях, упрасивал:

“Ну, хоть немножко, ну, ещё немножко, потерпи, родная, потерпи...”. И она, будто понимая слова, отзывалась на просьбу, вставала, но через какое-то время снова ложилась. Мишка понял, что — всё... Боялся сказать бригадир, всяко выгораживал БERTУ, искал причины остановиться, чтобы дать ей передых.

Разве забыть ему тот выстрел, сухо хрустнувший в ельнике, куда увёл Виктор БERTУ... И помнится ему, не возникло в душе чувства вселенской боли, обиды на бригадира.

Почему-то всё тогда казалось целесообразным и логичным, даже потеря БERTЫ.

Разве забыть ему, как этот здоровенный рыжий мужик, наделённый, как казалось тогда им, пацанам, железными нервами и просто нечеловеческой физической силой, стоял на коленях в углу холодной рыбацкой избы, до которой еле доползли с уже теряющим рассудок Валеркой, и, вздрагивая плечами, молился. А в это время Рамазан, растапливая печку, тоже рыдал так, что не мог зажечь спичку деревянными пальцами. Он косо смотрел на молящегося Виктора и повторял, как мантру: “Русский Бог крепкий! Русский Бог крепкий!” Но руки не слушались его.

Разве такое забудешь?

И тогда Мишка взял у него коробок, чиркнул, поднёс под бересту. Разве забудешь этот спасительный огонёк, это спасительное тепло...

Как хотелось отоспаться в тёплой избушке, но бригадир разбудил их буквально через пару часов и снова погнал вперёд:

— Валерку нужно срочно в больницу, срочно! Понимаете, срочно! — рывкнул он по-звериному, когда Мишка не хотел вставать, просил ещё чуток полежать на тёплых нарах.

— Хотя часок ещё, — просил Мишка.

— Этого часика может не хватить Валерке, — уже спокойно сказал бригадир, — понимаешь?

— Понимаю, — сказал Мишка и начал одеваться.

Так же нехотя одевался Рамазан. Все понимали, что сейчас решается главный вопрос, вопрос жизни и смерти. И это не слова, это жестокая явь. И всё было так понятно и так наглядно. Всё поняли Рамазан и Мишка...

А когда заприметили зарево над городом — этот спасительный, воистину божественный свет, несколькими столбами поднимающийся ввысь, конечно же, к самому Богу (именно так тогда подумалось им), наконец-то осознали, что спасены, что дошли, дотерпели.

Разве забудешь...

Разве забудешь, как заливались слезами, как ревели они громко и безо всякого стеснения, уверовав наконец во спасение. Как ползли на коленях, толкая нарту, а три оставшиеся собаки, будто понимая всю бедственность положения, тянули постромки за пятерых.

— Господи! — воскликнул тогда Виктор дрогнувшим хриплым голосом, — Ты воистину справедливый и милосердный!

И он истоиво крестился, пока никто не видит, пока город далеко, и не стеснялся своих обильно льющихся слёз. Крестился Мишка, и даже Рамазан что-то подобное крестному знамению выводил непослушной рукой. И слёзы, теплотой своею исходящие из самой души, из самого сердца, согревали обмороженные лица. И по лицу Валерки текли слёзы, и он всхлипывал, как ребёнок, пробудившись вдруг из небытия.

Разве такое забудешь?..

Помнит всё Михаил Сергеевич. Оглядывая окрестности Игарки, он приглядывает седые волосы, взъерошенные вольным ветром.

— Вот отсюда мы поднимались, — показывает он рукой на север, и глаза седовласого мужчины заволакивает влагой чистой и исповедальной. — А вот в том логу нас крестили, — показывает он в другую сторону. — Это сейчас там воды нет, а тогда весь лог был залит водой.

А больницу, куда дотащили всё же живого Валерку, разве забудешь; разве забудешь оброненное кем-то из врачей, что, дескать “не жилец”. Есть ли

слова, которые обскажут, выразят, сутью своей окажутся равносильными тому состоянию, которое возникло?

Нет таких слов. Но Мишка всегда находил какие-то слова, когда хотелось поведать о пережитом, когда хотелось взбередить свою душу этими тяжёлыми, но своими воспоминаниями.

А Валерка выжил. Врачи приписывали спасение недавно завезённому пенициллину, а это лекарство, как они утверждали, при пневмонии самое действенное и сильное средство.

А Мишка по-своему думал. У него на этот счёт было несколько иное мнение: лекарство лекарством, а всё же — Бог помог, потому, что молился Мишка, как мог, на иконку бабушкину, которая хранилась завёрнутой в белую материю вместе с семейными фотографиями, а бабушка научила его молитвам о здравии. И мама, испуганно косясь на дверь, тоже молилась на освобождённую от пут на время молитвы иконку. И Виктор молился, вот Бог и услышал, и сотворил чудо, потому что, как повторял часто Рамазан, — русский Бог крепкий.

ОЛЬГА КОЗЛОВЦЕВА

ИНТЕРНАТСКОЕ ДЕТСТВО

Цветные байковые платья,
По счёту — ровно двадцать пять,
Висят на стульях у кроватей,
Пока хозяйки крепко спят.
Что снится нам в мороз и стужу:
Далёкий дом, подруга, мать?
Я сна чужого не нарушу,
А свой смогу ли рассказать?
Картина трепетно знакома:
Сундук на кухне у печи,
В углу — старинная икона
И блеск мерцающей свечи.
Играет розовое пламя,
Тепло стекает на ладонь,
А мы сидим, прижавшись к маме,
И смотрим с грустью на огонь.
Мы отдаёмся безраздельно
Мечте незыблемой, одной —
Продлить на целую неделю
Короткий этот выходной.
...Давно живём не в интернате,
И снятся нам другие сны —
Цветные байковые платья
И дом, в котором мы росли.

ЧЕРЁМУХА

На улице серо и сыро,
Тропинки листвой занесло.
Черёмуха странницей сирой
Скребётся ветвями в стекло.
На рваной промокшей одежде
Заплаты углами пестрят.
Родимая, где же твой вешний,
В цветах белоснежных наряд?
Стучишь, как незваная гостья,
Устав на исходе пути,
И резко срывают лохмотья
С тебя проливные дожди.

Ни удали прежней, ни силы...
Неужто и юность моя,
Похожею странницей сирой
Стоит за окном у меня?

СЧАСТЬЕ

Всё в этом мире в Божьей власти,
Один Господь хозяин нам.
Моей семье послал Он счастье —
Три килограмма тридцать грамм.
И нам великой самой мерой
Измерить счастье суждено.
В нём всё: любовь, надежда, вера
Слилось в дыхание одно.
В нём много нежности и силы!
В нём неба свет и свет земли...
И в честь епископа — Василий —
Мы счастьем имя нарекли.
Молюсь я Богу всей душой
По вечерам и по утрам
За счастье самое большое —
Три килограмма тридцать грамм!

г. Рязск Рязанской области

НАТАЛЬЯ СКОРОДЕНКО

* * *

Ты подумай, совсем недавно
Наша мебель казалось новой,
И курила “БТ” мама
В синей джинсовой юбке
модной,
И московские переулки
Пели голосом Окуджавы,
И взрослому девичье сердце,
Слыша бардовский звук гитары.
Тополя улетали в лето,
А дорога манила в чудо
Лета спелого, где когда-то...
Нет, уже никогда
не буду.

* * *

Бывает так —
Спокойно и тепло,
Как в детстве, хорошо
В привычном доме,
Но зябко тянет
Холодом в окно
Сквозь щели
На прокуренном балконе...

В моей душе —
Уверенный покой,
Светло и хорошо.
Но тянет стужей —
Я не закрыла двери
За тобой,
Мне, вопреки всему,
Ты очень нужен.

* * *

Сжимает грудь бульварное кольцо
Тревоги в ощущение листопада,
Осенний ветер хлещет мне в лицо.
Ты не со мной? Так не звони. Не надо.
Я эту осень
 не хочу делить на два —
Одной мне мало золота и света
Отдай мне жизнь — довольно франтовства! —
Взамен на зря
 поделенное
 лето.

г. Москва

МОИСЕЙ ЛЕМСТЕР

СВЕТ ЛЮБВИ

Да когда это было?! — попробуй сейчас назови...
Отстранясь от всего, мы остались с тобой только двое
в деревенском доме, там, где свет нашей нежной любви
испытанием тьмы проверяло пространство ночное.

Догорали лучи, и уже становилось темно.
В этом зыбком тумане тянуло во всём сомневаться,
но тела наши голые страстно сливались в одно,
среди лучей, как иголка в стогу, не боясь затеряться.

И мерцающий свет наших тел, от земных отрешаясь забот,
вылетал из распахнутых окон туда, где просторы да воля,
а затем, отражаясь от тёмных небесных высот,
вновь сюда возвращался до сада, до леса, до поля.

Словно замерло время над всею земной суетой
на мгновенье одно, лишь мгновенье и даже короче —
это пламя любви — нашей грешной любви молодой
многоцветием красок раздвинуло сумерки ночи.

ВЕНОК

Букетом красивых цветов из долины,
где много широких цветущих полей,
для тех, кто когда-то мной были любимы,
стихи о любви моей в книге моей.

Кто в вечность ушли,
будут ждать со мной встречи...
Как я их любил и был ими любим,
расскажут стихов поминальные свечи —
свет пламени чист, словно слёзы по ним.

Пусть в пламени чувств меня страсти сжигали,
но душу и сердце сумел я сберечь:
любимые женщины жизнь освещали
своею любовью, как пламенем свеч.

А Богу, что дал мне и сердце, и душу,
все эти стихи, как венок из молитв,
за то, что предстать перед Ним я не струшу,
ведь каждый мой день был с любовью прожит.

г. Бат-Ям, Израиль

(Авторизованный перевод с идиша Валерия Фокина)

АЛЕКСАНДР КЛИНДУХОВ

* * *

Закат ушёл. И всё стемнело вдруг.
Ни зги не видно, завершился круг,
И мир стоит пред новым назначеньем.
Сначала ночь пройдёт в тиши веков,
И мир исчезнет, словно был таков,
И унесёт его реки теченьем.

И вот рассвет, он каждый раз другой,
Как занавес, невидимой рукой
Он поднимает солнце над землёю.
А я стою, проживши жизнь свою,
И ничего совсем не говорю,
Оторопев пред вечною зимою.

* * *

Зверобой расцветает своим ярко-жёлтым расцветом —
То июнь на исходе, и лето восходит в зенит.
И, по правде большой, этим не раскачавшимся летом
Мне уже шестьдесят — я по-прежнему незначенит.

Облетает пчела неприметные с виду соцветья,
Собирая лишь видимый ей драгоценный нектар.
Так и я всё летаю... Столетия сменяют столетья...
Порастратил в полёте я свой независимый дар.

Только осень пришла, раскидав свою краску повсюду,
Её помыслы мне, постаревшему, тоже ясны:
Она хочет, наверное, чтоб мы поверили чуду,
А затем, как медведи, уснули до самой весны.

Пробужденье придёт. Зверобой расцветёт ненароком,
Одурманит, как раньше, нас запахом диких полей.
Но любое цветенье всегда ограничено сроком,
И поэтому ты никогда ни о чём не жалеи.

г. Киров

ИЗЯСЛАВ КОТЛЯРОВ

* * *

На этом сумрачном веку,
который не в почёте,
вы тоже в “Слове о полку...”
всё о себе прочтёте.
Метёт за окнами зима —
неужто впрямь всё та же?
Междоусобиц времена
и не кончались даже.
Бояна вещего персты
вновь струн живых коснулись
так, что ограды и кресты
погостов содрогнулись.
Что Минск, что Киев, что Москва?!
Вновь “мыслию по древу”
он ищет главные слова
по совести и гневу.

* * *

Богу стихами молись,
может, придёт пониманье:
стих — изречённая мысль, —
та, что в Священном Писанье.
Гаснет иль зыблется свет?
Мысль или совесть немеет?
Новый иль Ветхий завет
душу твою отогреет.
Всё же сказать не дано
истиной истины эти...
В Ветхом — ты умер давно,
ожил ты в Новом завете.
Стих и стихия — родня,
сутью звучанья похожи.
Что же стихи для тебя,
если не промысел Божий?

г. Минск

ВАЛЕНТИН АНОЦКИЙ



ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ИИСУСА

РАССКАЗ

1

В конце концов, Самокурову это надоело: в туалете, в сливном бачке, всю ночь тихо, с короткими перерывами, журчало, будто кто-то, разбитый хроническим простатитом, с трудом выдавливал из себя последние миллиграммы. Даже более громкие звуки в виде упавшей гири на потолок (у них — на пол) или семейные разборки из-за стены, или хриплый собачий вой от тоски по забору не вызывали такой ненависти, как это тихое, застенчивое журчание. Иногда он пытался приручить эти звуки, представляя себя на берегу ручья, в окружении леса и гомона птиц, и это порой удавалось, но губительность этих звуков заключалась в их монотонности, не зря же хитрые китайцы придумали тихую и бескровную казнь: падающие сверху капли воды на голое темечко обездвиженного человека. Через некоторое время капли превращались в гири, и человек сходил с ума. Именно от монотонности.

После завтрака, преисполненный раздражением и желанием сегодня же покончить с ночным безобразием, он вошёл в соседний подъезд, где

АНОЦКИЙ Валентин Романович родился в 1950 году в Горловке Донецкой области. Детство и юность прошли на Сахалине в Холмске, где он закончил мореходное училище, после окончания которого был направлен в Находку. После окончания Иркутского пединститута иностранных языков им. Хо Ши Мина работал в морском агентстве "Инфлот", а затем перешёл на службу в таможню. Первые публикации в журнале "Дальний Восток", в коллективных сборниках Владивостока. В Иркутске подружился с Валентином Распутиным. Вскоре по рекомендации мастера вышел первый сборник "Тайник", за которым последовали многочисленные другие публикации. Член Союза писателей России. Генерал-майор таможенной службы.

располагалась управляющая компания. Диспетчер, женщина с голосом простуженной сирены, сходу подпитала раздражение, заявив, что свободных слесарей нет, и запись идёт только по аварийным показаниям. Но оказался на месте управляющий, и это внушало надежду. Самокуров решительно постучал в дверь и после невнятного мычания изнутри вошёл. По первому впечатлению, как от внешнего вида — слегка небритый, слегка примятый, сильно прокуренный, — так и от внешней обстановки — горы бумаг на столе, полная окурков пепельница — управляющий не мог управлять никем и ничем в принципе. Раньше Самокуров встречался с ним во дворе, иногда здороваясь, иногда нет — так же, как поступал тот, в своей вечной озабоченности и задумчивости.

— Капает, да? — выслушал он посетителя.

— Журчит, — скривился Самокуров.

— А самому подтянуть слабо?

— А в каком месте? Подтянешь, а оттуда струя в девять атмосфер!

— Надо же, в девять! — рассеянно повторил управляющий и тут же схватил едва звякнувшую телефонную трубку.

— Семён Семёнович, не беспокойтесь, никакой забывчивости, просто утренняя запарка. Сегодня же, через час...

После этой фразы, указывающей, что разговор был с вышестоящим руководителем, хозяин кабинета помрачнел, и, казалось, ещё одна неподъёмная проблема надела на его сутулившуюся спину.

— Нет слесарей! — включилась сирена за дверью. — Получка была вчера, понимаешь?

Управляющий тяжело поднял голову. В его глазах читалось непонимание происходящего.

— Что у вас?

Самокуров опешил.

— Я говорю: в бачке сливном журчит.

Управляющий вздохнул, вытянул ящик письменного стола, задвинул обратно, и вдруг заговорщически наклонил голову.

— Тебя как зовут?

— Вадим.

— Слушай, Вадим, я тебе новый бачок поставлю, финский. Сделай одное дело.

— Если смогу, сделаю.

Управляющий опять выдвинул ящик стола и достал конверт.

— Отвези это по адресу, который я тебе дам. Передашь и всё — конец твоему журчанию.

Самокуров подозрительно рассматривал конверт, не беря его в руки.

— Взятка, да?

— Начитались газетёнок всяких! Везде им взятки! — возмутился управляющий. — Это всего лишь конверт! Тебе вообще неизвестно, что там внутри. Фотографии с пикника — вот что там! Тебя даже если с поличным возьмут, ничего не смогут предъявить — ты, кроме журчания в бачке, ничего не знаешь.

— Ну, хорошо, — нехотя согласился Самокуров, — давайте адрес.

— Вот и молодец! — управляющий взял чистый лист бумаги, начал писать, попутно вполголоса давая пояснения. — Учти, там, не так, как у меня — проходной двор, там — приёмная, секретарша, диван. Сразу к секретарше: я от Хорохорина Дмитрия Петровича с поручением к Семёну Семёновичу. Отдашь лично в руки. Да не ей, а ему! Отдашь, и потом сразу сюда — за финским бачком.

Протянул бумагу, но тут же придержал:

— Лучше, конечно, чтобы ты запомнил адресок. У тебя память хорошая?

— Я художник.

— Свободный художник... Как бы я хотел быть свободным управляющим!

— Не совсем свободный: я подрабатываю в двух театрах.

— Вот и хорошо! Запоминай. И учти, Вадим, это на полном доверии.

Я вижу, ты порядочный парень. А финский бачок я тебе поставлю, будешь спать, как убитый. Ну, то есть без задних ног.

Протолкавшись сквозь строй недовольных потребителей, у кого текло, капало и журчало в квартирах, Самокуров вышел на свежий воздух, удивляясь началу нового дня, а ещё больше — своему авантюризму. Финский бачок за передачу взятки! Скажи кому... Проверив на телефоне пропущенные звонки, он позвонил по главному из них.

— Наташа, извини, я был занят.

— С утра так занят? Вдохновение?

— Расскажу при встрече, это тебя развлечёт.

— Но как раз встречаю в последнее время постоянно что-то мешает...

— На этот раз ничего не помешает. Я только выполню одно поручение, и мы встретимся.

Здание местного самоуправления он нашёл быстро, подгоняемый желанием встречи с Наташей и ещё бóльшим желанием быстрее освободиться от мутного конверта.

Приёмную управляющий описал правильно. Только не упомянул телевизор на стене. Секретарша и диван были. Секретарша, ещё молодая, в самом утрамбованном возрасте женщина, когда женский опыт и женская интуиция на самом пике, дальше — лишь борьба с морщинами и лишним весом, тревоги о детях и внуках. Она одним взмахом длинных ресниц приветствовала посетителя и светлой причёской, похожей на соломенную скирду, качнула в сторону дивана. Поскольку никаких вопросов не последовало, Самокуров решил уточнить причину своего визита.

— Я по поручению...

Секретарша приподняла ладонь с нанизанными на каждом пальце перстнями, призывая к тишине. Самокуров замолчал в недоумении от жеста и принялся изучать картины на стенах. Репродукции были качественные, с деревянными резными рамками, одинакового формата, что указывало на то, что взяты они из одного альбома. Сквозь ровный уличный шум он уловил неясное бормотанье со стороны двери начальника. И вдруг его осенило: секретарша прислушивалась к разговору, отсюда и её странное поведение. Разговор за дверью иссяк, и она деловито спросила:

— По какому вопросу?

— Я по поручению Дмитрия Петровича Хорохорина.

— Что передать?

— Сказано: лично в руки! — твёрдо заявил Самокуров.

— Тогда ждите.

Такое бесцеремонное отношение его задело, поскольку отбирало драгоценное личное время.

— Я не только выполню поручение, но и подскажу Семён Семёновичу, чтобы он усилил шумоизоляцию двери, — вступил он в схватку с опытной мегерой.

Секретарша на миг оторопела. Взмахи наклеенных ресниц участились, словно пытались поднять тело над столом, но опыт взял верх. На шантаж она не поддавалась.

— Вы, молодой человек, с большими фантазиями, вам бы художником быть, а не посыльным.

Она степенно подняла трубку.

— Семён Семёнович, к вам от Хорохорина. Хорошо, хорошо...

Самокуров встал и у самой двери задержался.

— Я человек здесь случайный, мне ваши коммунальные тайны не нужны, можете быть спокойны.

Навстречу ему поднялся настоящий сформировавшийся чиновник: упитанный, наглаженный, выпавшийся, уверенный в себе. Такой и соврёт — поверишь ему. В кабинете ощущался свежий запах кофе и новой казённой мебели.

— Ну, чего ему нужно? — поинтересовался он.

Самокуров достал конверт.

— Что это? — с искренним удивлением спросил хозяин кабинета. — Что за переписку затеял старый ворчун?

— Говорит: фотографии с пикника.

— Подумаешь, важность какая. — Семён Семёнович небрежно кинул конверт на стол.

Самокуров лишь подивился артистичности незнакомого чиновника. А какие же артисты тогда там, на самом верху, пришла ему в голову ненужная мысль.

К его удивлению, чиновник не попрощался с ним сразу, а внимательно просканировал его стёклами очков. За очками проглядывался искренний интерес к незнакомцу.

— Давно знаешь Хорохорина?

— Лет пять, с тех пор, как поселился по этому адресу.

— Прилично.

Хозяин кабинета прошёлся вдоль стола в задумчивости или начальственной озабоченности и остановился перед Самокуровым.

— Ну, если давно... Не мог бы и мне оказать услугу?

Самокуров остолбенел от неожиданности, он не верил, что так может быть в жизни, это могло быть, где-то там: в театре, кино, книгах...

— Конверт? — шёпотом поинтересовался он.

— Сумочку.

— Самому делать подарки приятнее...

— Это не подарок — просто передача. Человек забыл, оставил у меня. Проблема в том, что я плохо знаю того человека. А тебе всё равно: почтальон ведь не знает, что он несёт в сумке. Даже если наркотик, он что — преступник? Нет.

— Но я ведь не дурак...

— А надо быть дураком! Тогда будешь умным и богатым! Разумеется, — смягчился он, — дураком надо быть до определённой степени. Ты что-нибудь получил от Хорохорина?

— Обещал финский сливной бачок.

Семён Семенович усмехнулся.

— Жмот старый. Бачок, конечно, бэушный, лет семь простоял у кого-то. От меня получишь больше. В общем, оставь телефончик, я позвоню.

Озадаченный неожиданными событиями, возникшими всего лишь от журчания воды в сливном бачке, Самокуров шёл по улице, размышляя над тем, что могут принести новые знакомства. По всей видимости — деньги, но насколько они законны? Небогатый жизненный опыт подсказывал: до тех пор, пока он не знает, что доставляет, он не может считаться нарушителем. Как только он это узнает и получит вознаграждение — это уже умысел, сговор, сознательный поступок, за который неизбежно наступит наказание. Отсюда вывод: будь дураком, будешь счастливым и богатым. Ну, Семён Семёнович... Главное, не дать втянуть себя в паутину.

Самокуров спохватился и позвонил Наташе. Похоже, она с нетерпением ждала приглашения, сказала: “Скоро буду”, — и тут же отключилась. Они начали встречаться недавно, но это было как раз то, во что он сам желал быть втянутым. Познакомились они на художественной выставке, посвящённой французским импрессионистам, картины которых ему, конечно, были хорошо знакомы, но они помогали поддерживать в нём творческое напряжение, желание увидеть то, что ещё не было увидено другими. Он с любопытством и с некоторым превосходством прислушивался к тихому спору двух девушек у картины Матисса “Танец”. Одна из них, явно лидер, раздражённо доказывала, как он понял по обрывкам разговора, нелепость изображения танца в такой манере. Это была обычная реакция человека, проходящего на выставке, чтобы посмотреть, не вникая в замысел художника. Другая девушка, брюнетка, с лёгкой улыбкой слушала, и было непонятно, согласна ли она с подругой. Заметив, что к ним прислушиваются, она подняла глаза на Самокурова и поинтересовалась:

— Похоже, вы думаете по-другому?

Он приблизился к ним, не желая, чтобы карие глаза ускользнули от его взгляда, и пояснил:

— Я думаю по-другому. На картине нет людей в том смысле, как мы их понимаем, то есть руки, ноги, глаза, волосы, а видим цветочные всполохи, повторяющие движения танца — это танец в чистом виде, как он мог бы выглядеть без людей, его исполняющих. Это просто движения, выраженные цветом.

Он объяснял это только ей, что было нелогичным, — ведь это её подруга сомневалась в смысле картины, а она лишь хотела услышать другое мнение. Самокуров осмелел и пригласил их на другую выставку в другой день, и подруга тут же отказалась в пользу брюнетки, сразу уловив немой разговор их взглядов.

Она пришла быстро, возможно, уже в пути получив его приглашение. Торопится, что-то хочет сказать? Самокуров приобнял её, чмокнул в щёку, после каждой встречи понимая, что они становятся всё ближе и ближе, и недалёк тот момент, когда он встанет у двери и скажет: “Всё, больше ты отсюда никуда не пойдёшь!” И хотя квартира была чужая, принадлежащая давнему знакомому его отца, переданная во временное владение, он не видел в этом преграды для совместной и счастливой — он в этом не сомневался — жизни.

— И что же тебя задержало сегодня? — потребовала она объяснений. — Ты подрабатываешь на разгрузке вагонов?

— Пока нет, у меня появилась возможность разбогатеть другим способом.

Он пересказал ей утреннее приключение, стараясь показать его так, чтобы оно выглядело забавным недоразумением, не влекущим за собой никаких последствий. Однако ему не удалось обмануть женскую интуицию.

— Там, где появляются лёгкие деньги, — сказала она, — неизбежно наступают тяжёлые последствия.

Это прозвучало железобетонно, как теорема Пифагора. Понимая её правоту, Самокуров отшутился, чтобы не углубляться в нераскрытую пока для него самую проблему.

— Ну, пока ничего, кроме финского сливочного бачка, мне не светит. Оставим это.

— Что это? — заинтересованно спросила Наташа, подходя к незаконченной картине на мольберте, с пышным деревом в центре, с которого опали желтые листья.

— Всего лишь дерево, теряющее осенние листья, но если приглядеться, то на каждом листочке проявляется человеческое лицо, составленное из прожилок. То есть, это — покидающие живой мир люди. Зелёные машут им вслед.

— Зачем так печально?

— Есть художники печали, есть художники праздника. Такими они родились. Но самые грустные люди — это комики. Ну, это так, разминка, поиски своего пути.

Он подошёл к полотну и, закрывая его собой, как бы закрывая тему, пояснил дальше:

— Скажу тебе то, чем ещё ни с кем не делился. Понимаешь, я хочу написать картину, в которой будет присутствовать Христос.

— Разве это возможно? Он уже описан много раз предыдущими гениями.

— Я не сказал, что собираюсь писать Христа, я сказал, что он будет присутствовать.

— Но он будет такой же? Как у Крамского? У Иванова?

— В этом есть проблема. Крамской, когда его спросили, почему Христос именно такой, ответил, что ведь и живого Христа не узнали, когда Он явился людям. Иоанн Креститель указал на Него. Но у меня Он будет вполборота, просто узнаваем. Он уходит, покидает нас, и поворотом головы как бы зовёт за собой.

— Интересно, — задумчиво сказала Наташа. — А куда он может звать? На небеса? То есть туда же, куда летят и твои листья?

— В этом могут быть разнопонимания. Но Он зовёт не куда-то, Он зовёт за собой: за Своим образом жизни, за Своими заповедями. А можно по-другому: уводит от опасности.

— Разве может это увлечь современного человека?

— Я понимаю, что если бы Билл Гейтс поманил за собой, пошли бы многие. Из молодых, конечно. Но уход Иисуса должен породить страх — неизвестно, что будет, если Он покинет наш мир. А вдруг, как у Достоевского: нет Бога — значит, всё возможно. Вообще — всё! Нет преград для любого преступления. Это может заставить пойти за Ним. Но за ними могут увязаться другие: я бы назвал их “предбесами”, те, кто ещё не стал “бесом”, но станет обязательно со временем. Достоевский своим воображением обнаружил их ещё до того, как они явились во всей красе. А художники? Есть ли в их картинах те, кто в момент создания полотна был нормальным человеком, а потом стал “бесом”? Я не нашёл. Я хочу предупредить Христа об этом.

— Предупредить Иисуса Христа? — она испуганно посмотрела на Самокурова.

— Тот, кто это поймёт, тот пойдёт за Ним. Но есть и такие, кто решит, что зовут к вечной божественной жизни, но не имеют на это никакого морального права. И я хочу предупредить Его об этом.

Её испуг сменился растерянностью:

— Предупредить Иисуса Христа?

— Я понимаю твои сомнения, но картина будет разговаривать со зрителями, а не с Иисусом Христом, это им будет послание: осмотреться, быть осторожными.

Наташа долго размышляла над его словами.

— Мне кажется, это суперсложно. Как по фото разгадать садиста? Садист может иметь ангельское лицо. Не рано ли ты взялся за такую задачу?

— По фотографии, согласен, вряд ли. Но картина тем и отличается от фотографии, что прячет в красках, намеренно наложенных оттенках, чёрточках не осознаваемую напрямую, а направленную сразу в подсознание мысль. Понимаешь, нельзя стать великим зодчим, строя одни балаганы. Это сказал Экзюпери. Я родился в один день с Иисусом Христом, над нами было одно с ним созвездие, может быть, это что-то означает? Может быть, это подталкивает меня к этой работе?

— Мы все родились под его созвездием, оно на всех одно. — Всегда готовое к мягкой улыбке, лицо Наташи на этот раз помрачнело. — Зачем тебе это нужно? Неподъёмная задача может убить.

— Это правда, — согласился Самокуров. — Иванов отдал двадцать лет жизни картине “Явление Христа народу” и, как говорили тогда, на время работы он умер для остального мира.

— Значит, ты тоже можешь умереть для всех, погрузившись в свою идею? И для меня?

Он приблизился к ней, и по её глазам понял, чем на этот раз может закончиться этот день.

— Ты какой-то не такой сегодня, ты — другой.

— Корень слова “другой” — “друг”, поэтому меня можно не бояться.

Он всегда думал, что последнее их сближение произойдёт вечером, в полдумраке, но никак не бодрым утром, под звуки работающей газонокосилки за окном, и боялся, что обыденность испортит главный момент. Но всё испортила не газонокосилка, а звонок в прихожей.

— Кто это? Таинственная незнакомка?

— Сейчас я её встречу! — грозно сказал Самокуров, и вышел в прихожую.

У двери стоял мужик в рабочей спецовке, с сумкой на плече. У ног стояла картонная коробка.

— Дмитрий Петрович извиняется за задержку, — пояснил мужик, — прислал бачок. Могу сразу и поставить.

Самокуров молча смотрел то на мужика, то на коробку, приходя в себя.

— Коробка не от финского бачка, — процедил он сквозь зубы, — наверняка, старьё какое-нибудь. Передайте Дмитрию Петровичу, что Семён Семёнович назвал его “старым жмотом”.

Он захлопнул дверь. Вернулся в комнату, но ситуация уже изменилась, нарушилось хрупкое ожидание важного для обоих события, хотя волнение ещё не прошло, оно сердечной аритмией билось в груди Самокурова, горело на щеках Наташи. Он опять подошёл к холсту и глухим, бесцветным голосом продолжил размышления:

— Он должен быть в тех же одеждах, что у Иванова и Крамского, тогда его узнают сразу...

— Ты не боишься, что картина захватит тебя так, что ты забудешь с ней всё земное?

Он не ответил, стоя у окна и раздумывая: чего он хотел сегодня больше — близости с Наташей или восхищения своим замыслом? Она, не дождавшись ответа, медленно ушла в прихожую. Самокуров не шевельнулся даже на щелчок входной двери. Он осознавал, что такое холодное неожиданное расставание чревато прекращением отношений. С её стороны. Ещё не поздно было нагнать её, попытаться объяснить, попросить прощения, но он стоял, как пригвождённый к полу. Не значит ли это, что в нём самом жил бес и что это он сейчас им управлял? Но нет, не согласился он с этой мыслью, здесь явно другое. Он только что впервые озвучил свой сокровенный замысел, и прозвучав, этот замысел уже не совпадал с тем, который без слов мучительно рождался в глубине и темноте его воображения, и это сразу же вызвало сомнение и даже страх в том, что этот замысел получится.

Он подошёл к другому мольберту с чистым холстом. Вот здесь, — он коснулся пальцем холста в месте золотого сечения, — будет Он. Фигура чуть сгорбленная, не величественная, как у Иванова: Он разочарован, устал, пришёл один и уходит один. Вот люди: мало кто смотрит на него — им нет дела ни до кого, у них куча проблем. Женщина прикладывает платочек к глазам — что-то понимает. Вот двое молодых людей, вроде разговаривают друг с другом, но нет: у каждого в ушах наушники, они слушают и говорят с теми, кого здесь нет. Им тоже нет дела до уходящего. Но что это? Он не видит здесь “предбесов” — главных после Него персонажей. Значит ли это, что он ещё не встречал их в жизни и просто придумал? Но если в воображении Достоевского они были, значит, по творческому закону они могут существовать. Просто потому, что в бесконечности всё, что может случиться, всё равно случится.

Самокуров не мог больше стоять. Сделал шаг к дивану, лёг навзничь и закрыл глаза, призывая ночь.

2

— Семён Семёнович ждёт вас к одиннадцати, — сказала разбудившая его телефонная трубка.

То есть, оглядываясь вокруг, понял Самокуров, что он проспал остаток вчерашнего дня и ещё целую ночь! Не желая впасть в депрессию, он собрал силу воли в кулак и сосредоточился на предстоящей встрече. А вдруг этот Семён Семёнович и приведёт его в мир “предбесов”? В любом случае, других вариантов у него нет.

На этот раз секретарша была любезнее, без жестов, даже позволила слабую улыбку.

Семён Семёнович был по-своему деловит с ним. Усадил за стол, придвинул лист бумаги, ручку и приказал:

— Пиши жалобу на Хорохорина.

— О чём? — удивился Самокуров.

— О чём угодно. Ты же к нему зачем-то ходил? Вот и пиши, что он не выполнил. Да не беспокойся, он и не узнает. Жалоба нужна на всякий случай, если вдруг понадобится объяснить, почему ты ко мне ходишь.

Самокуров понял, что забавные эпизоды на этом заканчиваются и что он включается в какую-то схему. Ещё не поздно было закончить на этом, сослаться на занятость, но тогда как быть с “предбесами”? Откуда он их возьмёт? Не будет их — не будет картины. И ради чего он расстался с Наташей? Чья-то чужая воля (бесовская?) заставила взять ручку и написать жалобу.

— Отлично! — Семён Семёнович смахнул бумагу в стол. — Теперь вот. — из другого ящика он достал небольшую сумочку, из тех, что мужчины носят через плечо или в руках, и положил перед Самокуровым.

— Пойдёшь по указанному мной адресу, войдёшь в квартиру, она будет не на замке, оставишь сумочку у входа, не заходя в саму квартиру, и всё!

А это твой гонорар — так у вас, творческих людей называют заработки?

Он вытащил из кармана конверт и придавил его к столу рядом с сумочкой, как бы давая понять: они едины — без сумочки нет конверта. Понадобилось ещё одно усилие воли (тоже бесовское?), чтобы взять предметы со стола. Самокуров встал, не говоря больше ни слова, лишь у самой двери приостановился:

— А с чего вы взяли, что я творческий человек?

Идя по улице в поисках нужного адреса, Самокуров делал это механически, заложив адрес в память, отпустив мысли в свободный полёт, пытаясь события нелогичные, неправильные, с точки зрения обывательской, привести к понятной повседневной логике. Ну, хорошо, журчание в бачке и заполошный управляющий — это чистой воды случайность. То, что тому в момент визита Самокурова срочно понадобилось передать конверт, — это тоже случайность. Но уже не чистой воды. Дальше — хуже: вода случайности мутнеет всё больше. И никакими логическими вывертами не объяснишь тот факт, что он в данный момент идёт по неизвестному адресу с сумкой с неизвестным вложением, да ещё — он похрустел конвертом в кармане — да ещё с неизвестным содержимым своего же кармана. Чуть!

Дом был в новостройке, со свежим бодрящим асфальтом вдоль весёлой раскраски домов, с нарождающимися аллеями из молодых каштанов. Но подъезд уже привычно находился под охраной домофона, и ему пришлось перечитать объявления на стене, прежде чем дверь открыли изнутри. Старушка, пропуская впереди себя рыжую шавку, бдительно зыркнула на незнакомца:

— А вы к кому?

— С новосельем, бабушка! — радостно ответил Самокуров. — Я здесь живу.

И он проскользнул в проём до того, как пружина захлопнула металлическую дверь. Итак, четвёртый этаж, квартира, дверь не легко, но подалась. Прихожая свежая, пахнет краской и обоями, мебель новая, шикарное зеркало, на вешалке плащи, зонт, внизу — тёмно-коричневые туфли, почему-то со шнурками — старомодные, сейчас такие почти не носят. Один конец шнурка без металлического наконечника. Самокуров отмечал это без всякой цели, делал это легко, как художник, описывая для себя окружающую обстановку. Когда предметов для изучения не осталось, он повесил сумочку на крючок рядом с плащами и вдруг застыл от неожиданности: изнутри квартиры раздался едва слышный детский плач. Скорее, маленькой девочки. В памяти всплыла инструкция Семёна Семёновича: оставишь сумочку у входа, не входя в саму квартиру.

Кроме строгой инструкции, у него вспыхнули возможные последствия: он подходит к девочке, в квартире тут же появляются люди в форме и его задерживают за попытку похищения чужого ребёнка. В мгновение ока он оказался за пределами квартиры, и этим уже себя обезопасил, но вздохнул полной грудью, лишь оказавшись за квартал от таинственного и опасного адреса. Может быть, на этом хватит? Но ещё есть конверт — ещё одна опасная связка. Самокуров вытащил конверт, прощупал его выпуклость, но призадумался: ко всему, что связано с этими непонятными делами, нужно относиться с осторожностью. Если он не откроет конверт, то никто не может сказать, что он переносил некие предметы за вознаграждение, а за так, просто услужил пожилому человеку. Да и вообще — всё уже закончилось. Он окончательно успокоился и даже оценил окружение новостройки: зелёная зона, широкие дороги — живи и радуйся.

Его внимание привлекло собрание людей возле строящегося храма. Рядом стоял подъёмный кран с выдвинутой стрелой, который, по-видимому, и должен был обозначить окончание строительства. “Неужели протестуют против такой красоты?” — удивился Самокуров и присоединился к толпе. Он быстро, по воодушевлённым лицам, приглушённым разговорам и одежде некоторых женщин понял, что это — будущая паства храма, и пришли они как раз к торжественному моменту — вознесению золотого креста на купол.

Выступал перед слушателями явно не служитель Церкви: немолодой, полноватый человек в обыкновенном костюме при галстукe, по всему —

чиновник из мэрии. Но из его речи стало понятно, что это и есть строитель, вернее, руководитель стройки. Под конец своего деловитого выступления он предложил верующим до подъёма креста приложиться к святыне, чем вызвал одобрительный гул слушателей. За ним, под шёпот в толпе: “Батюшка, батюшка...” — вперёд выступил молодой священник в рясе, с окладистой чёрной бородой, и пропел осанну предыдущему выступающему, который, как оказалось, был не просто руководителем стройки, но и её главным финансовым спонсором. Церковные генералы — их можно было отличить по более богатому одеянию, чем у будущего настоятеля, — стояли небольшой группой, окружённые крепкими молодыми людьми в кожаных куртках, явно охраной.

Когда заурчал подъёмный кран, люди зашевелились, примериваясь создать справедливую очередь к проёму в заборе, за которым их ожидало волнующее событие. Но неожиданно вышел человек, по виду из тех же производителей или мэрии, и объявил, что, к сожалению, по правилам техники безопасности массовый выход на стройплощадку невозможен. Выражения лиц слушателей резко изменились — они почувствовали себя обманутыми, даже молитва, вознесённая к небу в последний момент, не смогла их взбодрить. Но тут произошло событие ещё более неожиданное: молодые люди в кожаных куртках профессионально проложили среди толпы коридор, по которому чинно проследовали к заветному проёму церковные генералы. За ними, опустив голову, прошёл молодой батюшка. От неожиданного действия наступила тишина. Даже Самокуров, не предполагавший прикоснуться ко кресту, почувствовал единение с верующими. Но как трезвый наблюдатель, он понимал, что самое высокое духовное мероприятие может прекратить любой инженер по технике безопасности одним законным предписанием. Понимал и другое: по справедливости, батюшка должен был остаться с верующими, которые потом пойдут на его проповеди, и этим бы завоевал их сердца. Но он не смог этого сделать, потому что это был бы вызов церковному начальству, и подверглось бы сомнению его дальнейшее карьерное продвижение. И Самокуров невольно примерил ситуацию к своему замыслу: а что, если бы за всем этим наблюдал Он? На чьей бы стороне был?

Дальнейшее торжество — подъём золотого креста, громкие песнопения — выглядело, как обыкновенное торжество районного масштаба, как открытие новой школы или поликлиники. Один эпизод легко объединил воедино высокое духовное с серой обыденностью.

Добравшись до дома, Самокуров тут же присел к мольберту с горячим желанием сделать первые наброски. Почему-то была внутренняя уверенность, что главный герой у него получится: Он был понятен, за две тысячи лет сумел доказать необходимость Своего присутствия среди людей — хоть зримого, хоть незримого. Но вот люди, те самые люди, которых он видел ежедневно, сталкивался с ними в самых различных ситуациях, наблюдал их изменчивые лица, сопереживал им или приходил в раздражение от них, — в них заключалась главная сложность. И не потому, что сложно запечатлеть эмоции путём изображения черт лица, говорящих глаз или теней в нужном месте, а потому, что он поставил сам себе задачу: через эти черты и тени добраться туда, куда ни один психоаналитик не может добраться, и возможно, что это даже не душа.

“Зачем тебе это нужно?” — вспомнил он Наташу. А затем, мысленно ответил он себе и ей, что без этого нет художника. Именно из-за этого они умирали в нищете и сходили с ума — в погоне за невыразимым, непостижимым идеалом. Это необъяснимый магнетизм бездны: ты не знаешь, что скрывается на дне, но она тебя притягивает, “смотрит” на тебя. Рука у него дрожала: надо было либо рисовать, либо рассуждать.

3

Утром он вернулся к работе. Голова, на удивление, ясная, все сомнения затерялись в спутанных снах, — у него всё получится. Первые штрихи легли, как надо, рука была уверенной, точной, словно не он управлял ею, а она вела его за собой. “Получится, получится...” — теплом растекалось у него

в груди. Давно не приходило к нему такое вдохновляющее настроение. “Упоение” — вот самое точное русское слово для такого состояния. Упоение — это восторг от существующего мира вокруг, его многообразия, комичного и трагичного, безобразного и прекрасного. Оттого, что ты существуешь при всём этом.

Телефон обрушил торжественный момент в один миг. Всё исчезло. С сожалением Самокуров отложил карандаш — не хотелось расставаться с работой, удачным началом дня и просто хорошим настроением. Встреча с Семён Семёновичем вряд ли его поднимет.

На этот раз в приёмной он оказался не один: возле секретарши сидел незнакомец, по виду стареющий чиновник, седовласый, в очках, с аккуратно тонко подрезанными усиками. У его ног стоял коричневый портфель, хорошо гармонирующий с коричневым в полоску костюмом и старомодными коричневыми же туфлями со шнурками.

Поскольку свободным оставался только диван, то Самокурову пришлось сесть на него, и таким образом он оказался как раз напротив незнакомца. И тут же они столкнулись взглядами. Нельзя было назвать взгляд приятным, но и не враждебным: сквозь линзы на него смотрел огромной тяжести жизненный опыт и, казалось, впитывал, засасывал в себя ещё один — легковесный опыт Самокурова.

В свою очередь, Самокуров запечатлел в памяти лицо незнакомца, причём, в условиях появившегося подозрения, что встреча эта не случайна, он напряг все свои возможности, и когда их взгляды соскользнули, он был уверен, что сможет воспроизвести лицо на бумаге. Он уткнулся глазами в пол, удачно попав взглядом в ботинки незнакомца, с некоторым даже страхом отметив, что на одном шнурке отсутствовал металлический наконечник. Заметил он и неожиданные изменения в поведении секретарши: она была напряжена, всё время писала и никаких попыток прислушаться к звукам от двери начальника не предпринимала. Один раз, столкнувшись с ней взглядами, Самокуров уловил в её глазах растерянность и даже испуг. Всё это очень не понравилось, он начал воспринимать происходящее, как сигнал к завершению своей непонятной деятельности. Но опять на пути встала мысль о том, что нет логического завершения во всём происходящем: надо было обнаружить черты хотя бы одного “предбеса”, запечатлеть их в наброске, и тогда бросать всё сразу. А вдруг сидящий напротив незнакомец и есть тот самый, образ которого он ищет для своей картины?

Наконец, его вызвали. Странно было и то, что чиновник, пришедший раньше, не шевельнулся, не сделал попытки войти первым. Семён Семёнович был внимательнее, чем обычно. Усадил Самокурова за стол, но сам принялся прохаживаться за его спиной, каждый раз, проходя мимо гостя, одобрительно похлопывал его по плечу.

— Там плакал ребёнок, — первое, что сказал Самокуров.

— Знаю, — странно усмехнулся Семён Семёнович. — Скажи, Вадим, а почему ты не открыл конверт, который получил от меня?

— С чего вы взяли?

— А с того, мой друг, что если бы ты его открыл, то обнаружил бы в нём фантики, игрушечные деньги. Ты чего-то опасаясь?

— Да не то, чтобы... Просто пока хватает, а это — резерв.

— Ну, допустим. А в остальном ты выглядишь молодцом. Ты достоин более серьёзного задания.

— Не уверен, что я этого хочу, — заметил Самокуров. — Чтобы продолжить наше приятное знакомство, мне нужно знать, что всё это значит: конверты, сумочки, фантики, чиновник у вас в приёмной, в конце концов.

Семён Семёнович задумчиво прошёлся по кабинету, но уже не прикасаясь к плечу Самокурова.

— Видишь ли, мой друг... — начал он свои объяснения, — каждое время призывает нужных ему людей. До последнего времени нужны были оборотистые, хваткие, но хватающие в меру и отдающие в меру. Но времена меняются, и вдруг оказалось, что даже простое действие — взять вещь у одного и передать её другому — поручить некому! Либо распечатают,

сфотографируют из любопытства или по поручению, или на всякий случай, а то и вовсе не доставят. А ведь все современные виды коммуникации могут в один момент, в какой-нибудь “час икс” отключить. И кому тогда поручить такое простое действие, как доставку важной информации? “Яндекс-су”? Поэтому обратились взоры к тем, кто обладает таким простым и забытым качеством, как честность. Поняли, что она не прививается, она либо есть, либо её нет. Ты, по наблюдениям, отвечаешь необходимым требованиям. То есть способен действовать, как робот, но мыслить, как человек. Это и есть идеальный биоробот — естественный, а не выращенный в лаборатории порученец. Ты говоришь, там плакал ребёнок? Любой бы человек вошёл, и только биоробот — нет. Это был диктофон. Тебя не оскорбляет “биоробот”?

— Пока мне только любопытно.

На самом деле он задался простым вопросом: если он человек с естественной честностью, то почему он так поступил с Наташей? Можно ли быть честным и носить в себе беса?

— А я когда-нибудь увижу тех людей? Которые подыскивают биороботов?

— Одного ты только что видел, про других — не могу сказать. Зачем тебе знать лишнее? Многие знания приводят ко многим печалям, сказал философ. Ты можешь отказаться, сослаться на занятость, болезнь бабушки или согласиться на ещё одно поручение и, возможно, расширение своих знаний.

— Хорошо, я слушаю...

— Ну, тогда вот, — облегчённо вздохнул Семён Семёнович, достал из стола кожаную папку, положил её перед Самокуровым, рядом конверт, который он придавил привычным движением пальца. — Для твоего сведения, на этот раз не фантики. И с учётом долга за предыдущее поручение. Адрес доставки: в пригород, деревня, перерождающаяся в коттеджный посёлок. Хозяева оставшихся домов просто ждут, когда к ним придут и предложат квартиры вместо их лачуг. Но новая жизнь наступает, появились асфальт, пламбаумы, видеокамеры. Всего этого нужно избежать. Надо воспользоваться обыкновенным рейсовым автобусом, дальше пешком вдоль реки выйдешь к нужному месту. Готов?

Самокуров лишь пожал плечами, как бы соглашаясь с неизбежным. Он решительно встал, не находя, что сказать к случаю: “Спасибо”, — или: “Слушаюсь!” Но у двери остановился, выдавливая на поверхность ещё одну, не получившую ответа мысль:

— Скажите, а они, те люди, готовят людей других специальностей, кроме курьеров?

— Это уже больше, чем планировалось сказать, на случай твоего любопытства, но я скажу: “Да!” — и больше никаких вопросов!

Самокуров в замешательстве покинул кабинет и при виде ускользнувшего от его глаз взгляда секретарши понял, что она, как минимум, слышала последние фразы, которыми они обменялись с Семён Семёновичем.

— Всего доброго, — тихо сказала она ему вслед.

Её изменившееся поведение натолкнуло Самокурова на мысль, что подобных ему она уже видела здесь, в приёмной. Но тихое: “Всего доброго”, — зародило подозрение, что не всем им сопутствовала удача.

Итак, подбирал себя Самокуров: ты избранный, ты идеальный, ты почти искусственный разум. Прочь сомнения! Тебя ждёт богатая жизнь: квартира, коттедж, машина... А Наташа? Или биороботу это обуза? Нет, они обязательно помирятся, все эти приключения когда-нибудь закончатся, и они заживут, где-нибудь у той же речки, где живут... Он приостановился: где живут “они”? Ему захотелось срочно увидеть то место, прицениться, присмотреться, облюбовать местечко.

Автобус был полупустой, он существовал только для тех, кто ожидал неизбежной компенсации за свои жилища, остальные доставляли свои тела на иномарках. Автобус был настолько старый, словно кто-то точно рассчитал (искусственный разум?), что он пойдёт на металлолом сразу после того, как доставит последнего жителя, покинувшего свой дом.

Спрыгнув на землю на конечной остановке, он огляделся. Места хорошие: хвойный лес с одной стороны, с другой чувствовалась лёгкая прохлада, явно от близкой реки. Впереди — разнообразные, эклектичные, как бы он назвал профессиональным языком, строения: разноэтажные кирпичные коттеджи рядом с рассеянными по площади деревянными домами. Но уже мощно, проложенная в будущее, в посёлок рванулась широкая асфальтовая дорога с полосатым, как и предупреждал Семён Семёнович, шлагбаумом. Он свернул к прохладе, за которой скрывалась река. Она была живая, “полевовская”, ещё не тронутая цивилизацией, без пляжей и пристаней для катеров, и он шёл, наполняя лёгкие лесными ароматами.

Жить и творить надо именно здесь!

Впереди послышались детские голоса, и вскоре перед ним открылось идеальное место для отдыха и купания, чем и занималась группа мальчишек, их было всего трое и, видимо, всё детское население умирающего посёлка. В кирпичных коттеджах дети купались в бассейнах с фильтрованной тёплой водой, под присмотром бдительных нянек. А эти вольные, естественные, не хватало только для полноты картины собаки, лающей и прыгающей вокруг них. Вольные собачки сдохли или их переловили собаководы, чтобы они не беспокоили других, живущих за оградями: чистокровных терьеров, самоедов и мастифов.

Вдруг ребята подняли панический крик. Самокуров приостановился, вглядываясь в реку, и понял: один из них барахтался в воде, войдя в воду дальше, чем позволяла небольшая заводь, и его захватило течением. Самокуров побежал к ним, по ходу соображая, что делать с ответственным предметом? Войти с ним в воду он не мог, не зная, что там внутри, но и бросить без присмотра опасно. Он подскочил к мальчикам и крикнул, чтобы привести их в чувство.

— Быстро! Бегите за помощью, а я к нему!

Ребята исчезли в мгновение ока. Тогда Самокуров бросил папку на траву и придавил камнем. Потом, не раздеваясь, бросился в воду, сначала бегом, на мелководье, не теряя из виду чернявую голову мальчишки. Тот ещё доставал до дна и отталкивался от него, каждый раз появляясь над водой с открытым ртом и выпученными от страха глазами. Самокуров был уже рядом, и вдруг его захватила преступная мысль, от которой ему стало жарко даже в холодной воде: у него есть шанс вживую увидеть искажённое предсмертным страхом лицо, которое он потом сможет перенести на полотно. Сердце его билось колоколом, словно предупреждая о чём-то. Ну, ещё раз, пацан... Голова появилась с той же мукой на лице, и тут же исчезла. Самокуров прыгнул в воду, шаря по дну руками, открыв глаза, ничего не различая в беспокойной воде. Вынырнул, отряхнул с волос влагу, вглядываясь в поверхность реки. Но река, принимавшая в себя и не такие жертвы, величаво двигалась дальше.

Он услышал шум с берега, оглянулся, испугавшись за важную папку, и двинулся навстречу людям.

— Течение... Я не успел, — сказал он сразу всем, но двое мужчин всё равно бросились в воду.

Он сел возле папки, глядя на бесполезное занятие мужиков и пытаясь снять одежду.

— Теперь на Гульновском перекате надо ловить, — сказала пожилая женщина, остановившись рядом с ним. — Пойдём, милый, обсохнешь у меня, куда же ты такой пойдёшь? Неместный ведь, я здесь всех знаю.

— Спасибо... — Самокуров встал, прихватив с земли папку, и послушно пошёл за женщиной.

В деревянном доме было сухо, тепло, но тепло не такое, как в железобетонных коробках, а мягкое, родственное, женское, как тепло материнской груди. Самокуров прикрылся покрывалом, которое получил от заботливой хозяйки в ожидании, когда подсохнет его одежда. И чай был домашний, не из красивых заморских коробок, а настоящий, с малиновым вареньем и запахом мяты.

— Скоро нас всех выживут отсюда, — спокойно и обречённо рассказывала женщина, — будем жить в апартаментах. Без земельки. В апартаментах помирать легко: всё под рукой, даже если только ползать тебе Бог оставил. А жить надо на земельке.

За окном послышался женский крик, скорее, похожий на вой. Самокурова затрясло от неожиданности.

— Это Галька Кудинова, — спокойно пояснила хозяйка, — её малец был...

Самокурова ломало пополам, хотелось свернуться в калачик и закатиться в какой-нибудь тёмный угол. Хозяйка заметила его слабые конвульсии.

— Что с тобой? Ты, если хочешь, полежи на диване, а я пойду во двор по делам.

Он прилёг на продавленный годами, а может, десятилетиями диван, закрыл глаза, с ужасом осознавая, что с этого дня не сможет рисовать детские и женские лица, а “предбеса” он сможет изобразить, если посмотрит в зеркало.

Попасть в кирпичный мир Самокурову не дали: приказали в домофон, чтобы он оставил посылку у входа, и пожелали счастливого пути.

Он проснулся так, словно соскользнул с незнакомого дивана на свою кровать. Слабое журчание хвостиком ускользящего сна, в котором он стоял по пояс в воде, заставляя себя: “Ныряй! Ныряй!” — настойчиво призывало к пробуждению. Над ним висела знакомая люстра из трёх рогаляков, по стенам стекали знакомые обои в вертикальную полоску, стареющий комод напротив кровати. А мольберт? Он склонил голову набок: мольберт тоже на месте, также, как и дерево, теряющее жёлтые листья-лица.

Загудел телефон.

— Привет! Ты куда пропал? У тебя творческий застой? Или запой?

— Скорее, отстой, — с трудом ответил Самокуров, выводя правильное логическое заключение о том, что если бы он нырял с мобильником в кармане, то мобильник сейчас бы не работал.

— Тут такое дело... Приехали мои родители, в общем, хотят с тобой познакомиться. Ты как?

— Конечно, давно пора. Только где? Если ко мне, то они могут потерять, вернее, не приобрести никакого уважения ко мне. Может, в кафе?

— Возможно. Но они хотели бы взглянуть на твои работы. Давай, я к тебе приеду, и мы вместе наведём порядок.

— Согласен.

— Ну, тогда до встречи!

Самокуров соскочил с кровати, подошёл к мольберту, проверил запасные ватманы. Они были чистые, без набросков. В ванной он плескал на себя то холодной, то горячей водой, думая, что голова уже освобождена от тяжёлого ночного хлама, но вдруг от уютного тепла ванной комнаты застыл, пронзённый чужой мыслью: “В апартаментах помирать легко...” Откуда это пришло в голову?

Быстро оделся, решив до приезда Наташи купить бытовой химии для уборки. На улице ему полегчало, от привычной обстановки вокруг всё становилось на свои места. И всё-таки то и дело он хмыкал, покачивая головой: “Надо же...”, “Ну как такое может...”

Навстречу ему шёл вечно погружённый в коммунальные проблемы управляющий, но Самокуров не решился останавливать его и озадачивать своей журчащей проблемой. Лишь вежливо поздоровался. Тот бросил нервный и, как показалось, Самокурову, обиженный взгляд.

Чудак, да ещё невежливый, беззлобно подумал о нём Самокуров и вдруг застыл, как вкопанный, от прозвучавшего за спиной старческого голоса: “Это почему же я — старый жмот?”

ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ

О “НОВОЙ” ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США

4 февраля 2021 года Байден обратился к миру с внешнеполитической речью, выступив в Госдепартаменте США. Основные тезисы сводились к следующему:

“Америка вернулась, – заявил Байден. – Мы страна, которая вершит великие дела. Американская дипломатия воплощает их в реальность. И наша администрация готова взять на себя эту роль и снова стать лидером”;

“Америка больше не может позволить себе отсутствовать на мировой арене”.

Какими средствами Байден собирается снова сделать Америку мировым лидером?

Чтобы “восстановить наше (американское) моральное лидерство”, Байден подписал президентский указ, согласно которому **защита прав представителей ЛГБТКИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры – люди с изменённым полом, интерсекс-люди) сообщества станет частью возрождённой глобальной кампании по защите прав человека.**

Как-то странно это всё выглядит. Впрочем, как и вся политическая деятельность демпартии США последнего времени, особенно в 2020 году.

Россия

Байден жёстко высказался в адрес России, призвав положить конец разгону протестующих и освободить Навального.

Администрация Джо Байдена с первого дня работы делает всё возможное для того, чтобы **“привлечь российский режим к ответственности за его враждебные действия по всем направлениям”**. Об этом 9 февраля на пресс-брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента **Нед Прайс**.

Нед Прайс добавил, что в данный момент Госдепартамент и директор Национальной разведки “рассматривают целый ряд враждебных действий” Москвы, принимая во внимание “вопиющие действия России в случае <с Навальным> и нарушения ею прав человека в более широком смысле”.

На основе выводов, к которым придут ведомства, против России “как можно быстрее” будут приняты соответствующие меры, заверил Нед Прайс.

“Не хотел бы называть временные рамки, но я думаю, вы ясно видели, как мы предпринимаем ряд действий, координируем наши действия с союзниками и партнёрами, что не оставляет никаких сомнений... в нашей позиции”, – заявил представитель Госдепартамента.

Первым масштабным антироссийским делом станет **специальное расследование крупномасштабной кибератаки на SolarWinds**, в результате которой пострадали множество американских федеральных ведомств и тысячи частных компаний.

В декабре власти США обнаружили, что злоумышленники, **предположительно** (?! – **В. О.**) **связанные с Россией**, взломали 18 тысяч клиентских аккаунтов программного обеспечения SolarWinds. По мнению американского разведсообщества, целью хакеров был сбор разведданных.

Демократ **Марк Уорнер**, председатель Специального комитета Сената по разведке, и его заместитель, сенатор-республиканец **Марко Рубио**, направили письмо руководителям американского разведсообщества, попросив их определить лидера Объединенной координационной группы, которая занимается расследованием.

Среди адресатов письма сенаторов директор Национальной разведки **Аврил Хейнс**, гендиректор Агентства национальной безопасности **Пол Накасоне**, директор Федерального бюро расследований **Кристофер Рэй** и и. о. директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры **Брэндон Уэйлс**.

Обращаясь к разведсообществу, сенаторы отметили, что ответные действия проводятся “разрозненно и не организовано”. В результате, по мнению сенаторов, появился риск того, что федеральные ведомства не справятся с поставленной перед ними задачей.

“Угроза, с которой наша страна... столкнулась в результате этого инцидента, требует четкого руководства для разработки... единой стратегии и назначения руководителя, который будет обладать полномочиями для координации ответных мер, расстановки приоритетов и распределения ресурсов”, – говорится в письме.

Китай

Говоря о Китае, Байден пообещал “оказать противодействие” агрессии Пекина в регионе, его экономическим преступлениям и нарушениям прав человека. “Американское руководство должно ответить на набирающий мощь авторитаризм, включая растущие амбиции Китая в вопросе соперничества с Соединёнными Штатами и усилия России по нанесению ущерба и подрыву нашей демократии”, – заявил он.

Во время брифинга в Белом доме советник Байдена по вопросам национальной безопасности **Джейк Салливан** сообщил о существенном сдвиге в политике по сравнению с курсом администрации Трампа. “Мы не собираемся пытаться сделать мир безопасным для многонациональных инвестиций, – сказал он репортерам. – Наш приоритет заключается не в том, чтобы получить для Goldman Sachs доступ в Китай. Наш приоритет заключается в том, чтобы **разобраться с торговыми нарушениями Китая, которые наносят вред американским рабочим местам и американским рабочим в Соединённых Штатах**”.

На самом деле, последний тезис мало чем отличается от подхода Трампа.

Ближний Восток

Байден в своей речи на удивление многих аналитиков уделил мало внимания Ближнему Востоку. Байден ни разу не упомянул об Израиле и иранской ядерной сделке. Хотя именно здесь, исходя из анализа всей публикуемой информации в СМИ, готовятся наиболее радикальные решения, в отличие от трамповских.

Администрация Байдена разошлась во мнениях относительно ядерной сделки. Одни считают, что она является “неотложной первоочередной задачей”, требующей немедленных действий, как заявил советник по национальной безопасности **Джейк Салливан**, в то время как другие придерживаются мнения о том, что не следует спешить, так как этот вопрос требует тщательного рассмотрения.

Американское издание *Politico* сообщило о расколе в американской политике по вопросу ядерного соглашения, а также выявило сигналы, посланные республиканцами и демократами, о том, что они намерены делать, если Байден будет настаивать на возвращении к ядерной сделке.

Команда по национальной безопасности Байдена считает, что необходимо убедить Иран вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке 2015 года, а затем настаивать на принятии приложения к соглашению, устанавливающего более жёсткие ограничения. Это одно из главных внешнеполитических обещаний Байдена, на реализацию которого уйдёт много времени.

Более того, они отмечают, что главная цель приложения к ядерному соглашению – продлить строгое ограничение на ядерную деятельность Ирана, в том числе **ограничить уровень обогащения урана до 3,67% и количество центрифуг, которые Тегеран может использовать.**

Байден, в свою очередь, должен предпринять дипломатические усилия, чтобы убедить Иран вернуться к соблюдению ядерного соглашения. Он обещает отменить наложенные на него санкции, но тогда потребуются новые рычаги давления для сдерживания иранцев. Например, придётся вернуться к угрозам о введении новых санкций или предложить им некоторые меры по стимулированию экономического роста.

Многие **оставленные Трампом ловушки** стали серьёзной угрозой для предвыборного обещания Байдена о возвращении США в ядерное соглашение. В первую очередь, Байден должен будет **исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций, а также отменить санкции, наложенные на Центральный банк Ирана,** который обвиняется в финансировании марионеточных ополченцев на Ближнем Востоке.

Байден оказался перед трудной дилеммой. Если он ликвидирует ловушки Трампа, то вызовет сильное сопротивление даже со стороны самих демократов в свете растущих опасений, что Тегеран вернётся к своим враждебным действиям.

Но Тегеран настойчиво стремится отменить все санкции или, по крайней мере, отложить введение новых, прежде чем вернуться за стол переговоров. Иными словами, если Байден не снимет ранее наложенные санкции, то это станет препятствием для урегулирования кризиса. Таким образом, Байдену практически невозможно выполнить своё главное предвыборное обещание, что будет иметь последствия как внутри, так и за пределами страны.

Ещё одна проблема, которая может усложнить переговорный процесс, связана с оказываемым на американскую администрацию давлением со стороны Израиля и его союзников на Ближнем Востоке во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Их цель – как можно дольше сохранить санкции, введённые против Ирана.

Всё вышесказанное ставит команду Байдена в незавидное положение. Ей придётся действовать осторожно и снимать санкции, наложенные на Иран, постепенно, чтобы побудить его вернуться за стол переговоров и в то же время не позволить ему усилить своё ядерное влияние в регионе.

27 января новая администрация США подтвердила своё намерение вернуться к ядерному соглашению, из которого Трамп вышел в 2018 году, но госсекретарь США **Энтони Блинкен ясно дал понять, что американцы не сядут за стол переговоров, если Тегеран не вернётся к выполнению всех своих обязательств по предыдущему соглашению.**

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции в Стамбуле отверг американские условия, заявив, что американцы просят Иран воздержаться от шагов по развитию ядерной программы до снятия Вашингтоном санкций, чего, возможно, и не произойдёт.

Саудовская Аравия и ОАЭ обратились с просьбой об участии стран Персидского залива в будущих переговорах с Тегераном, указав, что следующий раунд переговоров должен включать в себя вопросы об иранской программе баллистических ракет и поддержке Тегераном своих марионеток на всём Ближнем Востоке, включая хуситов в Йемене.

МИД Ирана 30 января выступил против начала любых новых переговоров по иранской ядерной программе, а также против изменения состава участников ядерного соглашения, которое Иран заключил с мировыми державами.

Байден оказался в затруднительном положении. Ловушки Дональда Трампа остаются самой большой проблемой в карьере нового американского лидера, который не знает, как их обойти.

Бывший помощник Барака Обамы **Роберт Малли назначен главным посланником Байдена по Ирану**. Малли – 58-летний эксперт по арабо-мусульманскому миру, последние годы возглавлял *International Crisis Group*.

Малли на протяжении длительного времени демонстрирует своё доброжелательное отношение к иранскому режиму и враждебность по отношению к Израилю.

Американские ястребы написали коллективное письмо Тони Блинкену, новому госсекретарю США, в котором просили не назначать Малли, а выбрать более нейтральную кандидатуру, предупреждая, что Малли нарушит баланс сил в ближневосточном раскладе и вызовет большую тревогу у американских партнёров в регионе – Израиля, Саудовской Аравии, ОАЭ и т. д.

Почему Израиль и арабский мир против Малли?

Роберт Малли – это новая ядерная сделка, снятие санкций с Ирана, реанимация палестинского вопроса, гораздо более жёсткая позиция в отношении израильских поселений на Западном берегу.

Малли – потомственный иранист. Экспертом по Ирану был и его отец Саймон Малли – египетский журналист, сочувствовавший коммунистам, Фронту национального освобождения Алжира и работавший иностранным корреспондентом в “Al Gomhuria”.

В 1969-м Малли-отец перевёз семью из Египта во Францию, где основал левый журнал “Africasia”. Семья Малли оставалась там до 1980 года, пока тогдашний президент Франции не изгнал их в Нью-Йорк из-за... враждебности к Израилю. И налицо парадокс. **Еврей-сефард, изгнанный из Франции за антисионизм**. Память об изгнании сквозит во всём, что делал Роберт Малли на высоких постах в президентских администрациях, начиная от Билла Клинтона, Барака Обамы и заканчивая Байденом.

В 2008 году ему пришлось даже уйти в отставку с публичной должности в избирательной команде Обамы, когда стало известно о **его регулярных встречах с представителями палестинской группировки ХАМАС**. Позже скандал улёгся, и Малли вернулся в администрацию Обамы. В Белом доме он стал главным советником по Ближнему Востоку.

Вот вкратце его послужной список. Был специальным помощником президента Клинтона по арабо-израильским делам и директором по делам Ближнего Востока и Южной Азии в Совете национальной безопасности, при Обаме занимался ИГИЛ, наверняка мощно взаимодействуя с “Аль-Кудс”, курировал *International Crisis Group* по делам Ближнего Востока и Северной Африки. В 2018 году, с приходом в Белый дом Дональда Трампа, её возглавил.

У тех, кто внимательно следил в те годы за публикациями *Crisis Group* и отслеживал публичные высказывания её директора, могло бы сложиться мнение, что именно **Малли курирует и направляет Тегеран в его борьбе с Трампом**.

Вот одна из цитат: “Если вы Иран, то инструменты, которые есть в вашем арсенале, – способность расширить свой ядерный арсенал, взбодоражить рынки или угрожать странам региона и присутствию в них США. Те инструменты, которые у них есть, они будут использовать в ответ на давление, которое они считают равносильным экономической войне”. Собственно, **Иран последовательно выполнял программу Малли**.

За назначение Роберта Малли спецпосланником по Ирану Тегеран бился, как за вопрос жизни и смерти, посвящая ему обложки иранских газет и убеждая через своих лоббистов Вашингтон, что будущий успех американо-иранских переговоров прямо зависит от Малли.

А теперь самое интересное. **В администрации Барака Обамы Роберт Малли считался куратором ИГИЛ**, запрещённой в РФ международной террористической организации. Ну, в смысле куратором борьбы с ИГИЛ, которое зародилось на свет и развернулось во всю мощь в два обамовских срока.

Тогда же в мировую информационную повестку был вытаскен Иран – как едва ли не флагман борьбы с ИГИЛ в регионе. И тогда же начал раскручиваться образ мало кому известного доселе иранского генерала **Касема Сулеймани**, который стал героем борьбы с ИГИЛ и даже попал на обложки американских журналов.

Удивительным образом взгляды и жизненный путь Малли совпадают со взглядами и политическим опытом других высокопоставленных назначенцев в команде Байдена. Речь идёт о новом директоре разведслужб

в Совете национальной безопасности – Махере аль-Битаре и новом директоре ЦРУ Уильяме Бёрнсе.

Трамп же риторику резко поменял, стёр героический флёр с борцов с терроризмом и внёс Корпус стражей Исламской революции и почти все проиранские прокси – от “Хезболлы” до йеменской “Ансаруллы” – в списки террористических организаций, подвергнув их санкциям.

Бороться с ИГИЛ в одиночестве Иран не смог, и переломить расклад в Сирии смогло только вмешательство России. Но сам Иран в своей официальной пропаганде предпочитает скромно обходить столь непреложный факт стороной.

Первый день правления Байдена оказался символическим: в Багдаде прогремели два взрыва, совершённых смертниками. Ответственность за теракты взяло на себя, конечно, ИГИЛ.

Иран тут же обратился к Ираку, с которым в последнее время у него свои счёты, и предложил помощь в борьбе с ИГИЛ, пока террор не захлестнул всю Месопотамию.

Таким образом, можно заключить, что **Роберт Малли уже работает и что в борьбе с ИГИЛ будет реабилитирован Иран: демократам надо выводить его из террористического списка и снова делать силой, противостоящей “Исламскому государству”.**

Кроме прочего, первые дни Байдена на посту главы государства ознаменовались поднятым на массовую акцию протеста пакистанским городом-миллионником Карачи. Людская река из мусульман грозит Израилю гневом и поёт о поддержке бедного народа Палестины. Демократы вернулись в Белый дом. Роберт Малли рулит.

Своей основной задачей Малли называет преобразование регионального контекста – установку диалога между Саудовской Аравией, ОАЭ и Ираном. Нетрудно заметить, что в треугольнике государств отсутствует Израиль, и нетрудно предсказать, что треугольник, возможно, попробуют развернуть против него же, низвергнув успех Авраамского мирного договора, которым так гордились Трамп и его зять Джаред Кушнер.

Принцу Саудовский Аравии расслабляться, казалось бы, не стоит. “Что касается прав человека, то президент потребует ответственности по делу Джамала Хашогги (журналиста, зверски убитого на территории посольства Саудовской Аравии в Стамбуле)”, – заявил Малли “Le Point”.

Стоит напрячься турецкому президенту Реджепу Эрдогану, поскольку **“Джо Байден проявит большую солидарность с сирийскими курдами, чем Трамп, что осложнит его отношения с Турцией”.**

Ну и главное. Если Дональд Трамп делал на Ближний Восток ставку и регион служил для него этаким театром действий (обострение с Ираном, ликвидация Касема Сулеймани, поддержка иранских протестов, подписание мирного договора Израиля с монархиями Персидского залива, несколько раз чуть не начавшаяся война, гуманитарный кризис в Йемене, авианосец в Персидском заливе), то новая администрация имеет другие приоритеты во внешней политике. А именно – Китай и проблему изменения климата.

“В США существует консенсус по поводу того, что страна слишком много инвестировала в Ближний Восток без реального получения прибыли, – утверждает Малли. – Американский народ устал от американского вмешательства в дела региона”.

Как можно убедиться, политика Байдена в отношении **Ирана** планируется и осуществляется теми же самыми людьми, что вели при Обаме переговоры по СВПД и выступали за укрепление фундаменталистского режима.

1 февраля Иран испытал новую космическую ракету-носитель. **Ракета “Зульджана”** (названная в честь лошади третьего шиитского имама Хусейна ибн Али) – это 25-метровая трёхступенчатая ракета с твёрдотопливным двигателем для первых двух ступеней и третьей ступенью, работающей на жидком топливе. Она способна нести полезную нагрузку в 225 кг (496 фунтов).

Тяга ракеты “Зульджана” составляет 75 килотонн, что намного превышает ту, что необходима для вывода спутника на орбиту. Это делает “Зульджану” куда более сопоставимой с межконтинентальной баллистической ракетой, нежели с космической ракетой-носителем. Так, например, американская межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования LGM-30 “Минитмен III” обладает тягой в 90 килотонн.

“Зульджана” способна подниматься на высоту до 500 километров, выходя, таким образом, на низкую околоземную орбиту, будучи же запущенной в качестве межконтинентальной ракеты обладает дальностью полёта до 5000 километров (3100 миль), иначе говоря, может из Ирана достичь Великобритании.

Большинство СМИ, осветивших запуск “Зульджаны”, совершенно не отразили значимость проекта как с точки зрения того, что он говорит о военных возможностях Ирана, так и того, что он позволяет понять о намерениях режима, сосредоточившись вместо этого на выборе даты для проведения эксперимента. Иранцы сделали это демонстративно, нарушив ограничения на свою ядерную активность, наложенные на них в соответствии с ядерной сделкой, которую они подписали в 2015 году.

В настоящее время иранцы обогащают уран до 20% уровня, что намного превышает разрешённые им в так называемом Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) 3,67%.

Они используют запрещённые усовершенствованные центрифуги для каскадного обогащения на своей ядерной установке в Натанзе. Они также запустили урановые каскады с центрифугами шестого поколения на своём подземном ядерном реакторе Фордо, полностью игнорируя договор СВПД.

Они накапливают урановый концентрат, так называемый жёлтый кек, в намного большем количестве, чем разрешено в сделке. Они производят металлический уран в нарушение условий сделки. И, наконец, теперь они провели испытания космической ракеты-носителя, которую можно легко превратить в межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие.

Эти агрессивные действия Ирана подаются СМИ в контексте появления в Вашингтоне новой администрации Байдена. Утверждается, что Иран идёт на эти вызывающие шаги с тем, чтобы заставить администрацию Байдена сдерживать своё слово – вернуть США к договору СВПД и отменить экономические санкции.

В 2018 году президент Дональд Трамп вышел из договора СВПД и вернул экономические санкции, отменённые в 2015 году с подписанием сделки. Идея же Ирана, мол, состоит в том, что, опасаясь его стремительных ядерных успехов, команда Байдена срочно предпримет шаги, направленные на умиротворение режима.

По мнению израильских аналитиков, испытание “Зульджаны” в полной мере выявило всю глубину стратегических ошибок, лежавших в основе сделки, задуманной, продвинутой и заключённой тогдашним президентом Барак-ом Обамой и его старшими советниками.

Основное стратегическое предположение, которым руководствовались Обама и его команда, заключалось в том, что Иран является ответственной державой и должен рассматриваться как часть решения – или даже как его важнейшая составляющая, а вовсе не как главная проблема Ближнего Востока. Мол, поддержка Ираном террора, те войны, которые режим ведёт через своих марионеток, и его ядерная программа якобы стали прискорбными последствиями регионального баланса сил, в котором союзники США – в первую очередь, Израиль и Саудовская Аравия – получили слишком сильные позиции, в то время как Иран был обделён.

Исходя из этого, Обама утверждал, что **для стабилизации Ближнего Востока необходимо расширить возможности Ирана и ослабить союзников США**. Как сказал в 2013 году занимавший в ту пору пост вице-президента Байден, “нашей самой большой проблемой стали наши союзники”.

Обама утверждал, что новый баланс сил должен признать позиции Ирана в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене. Что же касается ядерной программы, нарушающей Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный Ираном, это, мол, неизбежно и понятно. **По мнению советников Обамы, на фоне того, что Пакистан, Индия и, предположительно, Израиль обладают ядерными арсеналами, желание Ирана заполучить его тоже выглядит вполне разумным.**

Учитывая эту позицию участников переговоров, становится понятна легитимация ядерной программы Ирана, которую обеспечил СВПД.

По мнению израильских военных аналитиков, **цель сделки вовсе не состояла в том, чтобы не дать Ирану стать ядерной державой. Напротив,**

она должна была “нейтрализовать” Израиль, лишая легитимации любые попытки еврейского государства, направленные на предотвращение подобного сценария.

При этом, если Израиль и другие союзники Америки могли серьёзно пострадать от этого нового баланса сил, Обама и его европейские партнёры считали, что сами они окажутся в большей безопасности, поскольку, став устойчивым региональным гегемоном, Иран не будет им угрожать.

Не случайно не имеющая, впрочем, обязательной силы статья в СВПД призывает Иран ограничить дальность действия его баллистических ракет 2000 километров (1240 милями), что выводит за пределы досягаемости США и большую часть Европы.

Многие комментаторы рассматривают администрацию Байдена не более чем третьим сроком администрации Обамы. И, с точки зрения политики новой администрации в отношении Ирана, это, безусловно, так. **Политика президента Джо Байдена в отношении Ирана спланирована и осуществляется теми же самыми людьми, которые вели при Обаме переговоры по СВПД.**

Помимо самого Обамы, главным официальным лицом, отвечавшим за СВПД, был уже упоминавшийся **Роб Малли**, который возглавлял переговоры с Ираном. В статье, опубликованной в журнале *Foreign Affairs* за октябрь 2019 года, Малли изложил свои взгляды на то, как должна выглядеть политика администрации демократов в отношении Ирана. По его утверждениям, стратегия максимального давления Трампа поставила регион на грань войны, поскольку была основана на предоставлении союзникам США во главе с Израилем и Саудовской Аравией возможности бороться с региональной агрессией Ирана и его ядерной программой. Другими словами, она основывалась на восстановлении и укреплении регионального баланса сил, который Обама подорвал в пользу Ирана и в ущерб региональным союзникам Америки.

В статье Малли утверждал, что единственный способ предотвратить войну – это вернуться к СВПД и к прежней политике Обамы по укреплению Ирана за счёт союзников США, особенно Израиля и Саудовской Аравии.

Теперь, однако, испытание “Зульджаны” явно продемонстрировало, что Иран вовсе не разделяет точку зрения Малли на свою позицию.

Что же касается даты проведения испытаний, “Зульджана” была запущена в феврале 2021 года, а не в октябре 2020 года лишь потому что Иран сдерживался Трампом и его стратегией максимального давления.

По мнению израильских аналитиков, при Трампе перспектива войны уменьшилась. Теперь она нарастает с каждым заявлением таких людей, как госсекретарь США Энтони Блинкен или советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

В начале февраля оба высокопоставленных должностных лица предупредили, что **Иран опасно приблизился к обладанию независимым военным ядерным потенциалом. И оба тут же ясно дали понять, что для решения этой проблемы администрация намерена вернуться к СВПД.**

Команды Байдена – Обамы намерены пойти на безвозвратную уступку Ирану – предоставить режиму миллиарды долларов доходов, которые поступят в его казну после снятия санкций. В обмен они просят Иран сделать ответный жест. Иран восстановил своё ядерное обогащение в Фордо и мгновенно поднял уровень обогащения до 20%. Даже если он временно отключит центрифуги ради снятия санкций, он сможет опять включить их, как только средства начнут поступать.

Это почти наверняка произойдёт не позднее июня, когда в Иране пройдут президентские выборы. Президент Хасан Рухани и министр иностранных дел Джавад Зариф покинут свои посты. **Все нынешние реальные кандидаты происходят из Корпуса Стражей Исламской Революции, и все они активные сторонники выхода из СВПД. Так что даже в лучшем случае оставшийся срок существования СВПД составляет четыре месяца.**

Байден, Блинкен, Салливан, Малли и их коллеги не могут этого не понимать. Поэтому их упорное стремление продолжать лоббировать свою стратегию указывает лишь на то, что **идеологически они твёрдо привержены своему плану и будут придерживаться его, даже если он приведёт регион к войне.**

В годы правления президента Трампа Израиль и США были полностью скоординированы в своих совместных и отдельных действиях по подрыву

ядерной программы Ирана. Очевидно, времена эти прошли. И **по мере того, как команда Байдена в полной мере даёт о себе знать, возможности Израиля предотвратить превращение Ирана в ядерную державу стремительно исчезают.**

Когда в январе начальник генерального штаба ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) генерал-лейтенант **Авив Кохави** объявил, что он приказал соответствующим командирам **подготовить оперативные планы по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана**, большинство комментаторов предположили, что его целевой аудиторией является иранский режим.

Другие же утверждали, что он **сделал предупреждение администрации Байдена**. Первые считали, что это попытка заставить Иран отступить от ядерной точки невозврата. Вторые увидели в этом требование к администрации Байдена серьёзно отнестись к позиции Израиля, прежде чем продвигать отмену санкций.

Однако на фоне стратегического фанатизма команды Байдена и упорного стремления Ирана к ядерному арсеналу в той же мере вероятно и то, что целевой аудиторией Кохави были не иранцы и не американцы.

Возможно, его слова стали обращением к израильской общественности, готовя её к тому, что грядёт.

Европа

В рамках пересмотра Пентагоном вопроса о военном присутствии Соединённых Штатов в мире **Байден объявил о приостановке вывода 12 тысяч американских военных из Германии**. В июне 2020 года Трамп объявил о решении вывести американских военных из Германии, вызвав тем самым тревогу в Европе и обеих партиях в конгрессе.

В Европе главная проблема Байдена заключается в том, чтобы убедить ключевых дипломатических, экономических и военных союзников Соединённых Штатов снова поверить в Америку. Некоторые считают, что Соединённые Штаты, которые на протяжении многих десятилетий были самой сильной демократией в мире, утратили свои позиции в мире навсегда.

Репутация Америки на глобальной арене достигла насколько низкой точки, что теперь ключевых западных союзников будет крайне сложно убедить даже в необходимости объединиться для противостояния Китаю.

* * *

Странная “новая” внешняя политика США ведёт к разрастанию политической конфликтности между ведущими мировыми державами. А это чревато перерастанием политических конфликтов в военные. Внешнеполитические и разведывательные команды вокруг Байдена настолько “мутные” (извините за жаргонное слово), что доверять и договариваться с ними весьма проблематично. В безопасности страны надеяться можно, как обычно и случалось в русской истории, только на свои вооружённые силы.

Вот почему важным событием последнего времени является то, что российские военные учёные разработали **концепцию противостояния американской “мультидоменной операции”** – стратегии, которую в последние годы активно разрабатывает Пентагон.

Суть концепции – упреждающий массированный удар всеми доступными средствами. Он может быть нанесён “в условиях нависшей над Российской Федерацией угрозы локальной войны”.

Концепция была опубликована в последнем номере ежеквартального журнала “Воздушно-космические силы: теория и практика”, который издаётся Академией ВВС имени Жуковского и Гагарина. Номер вышел в декабре 2020 года. Концепция не на шутку встревожила западные СМИ, политиков и военных (BBC от 09.02.2021).

ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ

ЦЕ ЕВРОПА

(Пандемия коллективного бессознательного)

Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи (Ин. 8: 44).

Наконец это слово прозвучало: империя лжи. Сказано о современном Западе, о Европе. Сказано в час последней битвы добра со злом, света с мировой тьмой, русской цивилизации с антихристианским западным миром. Сказано президентом России, одним из самых умных, дерзких и загадочных политиков новейшей истории, до скрежета зубовного ненавидимого тем самым Западом, той самой разоблачённой им империей лжи. Злобствующей оттого, что разоблачение было не публицистическое, не фигура речи, от которой можно просто так отмахнуться, но экзистенциальное, а по сути, духовное, религиозное, попадающее своим остриём в глубинную сердцевину явления. Так в Первую мировую войну М. Пришвин увидел в одном из храмов икону Георгия Победоносца, впервые обратив внимание на изображение змея: “Голова у врага рода человеческого изображается маленькой, но интересной: пышет пламя, горят глаза, эта маленькая голова посажена на огромное тело вьющееся. Духовная сторона зла изображена маленькой, а материальная — необычайно огромной”. Далее Пришвин добавляет: “Счастливы тот, кому суждено вонзить копьё в огнедышащую пасть, и горе тому несчастному, кто обречён пребывать изо дня в день возле его огромного вонючего вьющегося и грязного тела”.

Эта “маленькая голова” на “огромном вьющемся теле”, долгое время притворявшаяся едва ли не воплощением общечеловеческой добродетели, внезапно проговорила, выдав себя со всеми своими потрохами. Запад и во все времена проговаривался в своей утробной ненависти к России, но не столь откровенно.

Мы, конечно, знали и помнили его интриги, коварство, войны. Мы храним в исторической памяти слова Суворова “англичанка гадит”, нас предупредил Бжезинский: “После устранения коммунизма у нас остался единственный враг — Православие”, — нам объяснил г. Хантингтон, что “цивилизация заканчивается там, где начинаются православные храмы”, мы не забыли объяснение нашего “несходства” с Европой, переданное в “утончённом” рассуждении “цивилизованного” интеллектуала, европейца Ренана: “Смерть француза — факт нравственный, тогда как смерть казака (то бишь русского. — Г. К.) факт всего лишь физиологический”. Что в свете происходящих ныне

событий на Донбассе, где гибнут русские люди, старики и дети, делает логичным утверждение бандеровским сборищем ментального родства: “Украина на це Европа!” — под фашистским соусом: “Украина по над усє!” Подобной описывал Европу ещё перед Первой мировой войной Василий Розанов: “Уже тогда было что-то такое в Берлине, что-то носилось в самом воздухе... Да и песенка “Deutschland, Deutschland — über alles” (“Германия, Германия превыше всего”), может быть, была не столько реально-глупою, сколько выверенно-пророчесвенною”.

Тогда и случился во всех смыслах символический момент: на исходе первой четверти XXI века нацистское коллективное бессознательное попёрло из “маленькой головы” Запада. Для истории навсегда сохранится в кинохронике сладострастная радость на замороженном лице спикера Палаты представителей Конгресса США, восьмидесятиоднолетней мадам Нэнси Пелоси, когда под бурные аплодисменты против России были приняты так называемые “санкции из ада”. Не санкции, но слово “ад” здесь ключевое, оно приводило её в нечеловеческий экстаз, будто ей, словно гоголевскому Вию, подняли веки, и она была готова шуровать кочергой под кипящими котлами с ненавистной Россией.

И когда та же нацистская песенка, переложенная на украинскую мову, словно отложенная после мая 1945-го война, вновь зазвучала угрожающе у самого порога России, “Бессмертный полк” сошёл с портретов и фотографий, он больше не мог терпеть возрождённого нацизма. Открылось, что у этого бессмертного полка прекрасные лица внуков и правнуков ветеранов Священной Великой Отечественной войны.

Дальше никого уже было не остановить. В антироссийском шабаше западные “гуманисты” Европы и Америки наперебой изощрялись в саморазоблачении. Бандитский архетип подбросил им идею теперь уже “калечащих” санкций. “Глобальной изоляции”, “величайших, самых масштабных санкций за всю историю” оказалось маловато для непогрешимого кровавого “Града на холме”. Идеологический наследник помрачённого на русофобии Джона Маккейна, сенатор Линдси Грэм, как заправский мафиози, публично объявил охоту на Путина: “...чтобы кто-нибудь в России убрал этого парня”. Пропагандистские киллеры пошли дальше: Meta сообщила, что сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных, также разрешает призывы к смерти Путина и Лукашенко.

Майкл Макфол, бывший посол в Москве, а по призванию “адвокат дьявола”, возложил вину за освобождение Украины от нацистской нечисти на всех, кто живёт в России: “Больше нет “невинных”, “нейтральных” россиян”. По словам Байдена, российское руководство “понятия не имеет, что его ждёт”. Но дурашливый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как балаганный Петрушка, разбалтывает страшный секрет Полишинеля о том, что цель Запада с его санкциями против России — свержение российских властей.

И тут из недобитой в 1945 году нацистской фабрики, где гад гада плодит, вырываются наружу, как на Украине, фантомы прошлого. С пафосом Третьего рейха, применяя термин “тотальная война” из одноимённых мемуаров кайзеровского военачальника Эрика Людендорфа, вышедших в 1935 году в нацистской Германии, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр начинает грозить: “Мы развернём тотальную экономическую и финансовую войну против России. Против России, Владимира Путина, правительства, но российский народ тоже расплатится за последствия”. А его шеф, президент Эммануэль Макрон, с галльской наглостью называет “ложью” то, что Россия на Украине ведёт борьбу с нацизмом. Так, вся эта публика фактически становится соучастником геноцида Донбасса, восемь лет истекающего кровью под бандеровскими обстрелами.

Тем омерзительней было явлено новое лицо Германии — канцлера Олафа Шольца со старым геббельсовским оскалом, заявившего, что разговоры о геноциде в Донбассе “смехотворны”. Герр Шольц, военные преступники в Нюрнберге аплодисментами стоя встречают ваше специфическое чувство юмора. Они вылезают из петель, в которых были повешены за чудовищные военные преступления, выползают из тюремных камер, тянут из гробов костлявые руки, чтобы обнять вас, герр Шольц, за то, что вы циничным шулерским манером “освободили Германию от исторической вины”, переложив её

на Россию за то, что она сегодня очищает Украину от ваших бандеровских недобитков!..

Друг Гёте и Шиллера, немецкий лингвист, предтеча психолингвистики, Гумбольдт утверждал, что язык — это часть культуры, а “дух народа” и язык настолько связаны друг с другом, что если существует одно, другое можно вывести из него. Тем самым современный словарь Америки и Европы, каким мы его видим сегодня, есть не что иное, как коллективное бессознательное Запада в его нацистском проявлении. Словарь выдаёт постхристианский сатанинский Запад с головой. Они и есть Ад, в который жаждут превратить весь мир, от них несёт серой. Их голоса за inferнальной чертой, из потусторонней реальности вне этики и совести, откуда они извергают свои проклятья России, её православным храмам, которые стали последней духовной крепостью на пути их безбожной цивилизации.

Цивилизации, где узаконены ЛГБТэшное, содомитское скопище, венчание однополых браков, весь их гендерный дурдом, где у ребёнка нет пола, где есть родитель №1 и родитель №2, где запрещены понятия “отец” и “мать”. И значит, нет этому аду спасения, ибо по их же законам нет уже в их словаре слов Отец Небесный и Матерь Божия, не к кому им обращаться с молитвой о прощении!..

Взгляните, как красивы и одухотворены лица “Бессмертного полка”, взгляните на лики его павших героев, защитников Донбасса — Александра Захарченко, Арсена Павлова (“Моторола”), Михаила Толстых (“Гиви”), Алексея Мозгового, Павла Дрёмова (“Батя”), Нурмагомеда Гаджимагомедова, Владимира Жоги (“Воха”) и тех молодых ребят, которые сегодня насмерть стоят против сил ада. И как безобразны лица живых мертвецов из крошечного ада, всех этих Нэнси Пелоси, байденов, трампов, макфолов, грэмов, шольцов, Лизы Трасс, борисов джонсонов, макронов, “це-вропейцев” Порошенки, турчиновых, парубиев, зеленских, тягнибоков, ляшко, аваковых, гордонов, наших собственных “власовцев”, стреляющих в спину “Бессмертному полку”, — быковых, шендеровичей, венедиктовых, ургантов, парфёновых, муратовых, ройзманов, рубинштейнов, ахеджаковых, галкиных, хаматовых, долиных, дудей и прочих!..

Кажется, всю эту мировую “це-Европу” когда-то с народным украинским здравомыслием изобразил простодушный кузнец Вакула в повести гениального сына Украины Гоголя “Ночь перед Рождеством”: “На стене сбоку, как войдёшь в церковь, намалевал Вакула чёрта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: “Он бачь, яка така намалёвана!” — и дитя, удерживая слезёнки, косилось на картину и жалось к груди своей матери”.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 16

ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ... (продолжение)

Кожинов периодически встречался в это время с Дмитрием Голубковым, и Голубков записывал впечатления от этих встреч в свой дневник.

“... Вчера – В. Кожинов с женой. Граммофон (Панина и Вяльцева), интересный (4-х часовой) его монолог о М. М. Бахтине – его работы о Достоевском и Рабле – и его брате (филологе, белом полковнике)... Кожинов проламывался к Федину (у того – комплекс вины: в 37 году он “не узнал” вернувшегося из ссылки Бахтина); по телефону обманывал секретаршу, называясь немецким писателем; в Переделкине, разогнавшись на велосипеде, мимо свирепого пса выскакивал прямо на веранду и т. д. ...”

“Каждый вечер ухожу из дому... Вадим Кожинов (мил и дорог; но пьёт непрерывно)... Не сойти бы с ума...”

“Были: Ром(ан) Минна с женой, Кожиновы (гитара; мало пьющий Вадим; на вопрос Ю. Казакова: “Ивана Алексеевича не люблю: он написал литературный донос на всю Россию – “Деревню”...”

“Премия Солженицына; толки о его женитьбе на молодой женщине (“Это несколько портит его образ” – Кожинов)...”

(О новом браке Солженицына тогда ходило много разговоров, в том числе и самых резких. Подруга Бахтина по Невельскому кружку Мария Вениаминовна Юдина явно не одобряла выбор писателя: “Она человек крайне плохой... Дрянная баба, авантюристка, довольно одарённая в своих авантюрах... Есть люди высоко порядочные, а есть сорт женщин, которые ловят. И вот словила...”)

Сам же Голубков ездил в Переделкино к Бахтину. И так же оставил записи об этом посещении.

“В воскресенье (позавчера) – в Переделкине у Бахтина. Очень плох; оброс, худ; нездорово смугл – осмоленный рябчик с головкой, падающей с мёртвой, мягкой шеи. Глаза тёмные, с мёртвым блеском кофейного зерна. Привёз ему подснежников – очень растрогался; всовывал в стакан; Галина Тимофеевна (толстуха-служанка) кое-как с ними управилась...”

Он: – Я знал Сирина. Читал его “Дар”. Очень занятно: приём, форма. Но много игры и, к сожалению, ощущается пустота (медленно говорит и как бы извиняясь). – И многое устарело – остроты, приёмы... Жалко ужасно, если

всё это искусство, талантливость так расплывется... А я думал, он давно умер...

— Бунин? Я его люблю, конечно. Но не так, как (скупой жест правой рукой — дескать, не до звёзд).

— Я орловец. Спасское-Лутовиново хорошо знаю — я там по соседству в 16-м году у дяди в имении жил...

Худой, смуглый; скуластое татарское лицо, бегущий быстрый череп с отбевавшим назад лбом (кондотьер Донателло). Глаза красновато-карие, усмешливые, глубокие. Голос медленный, сиплый, густой. Подбородок в серой щетине; всегда в пальцах левой руки (маленьких, белых) сигарета...

В 1971 году умерла супруга Бахтина Елена Александровна. «Михаил Михайлович... в течение суток стал другим человеком, — рассказывал Кожин. — Он стал совсем маленьким, совершенно жалким... Так в нём поражала какая-то монументальность, а смерть жены разрушила его совершенно. Он даже потом рассказал, что вообще собирался умереть, но в последний момент передумал. Кстати, он не раз повторял: «Смерть наступает тогда, когда есть сигнал из какого-то высшего духовного центра человека... Только тогда человек умирает... Во время болезни, он говорил: есть приказ, отдаваемый вот этим внутренним центром, — жить дальше или умереть... И когда он остался один, то категорически отказывался у кого-либо поселиться... Я приглашал его посылиться у себя, но он сразу отклонил все разговоры об этом. И тогда мы устроили Михаила Михайловича в переделкинский Дом творчества. Он ещё не состоял в то время в Союзе писателей... Только потом, после долгих уговоров он туда вступил... Между прочим, столь же категорично Бахтин отказался от звания профессора. И когда я спросил: «Михаил Михайлович, почему Вы так пренебрегаете этим?..» — он ответил: «Понимаете, философ должен быть никем, потому что если он становится кем-то, то он начинает приспособлять свою философию к своей должности». Он сказал это несколько шуточно, но в тех словах была своя логика и свой смысл...»

Кожин в это время добивался московской прописки для Бахтина и устройства его в писательский кооператив на Красноармейской улице (кто-то из очередных эмигрантов отчалил за рубеж, освободив двухкомнатную квартиру). Вадим Валерианович написал письмо в Отдел социального обеспечения Исполкома Моссовета.

«В настоящее время остро стоит вопрос об устройстве быта известного советского литературоведа Михаила Михайловича Бахтина. Общее состояние здоровья и инвалидность дают ему полное право на постоянное медицинское и бытовое обеспечение. Но дело не только в этом.

М. М. Бахтин — выдающийся учёный, который, несмотря на преклонный возраст, продолжает плодотворно работать, внося очень заметный вклад в нашу культуру.

Уже первая книга М. М. Бахтина, изданная 40 лет назад, в 1929 году, вызвала широкий отклик у советской общественности. Тогдашний Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский счёл нужным опубликовать большую статью о книге М. М. Бахтина, в которой высоко оценил работу учёного... Две книги М. М. Бахтина, вышедшие в последние годы, — «Проблемы поэтики Достоевского» (Москва, 1963) и «Творчество Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (Москва, 1965) получили поистине всеобщее признание.

О книге, посвящённой Достоевскому, профессор Б. И. Бурсов говорит: «Это одна из самых блистательных книг в громадной «литературе о Достоевском» (журнал «Вопросы литературы». 1964. № 7. С. 72). Лауреат Ленинской премии писатель К. А. Федин и лауреат Государственной премии профессор В. В. Виноградов писали, что труд М. М. Бахтина о Рабле имеет «первостепенное научное и культурное значение... Его издание является настоящим торжеством нашей науки о литературе и, без сомнения, вызовет самый живой отклик на родине Рабле и в других странах» («Литературная газета» от 23 июня 1962 года. С. 4.).

Вскоре после выхода книги о Рабле она была отмечена в газете «Правда» как одно из достижений советской литературной науки («Правда» от 29 апреля 1966 года. С. 3).

Оценивая деятельность М. М. Бахтина, еженедельная московская газета «Неделя» писала в одном из недавних номеров, что работы этого учёного

“вызвали жгучий интерес не только у его советских, но и у многих зарубежных коллег” (“Неделя”. 1970. № 16. С. 19)...

Представив этот “послужной список”, Кожин настоятельно просил чиновных товарищей решить вопрос с поселением Бахтина в Москве. И его обращение было услышано.

К этому времени “Проблемы поэтики Достоевского” вышли семью изданиями на разных языках, так что с деньгами на кооперативную квартиру проблем не возникало.

Месяц Бахтин прожил в Переделкине. С помощью Кожина и других заботников ему продлили срок ещё на месяц. Начали договариваться о третьем — и тут дирекция взбунтовалась. Формально не член Союза вообще не мог там находиться. Последовала жалоба директору Литфонда, который повелел выселить Бахтина из Дома творчества.

Кожин в очередной раз продемонстрировал весь свой энергетический запал. Он явился к оргсекретарю Московской писательской организации бывшему чекисту Виктору Ильину и завёл с ним прямой разговор.

Поначалу Ильин отнекивался: “Ну, слушайте, нельзя же, он не член Союза писателей...” Тогда Кожин вытащил главный козырь.

Это был журнал “Известия Академии наук. Отделение языка и литературы” со статьёй “Вопросы поэтики и теории романа в работах М. М. Бахтина” за подписями В. Жирмунского, Б. Мейлаха и Г. Фридлендера.

— Вот видите, только что появилась статья О ТРУДАХ БАХТИНА. Вот, обратите внимание, после товарища Сталина ни о ком так не писали... Вы теперь понимаете, кто такой Бахтин? Это тут три академика о его трудах размышляют...

(Академиком среди них был только Виктор Максимович Жирмунский).

Ильина словно подменили. Он тут же приказал секретарше соединить его с директором Литфонда.

Кожин сидел рядом и слушал этот занимательный диалог (в телефонной трубке было слышно каждое слово):

— Там... это самое... Бахтин у тебя...

— Да-да! Это безобразие! Как можно!..

— Послушай меня, послушай!.. Бахтина не трогать! Пускай живёт в Доме творчества, сколько ему нужно...

— Как же так?! Ведь он...

— Ты что, русского языка не понимаешь?!

Трубка брякнулась на аппарат.

“Я всем сердцем радел за Михаила Михайловича и очень хотел ему помочь, — рассказывал Кожин, — я становился гораздо умнее и изворотливее, чем являлся на самом деле. Если бы я пёкся о своём, то мне ничего такого никогда не пришлось бы в голову...”

Восемь месяцев жил Бахтин в Переделкине, пока длилась подготовка квартиры.

А незадолго до этого произошла весьма драматичная история.

В 1968 году Кожин познакомился в Нижнем Новгороде с ассистентом кафедры русской литературы Нижегородского университета Владимиром Фёдоровым. Вадим Валерианович получил приглашение читать курс лекций по теории литературы, и Фёдорова приставили к нему в роли “маленького Вергилия”, как потом вспоминал он сам. “Вергилием” студент пробыл не более двух дней — далее сам Кожин стал показывать неведомые молодому знакомому достопримечательности Нижнего.

И лектор Кожин был непохож на обычного лектора.

“Он обыкновенно садился за стол, наливал стакан воды и, время от времени прихлёбывая, рассказывал о предмете так, словно разглядывал его со всех сторон. “Домашний” тон первое время сбивал аудиторию с толку, казался слишком личным, но потом мы сообразили: Кожин говорил о “своём” со “своими”. Это приближало обсуждаемую таким образом проблему к каждому, возбуждало личное любопытство, которое потом переходило в устойчивый интерес. Так произошло, по крайней мере, со мной: я мыслил себя историком русской литературы, а стал теоретиком”.

Фёдоров стал расспрашивать о Бахтине, и Кожинов тут же пообещал познакомить неопита со своим учителем. Вскоре они отправились в Саранск, и всю дорогу Кожинов рассказывал детективную историю пробытия книги Бахтина в печать. Потом, внимательно следя за фёдоровскими работами, он не сдерживал радости, видя, как молодой филолог “исходит из самого фундамента, из “корней” бахтинского творчества и предстаёт поэтому в качестве не иждивенца, а соратника, сороботника”.

В это время в Саранске готовился сборник статей в честь 75-летия Михаила Михайловича, ответственным редактором которого был ещё один нижегородец Сергей Конкин, доцент Мордовского университета. Он же стал соавтором Кожинова в написании очерка о жизни и творчестве Бахтина до 1945 года (ему принадлежала вторая часть этой работы). Бахтин, прочтя кожиновский текст, горячо одобрил его. В этот же сборник Кожинов передал и статью Владимира Фёдорова.

А дальше произошло следующее: в университете образовался кружок из студентов и преподавателей, увлечённых “самиздатом”. Некоторые члены этого “исторического кружка” разбрасывали и расклеивали листовки, в которых требовали “демократических свобод” и призывали “следовать чешскому примеру”, а также обсуждали написанную коллективно работу “Социализм и государство”.

Одним из участников этого “действия” был самый одарённый студент историко-филологического факультета поэт Владимир Жильцов. Вместе с другими “подельниками” он был арестован и после месячного судебного разбирательства, не признав за собой никакой вины, получил 4 года по 70-й статье. Через много лет он кратко рассказал мне эту историю, не выпячивая своей роли и, как мне показалось, с лёгким сожалением о своём молодом сумасбродстве.

Жильцов было близким знакомым Фёдорова — и того привлекли в качестве свидетеля, но “свидетельствовать” Владимир категорически отказался. В результате он был уволен из университета с запретом на несколько лет права преподавательской работы (при этом никакого запрета на публикации не последовало).

“Я проходил свидетелем по делу политического свободомыслия студентов историко-филологического факультета. — вспоминал сам пострадавший. — По адресу университета было вынесено частное определение суда, на основании которого меня и уволили”.

“Стремясь спасти талантливого филолога, — это уже воспоминания Кожинова, — я договорился сначала со знакомыми преподавателями Липецкого педагогического института Е. И. Барышниковым и С. Т. Вайманом, и Фёдорова приняли на работу в институтскую библиотеку; затем другой мой знакомый М. М. Гиршман устроил его преподавать на так называемых подготовительных курсах в Донецкий университет и, наконец, при поддержке сотрудников Института мировой литературы и — одновременно — “профессора Академии общественных наук при ЦК КПСС” А. С. Мясникова (сохранявшего, несмотря на свою карьеру, совестливость) удалось вернуть Фёдорова на полноценную преподавательскую работу — сначала в Кемерове, и затем — уж окончательно — в Донецком университете”.

Но всё это будет потом. А тогда Конкин, узнав об изгнании Фёдорова, тут же выбросил его статью из готовящегося сборника. Кожинов был в ярости. Он справедливо полагал, что Конкин попросту “перестраховался”, а, по сути, “литературовед, знающий судьбу Михаила Михайловича и лезущий к нему в “друзья”, поступил, в сущности, хуже, чем пособники гонений 1920–1930-х годов”, которым, действительно, в случае заступничества грозила серьёзная опасность (видимо, к этому времени Кожинов, помимо всего прочего, был в курсе того, как Конкин исподволь пытался “оттереть” от контактов с Михаилом Михайловичем его верных саранских помощников — супругов А. М. и Н. Г. Кукановых, краеведа И. Д. Воронина, мордовского поэта Серафима Вечканова, фольклориста Кирилла Самородова). Кожинов высказал негодую в глаза всё, что о нём думал, и отказался от какой-либо работы над сборником в дальнейшем (одобренную Бахтиным свою статью, правда, изымать из него не стал). Понятно, что Конкин затаил злобу, и на протяжении последующих лет не устал сначала устно, а потом и письменно клеветать на Вадима Валериановича и его московских друзей, принявших деятельное участие в судьбе Бахтина.

В Москве кипела своя жизнь. Поэты работали, выпускали книги, бражничали, проводили время в долгих беседах. Одна из животрепещущих тем разговоров — отказ немногих (но громких) от родины, стремление выехать из России в “цивилизованную Европу” или в ещё более “цивилизованную Америку”, а то и в “землю обетованную”, то бишь в Израиль. Отряхавшие пыль родины с каблучков ничтоже сумняшеся сравнивали себя то с Гоголем, то с Тургеневым, то с Герценом, намеренно подменяя суть жизни за границей прошлого века и современной эмиграции.

Евреи, стремившиеся на “историческую родину”, не нуждались, как они считали, ни в каких “прикрытиях”. Они открыто заявляли, что СССР, на земле которого они родились и прожили большую часть своей жизни — не их страна (массовые заявления на выезд последовали синхронно с объявлением Голдой Меир “тотального похода” мирового сионизма против Советского Союза). Иные писатели, убеждённые в том, что только “там” они смогут посвящать свои произведения излюбленной “еврейской теме”, не скрывали своего презрения в отношении бывших коллег. На одном из таких “разбирательств” дела отъезжавших Зиновия Телесина и Рахили Баумволь не выдержал даже престарелый Лев Кассиль: “Слушая Вас, — заявил он Телесину, — я сам становлюсь антисемитом!”

Бегство Светланы Аллилуевой, Аркадия Белинкова или куда менее известного Михаила Дёмина громко или полужёпотом обсуждалось на многих писательских кухнях. А друзья “кожиновского кружка” слушали написанное по горячим следам стихотворение Станислава Куняева, стихотворение, расставившее всё по своим местам:

Непонятно, как можно покинуть
эту землю и эту страну,
душу вывернуть, память отринуть
и любовь позабыть, и войну.
Нет, не то чтобы я образцовый
гражданин или там патриот —
просто призрачный сад на Садовой,
бор сосновый да сумрак лиловый,
тёмный берег да шрам пустыковый —
это всё лишь со мною уйдёт.
Всё, что было отмечено сердцем,
ни за что не подвластно уму.
Кто-то скажет: “А Курбский? А Герцен?” —
всё едино я вас не пойму.
Я люблю эту кровную участь,
от которой сжимается грудь.
Даже здесь бессловесностью мучусь,
а не то чтобы там где-нибудь.
Синий холод осеннего неба
столько раз растворялся в крови —
не оставил в ней места для гнева —
лишь для горечи и для любви.

Читал пронзительные стихи молодой, недавно появившийся в “кожиновском кружке” Дмитрий Балашов, только-только начавший составлять свою первую книжку “Гонец”:

Что случилось, приключилось
В дальней стороне?
Снилось, снилось, не приснилось —
Отдалось во мне.

То ли рокот самолёта,
То ли стук копыт...

Не кукушка ли со счёта
Сбилась и молчит?

То ли голос на подмогу
Тщетно призывал,
То ли месяц на дорогу
Вышел и пропал,

Или сердцу стало тесно,
Или вспомнил мать?..
Слышу родину, как песню,
Слов не разобрать.

И, конечно, читал новые стихи Передреев, стихи, в которые вторгались всё более и более драматичные ноты:

В саду безмолвья и беды —
От края и до края —
Деревьев чёрные ряды,
Процессия немая.

И в тишине его ветвей,
Во всей его округе
Воронье карканье слышней
И завыванье вьюги.

И где-то там, в глуши времён,
За стужей железной,
Он безмятежный видит сон,
Он слышит шум мятежный.

Там осеняет землю сад
Таинственную кушей,
Листвой, летящей наугад,
Отрадою цветущей.

Он обнимает небосвод,
Звезду легко колебля..
И соловей его поёт
Во мгле великолепя.

Друзья поздравляли Анатолия, говорили о лермонтовских нотах, возрождённых в его поэзии, а он, приветливо улыбаясь, становился всё задумчивее и задумчивее.

В очередной статье “О времени или о себе?” он подверг жестокому разбору стихи своих современников. Писал “о случаях парадоксальных противоречий между усилиями и результатом в некоторых стихах современных поэтов. О том удивительном явлении, когда поэт говорит вроде бы о чём-то очень важным для всех или для многих, а в конечном счёте оказывается, что он озабочен только собой”.

Примером такого самолюбования стало для него стихотворение Евтушенко “Долгие крики”.

“Стихотворение подаётся в двух планах — реалистическом и аллегорическом. В реалистическом плане в пределах пейзажа с избушкой и лошадью герой представляется как диковинный “человек с ружьём”, который во что бы то ни стало хочет кого-нибудь “разбудить”. Но “на том берегу”, очевидно, привыкли к подобным “шалостям”.

Из аллегорического плана, где безответственный охотник легко и непринуждённо превращается в заезжего оратора-пророка, явствует следующее. Оратор-пророк, пытающийся уже не просто разбудить, но и “пробудить”, сознаёт своё бессилие...

Автор постоянно помнит, “кто он”. Обращение к себе как к некоему “оратору-пророку” – это кульминация его “поведения” в стихотворении. Всё же остальное – лишь фон, на котором демонстрируется авторское “я”.

В таких стихах больше жестов, чем смысла, больше голосового напора, чем чувства”.

Передреев не ограничился одним Евтушенко. Он буквально разнёс по кочкам своего товарища по “кожиновскому кружку” Игоря Шкляревского, недавно выпустившего книжку “Фортуна”, получившую весьма благожелательную прессу.

“Кажется, что автор буквально пронесется мимо читателя... “выпаливая” в него свои беглые наблюдения, собранные вместе не по принципу творческого осмысления, а по принципу пресловутого “напора”.

Но строчки рассыпаются, как горох, художественная мысль не двигается с места...

Шкляревский, на мой взгляд, обладает способностью личного живого восприятия жизни. Но это восприятие подавлено в данном случае желанием не столько писать, сколько “шуровать” стихи...”

Сказать, что Передреев был до конца справедлив, нельзя. В “Фортуне” было немало стихотворений удивительно свежих, проникнутых ощущением очарования природой, быстротекущего времени – и многое запоминалось и откладывалось в душе... Но по большому счёту Анатолия Константиновича тревожила та тенденция, преобладающая в современной поэзии, о которой он сказал в самом начале.

“Когда поэты поддаются своеобразному “гипнозу позы”, они становятся похожими друг на друга при всех, казалось бы, броских внешних различиях”.

И здесь, действительно, уже трудно было отличить Евтушенко от Шкляревского, Шкляревского – от Фирсова, который “опирается на “края отцов”, на “Россию” всего лишь навсего в отчаянии перед анонимными письмами по своему адресу”, а Фирсова – от Александра Богучарова.

“В наше время, – заключал Передреев, – когда так модна всяческая “разорванность”, понятие “гармония” зачастую воспринимается не как “равновесие диких сил”, а как нечто уютное и добропорядочное... По нашему же глубокому убеждению, ни “словарь забытых слов”, ни “словарь современных слов” сами по себе никакого стихотворения не могут “явить”. Ход может быть дан, и, вероятно, надолго, только таким стихам, где вместо “поз” – старомодных или ультрасовременных – будет глубокое художественное осмысление современной действительности нашего времени во всей его полноте и значительности”.

Сверхзадача для любой поэтической эпохи. Но без этой сверхзадачи и нет поэзии. И тяжесть её сам Передреев осознавал во всей полноте и сущности, когда брался за перо:

Пускай закружат времена
своею музыкою дикой,
но позабытая весна
лица коснётся паутиной!

И снова вспомнишь тишину
и край родной... И даль... И дымку.
И лучезарную одну,
сквозь ночь летящую косынку.

И ту неясную печаль,
и эту радость без названья,
и станет непомерно жаль
окна далёкого мерцанья...

Встаёт луна из темноты,
поёт невидимая птица,
и так поёт она, что ты
не можешь в мире заблудиться.

... Он продолжал жить на два города – в Москве и Грозном, откуда время от времени писал друзьям ироничные письма, в которых делился своими мыслями о друзьях, об их стихах и в которых время от времени прочитывалась его далеко не счастливая семейная жизнь.

Письмо Станиславу Куняеву из Грозного:

“Стасик, дорогой!

Только что вернулся из Баку и обнаружил твои телеграмму и письмо.

Жалко, что ничего не могу послать тебе для “Дня поэзии”, тем более, что это единственная богатая лавочка.

Стих есть, но в набросках. Одни существительные. Письмо твоё мрачно. Жаль Соколова. Хотя он сделал всё, чтобы слово “жаль” приобрело чисто пчелиное значение. Выбери подходящий момент и обними его за меня. И Вадима, конечно.

Неужели Шкляра никогда не пойдёт дальше строчки Бальмонта: “Хочу быть смелым, хочу быть дерзким, хочу одежды с тебя сорвать”?

В Баку жил долго, переводил.

Окончательно убедился, что “Персидские мотивы” – вовсе не результат вдохновения Есенина. Просто, наверное, на него надели по пьянке чадру, и он написал всё это под её покровом. А в общем, “изжил себя эпистолярный жанр...”

22.4.68 г.”

Куняев категорически не соглашался с резкостью Передреева в отношении Шкляревского, но тот стоял на своём.

Письмо Вадиму и Елене Кожиновым из Грозного:

“Вадим и Лена!

Милые друзья!

Не помню, как мы расстались, но доехал я еле-еле. Оголтелое нац. меньшинство сотрясало вагоны. Нет ничего отвратительнее скопища пьяных горных орлов. В ресторане я каким-то чудом спасся от нескольких клювов. Доехал под охраной пограничной овчарки из соседнего купе.

Леночка кинулась мне на шею и два дня не показывала мне шиш. Шема тоже. Сейчас всё потихоньку становится на своё место.

Сейчас здесь солнечно, хотя пыльно и грязно – долго шли дожди. Показываются (в моём окне) горы, не имеющие ничего общего с равниной. Магомет (Мамакаев. – С. К.) отложил своё юбилейное безобразие на декабрь. Но это не мешает вам приехать. Горы стоят неколебимо, по склонам их бродят бараны – будущие шашлыки.

Пишите, что нового в Москве, т. е. – в “Жигулях”, в ЦДЛ, в ЦДЖ?

Обнимаю.

Ваш Толя.

Осень 1970”.

А 26 января 1971 года он пишет письмо Софье Гладышевой:

“Милая Соня!

Как пелось в одной блатной советской песне: “Тишина немая, только ветер воеет...” Даже мой проигрыватель замолчал. Думаю, надорвался на Шаляпине. Впрочем, и к лучшему, а то у меня с утра до вечера в башке гудели “брызги шампанского”.

Шема по-прежнему сходит с ума и делает всё возможное, чтобы я не работал. Между нами говоря, мне-то и не очень хочется.

Соня, Соня, пока я писал тебе, принесли газету. Умер Коля Рубцов.

Пиши мне, ради бога.

Целую, твой Толя”.

* * *

Больше всего Кожинов любил читать вслух одно из поздних стихотворений Рубцова:

Скачет ли свадьба в глуши потрясённого бора,
Или, как ласка, в минуты ненастной погоды
Где-то послышится пение детского хора, —
Так — вспоминаю — бывало и в прежние годы!

Потом на суде она заявляла, что Рубцов унижал её как поэтессу (!), когда заставлял убирать в квартире, помыть посуду, в общем, наладить бытовые условия. . . Мало того, она делала всё, чтобы отвалить от него “верных друзей и чутких соратников по литературе”, явно намереваясь взять поэта в свою полную власть, при этом намеренно играла на его ревности и наконец. . .

И наконец произошла трагедия.

Как человек, Рубцов, конечно, не был ангелом. Им время от времени овладевали вспышки лютого гнева, так же быстро и заканчивавшиеся. Ничего страшного по отношению к человеку при всём том он сделать не мог (во всевозможных скандалах и драках он всегда был первым пострадавшим). Здесь им, скорее всего, овладела ярость при мысли, что он связывает свою жизнь с человеком, который, возможно, оставит вокруг него выжженное пространство. Уже многое накопилось внутри – и прорвалось.

Когда убийца красочно расписывала на суде (и после), как он над ней издевался, как бросал в неё зажжённые спички – почему-то никто не задал вопроса: “Что же вы, любезная, не встали и не ушли?”

Она не ушла. Она продолжала сидеть, вскармливая в себе чудовищную злобу. Она задушила поэта. Задушила зверски. Потом (если ей верить!) хладнокровно подмела пол и отправилась в милицию.

А потом товарки по колонии (и некоторые люди после окончания её срока) слышали от неё буквально следующее:

“Я бы его ещё раз убила. Вся жизнь мне сломал. Пьяница, никчёмный человек. Видете ли, поэт. . . учил меня. А мои стихи не хуже, а намного лучше. Но ничего, в Ленинграде есть люди, и за меня вступятся, и за границу тоже знают. Вспомнят ещё Д!”

“По сравнению со мной в поэзии Рубцов был мальчишкой!”

Выйдя на свободу, она написала письма Станиславу Куняеву, Анатолию Передрею и Анатолию Жигулину, стараясь оправдаться. Те ей не ответили, попросту решили не замечать. Позвонила по домашнему телефону Кожинову. Тот ей лаконично отчеканил:

– Вы убили не просто моего друга. Вы убили гениального поэта. И разговаривать мне с вами не о чем.

Особенно тяжело, судя по всему, переживал про себя случившееся Передрев, судя по стихотворению, которое вылилось у него после трагедии:

Ночью слышатся колёса,
Длится гул земли,
Это где-то вдоль откоса,
В русле колеи.

Ночью отсветы-пожары
Мечутся в окне,
Это город гонит фары
Где-то в стороне.

Это всё во мраке тонет,
Глохнет за стеной.
Ночью слышно: ветер стонет...
Это — надо мной.

Написал – и замолчал на несколько лет. Фактически, до конца 70-х годов. Всё это время он жил переводами с национальных языков.

“Передрев переставал писать стихи, – писала близко знавшая его Елена Владимировна Ермилова, – когда угасал дух, слабел лирический напор. . . Он был мастер, профессионал, он умел писать стихи, ему ничего не стоило создать более или менее удачную лирическую конструкцию, но ему это было неинтересно и скучно”.

. . . Потери в эти годы следовали одна за другой. Через полтора года утонул в Байкале Александр Вампилов – ещё один близкий друг Анатолия. Ещё через два года трагически погиб от пули инкассатора (“действовавшего по инструкции”) один из талантливейших художников современности Виктор Попков, о картинах которого проникновенно писал Михаил Лобанов. И в том же году на

съёмках фильма “Они сражались на Родину” скоропостижно скончался Василий Шукшин.

Что-то поворачивалось в самом времени, изменялся его воздух, постепенно, как вспоминал сам Кожин, стал распадаться и их “кружок”, хотя какое-то время он ещё держался, привлекая к себе новых людей.

Ироничный, шуточный, но и в определённых чертах точный портрет “кружка” запечатлел поэт Олег Дмитриев в стихотворном экспромте “Литературный салон у Кожина”:

Сошлись. Всё — светочи, предтечи...
Здесь льются пламенные речи
И струи красного вина,
Здесь слышен звук высокой лиры,
Здесь низвергаются кумиры,
Здесь создаются имена.

Здесь с выражением брезгливым
Сам Кожин дымит над пивом
И думает: “Напрасный труд...” —
Но слушает благоговейно,
Как Соколов, хлебнув портвейна,
Читает свой последний труд.

На прочих, как на разгильдяев,
Взирает Станислав Куняев.
Чеканно речь его звучит —
Он говорит между глотками:
“Добро должно быть с кулаками!”
А с чем должно быть зло — молчит.

Настала пауза немая.
Но тут же, кулаки сжимая,
Встаёт Шкляревский Игорёк.
“Ка-ак дам!” — он говорит со смехом,
Довольный собственным успехом:
Мысль гениальную изрёк!

Бывает, Битов здесь бывает.
Его никто не убивает,
Но бьют, однако же, порой!
(Но, может быть, от славных бриттов
Пошла фамилья эта — Битов!)
Терпи, раз ты такой герой!

Шугаев, эпик из Иркутска,
Не знает, где ему приткнуться —
Вконец затуркали, вконец!
И он от гнева корифея
Идёт в объятия морфея,
Пробормотав: “Спаси, отец!”

Но тут, над разговором взревав,
Блеснёт, как сабля, Передреев,
Тотчас в руины превратив
Всё то, что создал светлый гений —
От соколовских сочинений
До балашовских инвектив.

(Так поздно вспомнив Балашова —
Такого Ментора Большого,

Я промах совершил прямой.
Ну, ладно, Эдик, не ворчите,
Коль Соколова Вы учитель,
То, значит, Вы учитель мой...)

Какой восторг в глубинах взора
Горит у Самченко Егора!
(Хотя районный психиатр
В салоне выглядит, пожалуй,
Почти как деревенский малый,
Пришедший в оперный театр.)

Над минеральной водою,
Тряся учёной бородою,
Безмолвствует Портнягин Эрнст,
Случайный баловень удачи,
Он размышляет, чуть не плача:
“Сижу среди них один как перст!”

Но, чтобы парень не сломался,
Звучит старинного романса
Очаровательный куплет,
И все уходят из салона
По лестнице — чуть-чуть наклонно —
В предчувствии Больших Побед.

И наступает перемена:
Посуду убирает Лена,
Вадим улёгся на тахте.
Когда за окнами светает,
Вадим учеников считает
И горько думает: — Не те...

На полном серьёзе (как повелось ныне у некоторых литераторов) относиться к этому экспромту, конечно, не приходится. Это, если угодно, дружеский шарж, по экземпляру которого Дмитриев подарил некоторым своим “героям”.

...Пройдёт время — и разойдутся пути Кожинова и с Соколовым, и со Шкляревским. Совершенно враждебными станут отношения с Битовым. Отойдёт от прежнего дружеского круга и прозаик Вячеслав Шугаев, связавший свою жизнь с телеэкраном, который высосет из него все жизненные соки. Егор Самченко, введённый в кружок Шкляревским (на которого Егор всегда смотрел снизу вверх) так и останется восторженным зрителем, не напишет толком ни одного цельного стихотворения и будет запивать свою творческую несостоятельность лошадиными дозами алкоголя. Эрнст Портнягин, геолог, каждый сезон пропадавший в горах Тянь-Шаня (эту прекрасную работу он делил со Станиславом Куняевым, который стал его лучшим другом) выпустит в Москве талантливую книжку “Живая осыпь” и посвятит Вадиму Валериановичу стихотворение, навеянное кожиновским исполнением классических романсов.

ПЕВЕЦ

Вадиму Кожинову

Ты голову к плечу склони, певец,
отбрось очки одним просторным взмахом,
открой лицо — с таким же шли на плаху
и принимали царственный венец.

С такой похмельной чистотой в глазах
глядели в бездну вечности глухую,

и красоту неяркую такую
выписывала Русь на образах.

Мы прошлое забыли, как могли,
страна давно молиться разучилась,
но песню, как наследственную милость,
такие вот, как ты, уберегли.

Слова, задуманные на века,
сплетённые с напевной канителью,
нам за степною слышатся метелью
в предсмертном завещанье ямщика.

У русской песни тоже есть конец,
но вслед за ним всегда опять запевка.
Так ново всё, что позабыто крепко,
напомни нам о родине, певец.

К сожалению, прожил Эрнст недолго. Через несколько лет он погиб в горах Тянь-Шаня от шальной пули. Станислав Куняев, будучи в заграничной командировке, узнал о его гибели уже после своего возвращения, после похорон. Из поэтов в последний путь Эрнста проводили Александр Межиров, Анатолий Передреев и Игорь Шкляревский.

Когда Олег Дмитриев писал о Кожинове, “благоговейно” внимавшем стихам Соколова, он несколько не преувеличивал. После гибели Рубцова Соколов стал в это время наиболее близким поэтом, и сам Соколов, высоко ценивший тогда дружбу с Вадимом Валериановичем, наслаждался общением с ним в многочасовых посиделках.

“Володеньке с любовью”, “Любимому Володе. Дима”, “Володе с любовью до гроба” — так Кожинов надписывал ему свои книги.

Возможно (я лишь предполагаю), гибель Рубцова что-то серьёзное изменила не только в жизни “кружка”, но и в самом Кожинове. Он “переключился” на Соколова, стараясь, видимо, как можно больше сделать для него и сказать о нём при его жизни, тем более, видя, как Соколов периодически растрчивает себя в водочном угаре. Нарастало, видимо, и сожаление о том, что настоящего слова о Рубцове сам Кожинов при жизни поэта сказать не успел, радуясь словам, сказанным друзьями. Рубцов, как он однажды заявил отцу, был для него “всё равно, что Есенин”, но при жизни оставался в его восприятии одним из самых значительных современных поэтов наравне с другими — Передреевым, Соколовым, Куняевым... Тем более, что в отличие от Соколова, Рубцов не сталкивался с откровенно заушательской критикой, требующей немедленной реакции.

Последняя жена Соколова Марианна Роговская вспоминала: “Две святые любви окрыляли и объединяли их души: любовь к поэзии и любовь к России... Эрудиция Кожинова была просто феноменальной, мы иногда наслаждались ею, как особым искусством: звонили Вадиму, задавали ему сложный вопрос: цитату, малоизвестное имя, дату — и он моментально давал исчерпывающий ответ”.

Так, Соколов и Роговская однажды позвонили Кожинову и спросили у него имя автора стихотворения, где были строчки: “Лёгкой жизни я просил у Бога, лёгкой смерти надо бы просить...” Кожинов тут же ответил, что это Иван Тхоржевский.

Тогда же Соколов посвятил Вадиму Валериановичу одно из лучших своих стихотворений.

ДЕВЯТОЕ МАЯ

У сигареты сиреневый пепел.
С другом я пил, а как будто и не пил.
Как хорошо на зелёной земле —
Небо в окне и цветы на столе.

У сигареты сиреневый пепел.
С братом я пил, а как будто и не пил.
Пил я Девятого мая с Вадимом,
Неосторожным и необходимым.

Дима сказал: “Почитай-ка мне стансы,
А я спою золотые романсы,
Ведь отстояли Россию и мы,
Наши заботы и наши умы”.

У сигареты сиреневый пепел.
С другом я пил, а как будто и не пил.
...Как вырывались сирени из рук
У матерей, дочерей и подруг...

Мы вспоминали черты и детали.
Мы Баратынского долго читали
И поминали почти между строчек
Скромную песенку “Синий платочек”.

У сигареты сиреневый пепел.
Жалко, что третий в тот день с нами не пил.
Он под Варшавой остался лежать.
С ним мы и выпили за благодать.

Этими словами “неосторожный и необходимый” Соколов попал, что называется в “яблочко”. Двумя словами он воплотил суть и кожиновского образа жизни, и его значения в жизни общественной – всё это в органическом сочетании с воплощением празднования великой даты, ощущением великой истории, великого поэтического и песенного Слова.

Кожинов тут же переложил эти стихи на мелодию, и этот романс стал постоянным в его репертуаре наравне с передреевским.

Стихотворение “9 Мая” было напечатано в “Дне поэзии” за 1972 год, и тут же в “Новом мире” появилась рецензия на альманах Аллы Марченко (уже ранее “прошедшейся” по книжке Соколова “Трава под снегом”), по тональности очень похожая уже упоминавшуюся огневскую статью. Солидную часть этой рецензии Марченко посвятила разгрому соколовского стихотворения.

Вырвав из контекста отдельные строки, критикесса заявила, что перед нами якобы “ресторанный эпизод”, “лирический ёрш”, “смесь стансов и романсов, разлитая по бутылкам туманного стекла”. Вывод звучал достаточно угрожающе: “...К этой особенности эстетической позиции В. Соколова представляется необходимым присмотреться внимательнее, поскольку она... имеет прямое отношение к литературно-общественной позиции поэта”. Помимо всего прочего, она объявила Соколова “признанным мэтром того направления в нашей поэзии, которое с лёгкой руки Л. Лавлинского стали называть “тихой лирикой”...”

Статья Лавлинского “Тихая лирика” появилась в журнале “Юность” годом ранее, причём Лавлинский даже не упоминал в ней имени Соколова. Он писал о Рубцове, о Передрееве, о Жигулине. И термин избрал крайне неудачный (по контрасту с “громкой”, “эстрадной” поэзией). Сам этот контраст был нелеп изначально, а “приобщение” того же Рубцова к “тихой лирике” вызвало ироническое недоумение Кожинова.

Статья Марченко стала спусковым крючком. Кожинов взялся за серьёзную работу о Соколове, и эта работа была весьма нелёгкой. “Писать о нём трудно, – говорил он, – чтобы написать о поэзии Соколова, надо совершить собственный творческий акт”. И этот акт был им свершён.

“Подлинная поэзия, – писал Кожинов, отвечая самому себе на вопрос: почему лучшие стихотворения Соколова 60-х годов не были услышаны в момент их появления? – обладает чудесным свойством: с течением времени она не только не теряет свою силу и глубину, но, напротив, всё больше их обнаруживает...”

Многие стихотворения Владимира Соколова, которые с внешней точки зрения могут показаться лишёнными конкретных временных черт лирическими

сценками, размышлениями, пейзажами, на самом деле очень точно воплощают суть тех “дней”, когда они были созданы... К середине 1960-х годов в поэзии Владимира Соколова совершилось то, что можно назвать вторым открытием Родины (первое произошло уже в самых ранних стихах), открытием, затрагивающим самые глубины души и имеющим предельно интимный, предельно личностный характер, и в то же время обладающим исторической и социальной широтой взгляда... И это поэтическое открытие так же точно и глубоко выразило смысл времени...

Оно было, в частности, окончательным преодолением известного “разрыва” между возвышенной духовностью и повседневным бытием “простого” человека. При этом Владимир Соколов... выражает реальную, объективную связь, органическое единство того мира, которое называет Родиной, и своё собственное врождённое единство с этим миром...

На протяжении последних пятнадцати лет по руслу популярного стихотворства прошло две волны, первая из которых в конечном счёте мерила всё неопределённым “будущим”, вторая — столь же неопределённым “прошлым”. Волны эти, естественно, столкнулись и на рубеже 1960–1970-х годов как бы взаимно уничтожили друг друга. Но столкновение это вовсе не было бесплодным; в образовавшейся пустоте отчётливо выступили контуры по-настоящему серьёзной поэзии. Именно в это время и обрела, в частности, широкое признание поэзия Владимира Соколова, из которой, как из открытого окна, дохнула на читателей глубина жизни...

Кожин писал о стиле Соколова, главная черта которого — “жизненность, способность к постоянному развитию и плодотворному обновлению, не отменяющему прежнее, а прорастающему на уже сложившейся почве”. Он писал о приметах истории в стихах Соколова, о том, что она “вливается постольку, поскольку жива сейчас, в данный момент”. Он категорически отрицал утверждения о “камерном” характере его поэзии, подчёркивая, что говорящие так “просто не умеют вслушиваться в стих”.

К “не умеющим” он отнёс и Марченко, заявившую, что Соколов делает ставку на “музыку лада”, на “музыкально озвученную словесность”... Он писал — и совершенно справедливо, — что “нужно быть совершенно глухим к жизни стиха, дабы не услышать, что подавляющее большинство произведений Владимира Соколова основано отнюдь не на “напеве”, а на предельно отчётливо разговорной интонации” — и этим его поэтика резко отличается, в частности, от поэтики Александра Межирова. “В основе его поэтики лежат тончайшие оттенки значения слов и их отношений и, с другой стороны, интонационное построение как таковое (а не собственно ритмический напор)”. Что никакого отношения к “тихой лирике” Соколов не имеет, ибо в его поэзии “есть десятки прекрасных стихотворений, написанных для полного голоса, стихотворений, которые естественно будут звучать в самой большой аудитории”. ...А насчёт призыва “присмотреться к литературно общественной позиции поэта” заметил: “По-моему, просто неловко в наши дни подписывать своё имя под такими фразами”.

Он подробно и вдумчиво писал об образе снега, о единстве города и природы в поэзии Соколова, о неповторимом мгновении, в котором (а не в однообразной длительности) “раскрывается наиболее глубокое и вечное”, о том, что в его стихах “основу единства составляют тончайшие внутренние связи между самими словами и их значениями как таковыми”. И “там, где трудности побеждены, возникает ощущение настоящего поэтического чуда, подлинного, живого искусства”.

Тогда же Кожин вступил в уважительную и жёсткую полемику с будущим эмигрантом Владимиром Соловьёвым на страницах “Литературной газеты” о книге избранных стихотворений Анатолия Передреева “Возвращение”, где в ответ на упрёки о “возвращении” поэта “вспять”, о “бесконечной продлённости мгновённого действия”, о том, что “времени в стихах Передреева нет”, повторил свою излюбленную мысль: “Именно *остановленное мгновенье* есть “содержание” лирики, в котором “прошлое страстно глядится в грядущее” (Блок)... Критик, не желая того, на первый план выделил в стихах А. Передреева неотъемлемое свойство истинной лирики... Поэту в высокой степени присуща эта черта: ярче всего “воспоминания”, “возвращения” живут с полной силой в настоящем...”

Статья “Стихи должны быть, как открытое окно...” была опубликована в журнале “Наш современник”. Первая публикация Кожинова в этом издании.

В начале 1970-х годов журнал стал весьма авторитетным, уважаемым изданием, изданием, которое с нетерпением ожидали читатели, о произведениях которого писались солидные статьи. Таким он стал после того, как в 1968 году его возглавил вологжанин, бывший заместитель Анатолия Никонова в “Молодой гвардии” Сергей Васильевич Викулов.

Представляет немалый интерес его монолог, записанный Дмитрием Голубковым ещё до назначения Викулова на пост главного редактора.

“В 17-м у помещиков отобрана земля и формально отдана крестьянам. Первые несколько лет – голод, обман, но мужик верил: пройдёт, отстоится время, обещано и записано. Но прошло 30 лет – и крестьянин, почти ничего не получая от земли, понял: она не моя, она колхозная. Итальянская забастовка: сидят у станков, курят – и ни черта не делают.

Паспортов не дают. Дают записки-справки, по которым в городе лишь пускают в “Дом крестьянина” ночевать. Девки выходят фиктивно за военных, получают паспорт – бегут. Или иногда воруют, идут в тюрьму – по выходе из тюрьмы вручают паспорт. Бегут на целину – там принимают всех.

Раньше с га собирали в среднем по 17 ц. Теперь – 4-5, но с крошечных приусадебных участков – баснословные урожаи. “Если перевести на центнеры и га – всем уж Героя Соцтруда дали бы”.

Сеяли раньше на участках даже хлеб – для отвода глаз, чтоб воровать из колхоза пшеничку. Клубы – сараюшки, и то они от иной деревни за 5-6 км. Все ребята из армии в деревню не возвращаются. Девкам – хоть вой. Бегут.

Закон о пенсии. Не очень-то на Вологодчине обрадовались.

– Почему мужчине в городе – 60, а бабе – с 55, а у нас только с 65 и 60? Мы что, долговечнее? – Обида... Да и пенсия полеводу выходит 20–15 руб. Не проживёшь – капля в море.

Что будет с деревней?”

Разгром Хрущёвым русской деревни, авантюра с целиной, о которой Юрий Черниченко писал жуткие вещи в “Литературной газете” (как содрали защитный дёрн, после чего с мест стронулся и *коренной сибиряк*), приведшие к закупке зерна за рубежом (чего отродясь не было в России!) – всё это жгло Викулова изнутри. Он привлёк в журнал *провинциальную Россию* – прозаики, очеркисты публиковали острейшие вещи, задавая всё тот же вопрос: что будет с деревней, а соответственно, и с самой Россией?

Виктор Астафьев, Евгений Носов, Валентин Распутин с повестями “Последний срок” и “Живи и помни”, Василий Белов, Сергей Залыгин, Виктор Лихоносов с повестью “Осень в Тамани”, Гавриил Троепольский с повестью “Белый Бим Чёрное ухо”, Василий Шукшин с рассказами и киноповестью “Калина красная”, Юрий Казаков, Владимир Крупин, Виктор Потанин, Владимир Солоухин, Георгий Семёнов, Владимир Тендряков, Сергей Ермолинский с повестью “Пещерный человек”, Олег Куваев с повестью “Территория”, поэты Владимир Соколов, Анатолий Передреев, Анатолий Жигулин, очеркисты Олег Волков, Леонид Иванов – все они появились на страницах “Нашего современника” в конце 60-х – начале 70-х годов. Журнал обрёл статью и суть. Бывшие авторы “Нового мира”, забыв все “нестроения”, ринулись в “Наш современник”, включая таких “новомировцев”, как Игорь Дедков и Алексей Кондратович. В это же время на страницах журнала печатались произведения из наследия Михаила Булгакова и Андрея Платонова, а для “лёгкого чтения” читателю предлагались переводные детективы Джеймса Хедли Чейза и Рекса Стаута. Журнал стали рвать из рук.

Кстати говоря, Анатолий Передреев на короткое время возглавил при Викулове отдел поэзии. Пробыл он там, впрочем, недолго. После нескольких столкновений с главным редактором и выяснения полного несовпадения поэтических вкусов положил заявление об уходе на стол.

... На публикацию кожиновской статьи о Соколове не мог не откликнуться Евтушенко. Он и откликнулся в “Комсомольской правде” статьёй “Поэт и его дорога”. Подспудную обиду невозможно было не заметить: у него лично “отбирают” товарища,

“Кожинов подсаживал на пьедестал главы школы поэта Владимира Соколова, конечно, не по просьбе поэта, в таком пьедестале не нуждающегося, о чём без обиняков говорят сами его стихи. Однако Марченко пытается доказать не иллюзорность такого пьедестала, а иллюзорность самой поэтической репутации одного из наших лучших поэтов. Поэт, собственно, забыт со всеми своими поисками, болью, а его стихи становятся в руках одного критика лишь средством что-то доказать другому критику”.

Кожинов писал об отсутствии какой бы то ни было “школы Соколова”, цитируя его же строки: “Нет школ никаких. Только совесть да кем-то завещанный дар...” – Евтушенко приписывал Кожинову некую “школу”, да ещё и “подсаживание на пьедестал”, чего самому Вадиму Валериановичу в страшном сне бы не приснилось. “Поэт забыт” – это у Кожинова, чья статья о творческом мире Соколова до сих пор остаётся лучшей из написанных!... Впрочем, удивляться не приходится.

Евтушенко точила обида. Публика по-прежнему приходила на его выступления, но ему этого было мало. Он уже не был “первым и единственным”, и это медленное “сползание с пьедестала” становилось для него невыносимым. На одном из вечеров в Лужниках в это же время он буквально вопил в зал: “Сейчас не ходят слушать стихи! Сейчас уединяются с поэтическими книжечками под одеялом! Это ханжество!!!”

Кожинову было не до этого. Он делал своё дело. Статья о Соколове, возможно, должна была стать частью целой книги о поэте, но она так и осталась ненаписанной. Сам Соколов в это время наслаждался чтением кожиновских статей “Фет и “эстетство” – совершенно новаторским прочтением и анализом поэзии Фета, “О поэтической эпохе 1850-х годов” – о том, что эта эпоха стала настоящей эпохой лирической поэзии, “Смена стилей и классическая традиция”.

Классическую и современную поэзию Кожинов оценивал как единое целое – во взаимных зеркалах. В это же время на пороге его заваленного книгами кабинета появлялись новые люди, становившиеся близкими друзьями и соратниками.

(продолжение следует)

19 апреля в Оренбурге на 73-м году жизни скончался большой русский писатель Пётр Николаевич Краснов. Редакция журнала “Наш современник” выражает соболезнование родственникам, коллегам и всем читателям, любившим и ценившим творчество Петра Николаевича. Сегодня мы хотели бы предложить для прочтения ранние новеллы Петра Краснова, написанные в 70-80-е годы, — драгоценные образцы его прозы.

ПЁТР КРАСНОВ

НЕ УХОДИ С ПОЛЯ

БУРЬЯН

На городской дальней окраине, среди вечного строительного и всякого хлама, каких-то столбов с изоляторами, но без проводов, промеж промасленных шпал, кирпичных в копоти заводских стен со странными, времён паровозов, надписями: “Не сифонь! Закрой поддувало!” — никогда не живёт тишина. Где-то поблизости учащённым пульсом бьёт время от времени, содрогает воздух механический молот, погуживают машины, вдалеке на путях гулко и неразборчиво вещает день и ночь эмпээсовский громкоговоритель: пробубнит — и минуту спустя дёрнутся, сдвинутся за Бог знает что ограждающим забором крыши товарняка и взлетит оттуда, словно стая железных птиц, перекатывающийся лязг и грохот сцепок и долго потом будет затихать в дальнем конце состава, над пустырями... Сентябрьский ветерок, освежённый первыми заморозками, покачивает свисающий с крыши барака ржавый лист жести, тот шершаво скребётся о горбыль стены, скрипит угло и заброшенно, одичало как-то. В стороне пакугазов над остовом водокачки чёрным пеплом опадают галки, их кликанья не слышно тут, но и они, наверное, что-то добавляют тоже к механическому угрюмоватому гулу окраины, рокоту её, ропоту замазученной этой, еле слышно гудящей, изредка вздрагивающей земли.

Ничего уже не рождает она здесь, кроме лопухов и жёсткого, ко всему привычного бурьяна. Столько его, что, кажется, дай волно — и через какой-то десяток лет всё тут схватится, заплывёт им. Очистится понемногу воздух от человеческих запахов, прорастут неведомо откуда взявшиеся деревца, руша корнями фундаменты одиноко стоящих оставшихся корпусов, подваливая стены, и природа начнёт возводить леса, поправлять свой некогда нарушенный обиход и черёд... Начнёт, за этим дело не станет.

И отчего-то странным казалось небо здесь, вставшее погожим нынешним днём над землёю, — совершенно безоблачное и пустое. Неугадываемой высотой, сплошной голубой вертикалью уходит оно ввысь, теряясь в себе, растворяя само себя, и нет ничего, что оказало, обозначило бы эту высоту, дало взгляду простор; глаза увязают в этой мягкой, без расстояний и опоры

голубизне, проваливаются, не достигая дна, и не знаешь, как быть. Ничего там нет, пустота и молчание. По сути, всё та же неизвестность, неизведанность, которую принято называть мраком, но только голубого беспечального, бессмертного цвета — врачующего, говорят, принимающего и примиряющего всё и вся...

И была, как-то особенно ощущалась временность всего тут, сооружённого на скорую руку, видимая недолговечность — может, от соседства неба этого, его молчания высокого, давнего?.. Жизнь будто хотела успеть, торопилась доделать что-то, важное и спешное, нужное позарез, — сделать и уйти.

Как он попал сюда, на эту окраину городской толкучей жизни, он и сам толком не мог бы сказать. Выбирался с завода, где по заданию начальника снимал данные с самописцев установленных там приборов, к троллейбусной линии, хотел, где покорооче, и все немногие встречные показывали ему одно и то же направление — вот сюда, тропкой между кирпичным забором с натянутой поверху проволокой и бараком неизвестного назначения, сбитого внахлёт из горбыля. В промежутке этом тянулись по ушедшим в грунт шпалам две рельсы, блестящие среди закапанного масло-отработкой бурьяна, и вдруг он увидел подальше в заборе ворота из листового железа, закрытые, под них и увидели с закруглением рельсы, а ещё дальше впереди примыкал к забору невысокий корпус, припорошённый цементной пылью, с ярко-рыжей от ржавчины металлической трубой. Барак своим торцом вплотную упирался в этот корпус, ходу не было, тупик. Где-то совсем недалеко, слышал он поверх всего, прокатил, завывая, чиркая токосъёмниками по проводам, троллейбус, до фабричной улицы было рукой подать.

Он остановился, огляделся кругом в досаде, назад идти было далеко. Под ноги глянул — тропка, хоть и малая совсем, в ширину стопы, вела суетливо куда-то вперёд, идти ещё можно было, но куда? И увидел тут же, что забор будто немного заходит за корпус, что-то вроде щели там, и туда-то, похоже, и ныряет тропа, никак не заботясь о пешеходах.

Ну вот, теперь почти дома, вздохнул он, провозжая досаду, успокоенный вроде, что люди везде, даже на этой сотворённой ими же самими бросовой земле тоже хозяева и всюду имеют свои дорожки. Не эту, так другую бы нашёл, их здесь, должно быть, много. Тропок много, а место неудобное, никак не обжитое; какого-то, он понять не мог, завершения не хватало здесь, не было.

Оно во всём являлось тут, странное, но в чём именно, сразу не скажешь. И предосенний тонкий, ещё с душным запахом пыли, воздух, не растворявший в себе самых дальних очертаний, и постройки, сооружённые так, что уже снова кажутся старыми, а рядом буйные, космические совсем какие-то бурьяны во весь рост, и это над ними небо нынешнее всё новые приобретало черты и состояния, неясные, неявные, одно только ощущение опасности некой, отдалённой. Была даже не угроза, нет, хотя слово это для себя он уже назвал. Было молчание. Давнее, от веку — его-то, может, и боялась больше всего душа во все времена.

Он сел на большой, вросший своей тяжестью в грунт обломок бетонного блока с железной куделей толстой арматурной проволоки на сломе, в который раз осмотрелся. Все так же потягивал ровно и отпускал ветерок, солнце грело в затишке, придавленная бетоном, вздыхала и вздрагивала земля. Вдруг, еле слышимое за этим, загудело что-то. Потом гудение напряглось, заньло, из ржавой той трубы порхнул один, затем другой копотный дымок, и повалил клубами чёрный, как смертный грех, дым... Верховой ветер вытянул его в космы, разделил, пригнул к земле, запахло повсюду нефтяным приторным чадом, от крупных частиц копоти потускнел воздух. Дым пересёк нежаркое и ясное, безмятежное солнце, на миг затмил его до ослепительного ободка — и оно пошло мелькать, метаться, неверным светом озаряя, стараясь вырваться будто из него...

Нет, угроза была тоже, хотя отдалённая. Но не в том только дело, что грязно и безалаберно живём, это ещё можно поправить. Или не поправить, привыкнем, суть не в том. Все уже насмотрелись на эту почти потерявшую, как им кажется, смысл деторождения землю, хотя ей всё равно, что рожать — леса или бурьян; накричались до хрипоты, до безразличия. Опасны

не жалобы и стоны развороченной земли, опасно молчание — неба этого, времён пролетевших и видевших всё, развалин. Всегда оно, молчание, значило больше слова, а здесь заставляло опасаться себя особенно. Почему-то именно тут, где она творится всюю, а не залегла в спячке, во сне существования, жизнь казалась тоньше всего — именно здесь.

Как-то он летел большим рейсовым самолётом и почти всю дорогу, не переставая, смотрел в иллюминатор, вниз, в синеватую парную пропасть воздуха под собою. Сначала там, на дне, медленно и словно сопротивляясь реактивной скорости самолёта, проплывали, не кончаясь, плоские и серые, шершавые на вид леса с полянами и просеками; потом в них всё больше стало появляться желтоватых проплешин, неправильных контуров полей. Оловянным прибоем проблескивали речки и пруды, россыпью пошли человеческие селения и далеко по их окраинам — вот эта фабричная и всякая земля, свалки, карьеры, дико разъезженные какие-то дороги... Но дело опять же было не в том. С девяти тысяч метров всё, сделанное человеком, кроме этих полей, виделось малым и слабым; да и сами поля, казалось, одним только цветом отличались от нетронутой плугом земли, был на ней возделан тончайший только, прозрачный почти слой, плёночка, выпаханная так, что сквозь неё уже и материнская порода проступала своей рыжиной, а вся остальная толща была или чудилась не востребованной человеком, ненужной ему и недоступной.

Его поразила тогда — он летел впервые — не столько, может, малость человека, сколько слитная эта, косная толща живого, равнодушного и, значит, враждебного ему навсегда. Он вдруг увидел, что всё, что люди привыкли именовать разумом, гордиться им и уповать на него, — всё это лишь тончайшая плёночка, со стороны почти незримая, лоскутками-колониями покрывающая поверхность большой, сверху мирной земли, а остальное либо раскалённое, либо остывшее до немоты, одинаково опасное для скудельной этой, слабой, но упорной в своём желании выжить, выкарабкаться жизни... Победно звенели, пели на посадке турбины, преодолев мизер, фикцию пространства всего лишь, а ему гордо было и жаль этой жизни, с такими тратами продолжающей себя, воюющей изо всех своих сил; ничего в нём не осталось от тех минут, кроме гордости и жалости, и ещё будто страха — неопределённого, вовсе, может, несбыточного до поры до времени, но имеющего всё же быть.

Он узнался и тут, и был, наверно, всегда в человеке, с младенческих ещё времён жил и никак не подчинялся ему — страх дерзости, да. Дерзость пересиливала, но страх оставался, остался. Он подумал, что живёт, по сути, в самом трудном из всех бывших, шатком в своих крайностях времени, от которого зависит, быть или не быть всему, и каким быть. Впрочем, своё время ещё никому не казалось проще, определённое других, каждое наваливает свою тяжесть, человеку по-прежнему нелегко жить и куда трудней выжить вообще. Все эти инстинкты самосохранения отступают, уступают разуму и воле, и соединит ли кто всё это в одну — добрую — волю? Никто этого не скажет. Живи как жил, делай своё дело, вот и всё, инстинкт жизни вывезет. А нет — значит, так должно быть, так всё устроено.

Бурьян заполонил всё, что мог, что было сейчас в его силах. Спутанные, сцепленные заросли плотно прикрывали собой усталую землю, а у самого барака сцепились ещё гуще, выше, там клубился уже матёрый, подваливший на одну стену иззелена-бурый прибой, молчаливый и упорный.

Он потянулся, вырвал с усилием один из кустов и тут же пожалел: зачем?.. Пусть бы рос, где ему назначено. Стебель был жилистым, уже одревеневшим к осени, красноватые мелкие листочки и ветки его тоже огрубели, приготовились к предстоящим непогодам, частью поосыпались и рассеялись по ветру семена. Ничего в нём нет особенного, в бурьяне. Он знать не знает, что делает, лишь неосознанно растёт, где семечко упало, ни в жизни, ни в смерти своей не волен. Может, как раз в этом он и бес смертен — в том, что не избегает общей судьбы.

Совсем обычное растение, слабое и смертное, и чем слабее, тем лучше. Чтобы выжить, надо быть слабым — так ему, кажется, говорил один институтский приятель, из неглупых. Ничего, мол, особенного, простой

обывательский закон: мамонты вымирают, а мыши остаются. Что ж, мы слишком сильные и своенравны, чтоб выжить? Этот же приятель говорил потом, что человечество — непотопляемое судно, четыре миллиарда отсеков надежд... Где-то, должно быть, вычитал. Всё слова, одни только слова, которым ничего не дано сказать или поправить; а есть человек и есть бурьян, и чуть где не так, там он уже сверху, уже плодится вовсю, стеною стоит-качается, сторожа прошлое, ставшее молчанием, то, чего уже нет и не будет, — а может, порой кажется, и не было никогда...

Ну, а без окраины кто они и что, какая сердцевина? Он поднялся, постоял, посмотрел ещё. Ветерок тянул уже ровно и охотно, с осенней северной стороны, подхватывая клубами вываливающийся из трубы дым, протягивал и нёс его косо и вверх, оставив приветное по-прежнему и покойное солнце в стороне. Дымный след успел протянуться далеко, над пакугазами и дальше: редел, расходился, грязня голубизну и сам, наконец, растворяясь в ней, — и его принимало небо. Из-за поворота на тропинке показались несколько человек, шли гуськом, разговаривали и чему-то смеялись — окончилась очередная смена. И он тоже пошёл туда, куда нырля дорожка, прислушиваясь и тщетно пытаясь понять, о чём они разговаривают и чему смеются.

1978

НОЧЬ МИЛОСЕРДИЯ

Мать спала — одна, на старой, её костистым тяжёлым телом продавленной кровати, в избёнке на глинистом разъезженном косогоре, под которым мутной от долгих дождей и ледяной водой текла речушка Мельник. Спала тяжёлым от дневных трудов, старчески беспокойным уже, настороженным от недоверия к жизни сном; забывшись, всхрапывала иногда и замолкала тотчас, будто вслушиваясь, не пропустила ли чего, не сдвинула ли тем ненадёжного равновесия ночи, душной избяной тишины её, пересыпаемой невнятной, иногда сторожкой дробью дождя в стёкла, тревожимой глухими вздохами ветра за стеной. Осенняя ночь всё облегла, пути перекрыла, сиротские в себе приоттила поля, обобранные перелески, к самым окнам человеческих жилищ подступив и приникнув мокрыми бездонными глазами, — своим забвением милосердным наделяющая каждого в меру усталости его, в меру дневной суровости бытия, его холодно испытующих, невыразимо блеклых порою и твоего вовек не понимающих глаз.

Что снилось ей? Картошка, наспех спущенная в погреб, порядком так до се и не перебранная? С полузабытым, верней — с недвижимым, какие на давних карточках бывают, лицом сын первый, лихолеток, совсем спешивший с кругу, как пошёл опять походом в кабак, с цепи спущенный? Десяток уже с лишним лет птиц Божьих кормит она в Троицыну субботу, и подавня на помин души не подай, нельзя, сам решил себя, хорошо хоть строгостей прежних нет — на могилках похоронен, в ограде... Муж, из плена да через Сибирь, с застуженным насквозь нутром, недолго протянул после войны, сгас, — он, незапамятный, привиделся? Или, может, снился запруженный подводами майдан перед церковью, которой уже следа нет, и лавкой — он, магазин, и ныне там, — и как бабы в голос кричали перед железным ликом назначенной им кем-то судьбы, как мужиков даже корёжила слеза, а им, детишкам, всё вроде ничего, страшно только, и как сельсоветский писарь считал их, из кучёшки перегоняя в кучёшку, как скотину, и потом дорога та, так и не доставившая всех до места в целостности, холодные стогны чужих селений, немилые сердцу, ему большие пространства те ветреные, давние... Много чего снится могло, ей не прикажешь, выпущенной протоптаться, в свободу забытья отпущенной ненадолго своей душе, где и что навестить там, в своём, к какому приклониться холмику — много их, так много, что и не хватает её, порою кажется, души.

На всё не хватает, да так он с нехваткой души и живёт, человек, уж очень длинна у него, велика жизнь, высока — по ноздри; только, может,

и осталось, что на второго сына, последнего, да ещё на внучку, которую всего-то разок видала, больше не позволили, — его видит душа? Один теперь там, в городе, разведённый, неухоженный, в последний раз приехал — смутный, как посоловельный весь, и с лица спал, позовёшь — не слышит. Не испортился бы. С подружкой приехал, знакомил: разведёнка тож, сын был, мать жива... ну, теперь что ни приведи — всё ко двору, до кучи. А не худая, тело есть, ручки хоть небольшие, а сноровко стирает. Самостоятельная, и его, поглядеть, уважает — пусть... Его ищет душа и что-то не находит в потёмках застарелых болей, позабытых лиц и — Господи, прости, — векового всё ж непониманья, кто это с нами творит такое, зачем и, главное дело, за что...

И дочка спала, для старухи где-то затерянная в городе огромном, смутном, внучка, два-то годика всего, — спала, ещё только пробуждающаяся от сладких снов младенчества, где и обиды-то ещё не распутались с радостями, неделимо пока на них существованье, и где явное в ней чуть не вслух тайной ангельской бредит, миру выговорить её пытается, который не слышит. Розового прижала к себе зайца, нежным жаром тельца холод жизни вокруг себя растопив, запахом родным размячив, и на щечке её заспанной больше запечатлено, может, чем во всех тобой прочитанных человеческих книгах, в знаниях, никого не спасающих, спасительного не дающих утоленья, искупления неполной твоей душе; и в детские сны её, осенённые всеми в свете чудесами, приходят деревья и дома, небо входит, вмещается всё оно, и огромная добрая собака соседская опять лижет ей, замирающей от счастливого страха, шершавым своим языком ладошку... Неужто ж есть оно, счастье? Оно что, дурацкий этот розовый заяц, дитя отечественного ширпотреба, зайка, которого любишь и ты, отец, потому что любит его она?

Они спят, и глядит на них, наглядеться не может ночь; и чем пристальней вглядывается в них милосердная она, изъяны мира покрывающая и раны его зализывающая шершавым шуршаньем дождя, тем глубже они забываются, дальше забредают отсюда их детские, как у всех, души, в предрассветную самую глушь, ближе к счастью невозможному, неведомому... Поди, душа, туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что, сызвеку так. И уж старой сиделкой сама задрёмывает у изголовья, грезит невозможным ночью, сама в себе забылась под старенькие ходики, утолила всё, и уж гирька до полу, время к исходу, к изъятию, свою допрядывает последнюю, беспамятную уже нить, узелком завязывает, стягивает, и страдания нет.

1981

НОЧЬЮ ВЫПАЛ СНЕГ

Ночью выпал снег. Всему на свете равный и свой, он не имел имени в нём, не имел судьбы, он был просто белым на смёрзшейся земле, на тёмных будильях забытого лета, свободно и просторно белел везде, по окрестностям лёгший, нетяжёлый, и воздух над ним пасмурно-ясен был и тих, шаги скрадывал и мысли, будто придерживал где их при себе или дальше куда пересылал, и не здесь они отзывались, но где-то там, за проясневшими, уже по-зимнему чёрными перелесками окоёмными, за серостью пологой вместо неба, — отзывались, неслышные, не в одном бедном сердце человеческом, но во всём.

Ещё вчера тяжёлый и холодный стоял туман в полях, прощальный, не хотел уходить; и не всю листву, не все покровы ещё сорвало, с жалким шумом сгоняя, валежник ли набивая ею или прорехи пытаясь заткнуть мировые, хотя давно и далеко видна стала меж стволов и поредевшего подгона светлая опаль, овражки открывшая, пади, преющую глушь, и опустели такие заселённые было ярусы леса. И вот всё согласно было теперь стоять так, понурившись, полублетев, и ветшать до скончания дней — домом со скрипящими половицами, покинутым людьми и вещами, где обои оборванные, отставшие от плоти стен, пятна обнажились везде, мусор переезда, забытое

и брошенное; гулкость где, остылость и сквозняки порухи... Но потребность ухода, перемены, но мысль об этом уже была во всём, присутствовала и не скрывала теперь самоё себя — именно мысль, разумная, чуть усталая и своя, а не человеческая вовсе, не в человеке возникшая, но лишь возвращаемая им туда, откуда она к нему пришла.

И вот низкая тишина стала под вечер, всё ожиданьем своим связав; длилась, ждала и, синевшись, так и ушла в ночь, ничего не сказав. И уже к утру, великого терпения земли так и не истощив, наконец он пал, долгожданный, сошёл, ею встречаемый, — словно это тьма осенней ночи долгой сгустилась и, преобразовавшись неуловимо в ретортах высоты, в белейший выпала осадок. В некий осадок, в прожитое выпали все несовершенства вчерашнего дня, вся суета его, тяготы и обиды — в мысль, немного печальную, что всё проходит, но остаётся в нас. И будто с этой же мыслью, неоспоримой в своей простоте, заимком возвращена была миру на время и та изначальная, к дурным страстям человеческого разума непричастная предснежная чистота его...

Да, свобода была в нём и беспамятность, в снеге, безначальность, существовал он всегда, и ему равно где было выпадать, здесь ли, в ином ли каком мире, на обломки каких садиться катастроф... Чистота, да, но так ли уж невинно всё перед человеком? Так ли безгрешно всё перед обречённым на то, чтоб из тысячелетья в тысячелетье пробивать собою дорогу всему сущему, бессмертному, к какому-то там совершенству, которое ему самому, конечному, заказано вовек? На несправедливость эту роковую обречённому, покинутому?

И хоть оно бесполезно теперь считаться, да и с кем, едва ли не все твои дрязи с миром, человек, не более как распря с самим собой — с собою на-смерть враждуешь, не с кем другим, — но, враждою этой измаянному, не раз уж, верно, приходит подозрение к тебе, похожее на прозренье: уж не за твой ли счёт чистота эта, безмятежность? Не твоя ли безгрешность, отнятая некогда, благословляющей дланью снега легла опять на окрестность земную, продрогшую в туманах и тревогах осени, — отнятая или оставленная тогда и там, где с сумасбродной, но ведь и великой надеждой на божественное забилося впервые в тебе человеческое сердце? И ты отдал звериный покой свой и чистоту за это — или отняли? Отняли, отобрано было в незапамятный миг творения твоего, искрою неуследимой возникший на мировых часах, длящийся и поныне; и ты во всём узнаёшь это родное, отнятое, помнишь и любишь, беспамятно тоскуешь по нему... Но тут, где ты живёшь человеком, единожды делается всё, всерьёз и бесповоротно, и тоска твоя взыскующая и надежда не назад обращены, но в будущее; и вера, что утраченное надо искать только впереди, есть самое, может, человеческое из всего, что несёшь ты в себе этому беспощадному к тебе, прекрасному, под твою руку отданному теперь миру. И вот стоишь перед своим, утерянном, не в силах вымолвить слова, перед мыслью, эхом заблудившейся в отраженьях своих меж тобою и тем перелеском прозрачно-чёрным, дальним, и нет тебе избавления от самого себя, нет искупленья.

А снег — он что же... Он не имеет ни судьбы, ни имени себе, он — из твоей выпавший тоски по совершенству — есть совершенство самое и ничего более. Он, чья невинность в грешности твоей отражена, как в тёмной воде, и в ней лишь одной и видна, не укор тебе и даже не цель, как там ни любят людские неистовые идеалы примерять белоснежные одежды. Он просто снег, в который раз за осень навесивший землю и ещё не успевший растаять, предвестник таких редких, всего-то раз в жизни виденных тобою снегирей, серебряных зим и того, что неизвестно.

1982

НЕ УХОДИ С ПОЛЯ

Поле ржи дозревало под перепелиный позывающий, всё примиряющий собою посвист, под бесплодные ночные погромыхивания, обвалы глухие, трепет и судороги небесного всевидящего огня, обнажавшего на мгновенья острым грифелем срисованный — не такой уж сложный, чудилось вдруг, —

костяк миростроения, балки и фермы его, сотрясаемые, содрогаемые грозой; под солнцем, космически яростным нынче, под небесами дозревало постаревшими, усталыми за долгодневное рабочее лето, и конца ему, полю, не виделось. У самых ног начало было, растительно-пресный, сухой, уже хлебный жар его в лицо, колосьев поклоны земле и жизни, шуршал через силу подальше, рябил в них полденный, зноем укороченный ветерок, брёл, истомлённый, и спадал, и далее вздымал вдруг, летел стремительно, видимый уже по широкой тусклого серебра дуге туда, вглубь хлебного, в нехоженное — и рожь вздымалась волнами, валилась, бежала, торопилась тоже, и зыбкие тени, одна догоняя другую, стлались и шли, стлались и текли к пределу теней, к раствору их там — туда, в светлый, заслонивший горизонт и уже омертвельностью созревания обреченно тронутый житный простор.

Светла была обречённость, временна в поле жизни, колосащемся всегда, и отрадна чем-то, своим волнующимся покоем, что ли, спасительным незнанием конца ли, — словно всему тут обещано, уготовано было вечное. Уже проросло, состоялось и ни о чём тут не жалело прошлое, лишь неурочная паутинка несбывшегося плыла в поредевшем под август растительном его дыхании; в непрестанной своей смене сквозняки полевых нетревожных видений перемещали, обновляли свет и воздух там, над хлебом зреющим, земля молчала, отдав своё, — и всё покрывала собою безмятежная, линиялая от вековечной носки голубизна неведенья.

Неведенья ли?

Но чем дальше заходишь в поле, тем надёжней земля. И кто это, когда — уже всё чаще спрашивали себя — установил, заказал пределы ему, живому, а всё остальное мёртвым счёл, косным? Делить на живое и мёртвое взялись вроде бы для предварительного, условного знания, а возвели чуть не в абсолют; родительницу живого, роженицу — мёртвой назвали и сами же в это поверили, а поверив — испугались, каждый за себя сначала, и вместе — за всё живое потом... Но почему ж она так не боится тогда неживого тут, жизнь, разве что лишь в частностях личных своих, личностных, — в самом ли деле от неведенья, да и есть ли оно, неведенье, возможно ли? И не значит ли — спрашивали — большая, великая эта безбоязненность, что не какое-то здесь роковое незнание, лунатизм сущего и прозябанье над пропастью, в грозной невнятице стихий, а доверие, неразъединимое родство?

И бояться — надо ли бояться?

Цвело всё и зрело с безоглядным рвением, роняло листву, умирало, тлением упразднялось и опять возобновлялось под высокой рукою доверия этого; на земле зрело, всё хранящей в себе, сохраняющей до срока семена и кости, рубила первобытные, многотерпеливое битое стекло и головешки городов, через щель в подпол закатившуюся трогательную пуговку от распашонки детской, всё что угодно, — но лишь человека, воплощённого слова жизни, не храня; и не плоть, но лишь кощунственно-приблизительный смысл слова этого через и сквозь него, смертного, пересылая дальше, будущему... Так жаловался себе и миру человек, но его ничто не слышало или не понимало. Или сам он не слышал, самоувлечением больной, пеняя на то и кляня то, чего не понимал, — и некому было ему помочь. И лишь те, кажется, из людей, кто верил в видимую или истинную простоту мира, могли и умели иногда обрести в нём покой и уважение к своему существованию и не боялись почти. То есть боялись, но знали, что так — надо, всему надо, что речь не о них одних, но обо всём, а они есть только часть вечной, недодуманной всегда, незавершённой мысли этого всего...

И чем дальше идёшь, заходишь в поле, в его живую шелестящую дремоту, в сны о себе, когда благодатней и быстрее всего растут хлеба и дети, тем виднее, внятнее простота жизни — себя скрывающая, себе сопротивляющаяся простота, с собой согласная лишь здесь... Не уходи с поля. Не уходи, уже пылеватость некая проявилась, просквозила воздух и самое небо над пологим дальним взёмом полевым, где марево дрожит и струится, человеческое размытая, передёргивая взгляд и мысли, земную отекая твердь, — ибо сквозит, роится уже там хлебная пыль уборочная, будущая.

1985

БОРИС КУРКИН

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВСАДНИК

Это было сущее чудо.

И случилось оно в Кремле, во дворце, по старинке прозываемом “Чудовым”, ибо расположен он был подле Чудова монастыря, в котором разворачивалось действие сотворённого уже “Бориса Годунова”. В Малом Николаевском дворце впервые встретились только что взошедший на трон Царь и опальный Поэт.

Чудо заключалось уже в одном том, что их встреча произошла: Царь вызвал поэта — мелкого отставного чиновника, острослова всея Руси — из глуши, из “мрака заточенья” и велел предстать ему пред свои ясны державны очи. Но мало ли было в России обиженных и наказанных властью? “Кто Богу не грешен, Царю не виноват?” Всех не перечесть, пусть даже родовитых, тех, за кого было кому похлопотать?

Оба они были в ту пору молоды: Царю — 30 лет, Пушкину — 27.

Сведения о Пушкине, ложившиеся на стол Государю, были, мягко говоря, неутешительны. Вот что доносил А. Х. Бенкендорфу тогда агент III Отделения С. И. Висковатов — поэт и плодовитый драматург, переводчик Шекспира — в феврале 1826-го: “Прибывшие на сих днях из Псковской губернии достойные вероятия особы удостоверяют, что известный по вольнодумным, вредным и развратным стихотворениям титулярный советник Александр Пушкин, по высочайшему в Бозе почившего императора Александра Павловича повелению определённый к надзору местного начальства в имении матери его, состоящем Псковской губернии в Апоческом уезде, и ныне при буйном и развратном поведении открыто проповедует безбожие и неповиновение властям и по получении горестнейшего для всей России известия о кончине Государя Императора Александра Павловича он, Пушкин, изрыгнул следующие адские слова: “Наконец не стало Тирана, да и оставший род его не долго в живых останется!!”¹

Войдём в положение молодого Царя: донесению вполне можно верить. Кто бы на месте Пушкина от души не радовался смерти преследовавшего его ненавистного начальника?²

Но будем держать в уме, что слова своего брата, Императора Александра, о желании отречься от трона и уйти на покой, передав дела ему, Николаю, тот встретил со слезами и рыданиями: слишком велико было дело, он не чувствовал в себе “ни сил, ни духу на столь великое дело”, и одной мыслью Николая, одним желанием его было служить Царю “изо всей души и сил, и разума!”³

Таковы были чувства, которые испытывал в тот момент Николай, таково было осознание своей ответственности. И вот теперь перед молодым Царём стоял человек, бурно радовавшийся смерти его брата и предвещавший погибель всего царского рода и его, Николая, в том числе.

Какие чувства должен был испытывать царь к бунтовщикам, одержимым похотью власти и не ставившим себе никаких моральных преград на пути её захвата?

Оценим же по достоинству пронизательность, рыцарство и великодушие молодого Государя, оценившего ум Пушкина, его искренность и прямоту, простившего и понявшего Поэта.

О драматических отношениях Царя, его Генерала и Поэта можно говорить бесконечно: всегда придёт на ум что-то новое в раздумьях над давно известными фактами. Вопрос только в том, как к этим фактам относиться.

Но будем постоянно держать в уме: Царь Николай отвечал за всё Государство Российское, генерал Бенкендорф – за безопасность Государя и государства, а поэт Пушкин как лицо партикулярное – исключительно за самого себя. Однако, судя по трудам этих людей, их объединяло чувство и сознание своей ответственности перед Богом за Россию, и несли они её каждый в меру своих сил и способностей.

Служебное и общественное положение всех троих диктовало императивы поведения и определяло логику их поступков.

Все они были христианами, у каждого из них было своё послушание. И они выполняли его как могли, но на совесть.

То, что отношения между Царём и Бенкендорфом, с одной стороны, и Пушкиным – с другой превращались в острую драму, вполне достойную пушкинского пера, – всего лишь факт их личной биографии, не имеющий по прошествии без малого двух веков принципиального значения.

“И нам сочувствие даётся, / Как нам дается благодать”, – скажет на склоне лет Ф. И. Тютчев. И что Россию не понять умом, скажет тоже он.

“Я очарован слогом письма Пушкина...”⁴ – скажет о Поэте Царь и назовёт его “одним из умнейших людей России”.

“Его я просто полюбил: / Он бодро, честно правит нами”, – скажет о Царе Поэт.

Бенкендорф примет слова одного и другого к сведению.

В 1832 году Пушкин напишет ещё одно стихотворение, посвящённое Царю, – “С Гомером долго ты беседовал один...” Советские литературоведы будут лезть из кожи вон, пытаясь доказать, что обращение в стихотворении Пушкина не к царю Николаю I, а поэту и переводчику Николаю Гнедичу. И даже свидетельства Гоголя не будут им указом.

Когда же Пушкин будет составлять по поручению Царя свою служебную записку “О народном воспитании”, а Бенкендорф (в порядке личной инициативы) – “О тайных обществах в России”, то наблюдения Поэта и Генерала относительно состояния умов элиты русского общества окажутся схожи.

“Весьма не худо бы казалось, – писал Бенкендорф, – чтобы офицеры как люди, до поступления ещё на службу совершенно приготовившиеся, перестали посещать частно преподаваемые курсы, особенно политических наук, поверхностное изучение которых без предварительных прочных оснований и без пособия других наук наносит величайший вред. Сие полупознание поставляет в такое сомнительное положение, в котором воображение воспламенено, дух встревожен, а ум, блуждая во мраке без руководителя, ищет того, чего не видит и не постигает, и кончает тем, что или ещё более возрастает сомнение, или же приводит на скользкий путь заблуждений”⁵.

А это уже Пушкин: “... мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно политический; литературу (подавленную самой своенравною цензурою), превратившуюся в рукописные пасквили на правительство и возмутительные песни; наконец, и тайные общества, заговоры, замыслы более или менее кровавые и безумные. <...> Не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества; воспитание, или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла. *Не просвещению, сказано в Высочайшем Манифесте от 13-го июля 1826 года, но праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил, недостатку твердых познаний должно приписать сие своеволие мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец – погибель*⁶. (Имеется в виду мятеж 14 декабря 1825 года. – Авт.) <...> Должно обратить строгое внимание на рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись положить тяжчайшее наказание; за возмутительную –

исключение из училища, но без дальнейшего гонения по службе: наказывать юношу или взрослого человека за вину отрока есть дело ужасное и, к несчастью, слишком у нас обыкновенное. <...> Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. *История Государства Российского* есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека. Россия слишком мало известна русским; сверх её истории, её статистика, её законодательство требует особенных кафедр. Изучение России должно будет преимущественно занять в окончателные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве. <...> Преподавание истории (особенно новейшей) должно будет совершенно измениться. Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных”⁷.

Звучит актуально. Актуальной некуда.

Ознакомившись с запиской Пушкина, Бенкендорф напишет Царю: “Вследствие разговора, который у меня был, по приказанию Вашего Величества, с Пушкиным, он мне только что прислал свои заметки на общественное воспитание, который при сём прилагаю. Заметки человека, возвращающегося к здравому смыслу”⁸.

Весьма примечательно, что высшая власть апеллировала в Манифесте не к праву, что было бы вполне естественно, а к чувству русского человека, его религиозно-нравственному сознанию.

“Не в свойствах, не во нравах Русских был сей умысел. Составленный горстию извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную; но в десять лет злонамеренных усилий не проник, не мог проникнуть далее. — Сердце России для него было и всегда будет неприступно. Не посрамится имя Русское изменою Престолу и Отечеству”⁹.

“В нём зрелся Русский Царь”, — напишет на смерть Государя П. А. Вяземский¹⁰. А в 1860 году прозревший князь-либерал напишет стихотворение “Заметка” (приведём его полностью):

*Послушать: век наш — век свободы,
А в сущность глубже загляни —
Свободных мыслей коноводы
Восточным деспотам сродни.
У них два веса, два мерила,
Двоякий взгляд, двоякий суд:
Себе даётся власть и сила,
Своих — наверх, других — под спуд.
У них на всё есть лозунг строгий
Под либеральным их клеймом:
Не смей идти своей дорогой,
Не смей ты жить своим умом.
Когда кого они прославят,
Пред тем — колена преклони.
Кого они опалой давят,
Того и ты за них лягни.
Свобода, правда, сахар сладкий,
Но от плантаторов беда;
Куда как тяжки их порядки
Рабам свободного труда!
Свобода — превращеньем роли —
На их условном языке
Есть отреченье личной воли,
Чтоб быть винтом в паровике;
Быть попугаем однозвучным,
Который, весь оторопев,
Твердит с усердием докучным
Ему насвистанный напев.
Скажу с сознанием печальным:
Не вижу разницы большой*

*Между холопством либеральным
И всякой барщиной другой*¹¹.

Предупреждения Поэта и Генерала об опасности “полуобразованщины” были не напрасны. Когда недоучившиеся гимназисты, студенты и семинаристы дорвутся в 1917 году до власти, Россия умоется кровью.

Не один Пушкин бил тревогу по поводу состояния молодых русских умов. Вот что писал в это же самое время — в 1826 году — только что назначенный в III Отделение полковник жандармского полка И. П. Бибиков генералу А. Х Бенкендорфу: “Я непрерывно размышляю о том, какими средствами можно было бы ещё крепче связать узы, соединяющие Государя с его народом, и полагаю, что, кроме тех важных предметов, о которых я имел честь вести с Вами беседу в моих письмах, необходимо сосредоточить внимание на студентах и вообще на всех учащих в общественных учебных заведениях. Воспитанные, по большей части, в идеях мятежных и сформировавшихся в принципах, противных религии, они представляют собою рассадник, который со временем может стать гибельным для отечества и для законной власти.

Равным образом необходимо учредить достаточно бдительное наблюдение за молодыми поэтами и журналистами. Однако при помощи одной лишь строгости нельзя найти помощи против того зла, которое их писания уже сделали и ещё могут сделать России: выиграли ли что-нибудь от того, что сослали молодого Пушкина в Крым? Эти молодые люди, оказавшись в одиночестве в таких пустынях, отлучённые, так сказать, от всякого мыслящего общества, лишённые всех надежд на заре жизни, изливают жёлчь, вызываемую недовольством, в своих сочинениях, наводняют государство массой мятежных стихотворений, которые разносят пламя восстания во все состояния и нападают опасным и вероломным оружием насмешки на святость религии — этой узды, необходимой для всех народов, а особенно — для русских признанных мудрецов, и они изменяют своё мнение, так как не следует верить тому, что эти горячие головы руководились любовью к добру или благородным патриотическим порывом, — нет, их пожирает лишь честолюбие и страх перед мыслью быть смешанными с толпою.

Сообщаю здесь стихи, которые ходят даже в провинции и которые служат доказательством того, что есть ещё много людей зложелательных:

*Паситеь, русские народы,
Для вас не внятн славы клич,
Не нужны вам дары свободы,
— Вас надо резать — или стричь*¹².

Нельзя не признать, что полковник Бибиков был умён, проницателен и ставил верный диагноз. Жандармский чин ясно осознавал, что безбожие порождает шаткость ума, недомыслие, тщеславие и гордыню — со всеми вытекающими отсюда трагическими последствиями. Эту тему будет развивать позднее Ф. М. Достоевский.

Думается, И. П. Бибиков сознавал мрачную перспективу: пытаться влиять административными мерами на дух общества, конечно, можно, но в долгосрочной перспективе дело это явно безнадёжное. Происходило самое страшное, что могло произойти: общество морально разлагалось, и никакой Царь не мог бы предотвратить этого и выправить положение, пользуясь лишь мирскими средствами.

Но что-то делать надо было срочно, здесь и сейчас.

В юности и бурной молодости Пушкин снискал себе славу вольнодумца, и по инерции эта слава преследовала его всю оставшуюся жизнь. Доказательство того, что Пушкин был не “либералом”, а убеждённым государственным и монархистом — “просвещённым консерватором”, каковым величал он себя сам, — открылось высшей власти лишь по смерти поэта, когда настал черед разбора его бумаг. Хотя открылось ли?

Когда после окончания Второй мировой войны один русский автор-эмигрант назовёт Пушкина контрреволюционером, он будет недалёк от истины¹³.

“Сочинения — это совесть писателей”, — сей блестящий афоризм Бенкендорф поместил в очередной докладной записке Государю¹⁴.

Читаем ежегодный отчёт III Отделения за 1830 год. «Среди молодых людей, воспитанных за границей или иностранцами в России, а также воспитанников лицея и пансиона при Московском университете, и среди некоторых безбородых лихоимцев и других праздных субъектов мы встречаем многих пропитанных либеральными идеями, мечтающих о революциях и верящих в возможность конституционного правления в России. Среди этих молодых людей, связанных узами дружбы, родства и общих чувств, образовались три партии, одна в Москве и две в Петербурге. Цель их — распространение либеральных идей; они стремятся овладеть общественным мнением и вступить в связь с военной молодёжью. В последнем отношении так называемые политические училища — как инженерные, артиллерийские и особенно путей сообщения, где офицеры жалуются на то, что с ними обращаются как со школьниками, — способствуют пополнению их рядов, так же как и унтер-офицерская школа, представляющая богатую почву для их эксплуатации. Люди, в этом отношении осведомлённые, признают эти училища очень вредными, потому что нет ничего легче, как заронить в подобное учреждение пагубные горящие головни.

Из двух выше упомянутых партий одна в Москве и одна в Петербурге находятся вполне под влиянием нескольких литераторов, стремящихся во что бы то ни стало овладеть общественным мнением. Кумиром этой партии является Пушкин, революционные стихи которого, как «Кинжал» (Занда), «Ода на вольность» и т. д., и т. д., переписываются и раздаются направо и налево. Приверженцы этих партий выдают за своего покровителя г. Жуковского¹⁵.

В своё время — в 1826 году — Пушкин уже давал показания следователю относительно имевших хождение по рукам «возмутительных стихов» за его подписью, о чем позднее и отписывал Вяземскому: «Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова»¹⁶.

Скажем больше: на популярность крамольных стихов Пушкина в среде заговорщиков указывал едва ли не каждый подследственный декабрист, однако никакие иные предосудительных, с точки зрения власти, деяний за поэтом не числилось. Образ Пушкина, сложившийся у власти по ходу следствия, можно выразить известной русской поговоркой: «Без Царя в голове».

Получив известие о кончине Пушкина, Николай отправил Бенкендорфу записку, в которой говорилось: «Пушкин умер; я приказал Жуковскому приложить свою печать к его кабинету и предлагаю Вам послать Дубельта к Жуковскому, чтобы он приложил жандармскую печать для большей сохранности.

По истечении восьми дней эти два лица снимут печати, и Жуковский разберёт бумаги»¹⁷.

Распоряжение Николая можно рассматривать и впрямь как заботу о сохранности бумаг Пушкина. Вполне разумная мера.

Доверия власти Пушкину («доверенности», как говаривали в пушкинские времена) со стороны властей подобные настроения явно не добавляли.

Подозрение, что он человек не вполне «благонамеренный», проявилось и в том, что В. А. Жуковский, назначенный для просмотра бумаг поэта, вынужден был заниматься этим делом в присутствии жандармского генерала Л. В. Дубельта¹⁸. Жуковского это возмутило. По всему выходило, что полного доверия не было и ему, наставнику Цесаревича. Однако всем памятно было его заступничество за декабристов, едва не обрушивших государство, и за Н. Тургенева.

«Ты при моём сыне. Как тебе слыть сообщником людей безпорядочных или осуждённых за преступления?»¹⁹ — спрашивал Жуковского Царь, более недоумевая, нежели гневаясь. Речь шла не только о декабристах, но и о Н. Тургеневе, которого Пушкин назовёт «политическим фанатиком»²⁰. По виду бесстрастный Бенкендорф отзовется о Тургеневе сходным образом: «Нимало не скрывает своих правил, гордится названием якобинца, грезит гильотиною и, не имея ничего святого, готов всем пожертвовать, в надежде выиграть всё при перевороте. Его-то наставлениями и побуждениями многим молодым людям вселён пагубный образ мыслей»²¹.

Такова уж природа «благородного дела сыска»: не доверять никому, а доверяя, проверять и перепроверять. Несомненно, это может оскорблять и оскорбляет чувства свободного и честного человека, но следствию и следователям чужды сантименты: поиск истины — прежде всего. Иное дело проявляемые при этом утиливость и такт.

Правда, вежливостью, подчас подчёркнутой и изысканной, Пушкин и Бенкендорф (или наоборот: Бенкендорф и Пушкин) не раз доводили друг друга до тихого бешенства. Известный библиофил и библиограф А. С. Соболевский говорил по сему поводу о Бенкендорфе: “Совершенный европеец. Он вежлив, по его вежливость бывает иногда наглой, что выводило Пушкина из себя. Но он часто отвечал ему такой же вежливостью”²².

Для Бенкендорфа Пушкин был “шалопай” и “либерал”, Бенкендорф был для Пушкина холодный чинуша, “полицейский чин”, “немец” в чистом виде. Это не помешало им пару раз положительно отозваться друг о друге.

Бенкендорф в письме к Государю отметил ум Пушкина и полезность использования его в государственных целях²³, Пушкин – тоже в частном письме (к Вяземскому) – советовал своему другу: “... в сущности, это честный и достойный человек, слишком беспечный для того, чтобы быть злопамятным, и слишком благородный, чтобы стараться повредить тебе... не допускай в себе враждебных чувств и постарайся поговорить с ним откровенно”²⁴.

Но кого же не возмутит перлюстрация его частной корреспонденции. Тем паче писем к жене? Тем паче Пушкина с его взрывным (“африканским”) темпераментом... Ох, не приведи, Господи, оказаться на месте людей, вскрывающих и читающих чужие письма, но для них это была лишь работа.

Грязная и неблагодарная.

Служба-с.

И цинизм – часть сей профессии.

Здесь уместно будет напомнить слова из докладной записки Бенкендорфа: “События 14-го декабря и страшный заговор, подготовлявший уже более десяти лет эти события, вполне доказывают ничтожество нашей полиции и необходимость организовать новую полицейскую власть по обдуманному плану, приведённому как можно быстрее в исполнение. Тайная полиция почти невысказанно; **честные люди боятся ея, а бездельники легко осваиваются с ней.**

Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции и при том самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает все пункты Империи”²⁵.

Всякий порядочный человек, продолжает Генерал, “сознаёт необходимость бдительной полиции, охраняющей спокойствие общества и предупреждающей беспорядки и преступления. Но всякий опасается полиции, опирающейся на доносы и интриги. Первая внушает честным людям безопасность, вторая же пугает их и удаляет от престола”²⁶.

Насколько тяжело порядочному человеку одно лишь присутствие при чтении чужих писем, свидетельствует пример Жуковского. “Все письма (Пушкина. – Авт.), – писал он Царю, – были пересмотрены, и в них не нашлось ничего, кроме, может быть, [немногих резких] нескольких вольных шуток или бранных слов, вырвавшихся в свободе переписки [но какая нужда государству до] и недостойных внимания Правительства. Но признаюсь, государь, моё положение было чрезвычайно тягостное. Хотя я сам и не читал ни одного из писем, а представил это исключительно моему товарищу генералу Дубельту. Но всё было мне [тяжело видеть письма] прискорбно так сказать присутствием своим принимать [там личное] участие в нарушении семейственной тайны”²⁷.

“К чему, скажите мне, хранительная стража?”

Ничего не попишешь... “Мирская власть”²⁸.

Власть тоже можно понять: она опасалась заговоров, а память о мятеже 14 декабря 1825 года была свежа и свежести своей с годами не утрачивала. Да и масонские ложи, несмотря на очередной царский указ, никуда не исчезли: они просто ушли в подполье. О провинциальном масонстве в России написано столько, что хватит на добрую библиотеку.

Особенно оскорбительно выглядела для почитателей Пушкина организация прощания с ним: власть опасалась крупной и совершенно ненужной ей “либеральной демонстрации”.

“Пушкин соединял в себе два отдельные существа, – говорилось в отчёте III Отделения за 1837 год²⁹. – **Он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти** (выделено нами. – Авт.). Осыпанный благодеяниями Государя, он, однако же, до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъяснении оных.

Сообразно сим двум свойствам Пушкина образовался и круг его приверженцев: он состоял из литераторов и из всех либералов нашего общества.

И те, и другие приняли живейшее, самое пламенное участие в смерти Пушкина; собрание посетителей при теле было необыкновенное; отпевание намеревались делать торжественное; многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии; наконец, дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь лошадей и везти гроб людьми, приготовив к тому жителей Пскова. Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. В сём недоумении и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, высшее наблюдение признало свою обязанностью мерами негласными устранить все сии почести, что и было исполнено³⁰.

Прислушивался ли Царь ко мнению Пушкина? Безусловно, дурного и глупого Пушкин бы Государю не посоветовал. Оказал ли влияние «Борис Годунов» на Николая Павловича? Постараемся ответить на этот вопрос, исходя из исторических документов, свидетельствующих о нравственном облике Государя.

Николай был наделён тонким эстетическим чувством. Свидетельство тому, как отмечал замечательный русский пушкинист П. М. Бицилли, «письма Николая I к жене из Италии, из которых видно, что он не только «воспринимал красоты искусства», но и способен был приходить от них в восторг»³¹.

Как-то не вяжется это свидетельство с образом «тупого солдафона», который агрессивно навязывался народу и до революции, и после неё.

Разумеется, ни либеральная профессура, ни полубобразованные разночинцы, ни социалисты всех мастей (и в первую очередь, большевики) не могли простить Царю подавление противогосударственного мятежа и превратили смутьянов и бунтовщиков в культовые фигуры.

До нашего времени дошло очень мало сведений о литературных вкусах Царя. Достоверно сказать можно лишь то, что он любил Вальтера Скотта, М. Загоскина, Пушкина и Гоголя, которому в знак Высочайшей милости подарил перстень с бриллиантом и предложил поработать на русскую разведку: Царю нужен был в чужих землях свой острый и независимый глаз³². Посему для понимания взглядов Царя на литературу и жизнь особенно ценна его оценка «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова, точнее, «Журнала Печорина».

«Я дочитал «Героя» до конца, — говорится в письме Царя к жене, — и нахожу вторую часть отвратительной, **вполне достойной быть в моде**. Это то же самое преувеличенное изображение презренных характеров, которое имеется в нынешних иностранных романах. Такие романы портят характер. Ибо хотя такую вещь читают с досадой, но всё-таки она оставляет тягостное впечатление, потому что в конце концов привыкаешь думать, что весь мир состоит из подобных людей, у которых даже лучшие, на первый взгляд, поступки проистекают из отвратительных и фальшивых побуждений. Что должно из этого следовать? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего пребывания на земле? Ведь и без того есть склонность стать ипохондриком или мизантропом, так зачем же поощряют или развивают подобного рода изображениями эти склонности! Итак, я повторяю, что, по моему убеждению, это жалкая книга, обнаруживающая большую испорченность её автора. Характер капитана намечен удачно. Когда я начал это сочинение, надеялся и радовался, думая, что он и будет, вероятно, героем нашего времени, потому что в этом классе есть гораздо более настоящие люди, чем те, которых обыкновенно так называют. В кавказском корпусе, конечно, много таких людей, но их мало кто знает; однако капитан появляется в этом романе как надежда, которой не суждено осуществиться. Господин Лермонтов оказался неспособным представить этот благородный и простой характер; он заменяет его жалкими, очень мало привлекательными личностями, которых нужно было оставить в стороне (даже если они существуют), чтобы не возбуждать досады. Счастливого пути, господин Лермонтов, пусть он очистит себе голову, если это может произойти в среде, где он найдёт людей, чтобы дорисовать до конца характер своего капитана, допуская, что он вообще в состоянии схватить и изобразить его»³³. Это анализ, достойный профессионального литературоведа.

Известно, что Николай будет в дальнейшем всячески поощрять Н. В. Гоголя, положительно отзовётся о произведениях молодого Л. Толстого.

Николай прекрасно сознавал, что литература не только отражает, но и формирует нравы и настроения, царящие в обществе. И существующее положение дел Государя никак не радовало.

И Царь, и Поэт умели производить впечатление. Собственно, для этого они ничего не делали. Впечатлял масштаб личности обоих.

Известный писатель-славянофил И. С. Аксаков оставил нам рассказ со слов А. О. Смирновой-Россет: “Однажды Пушкин, гуляя по Царскому Селу, встретил коляску, вмещавшую в себе не более, не менее, как Николая Павловича. Царь приказал остановиться и, подозвав к себе Пушкина, потолковал с ним о том о сём очень ласково. Пушкин прямо с прогулки приходит к Смирновой... “Что с вами?” – спросила Смирнова, всматриваясь в его лицо. Пушкин рассказал ей про встречу и прибавил: “Чорт возьми, почувствовал подлость во всех жилах!”³⁴.

Уместно напомнить читателю, что под “подлостью” тогда понимали не низость души, а статус подчинённого, подвластного. “Подлый народ” – подвластный правителю народ.

Сердце Поэта искало покоя и воли. Вероятно, того же желал себе и Царь Николай, безропотно несший свой крест – крест Русского Самодержца.

* * *

Замечательный русский пушкинист П. М. Бицилли назовёт Царя придирчивым и порою жестоким, – быть может, бессознательно – тюремщиком. И тут же пояснит свою мысль: “Пушкин был *его подданным*, и иначе, как свысока, царь уже потому не мог смотреть на него. Идиллическая “дружба” царя с поэтом – явный вымысел... <...> И в то же время Николай I не только *видел* гений Пушкина, не только *эксплуатировал* этот гений, но и сам находился под его обаянием”³⁵.

Со всем этим можно в принципе согласиться, но возникает вопрос: “Что значит “эксплуатировал” гений Пушкина?”

Сделаем скидку на то, что статью свою Павел Михайлович печатал хоть и не в советском журнале, но в парижском (“Звено”), где тоже была своя “цензура”, пусть не большевистская, но “корпоративная”, либеральная, эмигрантская. А все либералы во все времена люто ненавидели Царя. Отсюда и акценты Бицилли в оценке личности и дел Государя, и оговорки по части “тюремщика”.

Да, Царь был строг к Пушкину, порой наверняка излишне строг, так строг, что Пушкин (скорее всего, справедливо) воспринимал это как унижение и оскорбление личного достоинства. Но будем помнить: Царь был строг со всеми своими подданными, включая своих детей, и строгость Николая была легендарной. Исключением из этого ряда была лишь глубоко любимая им супруга.

Царь был строг и к самому себе, он умел признавать свои ошибки. Вот что писал уже после его смерти жандармский генерал, немалый чин III Отделения Е. И. В. Канцелярии Л. В. Дубельт (“самый умный во всех трёх отделениях”, как писал о нём его ненавистник А. И. Герцен): “При всей строгой наружности Императора Николая Павловича он человек самого мягкого, доброго сердца; чувства его всегда возвышенны, благородны – он настоящий рыцарь *sans peur et sans reproche* (без страха и упрека). – Последнему из министров труднее говорить правду, нежели ему. – При личных докладах Он выслушивает её с величайшим вниманием; позволяет даже спорить с собою и свободно выражать свой образ мыслей и взгляд на дела и вещи. В таком самостоятельном, непреклонном характере это черта высокая, и мы редко, почти никогда не встречаем её даже в мелких властелинах.

Несколько дней тому назад Он приказал мне посадить в крепость одного еврея, виновность которого ещё не была совершенно доказана. Я осмелился возразить и сказал: “Дайте время. Государь, – рассмотрим дело подробно, и ежели он точно виноват, то не уйдёт от нас, – ежели же он окажется невинным, то чем искупите Вы его невинное заключение?” – Правда, что он взглянул на меня так строго, что признаюсь, хоть сквозь землю провалиться, и я подумал: “Ну, быть беде!” Но, помолчав несколько, он только сказал: “Нет, посади его в крепость!” Приказание я исполнил, а через 4 месяца обнаружилась совершенная невинность несчастного еврея.

“Ты был прав, – сказал мне Государь, – теперь скажи, чем могу я вознаградить его невинное заключение?” – “Деньгами, – отвечал я, – этот народ

готов за сто рублей просидеть и год в крепости”. Его Величество приказал выдать жиду 4 т. рублей. Много ли таких людей, готовых так честно сознать свою ошибку?”³⁶.

Если этого свидетельства покажется недостаточно, то приведём другое, принадлежащее перу популярнейшего в пушкинскую пору, а ныне известного ныне лишь специалистам Н. И. Греча: “Николай Павлович строг и взыскателен, но благороден и откровенен. Употребляя таких людей, как граф Бенкендорф, граф Орлов, Максим Яковлевич фон Фок, Леонтий Васильевич Дубельт, он отнял у высшей полиции всё злобное, коварное, мстительное. Дай Бог ему много лет здравствовать!”³⁷.

“При Николае, – писал Греч, – поступали иногда крутенько, но скоро и решительно. При каком-либо доносе, промахе или недоразумении идёшь к фон Фоку или к Дубельту, или прямо к Бенкендорфу и к Орлову, объяснишь дело, оправдаешься или получишь замечание? тем и кончится. Как часто Николай просил прощения у особ, обиженных им в пылу гнева или нетерпения!”³⁸.

“Николай Павлович не был жестокосерд”³⁹. Писано это было после смерти Царя, в разгар либерализма. “Николай Павлович умер, и его можно хвалить без зазрения совести”, – скажет, предвидя обвинения в своём “царегодии”, Греч⁴⁰.

При Николае “литература служила в цензуре”, как выразился по случаю герой Ф. М. Достоевского. Вспомним хотя бы цензора Пушкина И. А. Гончарова – автора бессмертного “Обломова”, приходит на ум и цензор А. В. Никитенко – ординарный академик Императорской Академии наук, тайный советник, профессор С.-Петербургского университета, сын крепостного (сыном крепостного был и замечательный русский историк академик Н. Г. Устрялов, плотно занимавшийся в эпоху царя Николая историей русской Смуты). А председателем Комитета иностранной цензуры служил Ф. И. Тютчев.

Если вдуматься, то это комплимент Царю, назначавшему на эту должность не просто благонамеренных чиновников, а литераторов, профессионалов изящной словесности, составивших славу Великой Русской литературе.

Сживала русская литература и на царской гауптвахте, примером чему стали два Ивана: Киреевский, Васильев сын – автор замечательной статьи о “Борисе Годунове” Пушкина, и Тургенев – автор изумительных “Записок охотника”. Сидел, несмотря на заступничество шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа, за недоброжелательные статьи о Пушкине и эксперт III Отделения, отец русской журналистики, основатель жанра русского плутовского романа Ф. В. Булгарин, произведения которого ещё при его жизни были переведены на английский, французский, нидерландский, немецкий, испанский, итальянский, шведский, польский, чешский языки. А ведь он, равно как и Пушкин, “был на дружеской ноге” с декабристами и водил дружбу с А. С. Грибоедовым, о котором оставил свои тёплые воспоминания⁴¹.

Царь то и дело пресекал выходящую из берегов и “переходившую на личности” литературную полемику и критику. Бросим в него камень и за это?

Государь (в отличие от нас, для которых “Пушкин – это наше всё”) разделял для себя Пушкина-человека и Пушкина-поэта. По-царски, по-человечески не мог не разделять. Но не то же ли самое делаем и мы, когда речь заходит о наших знакомых и близких? Отсюда и двойственность оценок Царя. И о том же говорил сам Пушкин:

*Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружён;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.*

В письме (писанном по-французски) от 3 (15) февраля 1837 года к сестре Анне Павловне, супруге принца Вильгельма Оранского, относительно гибели поэта говорилось: “Пожалуйста, скажи Вильгельму, что я обнимаю его и на этих днях пишу ему, мне надо много сообщить ему об одном трагическом событии, которое положило конец жизни весьма известного Пушкина, поэта; но **это не терпит любопытства почты**”⁴².

Как видим, Николай знал больше того, что мог доверить бумаге. И это было вполне обоснованно: ведь речь шла о дипломатическом скандале с голландским посланником, приёмным сыном которого был Дантес. Отметим строгое и неукоснительное соблюдение им правил секретности даже тогда, когда речь касалась монаршей переписки. Что же удивляться, если Царь внимательно отслеживал поведение и корреспонденцию не вполне благонамеренного (как казалось многим) подданного? Это сейчас мы знаем об истинной гражданской позиции и политических убеждениях Пушкина. Да и то во многом благодаря самому Николаю Павловичу.

А в письме к другой своей сестре – Марии Павловне, Великой герцогине Саксен-Веймарской, – Николай скажет: “Здесь нет ничего такого любопытного, о чём бы я мог тебе сообщить. Событием дня является трагическая смерть пресловутого (*trop fameux*) Пушкина, убитого на дуэли неким, чья вина была в том, что он, в числе многих других, находил жену Пушкина прекрасной, притом, что она не была решительно ни в чём виновата.

Пушкин был другого мнения и оскорбил своего противника столь недостойным образом, что никакой иной исход дела был невозможен. По крайней мере он умер христианином. Эта история наделала много шума, а так как люди всегда люди, истина, с которой ты не будешь спорить, размышление весьма глубокое, то болтали много; а я слушал – занятие, идущее впрок тому, кто умеет слушать. Вот единственное примечательное происшествие”⁴³.

В ответном письме Марии Павловны говорилось: “То, что ты мне сообщил о деле Пушкина, меня очень огорчило: вот достойный сожаления конец, а для невинной женщины ужаснейшая судьба, какую только можно встретить. Он всегда слыл за человека с характером мало достойным наряду с его прекрасным талантом...”

Такой **изобразил** ситуацию Николай.

Что **думал** он по поводу гибели Поэта, мы не знаем.

... Незадолго до своей смерти Пушкин дал Царю слово, что больше не будет драться на дуэли. Напомним, что дуэль каралась законом. Слово своё он не сдержал. Умиравший Пушкин просил у Царя прощения за нарушение своего слова и закона, и Царь простил Поэта и выразил свою посмертную благодарность. В Записке, переданной В. А. Жуковскому, он распорядился:

1. Заплатить долги Пушкина.
2. Заложенное имение отца очистить от долга.
3. Назначить вдове пенсион и дочерям по замужеству.
4. Отдать сыновей Пушкина в пажи и назначить на воспитание каждого по 1500 р. по вступлении на службу.
5. Издать сочинения поэта на казенный счёт в пользу вдовы и детей.

Позже Царь скажет Д. В. Дашкову, а тот передаст его слова П. А. Вяземскому: “Какой чудак Жуковский! Пристаёт ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина?”⁴⁴.

Мало кто знает, что, стоя в Таврическом дворце у гроба Карамзина, Государь Николай Павлович **плакал**⁴⁵. Конечно, за решение установить размер пенсии семье Пушкина ниже, чем семье Карамзина, Царя можно было бы и пожурить, но будем помнить: распорядителем финансов был именно он, Николай, и он осуществлял своё право, более походившее на милость, ибо никакой юридической **обязанности** обеспечивать семью Пушкина на нём не лежало.

* * *

“Я перечитал все письма, им от вашего сиятельства полученные, – писал Бенкендорфу Жуковский, – во всех них, должен сказать, выражается благое намерение. Но сердце моё сжималось при этом чтении... Его положение не переменилось; он всё был как буйный мальчик, которому страшишься дать волю, под строгим, мучительным надзором. Все формы этого надзора были благородные, ибо от вас оно не могло быть иначе. Но надзор всё надзор. Годы проходили; Пушкин созревал; ум его остепенялся. А прежде против него предубеждение, не замечая внутренней нравственной перемены его, было то же и то же. Он написал “Годунова”, “Полтаву”, свои оды “К клеветникам

России”, “На взятие Варшавы”, то есть всё своё лучшее, принадлежащее нынешнему царствованию, а в суждении об нём все указывали на его оду “К свободе”, “Кинжал”, написанный в 1820 году; и в 36-летнем Пушкине видели всё 22-летнего... Такое положение могло ли не быть огорчительным?”⁴⁶.

Пушкин имел репутацию не вполне благонадёжного и не избавился от неё до самой смерти. Примеров тому — тьма. В 1830 году профессор естественного права Нежинского лицея Белоусов счёл своим долгом доложить по начальству, что “некоторые ученики пансиона читают тайно книги неприличные их возрасту и держат у себя сочинения Александра Пушкина и других подобных”⁴⁷.

Были то и впрямь стихи Пушкина или приписываемые ему, не имеет значения.

“Все мы лишились нашей прекраснейшей литературной славы, одного из самых высоких умов нашей эпохи, на коих с любовью и гордостью указывает иностранцам всякий человек, истинно преданный земле своей, предъявляя тем право на их уважение”, — напишет П. А. Вяземский родному брату Царя — Великому Князю Михаилу Павловичу⁴⁸.

Для того чтобы увидеть в только что ушедшем близком человеке “один из самых высоких умов эпохи”, надо было самому обладать недюжинным умом, тонкой душой и горячим сердцем.

Как мы знаем и помним, молодой Государь должным образом оценил ум Пушкина при первой же встрече с ним.

Советские историки и литературоведы любили лишний раз обвинить Николая Павловича в том, что “даже мёртвый Пушкин оставался под царским надзором”, в результате которого к А. Тургеневу, сопровождавшему тело поэта к месту его последнего упокоения, был приставлен жандармский капитан.

Читаем, однако, записку, поданную А. Х. Бенкендорфом Государю: “Александр Строганов⁴⁹ только что был у меня; его отец прислал его ко мне, чтобы испросить разрешение Вашего Императорского Величества Данзасу сопровождать тело Пушкина в Псковскую губернию, где его хоронят.

Я думаю, что это трудно сделать, так как он уже предан суду; но, может быть, было бы хорошо возложить эту обязанность на одного из друзей покойного. С своей стороны, я уже избрал вчера одного жандармского офицера, который, **облегчая путешествие**, будет следить за всем, что будет происходить во время пути.

А. Бенкендорф”⁵⁰.

На докладной записке Генерала Государь оставил пометку: “Я уже сделал очень много, разрешив ему (Данзасу) свободу до похорон; я не могу сделать больше, не входя в противоречие с самим собою. Почему Тургенев, который обивает пороги, не сопроводит его?”⁵¹.

Это “облегчая путешествие” имело тогда сугубо практический смысл: его можно с полным на то основанием рассматривать, как заботу и о покойном Пушкине, и о сопровождавшем тело поэта А. Тургеневе: присутствие жандармского офицера обеспечивало беспрепятственное и своевременное получение лошадей от “диктаторов почтовых станций” — станционных смотрителей. Подорожная, предъявленная лицом неофициальным (“партикулярным”), такого эффекта могла и не возыметь, ибо получали лошадей в порядке чинов⁵².

Так благодаря уважительному отношению Царя и Бенкендорфа к покойному, жандармский штабс-капитан Ф. С. Ракеев (1797–1879), сопровождавший гроб с телом Пушкина до Святых гор, войдёт в историю⁵³.

Правила хорошего тона и академическая традиция диктуют железное правило: не приводить в тексте слишком длинных цитат. Сделаем исключение и зачитаем письмо П. А. Вяземского своему другу А. Я. Булгакову почти целиком:

“Смерть его (Пушкина. — Авт.), — писал Вяземский, — произвела необыкновенное впечатление в городе, то есть не только смерть, но и болезнь, и самое происшествие. Весь город, во всех званиях общества, только тем и был занят. Мужики на улицах говорили о нём. Я недавно спросил у своего извозчика, жаль ли ему Пушкина? — “Как же не жалеть? — отвечал он мне, — все жалеют: он, слышь, был умная голова; таких и Государь любит”. Участие, которое было принято публикою и массою в этом несчастье, могло бы служить лучшим возражением на письмо Чадаева⁵⁴, и Чадаев, глядя на общую скорбь, нанесённую несчастьем одного лица, должен был бы признаться, что у нас

есть отечество, есть чувство любви к отечеству, есть живое чувство народности. Ибо что говорило тут, что выражалось слезами, сетованиями, благодарностью к Государю (усладившему словом прощения, словом милости жён и детям, последние страдания умирающего), что выражалось тут, как именно не это чувство патриотизма, которое неминуемо должно сосредоточиваться в некоторых лицах, избранных и посланных Провидением на славу народа и современных им эпох? Многие этого не поняли или не хотели понять.

Они не знали, или знать не могли (потому что грамота Богом не каждому даётся), что публика, что Петербургская Россия оплакивает в Пушкине — творца “Полтавы”, “Бориса Годунова”, будущего историка Петра Великого, творца сотней произведений, отличающихся необыкновенным дарованием. Им всё казалось, мерещилось, или прикидывались они, что ближние Пушкина и подбитая ими какая-то партия оплакивает в нём творца каких-то старинных, детских его вольнодумных стихов, о которых сам Пушкин не помнил, коими он не дорожил, ни он, ни друзья его, из коих многие даже не им были писаны, а ему приписывались литературною полицией или полицейскою литературою нашею (ибо у нас довольно и той, и другой). От сего возникли разные нелепые толки, недобросовестные суждения, полоумные опасения между некоторыми людьми и в некоторых салонах высшего общества, или, лучше сказать, презрительной coterie⁵⁵), в таких людях, у которых ничего нет русского ни в уме, ни в сердце, которые русские разве только русскими деньгами, набивающими их карманы, и русскими лентами, обвешивающими их плеча. Для них то, что было чистого, симпатического русскому чувству в Пушкине, не существовало. Русская история, Русская поэзия, Русская интеллектуальная слава — всё это для них мёртвая буква. В них нет струн на все эти священные, родные звуки. Они Пушкина знали по некоторым недостаткам его, по неосторожным вспышкам раздражительного ума, по некоторым его стихотворным шалостям, которые подслушивала и собирала полиция, подобно ассенизаторам, которые только и знают и богатых, и порядочных людей как по предмету, который из домов их ночью вывозят они в кадках своих. Они видели в Пушкине политическое лицо. Нелепость! Во-первых, у нас нет и быть не может политических лиц, к тому же Пушкин был просто поэт. Они ненавидели в Пушкине запевалу оппозиции. Нелепость! У нас нет и быть не может оппозиции, потому что оппозиции не к чему применить: нет свободы печатания, нет трибун. Без особенной глупости, без мономании нельзя постричь себя в оппозицию келейную. Посвятить себя у нас оппозиции то же, что сделаться политическим трапистом⁵⁶, к тому же Пушкин был душою предан Государю. Он любил его по личной благодарности, по влечению чувства, любил характер его, Русское его чувство, царское молодечество. Тысячу раз говорил он мне о том. (На мёртвого лгать не буду, даже в оправдание ему.) Они видели в Пушкине либерала. Нелепость! Пушкин в первой молодости мог быть фрондёром. В первых воспоминаниях о современной эпохе молодости его, стихи его были отголоском мнений тогдашней молодёжи. Но и в то время, смотрите в оде его на свободу, что говорит он об убийцах. В подтверждение тому 14 Декабря нашло его неприкосновенным и оставило нетронутым. В последние годы и менее того Пушкин был либералом. Он был аристократом по чувству и убеждению. В Польскую революцию он на стороне Генриха V и остался на ней до конца, предавая посмеянию и пороча новый порядок во Франции. В Польскую мятеж мы видели по стихам его, был ли он либерал в отношении к полякам и к французам!.. Эти стихи — не торжественная ода на случай: они изливание чувств душевных и мнений, и убеждений, глубоко вкорененных. Пушкин был противник свободы печатания не только в отношении к России, но признавал её гибельным злом везде. Это всё факты. Всего этого многие не знали или знать не хотели, и сделали из Пушкина какое-то пугало, которым вздумали пугать после смерти его.

Но оставим все эти гнусности и нелепости: оне принадлежат полиции; пусть смердят и гниют оне в поганных архивах ея. История упомнит о другом. История, которая будет ценить людей не по одним их чинам и по службе по такому-то ведомству, или по такому-то кварталу, впишет имя Пушкина в число славнейших Русских имён и придаст славу его славе царствования Государя. Она не забудет, что Государь, по движению благородной царской симпатии к великому народному таланту, тотчас по восшествии на престол вызвал Пушкина из изгнания и усыновил, так сказать, талант его. Она не забудет, что

Государь, узнав от Арендта об опасном и смертельном положении Пушкина, в ту же минуту послал его к нему ночью с словом милости и с словом христианской любви, убеждая его умереть христианином, и ждал возвращения Арендта с скорбью и участием живейшего сострадания.

О, эта ночь – великая, прекрасная ночь в жизни и царствования Николая! Тут царская душа его наедине, по собственному неприготовленному чувству, незабвенно сказала России. Она будет помнить, что он стоял ангелом-утешителем при двух смертных одрах: Карамзина и Пушкина – и сделался благодетелем оставшихся их семейств. Не все равно оценят эти благодеяния, оказанные именем отечества заслугам, принесённым отечеству одним пером и талантом, потому что для некоторых подобные заслуги не существуют; но мы, более или менее принадлежащие этому десятку, чувствуем им цену. Народ также в простоте чувства своего так это понял: ему приятно было видеть участие Государя в общей скорби. Грех тем, которые перетолковали это чувство. Они будут если не в здешнем свете, то в другом отвечать за то пред Богом и Государем.

Вот тебе вместо нескольких слов, который собрался я написать, целая биография и некрология Пушкина. Покажи моё письмо Баратынскому, Раевскому, Павлу Войновичу Нащокину и всем тем, которым память Пушкина драгоценна. Более всего не забывайте, что Пушкин нам всем, друзьям своим, как истинным душеприкащиком завещал священную обязанность оградить имя жены его от клеветы⁵⁷.

И говорил это не кто иной, как давний друг Пушкина князь П. А. Вяземский. Кому же верить, как не ему?

* * *

Правительство опасалось “инцидентов”. Возможно, не зря. Вполне вероятно, что нашлись бы горячие головы и сердца, которые бы попытались поквитаться за гибель Пушкина с Геккеренами (и возможно, не только с ними). Дипломатический скандал мог выйти изрядный. Напомним к тому же, что женой Дантеса являлась фрейлина Императрицы Екатерина Гончарова – родная сестра жены Пушкина, свояченица Поэта.

Царь внимательно читал “Бориса Годунова” и по собственному опыту знал:

*...бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна...*

Но какой русский – тогда и сейчас – осудил бы эти горячие головы? Скорее всего, метнул бы камень сам, окажись он в том времени и месте.

А слухи о готовящихся беспорядках достигали августейших ушей, о чём свидетельствует письмо всё то же П. А. Вяземского Великому Князю Михаилу Павловичу. “Возможность уличных беспорядков и враждебных власти заявлений, – писал один князь другому, Великому, – изобретена на досуге, между тем как всё было спокойно, любовь к Государю ощущалась всеми сердцами, и все благословляли его имя. Что бы ни говорили, но если полицейские донесения противоречат моим словам, то я утверждаю, будучи в том нравственно убеждён, что эти показания были неверны, что они во всяком случае могли относиться лишь к каким-нибудь отдельным словам, сказанным на ветер, не знаю, где и кем, и не имевшим никакого значения”⁵⁸.

Как водится при проведении подобных мероприятий, меры были всё же приняты, и не обошлось без “людей в штатском” (“в партикулярном платье”).

“Против кого эти переодетые, но всеми узнаваемые шпионы? – возмущалась тонкая и нежная душа Вяземского. – Они были там, чтобы не упускать нас из виду, подслушивать наши сетования, наши слова, быть свидетелями наших слёз, нашего молчания. Скажут, что это были меры общественной безопасности; согласен, но меры эти оскорбительны для тех, против кого они принимаются, а коль скоро оскорбление незаслуженно, не вдвойне ли оно тяжко?”⁵⁹.

В век сентиментализма и романтизма действия властей по обеспечению общественной безопасности были в диковину и оскорбляли честь и достоинство благородных и нежных душ.

... Свидетели и очевидцы, собравшиеся ночью у здания Конюшенного ведомства, как один говорят о том, что во время отпевания площадь перед придворной церковью представляла собой “сплошной ковер из человеческих голов и что когда тело выносили из церкви, то шествие на минуту загнулось: на пути лежал кто-то большого роста, в рыданиях. Его попросили встать и посторониться. Это был князь П. А. Вяземский”⁶⁰.

* * *

Оба – и Царь, и Поэт – были решительны, смелы и храбры.

Пушкин многократно стрелялся на дуэли. “Хладнокровие Пушкина к смерти, – вспоминал В. И. Даль, – было всем известно. У него было 4 поединка; все 4 раза он стрелялся всегда через барьер; всегда первый подходил быстро к барьеру, выжидал выстрела противника и потом – 3 раза оканчивал дело шуткою и заключал стихом”⁶¹.

Вдобавок Пушкин питал жадный интерес к фигурам авантюристов и отважных чудаков. С одним из таких зади и драчунов – графом Ф. И. Толстым-Американцем (“алеутом”), выведенным А. С. Грибоедовым в “Горе от ума”, – он едва не подрался на дуэли.

Пушкин рвался в действующую армию.

“Есть упоение в бою...”

Не его вина, что ему так и не удалось поучаствовать в сражении.

Царь проявил мужество 14 декабря: он был готов погибнуть, исполняя свой долг. Жизнь Царицы и детей тоже висела на волоске.

Он проявит милость к падшим и смягчит приговор бунтовщикам (“головорезам”, как скажет о них П. А. Вяземский⁶²), готовившимся и готовым зарезать его и всю его семью.

Он будет остро переживать, что пролилась кровь его подданных. “Дорогой, дорогой Константин! – напишет он по горячим следам своему брату. – Ваша воля исполнена: я – Император, но какою ценою, Боже мой! Ценою крови моих подданных! Милорадович смертельно ранен. Шеншин, Фредерикс, Стюрлер – все тяжело ранены. Но наряду с этим ужасным зрелищем сколько сцен утешительных для меня, для нас! Все войска, за исключением нескольких заблудшихся из Московского полка и Лейб-гренадерского и из морской гвардии, исполнили свой долг как подданные и верные солдаты, все без исключения... <...> Я надеюсь, что этот ужасный пример послужит к обнаружению страшнейшего из заговоров, о котором я только третьего дня был извещён Дибичем. Император перед своей кончиной уже отдал столь строгие приказания...”⁶³.

Несомненно, Николай искренне переживал, что была пролита кровь его подданных: в письме к брату, да ещё в такой день и час ему не имело смысла лукавить. Ещё можно привести слова Царя из “Завещания”⁶⁴ (1835 г.), обращённого к сыну – Наследнику-Цесаревичу: “Ежели б, чего Боже сохрани, случилось какое-либо движение или беспорядок, садись сейчас на коня и смело явись там, где нужно будет, призвав, ежели потребно, войско, **и усмирай, буде можно, без пролития крови. Но в случае упорства, мятежников не щади, ибо, жертвуя несколькими, спасаешь Россию**”⁶⁵.

Царь был ярко выраженный, мощный харизматик. Он проявил необычайное мужество и в “мирное время” – в 1831 году при подавлении холерного бунта. Вот что доносит до нас со слов Императрицы Александры Фёдоровны её фрейлина М. П. Фредерикс: “Николай Павлович отправился один в коляске на Сенную площадь, въехал в середину неистовствовавшего народа и, взяв склянку Меркурия (“меркурий”, то есть ртутный препарат, употреблявшийся при лечении. – Авт.), поднёс её ко рту, – в это мгновение бросился к нему случившийся там лейб-медик Аренд, чтобы остановить Его Величество, говоря: “Votre Majeste perdra dents”⁶⁶; Государь, оттолкнув его, сказал: “Eh bien, vous me ferez une machoire”⁶⁷, – и проглотил всю склянку жидкости, чтоб доказать

народу, что его не отравляют, — тем усмирил бунт и заставил народ пасть на колени перед собой! Эти два случая очень известны в истории Николая Незабвенного, но нельзя их пропустить, когда о нём вспоминаешь; они слишком хорошо выставляют его благородный характер. Он всегда готов был жертвовать собой за справедливость и пример”⁶⁸.

Словом, Государь один, без всякой охраны въехал на площадь, на которой бушевала толпа, и привёл её в чувство. Чем всё могло закончиться, известно было только Богу — ведь Николай регулярно знакомился с поступавшими к нему одна за другой реляциями о гибели от рук бунтовщиков солдат, офицеров и медиков.

Усмирению Царём холерного бунта Пушкин посвятит стихотворение “Герой”. Под своим стихотворением Пушкин выставил число — “29 сентября 1830”. Это день прибытия Государя в Москву во время холеры. “В этом стихотворении, — как писал П. А. Вяземскому историк и литератор М. П. Погодин, — самая тонкая и великая похвала нашему славному Царю. Клеветники увидят, какие чувства питал к нему Пушкин, не хотевший, однако ж, продираться со льстецами”⁶⁹.

Отважный поступок Царя восхитит Гоголя.

По поводу усмирения Царём возмущения, грозившего обернуться царевубийством и погромами, Пушкин запишет в своём дневнике: “Народ не должен привыкать к царскому лицу как обыкновенному явлению. Расправа полицейская должна одна вмешиваться в волнения площади, — и царский голос не должен угрожать ни картечью, ни кнутом.

Царю не должно сблизиться лично с народом. Чернь перестаёт скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими сношениями с Государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать появления его как необходимого обряда. Доныне Государь, обладающий даром слова, говорил один; но может найтись в толпе голос для возражения”⁷⁰.

Скажи Пушкин это сейчас, то по праву мог бы претендовать на учёную степень доктора политических наук без защиты диссертации.

* * *

П. М. Бицилли отметил схожесть ряда положений “Завещания” Николая I с наставлениями, что давал пушкинский Борис Годунов своему сыну — наследнику Престола. “По своему составу и даже по плану, — писал сей известный тонкостью своего анализа исследователь, — “Завещание Николая I” почти всецело совпадает с последним монологом Бориса Годунова: советы, как предотвратить возможные смуты при вступлении на престол, как постепенно входить в обязанности правителя, наставления касательно обращения с членами царской семьи, наконец, сентенции общеморального характера”⁷¹.

Эту схожесть он объяснял следующим образом: “Влияние образца сказалося в Завещании не только на выборе предметов, насчёт которых даются наставления, но и на способах выражения. Николай I знал, как видно, монолог наизусть — нельзя же предположить, что он заглядывал в “Бориса Годунова”, когда писал своё “наставление”. Согласно “Запискам А. О. Смирновой”, Николай I был в восхищении от некоторых сцен пушкинской трагедии [сноска П. М. Бицилли: “В словах завещания: **“пренебрегай ругательствами и паквилями, но бойся своей совести”** (подчёркнуто в подлиннике) можно, мне кажется, видеть реминисценцию из другого монолога Бориса: “Достиг я высшей власти”] и особенно выделял последний монолог Бориса”⁷².

*Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся...*

* * *

“Христианской кончины живота нашего безболезненной, непостыдной, мирной у Господа просим”, — говорится в просительной ектении. Как люди верующие, Поэт и Царь не могли не вспоминать эти слова на смертном одре, и уход обоих был христианским.

Первым уходил Пушкин. “Он умер христианином”, — скажет о Пушкине Царь. Друг и издатель Пушкина П. А. Плетнёв говорил: “Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти”⁷³.

* * *

Царь узнал о дуэли Пушкина благодаря своему личному доктору — Н. Ф. Арендту. Не застав Государя, он сказал камердинеру, чтобы по возвращении Государя ему было донесено о случившемся. Около полуночи к Арендту приехал фельдъегерь с повелением от Государя немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, написанное царём собственной рукой, и тотчас обо всём ему доложить. “Я не лягу, я буду ждать”, — сказал Николай своему лейб-медику и стал ждать его возвращения.

Смерть — это момент истины. Перед уходом из этого мира всё второстепенное отходит на задний план и проявляется сущность человека. И то, что Государь послал к смертельно раненому Пушкину своего личного доктора — Н. Ф. Арендта, которому бесконечно доверял как профессионалу высочайшего класса и человеку, — стало проявлением глубокого человеческого внимания и сочувствия.

“Еду к Государю, не прикажете ли что сказать ему?” — спросил Пушкина Арендт.

“Скажите, — отвечал Пушкин, — что умираю и прошу у него прощения за себя и за Данзаса” (брат московского, бывший лицейским товарищем, верным другом в жизни и по смерти, и за час до поединка попавшийся ему на улице и взятый в секунданты).

Ночью возвратился к нему Арендт и привёз ему для прочтения собственноручную записку, карандашом написанную Государем, почти в таких словах: “Если Бог не приведёт нам свидеться в здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и последний совет: умереть христианином. О жене и детях не беспокойся: я беру их на свои руки”.

Пушкин был чрезвычайно тронут этими словами и убедительно просил Арендта оставить ему эту записку; но Государь велел её прочесть ему и немедленно возвратить.

“Скажите Государю, — говорил Пушкин Арендту, — что жалею о потере жизни, потому что не могу изъявить ему мою благодарность, что я был бы весь его”.

Эти слова слышаны мною и врезались в память и сердце моё по чувству, с коим они были произнесены”⁷⁴.

Когда Арендта спросили, будет ли Пушкин жить, тот ответил: “Наша вся медицина ничего не сделает без Царя Небесного. Земной же Царь Русский излил всю милость свою на страдальца и вниманием своим помогает Александру Сергеевичу. Чего доброго, царские слова совершат чудо и возвратят России Пушкина”⁷⁵.

Добавим к тому, что лейб-медик Государя, уроженец города Казани, лютеранин Николай Фёдорович Арендт был высочайший профессионал, самоотверженный полевой хирург, проделавший с Русской армией путь до Парижа, и замечательный человек с тонкой и чистой душой.

Пришёл священник, исповедал и причастил Поэта. Это был о. Пётр Песоцкий из *Конюшенной церкви*, **полковой священник, прошедший с Русской армией войну 1812 года. В этом же храме Пушкина и отпевали. Церковь была придворной, но на совершение в ней чина погребения Пушкина было получено особое разрешение Царя.**

Дочь Н. М. Карамзина Е. Н. Мещерская вспоминала: “Священник говорил мне после со слезами о нём и с благочестием, с коим они исполнили долг христианский. Пушкин никогда не был *esprit fort*⁷⁶, по крайней мере, не был им в последние годы жизни своей; напротив, он имел сильное религиозное чувство: читал и любил читать Евангелие, и был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их”⁷⁷.

“Я стар, мне уже недолго, а что мне обманывать? — говорил ей о. Пётр. — Вы можете мне не верить, когда я скажу, что я для себя самого желаю такого конца, какой он имел”⁷⁸.

“Кончена жизнь, — сказал умирающий несколько спустя и повторил ещё раз внятно: — Жизнь кончена... Дыхание прекращается”. И осенив себя крестным знамением, произнёс: “Господи Иисусе Христе...”.

“Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его”⁷⁹.

“Удивительно был лёгок!” — припоминал А. О. Россет⁸⁰, участвовавший в перенесении тела со стола в гроб⁸¹.

* * *

“Россия Им жила, как жил и Он Россией”, — скажет о Царе Николае П. А. Вяземский⁸². Писаны эти строки были тогда, когда для “прогрессивной общественности” Николай I давно уже стал синонимом казармы и “тупого деспотизма”.

Вспоминает Е. М Косарев (1818–1891) — отставной штабс-капитан, командир роты 1 Оренбургского линейного батальона, в котором отбывал службу Т. Г. Шевченко: “Точно гром с неба! — получаем известие о смерти Императора Николая Павловича. Пригорюнились-таки мы все при этом, а очень, очень многие-таки и всплакнули-с...”⁸³.

Об уходе Царя мы знаем немного: в отношении официальных сообщений о кончине первых лиц государства традиционно действует “презумпция фальсификации”. И нельзя сказать, что она совсем уж безосновательна.

Тотчас же после сообщения о смерти Государя по столице, а затем и по всей России поползли слухи о его самоубийстве, о том, что он принял яд, получив очередную неутешительную репликацию с Крымского театра военных действий. Эта версия смерти царя гуляет по стране со дня его кончины и по сию пору: и либералы, и коммунисты ненавидели и продолжают ненавидеть Николая.

Известный советский историк академик Е. В. Тарле, посидевший в советской тюрьме, скажет осторожно, что версия самоубийства принципиально недоказуема. Это и впрямь так.

Но давайте подойдём к вопросу об уходе Царя с другой стороны.

Начнём с того, что сам Николай наверняка счёл бы добровольный уход из жизни в критический момент войны трусостью и дезертирством. Но трусом и дезертиром он не был, что доказывается всей его предшествующей жизнью.

И, наконец, главное: Царь был глубоко верующим православным человеком, для которого самоубийство есть тяжчайший — смертный грех. И если бы дело шло о гибели души лишь самого Николая Павловича. Царь и без пушкинского “Бориса Годунова” знал и чувствовал, что отвечает перед Богом за державу, ему вверенную, равно как и то, что держава, то есть Россия, будет расплачиваться за грехи своего Вождя и Самодержца.

*О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь! —*

напишет спустя полвека другой поэт, другой Александр, прозванный современниками “Александром вторым”. А для Царя Николая Россия была больше, чем жена.

Служить России верно и самоотверженно — не за страх, а за совесть — он наказывал своему наследнику — будущему Александру Второму.

Все наблюдатели отмечали неліцемерную, идущую от сердца благочестивость Царя. Блюсти церковный чин было для него то же, что соблюдать воинскую дисциплину. В книге о последних днях и часах его жизни приводится такой факт: Николай Павлович уже слёг, болезнь прогрессировала, и его жена Александра Фёдоровна предложила ему причаститься. Царь возразил: причащаться Св. Таин он будет лишь тогда, когда сможет это сделать предписанным сему образом, то есть стоя, как это обычно делается, причём в храме.

“Я рад и желаю исполнить эту обязанность, — говорил жене Николай, — но когда буду на ногах, когда Бог даст мне облегчение. Лёжа и неодетый, могу ли приступить к такому великому Делу?”⁸⁴.

И ещё одно. В официальном источнике сообщается такая маленькая деталь, которую едва ли стали бы выдумывать. Да и с какой стати? Царь велел положить возле своего гроба “маленький образ Богородицы Одигитрии”⁸⁵.

Напомним: “Одигитрия” – это “Путеводительница”. Мог ли Николай, задумавший-де наложить на себя руки, надеяться на милость Богородицы Путеводительницы, у Которой он искал заступничества?

Неужто уйдя вольной волею из жизни, он уповал на то, что Богородица избавит его хотя бы от воздушных мытарств?⁸⁶

Предполагать такое просто нелепо.

А это уже из наставления Царя сыну. Писанное в 1835 году: “Соблюдай строго всё, что нашей Церковью предписывается. <...> Пренебрегай ругательствами и пасквилями, но бойся своей совести. Вот, любезный Саша, в коротких словах моё последнее тебе наставление. Да благословит тебя Бог всемилосердный, на Него одного возлагай всю твою надежду. Он тебя не оставит, доколь ты к Нему обращаться будешь. Ступай смело, и велик Бог Русский”⁸⁷.

А вот что говорил о Николае одному из своих собеседников великий русский святой Серафим Саровский: “А ты уж, батюшка, не о нём пекись – его Господь сохранил: он велик перед Богом – он в душе христианин”.

Преподобный Серафим, зривший за добрую тысячу всё происходившее 14 декабря 1825 года во граде святого Петра, выкрикнул: “Сам Господь нам Государя даровал!”

В 1859 году Государю Николаю Павловичу был установлен памятник. По проекту О. Монферрана его создал П. К. Клодт – русский офицер, сын генерала, героя Отечественной войны 1812 года, чей портрет висит в галерее Зимнего дворца. Это уникальный для России памятник: он стоит на двух опорах (в отличие от Медного всадника, имеющего три опорные точки). Конь норовит подняться на дыбы, но сидящий в седле рыцарь уверен в себе, величав и спокоен: он не даст горячему и своенравному коню сбросить седока и пуститься невесть куда вскачь.

Он обращён к собору, возведённому волею Царя Николая в честь св. Исаакия Далматского, в день памяти которого родился Пётр Великий, – первого игумена Далматской обители, что в предместье Константинополя – Царьграда.

Русский Царь взирает на храм Царьграда.

Когда-то эта символика была понятна всем.

Несмотря на непреходящие злобу и ненависть к покойному Государю со стороны всё проигравших либералов и захвативших власть большевиков, памятник русскому Самодержцу устоял даже в новую Русскую Смуту⁸⁸.

Его не раз порывались сдать в утиль, но этому всегда что-то мешало.

При взгляде на памятник его хочется по аналогии с творением Фальконе-та назвать “Железным Всадником”.

* * *

...1836 год. Август. Дождь. Ночь. Царь вместе со своим верным товарищем, героем 1812 года, едет без охраны и свиты с очередной “ревизией”. Он хочет снова сам, своими глазами посмотреть на то, как идут дела в его необозримом “хозяйстве”. А в таком случае всякая охрана и сопровождение лишь помеха делу.

Дорога грязна и неровна. Близ уездного городка Чембар, что лежит между Пензой и Тамбовом, закрытая коляска переворачивается.

У Царя сломана ключица. Бенкендорф же (как всегда) цел и невредим. Позже он запишет для себя в своей тетради: “Видя передо мною сидящим на голой земле с переломанным плечом могущественного владыку шестой части света, которому, кроме меня, никто не прислуживал, я был невольно поражён этою наглядною картиною суеты и ничтожества земного величества. Государю пришла та же мысль, и мы разговорились об этом с тем религиозным чувством, которое невольно внушала подобная минута. Нам пришлось добираться пешком...”

Два человека несут по жизни свой тяжкий крест.

У Царя, при виде которого гордый и независимый Пушкин испытал, по его собственным словам, “подлость во всех жилках”, этот крест и вовсе неподъёмен.

Сейчас он сидит на сырой земле и рассуждает вместе со своим старым товарищем о мирской бренности.

Всё в руцех Божиих. Всё-всё-всё.

Однако ж пора в путь. Плечо ноет всё сильнее, идти всё тяжелее.
Двое – Царь и его верный генерал – идут паломниками по нескончаемой
ночной дороге.
Идут по России.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. 3-е издание. Труды Пушкинского Дома при Российской Академии наук. Л.: Атеней, 1925. С. 15.
- ² По преданию, которое приводит в своей книге М. И. Сухомлинов, вслед за объяснением у М. А. Милорадовича относительно возмутительных стихов, которые переписывали в казармах гвардейские офицеры, Пушкина потребовали к Государю. Император Александр I выразил Пушкину своё неудовольствие и сказал ему: “Ты мне даёшь советы, как управлять Россией; но ты ещё очень молод и совсем не знаешь России, а потому я и пошлю тебя изучать её”. Поприщем для изучения, т. е. местом ссылки, был южный край России”. Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Том 2. С.-Петербург. Издание А. С. Суворина, 1889. С. 208.
- ³ *Записки Николая I // Междоусобие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов Царской семьи.* / Подг. Б. Е. Сыроечковский. М.; Л.: Государственное издательство, 1926. С. 13-14.
- ⁴ *Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I о Пушкине.* // Старина и новизна. Исторический сборник. Книга шестая. С.-Петербург. 1903. С. 4.
- ⁵ Бенкендорф А. Х. Записка Бенкендорфа о тайных обществах в России. // Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855. По подлинным делам Третьего Отделения Собств. Е. И. Величества Канцелярии. Издание второе, С. В. Бунина. С.-Петербург, 1909. С. 581.
- ⁶ *Манифест 13 июля 1826 года.* Цит. по: Шильдер Н. К. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Том первый-второй. СПб: Издание А. С. Суворина, 1903. С. 705.
- ⁷ Пушкин А. С. О народном воспитании // Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1962. С. 355–360.
- ⁸ *Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I о Пушкине.* В переводе графини Ек. П. Шереметевой. С предисловием и примечаниями Н. П. Барсукова. // Старина и новизна. Исторический сборник. Книга шестая. С.-Петербург. 1903. С. 5.
- ⁹ *Манифест 13 июля 1826 года.* Цит. по: Шильдер Н. К. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Том первый-второй. СПб: Издание А. С. Суворина, 1903. С. 705.
- ¹⁰ Вяземский П. А. Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Том XI (1853–1862 г.). С.-Петербург: Издание Графа С. Д. Шереметева, 1887. С. 201.
- ¹¹ Вяземский П. А. Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Том XI (1853–1862). С.-Петербург: Издание Графа С. Д. Шереметева, 1887. С. 344–345.
- ¹² Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. 3-е издание. Труды Пушкинского Дома при Российской Академии наук. Л.: Атеней, 1925. С. 17-18. Приводимые Бибиковым строфы взяты из стихотворения Пушкина “Свободы сеятель пустынный”, сообщённого автором в письме к А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 года. Впервые опубликовано это стихотворение было лишь в 1867 году.
- ¹³ Былов Н. Пушкин как основа контрреволюции. Буэнос Айрес: Б. и., 1953.
- ¹⁴ Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855. По подлинным делам Третьего Отделения Собств. Е. И. Величества Канцелярии. Издание второе, С. В. Бунина. С.-Петербург, 1909. С. 499.
- ¹⁵ *Картина общественного мнения в 1830 году // Россия под надзором.* Отчеты III отделения 1827–1869. М.: Российский Фонд культуры, Государственный Архив Российской Федерации “Российский Архив”, Студия “ТРИТЭ” Никиты Михалкова, 2006. С. 71-72.
- ¹⁶ Пушкин А. С. Письмо П. А. Вяземскому от 10 июля 1826 г. // Собрание сочинений в 10 томах. Том 9. Письма 1815–1830. М.: ГИХЛ, 1962. С. 235.

- ¹⁷ Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I о Пушкине. В переводе графини Ек. П. Шереметевой. С предисловием и примечаниями Н. П. Барсукова. // Старина и новизна. Исторический сборник. Книга шестая. С.-Петербург. 1903. С. 11.
- ¹⁸ В 1853 году дочь Пушкина Наталия Александровна (1836–1913) выйдет замуж за сына Дубельта – Михаила Леонтьевича (1822–1900). Брак окажется несчастлив, и Наталия Александровна выйдет замуж вторично. Теперь уже за нидерландского принца Николая-Виллема Нассауского (1832–1905).
- ¹⁹ Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного воображения”. С.-Петербург: Типография Академии Наук, 1904. С. 365.
- ²⁰ Пушкин А. С. О народном воспитании // Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1962. С. 358.
- ²¹ Бенкендорф А. Х. Записка Бенкендорфа о тайных обществах в России. // Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855. По подлинным делам Третьего Отделения Собств. Е. И. Величества Канцелярии. Издание второе, С. В. Бунина. С.-Петербург, 1909. С. 579.
- ²² Смирнова-Россет А. О. Записки. М.: Захаров, 2003. С. 432.
- ²³ Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855. По подлинным делам Третьего Отделения Собств. Е. И. Величества Канцелярии. Издание второе, С. В. Бунина. С.-Петербург, 1909. С. 483.
- ²⁴ Пушкин А. С. Письмо к П. А. Вяземскому. Около 25 января 1829 г. // Полное собрание сочинений. Т. 10. Письма. Л.: Наука, 1979. С. 200.
- ²⁵ Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855. По подлинным делам Третьего Отделения Собств. Е. И. Величества Канцелярии. Издание второе, С. В. Бунина. С.-Петербург, 1909. С. 12.
- ²⁶ Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855. По подлинным делам Третьего Отделения Собств. Е. И. Величества Канцелярии. Издание второе, С. В. Бунина. С.-Петербург, 1909. С. 13.
- ²⁷ Щёголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Издание третье, пересмотренное и дополненное. М.; Л.: Государственное издательство, 1928. С. 231.
- ²⁸ Название одного из последних стихотворений А. С. Пушкина.
- ²⁹ Перед текстом отчёта помета: “Государь изволил читать 12 января 1838”.
- ³⁰ Обзорение расположения умов и некоторых частей государственного управления в 1837 году. // С. 165–166.
- ³¹ Бицилли П. М. Пушкин и Николай I // Московский пушкинист: Ежегодный сборник. / Российская АН. ИМЛИ им. М. Горького. Пушкинская комиссия. М.: Наследие. Вып. III. 1996. С. 320.
- ³² Благословение на труды на сём поприще Гоголь получил от русского православного священника в Бадене, что под Веной. Сведения об этом разыскал замечательный русский германист, переводчик, литературовед и критик Юрий Иванович Архипов (1943–2017) – лауреат премии “За верность Слову и Отечеству” имени Антона Дельвига. В его переводах мы читаем Ф. Ницше, С. Цвейга, Э. М. Ремарка, Г. Гессе, Г. Грасса. Переводил он, – но уже на немецкий язык – и К. Н. Леонтьева.
- ³³ Schiemanн Th. Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I, Bd. III. Berlin: Druck und Verlag von Georg Reimer, 1913. S. 411 (пер. Б. Эйхенбаума).
- ³⁴ Разговоры Пушкина. Репринтное воспроизведение издания 1929 года. М.: Издательство политической литературы, 1991. С. 168.
- ³⁵ Бицилли П. М. Пушкин и Николай I // Московский пушкинист: Ежегодный сборник. / Российская АН. ИМЛИ им. М. Горького. Пушкинская комиссия. М.: Наследие. Вып. III. 1996. С. 320–321.
- ³⁶ Дубельт Л. В. Заметки Л. В. Дубельта. // Голос минувшего. 1913. № 3. Март. С. 142.
- ³⁷ Греч Н. И. Записки о моей жизни. С.-Петербург: Издание А. С. Суворина, 1886. С. 82.
- ³⁸ Там же. С. 322–323.
- ³⁹ Там же. С. 424.
- ⁴⁰ Там же. С. 322.
- ⁴¹ Воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове // Сын Отечества и Северный Архив. Журнал литературы, политики и современной истории,

- издаваемый Николаем Гречем и Фаддеем Булгариным. Том IX. Санкт-Петербург: В типографии Н. Греча, 1830. № 1. С. 3– 41.
- ⁴² Муза Е. В., Сеземан Д. В. Неизвестное письмо Николая I о дуэли и смерти Пушкина // Временник Пушкинской комиссии, 1962 / АН СССР. Отделение литературы и яз. Пушкинской комиссии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 39.
- ⁴³ Муза Е. В., Сеземан Д. В. Неизвестное письмо Николая I о дуэли и смерти Пушкина // Временник Пушкинской комиссии, 1962 / АН СССР. Отделение литературы и яз. Пушкинской комиссии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 39.
- ⁴⁴ Бартенов П. И. О Пушкине. Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. М.: Советская Россия, 1992. С. 292–293.
- ⁴⁵ Из письма князя П. А. Вяземского к великому князю Михаилу Павловичу, по поводу кончины А. С. Пушкина. // *Русский Архив*. 1879. Кн. 2. № 3 С. 393. Недостойным мужчины прилюдный плач был объявлен лишь в советское время (“большевики не плачут!”).
- ⁴⁶ Щёголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Издание третье, пересмотренное и дополненное. М.; Л.: Государственное издательство, 1928. С. 230.
- ⁴⁷ Колюпанов Н. *Биография Александра Ивановича Кошелева. Том I. Книга I*. М.: Издание О. Ф. Кошелевой, 1899. С. 461.
- ⁴⁸ Вяземский П. А. Из письма князя П. А. Вяземского к великому князю Михаилу Павловичу, по поводу кончины А. С. Пушкина. // *Русский Архив*. 1879. Кн. 2. № 3 С. 393.
- ⁴⁹ Строганов Александр Григорьевич, граф (1795–1891). – Участвовал во взятии Парижа. Товарищ (заместитель. – Авт.) министра внутренних дел, генерал-адъютант Николая I, малороссийский губернатор, родственник Наталии Николаевны Гончаровой. Взял на себя расходы по организации похорон Пушкина.
- ⁵⁰ *Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I о Пушкине*. В переводе графини Ек. П. Шереметевой. С предисловием и примечаниями Н. П. Барсукова. // Старина и новизна. Исторический сборник. Книга шестая. С.-Петербург. 1903. С. 12.
- ⁵¹ Там же.
- ⁵² См.: Грановская Н. И. “Если ехать вам случится...”: Очерк-путеводитель, предлагающий путешествие с автором по пушкинским местам Гатчинского р-на Ленинградской обл. Л.: Лениздат, 1989.
- ⁵³ Имя Фёдора Спиридоновича Ракеева, дослужившегося до звания генерал-лейтенанта, и по сию пору носит улица в посёлке Вырица Гатчинского района Ленинградской области – “Ракеевская”. Она пересекается с проспектами Кирова и Володарского. См.: Барановский А. В. Вырица при царе. Дачный Петербург. 2-е исправленное и дополненное издание. Б. м.: Издательство “Остров”, 2007. 308 с.
- ⁵⁴ Незадолго перед тем оно появилось в журнале “Телескоп” 1836 года. 22 октября 1836 года император Николай I написал свою знаменитую резолюцию о публикации первого “Философического письма” Петра Чаадаева: русский перевод статьи, ходившей в списках уже несколько лет, был напечатан в журнале “Телескоп”, за что журнал был закрыт, издатель Николай Надеждин сослан в Усть-Сысольск, а пропустивший статью цензор Алексей Болдырев отправлен в отставку. Сам Чаадаев был объявлен сумасшедшим и помещён под принудительный медицинский надзор.
- ⁵⁵ Кружок (фр.).
- ⁵⁶ Трап(п)ист – член ордена католических монахов, строго соблюдавших обет молчания, основанного в XVII веке во французском городе Ла Трапп, давшем ему название.
- ⁵⁷ *Из писем князя Вяземского к А. Я. Булгакову // Русский архив*. 1879. Вып. 6. С. 251–253.
- ⁵⁸ Вяземский П. А. Из письма князя П. А. Вяземского к великому князю Михаилу Павловичу, по поводу кончины А. С. Пушкина. // *Русский Архив*. 1879. Кн. 2. № 3 С. 397.
- ⁵⁹ Там же. С. 398.
- ⁶⁰ *Русский Архив*. 1879. Кн. 2. № 3 С. 397.
- ⁶¹ Даль В. И. Кончина А. С. Пушкина. Записка. // К биографии Пушкина. Выпуск второй. М.: В Университетской Типографии (М. Катков), 1885. С. 177.
- ⁶² *Из писем князя Вяземского к А. Я. Булгакову // Русский архив*. 1879. Вып. 5. С. 106.

- ⁶³ Цит. по: Шильдер Н. К. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Том первый. СПб: Издание А. С. Суворина, 1903. С. 298-299.
- ⁶⁴ Своё обращение к сыну Николаю назвал "Наставлением":
- ⁶⁵ *Завещание Николая I сыну.* // Красный Архив. 1923. Том третий. С. 292.
- ⁶⁶ Ваше Величество лишится зубов (франц.).
- ⁶⁷ Ну, так вы мне сделаете челюсть (франц.).
- ⁶⁸ *Из воспоминаний баронессы М. П. Фредерикс.* // Исторический Вестник. Год 19-й, том LXXI. 1898. С. 72.
- ⁶⁹ *Сочинения и письма А. С. Пушкина.* Критически проверенное и дополненное по рукописям издание, с биографическим очерком, вступительными статьями, объяснительными примечаниями и художественными приложениями, под редакцией П. О. Морозова. Том второй. Мелкие стихотворения 1825–1836. Песни западных славян. – Сказки. Народные песни. С.-Петербург, 1903. С. 498.
- ⁷⁰ Пушкин А. С. Дневники. Записки. Санкт-Петербург: Наука, 1995. С. 25.
- ⁷¹ Бицилли П. Пушкин и Николай I // Московский пушкинист: Ежегодный сборник. / Российская АН. ИМЛИ им. М. Горького. Пушкинская комиссия. М.: Наследие. Вып. III. 1996. С. 315.
- ⁷² Бицилли П. Пушкин и Николай I // Московский пушкинист: Ежегодный сборник. / Российская АН. ИМЛИ им. М. Горького. Пушкинская комиссия. М.: Наследие. Вып. III. 1996. С. 319.
- ⁷³ Даль В. И. Кончина А. С. Пушкина. Записка. // К биографии Пушкина. Выпуск второй. М.: В Университетской Типографии (М. Катков), 1885. С. 177-178.
- ⁷⁴ *Александр Сергеевич Пушкин.* Письмо очевидца о его кончине. // Русская Старина. Том XIV, 1875. С. 92-93.
- ⁷⁵ *Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I о Пушкине.* В переводе графини Ек. П. Шереметевой. С предисловием и примечаниями Н. П. Барсукова. // Старина и новизна. Исторический сборник. Книга шестая. С.-Петербург. 1903. С. 3.
- ⁷⁶ Вольнодумец (франц.)
- ⁷⁷ *Александр Сергеевич Пушкин.* Письмо очевидца о его кончине. // Русская Старина. Том XIV, 1875. С. 93.
- ⁷⁸ Грот Я. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Несколько статей Я. Грота с присоединением и других материалов. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1887. С. 289.
- ⁷⁹ Даль В. И. Кончина А. С. Пушкина. Записка. // К биографии Пушкина. Выпуск второй. М.: В Университетской Типографии (М. Катков), 1885. С. 180.
- ⁸⁰ Александр Осипович Россет (Россети) – родной брат Александры Осиповны Смирновой-Россет.
- ⁸¹ Бартнев П. И. О Пушкине. Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. М.: Советская Россия, 1992. С. 292.
- ⁸² Вяземский П. А. Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Том XI (1853–1862 г.). С.-Петербург: Издание Графа С. Д. Шереметева, 1887. С. 201.
- ⁸³ Н. Д. Н. (Н. Д. Новицкий). На Сыр-Дарье у ротного командира // Киевская старина 1889. Том XXIV. Март. С. 579.
- ⁸⁴ *Последние часы жизни Императора Николая Первого.* Санкт-Петербург: В Типографии Второго Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1855. С. 10.
- ⁸⁵ *Последние часы жизни Императора Николая Первого.* Санкт-Петербург: В Типографии Второго Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1855. С. 17.
- ⁸⁶ Согласно православному учению, после смерти человеческого тела ведомая ангелами душа христианина восходит к Богу. На этом пути человеческую душу встречают падшие духи, родоначальники всех грехов и пороков. Они препятствуют её восхождению своими обвинениями. Процесс этого обвинения назван мытарствами или истязаниями.
- ⁸⁷ *Завещание Николая I сыну.* // Красный Архив. 1923. Том третий. С. 293.
- ⁸⁸ На его месте хотели установить монумент командарму С. И. Будённому.

ВЛАДИМИР ЮДИН

СВЯТЫЕ ГОРЫ

Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть Христианство. В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история Христианства.

А. С. Пушкин

В отечественном пушкиноведении, в публицистике и широкой массовой печати не утихают горячие споры: был ли наш величайший русский поэтический гений – “наше всё!” – христоробивым, православным верующим как по религиозному мировоззрению, так и в своём многообразном поэтическом творчестве, или над ним довлели и им твёрдо управляли материалистические, антиклерикальные силы и догмы?..

Вопрос, казалось бы, давно решён: да, в строгом соответствии с канонической морально-нравственной формулой Достоевского: “Русский, сиречь православный”, – Пушкин, несомненно, был в высшей степени русским национальным поэтом и, стало быть, свято чтящим Господа и Православную веру. По Достоевскому, одно вытекает из другого и тесно взаимообусловлено.

В многочисленных воспоминаниях современников, в письмах поэта, в его пленительных стихах, сказках, поэмах, повестях, драмах – всюду явственно ощутимы его христианские, православно-религиозные искания, идеи, мироощущения, органично воплотившиеся в самых разнообразных персонажах, сюжетных коллизиях и глубоких авторских комментариях.

Однако ярые “пушкиноеды” вульгарно-материалистического, как правило, русофобского заклада жёстко и напористо возражают: недопустимо, мол, называть христоробивым автора богохульственной “Гавриилиады”, грязных и похабных стишков под именем Баркова, безосновательно, о чём скажу ниже, приписываемых Пушкину.

...Ещё с советских лет, когда в нашем литературоведении господствовал пресловутый “классовый подход” и абсолютно доминировала социологически выстроенная, “единственно научная и правильная” эстетическая методология, Пушкина рисовали яростным и непримиримым противником царя и монархии (прочитайте, к примеру, хвалёный-перехваленный в своё время роман Юрия Тынянова “Пушкин”), адептом западного либерализма, ругателем русского духовенства и, в конечном счёте, ненавистником России. Более циничных, пошлых и безрассудных обвинений в адрес “солнца русской поэзии” придумать трудно...

Даже лояльные и вдумчивые исследователи сегодня всё ещё осторожно отмечают, что поэту, мол, была изначально свойственна антиклерикальность, но он эволюционировал “от нейтрального и даже критического отношения к Православию до полного его признания и в некоторых случаях – воцерковления”, как, например, отмечает Л. А. Боброва (Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3: Философия. М., 1998. № 3. С. 226–237).

В широком круге исследователей русской классической литературы, даже позитивно относящихся к Пушкину как православной личности, всё ещё можно встретить расхожие, достаточно устойчивы суждения, что жизнь поэта не была жизнью воцерковлённого человека, что, напротив, это была жизнь весьма одарённого, но легкомысленного “повесы”...

И тогда я позволил себе ещё раз вернуться к означенной теме, опираясь, прежде всего, на художественные тексты поэта, его основные биографические данные и эволюцию миропонимания, на доказательные суждения мудрых иерархов Русской Православной Церкви.

СЕРДЦЕ, ЖЕРТВА ЗАБЛУЖДЕНИЙ...

...Начнём с ранних детских лет Пушкина. В дворянских семьях по обычаю детей воспитывали, давали им домашнее начальное образование французы-гувернёры. Так было и у Пушкиных. Гувернёры Монфор и Русло – первые иностранные учителя будущего великого поэта, надо подчеркнуть, малообразованные, очень далёкие от грамотного воспитания и понимания детской психологии, абсолютно чуждые русскому национальному духу, едко насмеявшиеся над всем русским и христианским.

Благо, неусидчивый, дерзкий, стремительный и вместе с тем очень любознательный Пушкин-ребёнок не очень-то жадно внимал невежественным наставлениям заезжих “педагогов”. Не этим ли обстоятельством навеяны широко известные строки:

*Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть...*

“Так случилось, что в раннем детстве, которое в душе каждого человека оставляет обычно самые дорогие воспоминания на всю жизнь, Александр Сергеевич Пушкин был обделён материнской и отцовской лаской, – вспоминал Василий Львович Пушкин (1766–1830). – Знаменитые иронические строки “Евгения Онегина” были как раз той самой шуткой, в которой всегда есть доля правды:

*Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О Рождестве их навещать
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...
Итак, дай Бог им долги дни!*

Годы, проведённые в Царскосельском лицее, где господствовал дух неукротимого молодецкого либерализма, конечно, дали сильный толчок к развитию собственно поэтического дара будущего великого поэта, но вместе с тем и усилили на время печальные результаты домашнего антиклерикального воспитания.

Зато заботливое попечение обожавшей его няни Арины Родионовны Яковлевой, “подруги дней моих суровых” – простой русской крестьянки, получившей “вольную”, неграмотной, но глубоко поэтической природы, осенённой светочем Господним, – Пушкин воспринимал с необыкновенной живостью и чутким трепетом. Бесспорное тому свидетельство – сохранившийся на всю

жизнь в его благородной душе светлый образ христоролюбивой няни. Арине Родионовне он посвятил стихотворения “Наперсница волшебной старины”, “Зимний вечер”, “Няне”. Поэт трогательно упоминает няню в стихотворении “Вновь я посетил...”, вспоминает о ней в “Евгении Онегине” (в образе няни Лариных – Филиппьевны), в отрывке “Сон”:

*Ах, умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в цепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шёпотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнись, бывало,
Едва дыша, прижмись под одеяло,
Не чувствую ни ног, ни головы...*

Не отсюда ли – из бездонного золотого кладезя многочисленных народных сказок, легенд и сказаний, которые поведала ему кудесница няня, – проистекают дивные фольклорные мотивы в пушкинских шедеврах, определивших глубокую народность его эстетики и русского национально-философского миропонимания, тесно связанного с благородным православным христоробием?..

Исследователи жизни и творчества великого поэта давно уже показали, как много подлинно русского, национального впитал он в себя, общаясь с Ариной Родионовной, и по праву числят её в кругу самых близких его друзей. “Была она настоящею представительницею русских нянь; мастерски говорила сказки, знала народные поверья и сыпала пословицами, поговорками, – вспоминает О. С. Павлищева. – Александр Сергеевич, любивший её с детства, оценил её вполне в то время, как жил в ссылке, в Михайловском. Умерла она у нас в доме, в 1828 году, лет семидесяти с лишком от роду, после кратковременной болезни” (“Друзья Пушкина”. Переписка; Воспоминания; Дневники. В 2-х тт. М., 1985. Т. 1. С. 128).

В дальнейшем в качестве учителя и доброго наставника судьба даровала юному Пушкину очень незаурядную личность – человека высокой духовной культуры, редкостного благонравия и широкого образования, священника Мариинского института Александра Ивановича Беликова, преподававшего ему Закон Божий. Это им был составлен “Катехизис, или Краткое изложение православного христианского закона”.

Протоиерей И. Предтеченский отмечал: “Следует с уверенностью сказать, что размышления священника Беликова по вопросам веры и нравственности оставили свой след в душе будущего поэта, в глубинах юного, пытливого Пушкина уже тогда замерцало **его религиозное сознание, которое никогда не угасало в нём, и даже тогда, когда за внешней оболочкой брезгливости он проводил время “в безумстве и лени”** (Прот. И. Предтеченский. Страницы из жизни и творчества А. С. Пушкина // Тверские епархиальные ведомости. 1994. № 7-8. С. 15). (Выделено мной. – **В. Ю.**)

Кто в горячо пылающей иллюзиями и несбыточными романтическими представлениями юности не подвергал сомнениям всё и вся?! Кто не считал собственные, ещё не оперившиеся взгляды и представления, сколь бы наивны они ни были, самыми “умными”, самыми глубокими и бесспорными?..

Важно понять, что Пушкин был чрезвычайно живой, порой даже экзальтированной, неудержимо восторженной личностью. Изначально он воспринимал мир как бесценное, дивное Божие творение, будущее рисовалось юному поэту в самых радужных и тёплых тонах. Поэт страстно устремился навстречу жизни, будто навстречу солнцу!.. Именно поэтому такой жизнерадостной и светлой станет его ослепительно чудесная лирика!..

Лишь пожив на свете, испытав чёрную изнанку жизни, получив жестокие и беспощадные удары судьбы, он начинает сознавать, как сложен, многолик и противоречив мир, как трудно переживается горе от ума... Вследствие этого станет глубоким, мудрым и драматичным его многожанровое творчество. Но останется неизменным одно – неувядаемая вера в счастье бытия, радость ощущения жизни, поклонение природе как великому и нескончаемому Божию творению...

Если в юности Пушкина ещё одолевает сомнение: “Ум ищет Божества, а сердце не находит”, – то в зрелом возрасте поэт уже твёрдо и убедительно рассуждает: “Сердце, жертва заблуждений / среди порочных упоений, / хранит один святой залог, одно Божественное чувство” (“Бахчисарайский фонтан”).

Пожалуй, не найти такого поэтического творения Пушкина, в котором прямо или подспудно не звучали бы вдохновляющие и жизнеутверждающие религиозно-христианские мотивы: “Странник”, “Ангел”, “Когда великое свершилось торжество”, “Вечерня отошла давно”, “На тихих берегах Москвы”, “Надгробная надпись кн. А. Н. Голицыну”...

Наивысшее поэтическое озарение пушкинское православное сознание получило в его гениальных творениях – “Пророке”, в молитве “Отцы пустынники и жены непорочны”, в “Борисе Годунове” (монолог летописца Пимена), в “Евгении Онегине” (образ благонравной Татьяны Лариной), в стансах – “В часы забав иль праздної скуки”, в стихотворении “Монастырь на Казбеке” и других.

Вслед за Достоевским (кому не известна его памятная, блистательная речь о Пушкине?..) архиепископ Камчатский и Сеульский Нестор (1884–1962) указывал на то, что именем Пушкина русское общество оказалось пробуждённым от чар богоборчества, от обильно проникавших в Россию с Запада революционно-радикальных антидержавных веяний и либеральных настроений, почувствовало себя снова русским, православным, облечённым высшим духовным призванием...

Понять истинного Пушкина-боголюбца, православного христианина помогает нам высокопреосвященнейший митрополит Анастасий (1873–1965), в миру Александр Александрович Грибановский, не однажды обращавшийся к личности и творчеству “солнца русской поэзии”.

Наследуя духовное слово митрополита Филарета, архиепископа Никанора, митрополита Антония и других высоких русских иерархов-мыслителей, поставивших во главу угла своего пастырского слова неудержимую устремлённость к Русской идее, продолживших путь к познанию подлинно духовно-православного Пушкина, митрополит Анастасий возрождает традиции канонического воззрения на Пушкина, принятые Православием в дни общероссийских торжеств 1880-го и 1899 года.

“ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЮ ТОМИМ...”

...В августе 1824 года Пушкин был сослан в село Михайловское Псковской губернии, где прожил безотлучно до сентября 1826 года.

Известно, сколь остра и мучительна пытка одиночеством, особенно для таких искромётных, живых и общительных натур, как Пушкин. Далеко не каждому дано её успешно преодолеть, разве что человеку, свято верующему в Господа и Его нравственно возвышенные, исцеляющие заповеди...

Цинизм властей, обречённых поэта на одиночество, заключался в том, что они прекрасно знали о его глубоких эмоциональных переживаниях, повышенной душевной экспрессии, что разлука с близкими и друзьями может серьёзно подорвать его физически и морально. Тишина и внешний покой уединённости далеко не всегда плодотворны в творческом плане, как традиционно принято считать. Даже у сильного человека, находящегося в отчаянном одиночестве, порой опускаются руки, страдает и расслабляется воля, наступают метания, душевная мятежность и мучительные сомнения во всём и вся.

“И в жизни сей мне будет утешенье: / мой скромный дар и счастье друзей” – открыл свою глубокую, трепетную и мятежную душу великий русский поэт, душу, которая не может жить взаперти.

Иной читатель снисходительно скажет: подумай – два каких-то года ссылки!.. Не такое уж и жестокое наказание. Не в глухомань же сибирскую сослали, в село Михайловское, в центре России, в Псковскую губернию, вдали от шума городского. Да и сослали, мол, “за дело” – не надо было слишком своёвольничать, вольнодумствовать и резко осуждать крепостничество, царя, высокопоставленных вельмож... И хорошо, дескать, что вовремя сослали, невольно лишив горячего поэта соблазна выйти на Сенатскую площадь в декабре 1825 года и тем самым спасти его голову от куда более жестокого наказания...

Напомню, гражданское вольнодумство поэта ярко проявило себя ещё за долго до ссылки в Михайловское. “Вольность” – юношеская ода Пушкина,

предположительно написанная ещё в ноябре-декабре 1817 года и послужившая причиной четырёхлетней ссылки поэта на юг России, действительно чрезвычайно резка по тону и категорична по выводам: “Хочу воспеть Свободу миру, / на тронах поразить порок...”, “Тираны мира! Трепещите! ... Восстаньте, падшие рабы!”

Впрочем, нельзя не признать, что высокое гражданское звучание “Вольности” не утратилось и в наши дни, служа хорошим поучительным уроком правителям всех стран и народов:

*Владыки! Вам венец и трон
Даёт Закон, а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон...*

В советском литературоведении особенно часто цитировали нижеследующие строки, придавая им “классовое”, революционное значение:

*Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу...*

Безапелляционно утверждалось, что особенно резкие строки “Вольности” направлены против русского государя Александра I. Однако это не так. Достаточно понять, кого именно подразумевает Пушкин под “самовластительным злодеем”, — конечно же, Наполеона Бонапарта, насильственно захватившего власть во Франции и самовластно объявившего себя императором. Строка “Вольности” “Упрёк ты Богу на земле” тем более убеждает, что она не может относиться к русскому царю — законному престолонаследнику и уж тем более никак не может клеймить православного русского самодержца...

...Как бы то ни было, Пушкин вольно или невольно “переиграл” своих недоброжелателей и злых завистников. В отдалении от мелкой и ничтожной суеты столичного света он нашёл силы не только воспрянуть духом, но и разбудил в себе нетленный творческий огонь, обрёл тесную связь с той стороной жизни, которую доселе хорошо не знал, а именно жизнь простого русского народа и его необъятную православную набожность, что воплотилось в целом ряде его гениальных произведений.

Благодаря Христовой вере поэт не ощущал тягучее течение времени ссылки, ибо благодать Божия стирает временные грани и одинаково проникает в верующее сердце...

Здесь, в полном уединении и моральном согласии с самим собой, в тесном общении с русской самобытной природой и добрыми и набожными крестьянами он смог глубоко заглянуть в свою душу, понять душу родного народа. Здесь он усердно читает Библию, жития святых, Шекспира, Вальтера Скотта, посещает знакомые в Тригорском — имени П. А. Осиповой. Здесь поэт впервые вошёл в живое, непосредственное общение с Церковью через братию Святогорского монастыря и окрестное духовенство.

Воочию наблюдая тесную связь народа с монастырём и углубляясь в изучение летописей, в которых живописно и образно развёртывались широкие картины жизни Древней Святой Руси, Пушкин со свойственной ему добросовестностью не мог не оценить по достоинству неизмеримо высокое, нравственно исцеляющее влияние Русской Православной Церкви на русский народ и Российское государство.

Исследователи творчества Пушкина отмечают: то, что поэт написал после 1825 года, мог написать только Пушкин, то есть его творческий уровень достиг доселе небывалой, огромной высоты. Это была пора его золотой зрелости, когда он стал, по выражению Вадима Кожинова, “одним из величайших мировых поэтов”, создателем своих высших творений. И без сильнейшего благотворного влияния Церкви, Православной веры и её исцеляющих заповедей, по моему убеждению, Пушкин не достиг бы тех необъятных, творчески поднебесных высот, которые открылись ему в ссылке.

Очень многие читатели и почитатели русского гения едины во мнении: Пушкин — не только высочайшая вершина отечественной и мировой литературы,

но и высочайшая вершина нравственности, достоинства и чести русского Гражданина, национально-патриотического чувства и уважения к иным народам и культурам. “При имени Пушкина, — писал Н. В. Гоголь в 1832 году, — тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более называться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нём, как будто в лексиконе, заключилось всё богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал всё его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нём русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла” (цитирую по предисловию В. В. Кунина к кн.: Друзья Пушкина. — Указ. издание. Т. 1. С. 5).

“Достоянием России” называл Пушкина его добрый, верный и заботливый лицейский друг Пущин, человек очень трудной судьбы, сумевший вовремя уберечь увлекающегося Пушкина от сильного сближения с тайным обществом неистовых декабристов. Это именно к Пущину обращался великий поэт в 1814 году, за 11 лет до трагедии на Сенатской площади:

*Товарищ милый, друг прямой,
Тряхнём рукою руку.
Оставим в чаше круговой
Педантам сродну скуку:
Не в первый раз мы вместе пьём,
Нередко и бранимся,
Но в чашу дружества нальём —
И тотчас помиримся...*

Пушкин-поэт изначально прекрасен, но в пору своей золотой зрелости он осознаёт: “Я чувствую, душа моя расширилась, я могу творить”. Это скромное откровение говорит само за себя: в художественном поиске Пушкин редко оставался доволен собой, очень критично относился к своим творениям, лишь изредка “награждая” себя высокой похвалой: “Ай, да Пушкин, ай, да сукин сын!..”

Идеальный образ человеческой личности, который лелеял Пушкин в своей душе, это образ православного христианина. Особенно сильно и неотрывно от евангелических сюжетов поэт находился в последние годы и дни своей жизни, явно предчувствуя свой трагический конец. Но в его поэзии этого периода нет уныния, душевной отрешённости, горестной печали от грядущего и неизбежного ухода в мир вечного Божьего покоя...

“Гений Пушкина выразил трагическую мысль: добро не может победить зло, потому что оно перестаёт быть добром, — высказал спорную мысль литературовед Вадим Кожин. — Перечитайте стихотворение о предательстве Иуды. Здесь действительно та всемирность, которая ставит Пушкина в ряд самых высших поэтов, самых сильных, выразивших столь поразительную мысль” (В. В. Кожин. Тайна Пушкина. Советская Россия. 1994. 4 июня. С. 4).

В. Кожинув возражает журналист Галина Ореханова: “Всё творчество поэта было буквально пронизано солнцем любви и торжествующего добра. Нравственный подвиг Пушкина состоит в том, что воспел христианскую культуру и доказал её полное право на жизнь. В последние годы Пушкин находился во власти евангелических сюжетов, но не посягал на их иное, чем в Евангелии, толкование” (там же).

Вот почему весьма показательны письма поэта из Михайловского к своему другу — поэту и критику П. А. Вяземскому. В одном из них (июль 1826 года) он пишет с большим огорчением и возмущением: “Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные под именем Баркова. Если бы меня потребовали Комиссией, то я бы, конечно, оправдался...”

Поэта чрезвычайно угнетала и возмущала мысль, что в общественном сознании его времени, стало быть, утвердится и в памяти потомков злая и нелепая мысль, будто он, призванный Господом “глаголом жечь сердца людей”, способен на написание подобных пошлых “шедевров”, приписываемых злым языками его благородной творческой руке...

О каком же возможном “самооправдании” ведёт речь поэт? И было ли в чём ему действительно “оправдываться”?..

...19 августа 1828 года Пушкин был вызван в Петербург к военному губернатору по поводу обвинения поэта в написании “Гавриилиады” и дал такое письменное показание: “Ни в одном из моих сочинений, даже тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религией. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне “Гавриилиаду” – произведение жалкое и постыдное” (см. В. В. Никольский. Нравственные идеалы Пушкина // Христианское чтение. М., 1982. С. 50).

К сожалению, эти, бесспорно, предельно искренние признательные слова Пушкина не убеждают, да и не могут убедить негативно настроенных “пушкинородов”, уж сколько времени и сил понапрасну потративших на выискивания строк, свидетельствующих о якобы вульгарно-материалистическом “богоборчестве” поэта... “Не в том главный ужас, что Пушкин мог написать эту гадость, а в том, что “Гавриилиаду” переписывали и читали с каким-то сладострастным упоением!” – произнёс один из неугомонных “пушкинородов”... Тогда, позвольте, сударь, Вас спросить – при чём же тут сам Пушкин?.. Ведь не он же тиражировал и распространял эту несусветную гадость?!

Увы, до сих пор переписывают, активно “популяризуют” “Гавриилиаду”, беспрестанно тиражируют пресловутые “Потаённые романы Пушкина”, “Стихи не для дам” те “доброжелатели”, которых хлебом не корми, лишь бы низвергнуть гениального поэта в пучину безмолвия.

Ныне стало злым поветрием приземлять, унижать, опозлять русских национальных гениев. Впрочем, это даже не только злое поветрие, а целенаправленная политика, направленная на дискредитацию и свержение русских национальных гениев с пьедестала с целью подавления русского национального самосознания. Вспомним, кто только из них не подвергся опорочиванию, грязному шельмованию, злой лжи и пр., начиная от царя Ивана Грозного до Ломоносова, Достоевского, Блока, Есенина, Шолохова, Чайковского, Жукова и несть им числа...

Нынче, быть может, не столько Пушкина надо защищать от разгулявшихся не в меру чужебесов и лютого, антибожеского чужебесия, сколько всю нашу русскую литературу, всё русское, духовно светлое, национальное.

Преднамеренно игнорируется то, что в нервной, напряжённой суете нелёгких будней светлый гений тоже может поддаться искушению житейского соблазна, временному унынию, его гармоничная лира способна издать диссонирующий звук.

Я говорю это вовсе не в оправдание Пушкина – ни в каких наших оправданиях он не нуждается, – но с целью призвать сомневающихся в нравственном и духовном совершенстве поэта к элементарному пониманию, что он был высокой и совершенной натурой, тонкой, чистой и благородной, глубоко убеждённым в том, что поэты – это посланники Господа на грешной земле, призванные “глаголом жечь сердца людей”, морально и нравственно исцелять их, будить в них доброе, прекрасное, вечное, Божеское...

Уже то, что наиболее часто вменяемые Пушкину “кощунства”, по справедливому замечанию Ходасевича, “неизменно шуточные, а не воинствующие”, что “их стрелы не ядовиты и не глубоко ранят”, следует признать, что они были скорее случайной вспышкой горячей природы или просто легкомысленной игрой воображения юного поэта, нежели сознательным его убеждением, и никогда не носили характера ожесточённого, бескомпромиссного богоборчества.

“Процесс его религиозного развития проходил с изумительной быстротой; он гораздо раньше, чем в своё время Толстой и Достоевский, понял, что без религии жизнь не имеет смысла и оправдания и что к постройке религиозного мировоззрения нельзя приступать только с таким слабым орудием, каким является наш колеблющийся рассудок, здесь необходимо указание внутреннего духовного опыта, прикосновение к родной русской земле, от которой так много заимствовали в смысле своего нравственного воспитания и наши последующие великие писатели”, – говорит о Пушкине митрополит Анастасий (указ. соч. С. 180).

...Ещё несколько десятилетий назад пушкиноведами и лингвистами делались безуспешные попытки доказать, что поэт не имеет никакого отношения к пошлой и циничной “Гавриилиаде”, как и к стихам под авторством “Баркова”. Но православный дух поэта подвергается сомнению по сей день.

Как пишет в частном письме один мой хороший знакомый: “Сомнения относительно религиозности Пушкина у меня возникали (да и сейчас не оставляют) в связи с другим – со “Сказкой о попе...”. Не зря при жизни поэта, да и много лет спустя её ни разу не издавали...”

Ставить под сомнение православную религиозность Пушкина в целом, оперируя лишь его шуточной “Сказкой о попе и работнике его Балде”, представляется крайне неубедительным.

Рассуждая о принципиальной возможности или невозможности авторства Пушкина в некоторых его озорных стихах, написанных, по выражению протоиерея И. Предтеченского, “в безумстве и лени”, я полагаю, надо исходить, прежде всего, из глубокой внутренней культуры великого русского поэта, который вряд ли опустился бы до пошлости столь низкого пошиба даже при своём кратковременном ослаблении духа, на что способен каждый живой человек...

Основой написания поучительной, искрящейся добрым юмором “Сказки о попе и о работнике его Балде” послужила русская народная сказка, записанная Пушкиным в Михайловском в сентябре 1830 года от Арины Родионовны. Восхитительный пушкинский гений придал ей исключительно неподражаемый художественный блеск и светлую дидактическую мораль: никто, даже отдельные служители религиозного культа, не могут оставаться вне доброй, лучезарной и полезной, в конечном счёте, критики, если, паче чаяния, кто-то из них вдруг замарает себя алчностью, сребролюбием и прочими житейскими пороками, совершенно не совместимыми с благородными церковными канонами...

Осенённое Божией благодатью пребывание в Михайловском оказалось творчески чрезвычайно плодотворным. Тут Пушкин создал произведения поистине мирового звучания – историко-философскую драму “Борис Годунов”, 3, 4, 5, 6-ю главы “Евгения Онегина”.

Стихотворение “Пророк” явилось гениальным подражанием 6, 7 и 8-му стиху главы пророка Исая:

*Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим на перепутье мне явился...
И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
“Встань, пророк, и виждь,
И внемли,
Исполнись волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей”.*

“Я как-то ездил в монастырь Святые Горы, чтобы отслужить панихиду по Петре Великом. Служка попросил меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия, и я взглянул на страницу – это был Иезекииль. Я прочёл отрывок, который перефразировал в “Пророке”. Он меня внезапно поразил, он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я встал и написал стихотворение”, – отмечал поэт.

Сложный, мятежный, нередко противоречивый, Пушкин обретал цельность и духовно-нравственную гармонию, как только соприкасался с Богом.

Вместе с автором обретают глубокую внутреннюю цельность и духовную прочность его положительные герои. Критерием положительности пушкинских персонажей является степень их “приближённости” к Всевышнему. “Но я другому отдана, / И буду век ему верна”, – с глубоким внутренним достоинством и чувством высокой нравственной ответственности заявляет Татьяна Ларина Онегину, которого она по-прежнему искренне любит. Но переступить порог верности мужу она не смеет даже в мыслях, ибо брак освящён самим Господом в православном храме, прервать брачный союз мужа и его супруги в силах разве что одна смерть...

В неколебимую силу святой молитвы верят герои “Капитанской дочки”: не потому ли дважды спасается Петруша Гринёв от грозившей ему гибели,

что сердцем и умом обращается к Господу, и Всевышний не остаётся безучастным к его полной драматизма судьбе?.. В образе благонравной Машеньки Мироновой, как и в Татьяне Лариной, явно воплощены искания поэтом идеала русской христоролюбивой женщины. В этих героинях воплощён обобщённый идеал женской божественной красоты, а конкретно – образ любимой жены Пушкина Натальи Николаевны.

Но одно дело яркие и цельные художественные образы, созданные поэтом как нравственный эталон женской красоты, и совершенно другое – конкретный, реальный образ жены Пушкина, которая принадлежала своему времени и не могла избежать определённой условности великосветской жизни, что в конце концов и послужило одной из ключевых причин трагической гибели её супруга, благородно и мужественно, ценою своей жизни защитившего честь своей оболганной жены. . .

“...ГЛАГОЛОМ ЖГИ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ”

Поэт, по мысли Пушкина, потому и всевидящий пророк, что получает некое *помазание*, то есть Божий наказ с неба, очищается и освящается на служение небесным огнём. Отсюда столь же высоки и нравственные обещания, взятые им: быть орудием воли Божией (“исполнись волею Моей”).

Тесную связь с “Пророком” имеет стихотворение “Странник”. Учёные обнаружили в бумагах Пушкина две выписки из Пролога – книги, содержащей краткие жизнеописания святых, которые по своей тематике имеют сильное сходство с сюжетом “Странника”. Автор первой биографии поэта, издавший первое полное собрание его сочинений, П. В. Анненков сообщает, что Пушкин переложил на язык художественного слова сюжет Пролога в Житии преподобного Саввы-игумена.

Известно также, что Пушкин очень внимательно изучал жития святых, Киево-Печерский патерик, знал Четьи-Минеи, составленные в XVI веке митрополитом Московским Макарием. С большим пониманием дела написал в своём журнале “Современник” рецензию на “Словарь о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых подвижниках благочестия местночтимых” . . .

“Но как объяснить наличие у Пушкина откровенно атеистических выпадов, в частности, в его раннем стихотворении “Безверие”?!..” – восклицают “пушкиноеды”. Мол, можно назвать и другие стихи поэта, в которых он явно выглядит отнюдь не благоговейным религиозным агнцем, но дерзким отрицателем Всевышнего и даже богохульником. . .

В том-то и дело, что это ранний Пушкин. Нередко дерзкий, озорной, ещё не проникнувшийся глубоким чувством Господней веры. Не следовало бы писать с этого Пушкина икону, идеализировать его формирующееся мировосприятие. Пушкин был живой человек с недостатками и противоречиями, эволюция его мировоззрения не была и не могла быть совершенно безупречной. При всём том называть его богохульником – в корне неверно и недопустимо!

По меткому замечанию видного русского литературоведа Петра Палиевского, “Пушкин – такой верующий, с которым удобно говорить атеисту, и такой атеист, с которым удобно говорить верующему”.

“Спускаясь с горных творческих высот и погружаясь в заботы и наслаждения суетного света, он на миг утрачивал свой дар духовного прозрения. Его окрылённый ум, ещё недостаточно дисциплинированный в юности, но отравленный в значительной степени ядом вольтерианства, не мог тогда собственными силами осмыслить мировую жизнь и разрешить все сложные загадки бытия. Отсюда началась для него трагедия оскудения веры, какою так глубоко изобразил он в своём раннем стихотворении “Безверие”, – мудро размышлял митрополит Анастасий. – . . . Будучи “зол на весь мир”, он рад был бросить вызов правительству и обществу резкими и жёлчными литературными выступлениями и другими легкомысленными поступками, приводившими в отчаяние как его отца и других родственников, так и его покровителей и друзей – Карамзина, Жуковского, Вяземского, Тургенева. Под таким настроением душевной дисгармонии и рождались обыкновенно его язвительные политические памфлеты, эпиграммы и кощунственные стихи, оскорбляющие религиозные чувства верующих и стяжавшие ему печальную репутацию безбожника, от коей его имя не может освободиться даже до настоящих дней.

Однако неверующим его могут считать только люди тенденциозно настроенные, которым выгодно оставить нашего великого национального поэта религиозным отрицателем, или те, кто не дал себе труда серьёзно вдуматься в историю его жизни и творчества” (митрополит Анастасий. Указ. соч. С. 178).

Допускаю, что на временное увлечение Пушкина атеистическими постулатами негативно повлияли его доверительные отношения с историографом Н. М. Карамзиным, западником, увлечённым якобинскими инсинуациями. Не случайно “попечитель учебного округа Голенищев-Кутузов в августе 1810 года обратился к министру просвещения Разумовскому с предупреждением об опасности, исходящей от новоявленного историографа. Он писал, что сочинения Карамзина наполнены ядом якобинства и вольдумства, источают безначалие и безбожие...” (цитирую по статье Игоря Евсина “О масонстве Карамзина и его клевете на царя Иоанна Грозного”. Московские Ворота. 2014. № 10. С. 18).

Неоднозначно влияние на Пушкина и П. А. Чаадаева, по выражению современника поэта Д. В. Давыдова, “человека начитанного и, без сомнения, всегда умного шарлатана в непрерывном пароксизме честолюбия, но без духа и характера, как белокурая кокетка...” (Д. В. Давыдов – Пушкину. 23 ноября 1836. См.: указ. издание книги “Друзья Пушкина”. Т. 1. С. 508). Откровенно прозападные и антиклерикальные взгляды и умонастроения Чаадаева явно не способствовали духовному и религиозному развитию личности Пушкина.

Зато долгое и тесное общение с набожным Василием Андреевичем Жуковским, истинное значение личности которого Пушкин представлял в полной мере, более чем вдохновляло поэта. “На упрёки по адресу Жуковского в мистицизме, в пренебрежении к проблемам века, содержащиеся в письме Рылеева (эту позицию занимал и Кюхельбекер), Пушкин возражал: “Не совсем соглашаюсь со строгим приговором о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности” (см.: указ. издание книги “Друзья Пушкина”. Т. 1. С. 328).

В 1818 году Пушкин в стихотворении “К портрету Жуковского” предсказывал:

*Его стихов пленительная сладость
Пройдёт веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнёт о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость...*

Вместе с тем следует избегать и другой крайности – ошибочно утверждать, будто Пушкин был аскетически устремлённым человеком, фанатично уверовавшим во Всевышнего, абсолютно чуждым земных благ и радостей. Поэт удивительно органично соединял в себе оптимизм, веру в Господа и человека как создание Божие. Вера в Христа, по его убеждению, одухотворяет, нравственно и морально очищает, исцеляет, но не отлучает от полнокровной земной жизни.

Неудивительно, что поэт насыщает свои произведения на христианские мотивы весело искрящимся юмором, жизнелюбием, порой едкой (но не злой!) сатирой (вспомним опять же “Сказку о попе и о работнике его Балде”).

...К сожалению, неистовые “пушкиноеды” жадно цепляются за любую возможность, чтобы “уличить” поэта в религиозном безверии. Они обращают наше внимание на строчки пушкинского письма из Одессы к другу, где поэт говорил, что берёт уроки атеизма у некоего англичанина-философа и что атеизм он признаёт наиболее правдоподобной философией...

Факт существования такого письма бесспорен, как неоспоримо высказывание Пушкина о его “уроках атеизма”. Но что это были за “уроки”? Сам же поэт так оценил свою юношескую легкомысленность: “Можно ли школьническую шутку взвешивать как преступление, а две пустые фразы судить как всенародную проповедь?” Не логичнее ли прислушаться к более серьёзным и ответственным откровениям поэта?

...Обсуждая проблему “Пушкин и православно-христианское сознание”, нельзя обойти стороной вопрос, ещё мало освещённый в пушкиноведении, – слава Богу, короткое увлечение поэта масонством, хотя придавать

исключительное значение этому порыву нельзя, ибо он не повлиял серьёзно на творческие искания “солнца русской поэзии”.

Известно, подверженного юношескому максимализму поэта потянул к себе завуалированный под либерализм, политически оппозиционный дух прозападно настроенных “вольных каменщиков”, их спрятанная от внешнего глаза романтическая таинственность... Но как только Пушкин осознал далеко идущие разрушительные идеи и планы русских масонов, с которыми был некоторое время дружен, как только чутко уловил реальный запах невинной людской крови в их “святом” желании под корень физически истребить царя, всю его семью и дворцовую челядь, он ощутил полное разочарование в их антигуманных политических целях и устремлениях. И, недолго размышляя, решительно покинул масонское “вольное братство”.

Его глубокому аналитическому уму было вполне по силам распознать, что, хотя с 1822 года императором Александром I масонские организации, куда входили декабристы, были в России запрещены, однако в реальности они конспиративно существовали и вели активную якобинскую информационно-идеологическую обработку российского общества в духе откровенной русофобии, исповедуемой, к примеру, либеральным стихотворцем, доцентом Московского университета Печериным:

*Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать её уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницы пробужденья...*

Весьма смутила поэта и яростная антихристианская позиция российских “вольных каменщиков”, восхищённо комментировавших на своих встречах обильные кровавые оргии, чинимые французскими радикал-революционерами, обезглавившими своего короля...

Пушкин прекрасно понимал, что всякие кровавые перевороты и революции, несущие неисчислимые беды и несчастья народу, непременно начинаются с отрицания Святой веры, Господа, Его святых заповедей. Читатель наверняка помнит со школьных лет эпиграф, вынесенный Пушкиным к повести “Капитанская дочка”: “Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный”.

Возможно, быстрый отход от масонов и разрыв Пушкина с лидерами декабристов объясняется тем, что, как писал митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн: “Здесь, на Руси не работают те масонские механизмы, которые во всём остальном мире срабатывают прекрасно. ... И происходит это потому, что социальная психология, да и вообще рационалистическая наука не способна на Руси решить те задачи, которые перед ней ставят разрушители” (Высокопреосвященный Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Посох духовный. СПб, 2000. С. 189).

“Разрушителями” Архипастырь прямо и недвусмысленно называл мощные международные экуменистические силы, вознамерившиеся создать единую мировую псевдорелигию, растворив в ней святые истины Православия.

Постепенно, но с завидной скоростью Пушкин выработал для себя стройную и глубокую теорию о происхождении Христовой веры, о её всеохватной и облагораживающей роли в жизни народов. **“И я в конце концов пришёл к тому убеждению, что человек нашёл Бога именно потому, что он, Бог, существует.** Нельзя же найти то, чего нет, даже в пластическом искусстве. Идея Божества прирождена нам. Особым таинственным инстинктом мы познаём потустороннюю действительность, которая столь же реальна, как и всё, что можем трогать, видеть, испытывать. В народе есть врождённый инстинкт этой действительности, то есть религиозное чувство, которое он даже и не анализирует. Он предпочитает религиозные книги, не рассуждая об их нравственном значении. Когда начинаешь читать Писание, его вкусы становятся понятны, потому что в нём находишь всю жизнь...”

Нет сомнения, что для Пушкина до последней секунды его светлой, освящаемой Господом жизни на первом месте, говоря словами Достоевского, неизменно “оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота” (цитирую по статье Романа Ключника “Либеральный этап жизни Ф. М. Достоевского”. Потаённое. 2021. № 2. С. 8).

ИВАН ПРИЙМА

ЛЕОНТЬЕВ ИЛИ ДОСТОЕВСКИЙ?

Кажется, настала пора дополнить картину, складывающуюся в последние годы вокруг личности К. Н. Леонтьева и его антагонизма с Ф. М. Достоевским. Объективная истина состоит из многих субъективизмов, и особый взгляд необходим тогда, когда “стандартная” версия, нередко крайне субъективная, становится самодовлеющей и высказывается максимально широко. Нам представляется, что литературное явление следует показывать во всей его полноте; иначе противоречия, которые в итоге обнаружатся, могут оказаться для кого-то слишком болезненными, несовместимыми со сложившимся литературным ликом.

Многие отечественные критики, начиная И. И. Фуделя и В. В. Розанова, числят К. Н. Леонтьева поздним славянофилом и на этом основании пытаются сблизить его с Ф. М. Достоевским. Схожее положение наблюдается и среди немногочисленных иностранных леонтьеведов: “Запад загнивает — с этим основным диагнозом согласны и ранние русские славянофилы, и Данилевский, Достоевский и Леонтьев...” — перечисляет сербский критик Б. Над. Поэтому первым недоумением, с которым столкнётся читатель Леонтьева, будет его всегдашний конфликт со славянофилами: критика им А. С. Хомякова, И. С. Аксакова, “моего учителя” Н. Я. Данилевского, О. Ф. Миллера, более же всего — Ф. М. Достоевского, на основных точках спора с которым мы и намерены остановиться.

Отметим сразу, что полемика была практически односторонней: на леонтьевские “возражения” Достоевский никогда публично не отвечал. Тем не менее реакция его с довольно давних пор запечатлевалась на бумаге. Не исключено, что до Леонтьева дошла критика из писем Достоевского к общим знакомым, таким как Н. Н. Страхов или К. П. Победоносцев. Впрочем, через тех же деятелей мог дойти и интерес оппонента к его личности, и положительный отклик на леонтьевские ранние, славянофильского направления, статьи. Однако реакция Достоевского совершенно ясно обозначилась в 1882 году, когда были посмертно опубликованы его записные тетради, включавшие отзывы о К. Н. Леонтьеве. При всём их небольшом объёме и невысокой доле критицизма мыслитель счёл это прецедентом для новых “дискуссий”, и к концу жизни выпады в адрес покойного Достоевского приобрели массовый характер: за один 1891 год только в письмах Леонтьев сделал их не один десяток. Разумеется, основными “доводами” Достоевского в своеобразном споре продолжали оставаться его творения, прежде всего, “Дневник писателя” и “Братья Карамазовы”, по поводу которых и открыл в 1880 году публичную “полемику” Леонтьев (статья “О всемирной любви”).

Такое положение разделило исследователей на два лагеря: одни, зная о разногласии писателей, предпочитают его не замечать и даже посмертно “мирят” оппонентов; другие его заведомо акцентируют. Как в первом, так

и во втором случае основное ядро спора не затрагивается, главный же аргумент звучит следующим образом: всё писанное Леонтьевым благословлялось святым, ведь он жил и писал “под руководством известного старца о. Амвросия”. Так, О. Л. Фетисенко, *примиряющая* двух писателей, заявляет об их “неузнанном” и “глубинном родстве” и одновременно не устаёт умножать эпизоды *учительства* и *редакторства* старца Амвросия в леонтьевском творчестве (“...со старцем подробно обсуждались не только биография о. Климента... или публицистические статьи, но даже сюжетные ходы беллетристических произведений”). Активный проводник теории *конфликта* Л. А. Илюнина сходится с ней в последнем пункте: “Старец не только не запретил Леонтьеву писательский труд, но даже настаивал на его продолжении. <...> Известно, что Леонтьев обсуждал со старцем основные тезисы своих статей, советовался с ним. Особое внимание мы хотим обратить на статью “О всемирной любви”, которая написана по поводу знаменитой Пушкинской речи Ф. М. Достоевского. То, за что почитатели Достоевского называли и называют его “самым христианским нашим писателем” – “проповедь всемирной любви” – Леонтьев определяет как “полухристианское, полуутилитарное всепримирительное стремление”. <...> Он раскрывает существенную неправду, даже антиевангельскую сущность мировоззрения, которое провозгласил Достоевский в Пушкинской речи”.

Как видим, старец берётся Л. А. Илюниной в соавторы наиболее популярной леонтьевской статьи, в которой Достоевский (воспользуемся её словом) “бичуется” с учительских позиций. При этом исследовательница, по сути, калькирует высказывания известного крыла современной церковной критики, тоже увязывающее мировоззрения преп. Амвросия и Леонтьева: “Религиозно-философская деятельность К. Н. Леонтьева, готовность пожертвовать которой во имя иноческого послушания была выражена им со всей определённою, не только не прервалась, но, удостоившись благословения Оптинского старца Амвросия (чего нельзя сказать о трудах многих других русских религиозных писателей), получила значительный духовный импульс для своего развития в направлении церковном”, – пишет маститый леонтьевовед, протоиерей Г. Н. Митрофанов (известный печатными восхвалениями генерала А. А. Власова и призывами “помянуть дорогого для нас исторического героя (Власова. – **И. П.**) в сердце своём, в своём приходском храме...”).

Ещё одна группа исследователей, поддерживающая идею о тесном сотрудничестве мыслителя и старца (А. П. Дмитриев, В. Н. Дядичев, Е. В. Иванова, Г. Б. Кремнев), хотя и признаёт полную самостоятельность статьи “О всемирной любви”, утверждает, что после её выхода в составе “Наших новых христиан” (1882) статья была прочитана и удостоилась похвал старца Амвросия. А. П. Дмитриев превращает старца в судью финальной инстанции, который не только присуждает победу Леонтьеву, но и назначает штраф Достоевскому за последний роман: “Отец Амвросий Оптинский, который, по общему мнению, был прототипом старца Зосимы, поддержал не Достоевского, а Леонтьева...”. В подкрепление того же тезиса о тесном сотрудничестве О. Л. Фетисенко заявляет о существовании особого “Оптинского издания 1882 г.” книги Леонтьева об отце Клименте Зедергольме (книга создавалась параллельно статье “О всемирной любви”). В схожем ключе А. П. Дмитриев изобретает ещё одно автономное издание этой книги, которое, наряду с варшавским изданием 1880 года якобы имело место в Москве в 1880 году. Таким образом, история “литературного сотрудничества” Леонтьева и Амвросия обрастает легендами, *служа при этом главным аргументом в оценке спора Леонтьева с Достоевским.*

Вышеуказанные мнения чаще всего не подкрепляются никакими фактами или же базируются на самосвидетельствах К. Н. Леонтьева и его племянницы, М. В. Леонтьевой, достоверность которых вызывает сомнения уже потому, что и первый, и вторая прибегали к литературным мистификациям. Леонтьев, к примеру, в своих письмах в газеты перевоплощался в женщину; племянница при необходимости становилась “матерью семейства, воспитательницей юного поколения”, “интересующейся международными отношениями” – ради публикации хвалебного письма о дяде. Поэтому едва ли можно безоговорочно верить ей, когда через сорок лет она вспоминает, как носила леонтьевскую рукопись “жизнеописания о. Климента Зедергольма” на сверку старцу Амвросию и т. п.

Кстати, те же самосвидетельства содержат порой и в корне иную информацию. Так, Леонтьев отмечает в письмах к друзьям: “От Амвросий давно уже почти ничего не читал... И если бы не Климент, то не знаю, к чему бы привели меня поездки в Оптину”; “Теорий моих и вообще “наших идей”, как вы говорите, он (старец Амвросий. — И. П.) не знает и вообще давно не имеет ни времени, ни сил читать”; “Я написал эту статью, и так как От Амвросий слишком занят с паствой и слишком физически расслаблен, чтобы утруждать его слушанием статьи, то я отвёз её нарочно за 7 верст отсюда — прочесть здешнему предводителю князю Алекс<сею> Дмитр<иевичу> Оболенскому...”. Подобные признания всерьёз колеблют теорию о соавторстве, редакторстве и тесном литературном руководстве.

О сотрудничестве же мыслителя со старцем в период работы над главным “возражением Достоевскому” не позволяет говорить сама хронология событий, изложенная мыслителем в письмах. Характерна и следующая подробность: примечание Леонтьева по поводу московского издания “Наших новых христиан” 1882 года гласит: “...мои взгляды... на Христианство — просто Церковные; общие, и я не дерзну ни за что отклониться от них... Статьи мои о Достоевском и Толстом я носил на *приватную* цензуру учёному московскому протоиерею от. Иоанну Виноградову”. Зачем действующему цензору Леонтьеву, помимо обычной, потребовалась *приватная* церковная цензура, если его “взгляды” уже при первом издании были якобы одобрены Амвросием, который, по заявлениям мыслителя, являлся его *высшей духовной цензурой*? Позволим себе сформулировать промежуточный вывод: статья “О всемирной любви” (публикованная затем в составе “Наших новых христиан”) писалась без всякого участия о. Амвросия и ни на каком этапе им не одобрялась. Напротив, громкие заявления, звучащие в ней *от имени церкви*, подверглись критике — для чего Леонтьеву и понадобилось при переиздании прикрыться мнением церковного цензора.

Ещё один и, несомненно, самый важный аргумент против “соавторства” мыслителя и старца касается *содержания статьи*. В писании Леонтьева обнаруживаются серьёзные *прокатолические ноты*, вступающие в острое противоречие со взглядами св. Амвросия, которые ясно изложены в письмах преподающего, а также в “Трёх сочинениях старца иеросхимонаха Амвросия (против лютеран и католиков), написанных им при жизни Оптинского старца, иеросхимонаха Макария (Иванова) и, конечно, с его благословения”. Римокатолическая церковь в устах св. Амвросия предстаёт родоначальницей европейских ересей и неправильностей, таких как филиокве, “непогрешимость Папы”, неполнота причастия, “ненависть и презорство к иноверным”. Особенно знаменательно его сочинение “Ответ благосклонным к Латинской Церкви о несправедливом величании папистов мнимым достоинством их Церкви”, где автор обличает православных русских, благожелательных к “частной Римской Церкви”, к “папистам” и “папизу”, ставящих Латинскую Церковь в пример Православной и говорящих о “необходимости искать соединения с нею”. Ни одно явление не заслужило столь серьёзных и многократных *обличений* св. Амвросия, как институция Римской Церкви и папская верхушка, а также “благосклонные” к ней православные.

Многие из мыслей Амвросия напрямую перекликались с трудами Ф. И. Тютчева, А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, Ив. Аксакова, Ф. М. Достоевского, других славянофилов, в разное время посещавших Оптину и идейно тождественных с её старцами. Своей вершины антипапизм достиг у Достоевского, который и художественно (“Идиот”, “Братья Карамазовы”), и публицистически (“Дневник писателя”) обнажил порочность римского учения. Леонтьев, казалось бы, должен был приветствовать столь глубокое обличение Европы, поскольку сам известен *ненавистью* к европейцам за их гордость и несмирность. За это же не жалуем их с 1840-х годов и Достоевский. Почему вместо единомыслия прозвучали “бичевания”? Каковы взгляды на предмет самого К. Н. Леонтьева? Является ли он в данном вопросе “соавтором” старцу Амвросию?

“Антиевропейство” Леонтьева совсем иного рода. Причина критики Европы выясняется по ходу статьи “О всемирной любви”: наряду с “ненавистью”, мыслитель неоднократно демонстрирует сильные прозападнические тона. Наибольший антагонизм со старцем Амвросием и славянофилами возникает там, где Леонтьев выказывает пietet к “Римской Церкви, Церкви всё-таки великой

и апостольской” и обнажает подлинные корни своего *антиевропеизма*: “просто грех” любить Европу, которая “так жестоко преследует” Римскую Церковь. Леонтьев требует от Достоевского и всей русской литературы сочувствия к католицизму: “Отчего же в нашем обществе и в *безыдейной* литературе нашей не было заметно сочувствия ни к Пию IX, к кардиналу Ледоховскому, ни к западному монашеству вообще, теперь везде столь гонимому? Вот бы в каком случае могли совместиться и христианское чувство, и художественное, и либеральное”. Напомним, Достоевский в “Дневнике писателя” подвергал сарказму и кандидата на папский престол М. Ледоховского, и польских клериков в целом. В отношении же Пия Девятого ирония его соединялась с гневом, вызванным открытой антиправославной политикой этого “непогрешимого наместника Божия” во время Великой войны за славян.

Если же верить контраргументу Леонтьева, “католики – это единственные предстатели христианства на Западе”, и все лучшие русские люди обязаны сочувствовать им: “Если бы Пушкин прожил дольше, то был бы за Папу и Ледоховского”. В этой области, скорее всего, и крылось основное расхождение двух писателей. Леонтьев на самом деле не против всемирной отзывчивости и всечеловеческого единения, которые инкриминирует Достоевскому, но отзывчивость должна иметь определённый вектор. Вектор её у Достоевского и других славянофилов “неправильный” – славянско-православный, и его необходимо переориентировать в сторону католицизма.

Через годы мыслитель облёк аргументацию в ясную формулу, перефразирующую “Пушкинскую речь” Достоевского: “Надо усилить христианство; надо возвеличить Христову Церковь; надо в ней слить воедино чистоту предания (Православие), духовную властность (Рим) и хоть некоторую свободу богословского движения (протестантство)”. Получающаяся экуменическая смесь, согласно Леонтьеву, – “гораздо яснее и твёрже русского “смирения”, всеславянской “любви”, всечеловеческой “гармонии” и т. д. <...> Россия, быть может, и в самом деле призвана сослужить именно *на этом поприще* службу всечеловечеству”.

Если решить, что инославный поворот дел – случайность, то придётся неоднократно поражаться, например, преклонению Леонтьева перед Римским Папой (этим “остатком прежней... богатой духом Европы”), которого мыслитель исключает из числа ненавистных “современных европейцев”. Сомнения вызовут и заклятья “русского охранителя”: “если бы я не был православным, то желал бы, конечно, лучше быть верующим католиком, чем эвдемонистом и либерал-демократом!!!” Действительно, “Грамотность и народность”, “Четыре письма с Афона”, “Храм и Церковь”, “Письма отшельника”, “Мои воспоминания о Фракии”, “Чем и как либерализм наш вреден”, “Православие и Католицизм в Польше”, “Отец Климент Зедеггольм”, “Письма о восточных делах”, цикл “Записки отшельника”, “Национальная политика как орудие всемирной революции”; “О Владимире Соловьёве и эстетике жизни” и многие другие работы лишь подтверждают закономерность римских симпатий в творчестве К. Н. Леонтьева. По его мнению, Римокатолическая Церковь – “всё самое великое, изящное и святое”; “Католичество есть... одно из лучших орудий против общего индифференцизма и безбожия”; “Римский Католицизм нравится и моим искренно-деспотическим вкусам, и моей склонности к духовному послушанию, и по многим ещё другим причинам привлекает моё сердце и ум”; “чего же ещё могущественнее, самобытнее в истории... и влиятельнее, как папский этот Рим!”; “поэтому предоставьте мне бояться за всё христианство и за весь мир, когда я вижу, как глубоко потрясён Католицизм, самый могучий, самый выразительный из охранительных оплотов общественного здания” и т. п. Православию он таких “всемирных” признаний не делал.

Вообще, сопоставление Римокатолицизма и Православия крайне редко оборачивается у писателя в пользу последнего: “Мне жаль... что большинство нашего духовенства не имеет той ревности, которую имеет католическая иерархия...”; “Может ли сила этой веры в народе держаться *теперь долго без сильной организации нашей Церкви?*”. Леонтьев упрекает Православие в отсутствии дисциплины, в “простонародности” монашества, за женатых священников, за недостатки в обучении мирян основам веры. Особо настаивает в его трудах еретическая идея о новой объединённой *Католико-Православной Церкви, о Полуправославии*, куда он мечтает перевести русских: “Отчего ж и не произойти всё тому же соединению Церквей? <...> И такое соединение

не будет уже, вероятно, иметь в себе вида ни знакомого и уже давно *данного* нам Римского Католичества, ни “старого”, так сказать, русского Православия, *неподвижного и безвластного*. А будет это Православие *полуновое*. . . исторически же и канонически глубоко изменённое и широко над всем разросшееся”.

Руководствуясь подобными целями, Леонтьев приходит к мысли о созыве нового Вселенского Собора, даже нескольких, “которые мы. . . будем преспокойно считать Вселенскими и *непогрешимыми*. . . для того чтобы решить, возможно ли или невозможно это самое примирение с Католическим Западом?”. На “Вселенском Соборе” он планирует избрать “своего” прокатолического Патриарха; или, на крайний случай, “*побережь с любовью это Православие*. . . хотя бы и для того, чтобы лет через сто (положим) в случае неудачи самобытного развития церковных сил нам было бы с чем (а не с пустыми руками безверия) и в Рим пойти”. Таким образом, Православие для мыслителя — явление локальное и временное: внешне он привержен ему, но лишь до той поры, “пока не соберётся Восточный Вселенский Собор с целью признать непогрешимость Папы и право на вставку в Никейский символ слова “*filioque*”.

Таковы в общих чертах постулаты католического, а точнее, униатского учения К. Н. Леонтьева. Создаётся впечатление, что Леонтьев вместе со своим другом и единомышленником Вл. С. Соловьёвым вдохновлялся “Историей России с древнейших времён”, написанной отцом последнего (С. М. Соловьёвым), и планомерно популяризовал изложенный в ней польский “наказ” Лжедмитрию по “введению унии в Московское государство”, естественно, переменив при этом отрицательный знак на положительный. Необходимо отметить также, что все антипапские сочинения преп. Амвросия, о которых говорилось выше, были написаны в конце пятидесятых годов, то есть за десять с лишним лет до первого появления Леонтьева в Оптиной. Они входили в “золотой фонд” учения старцев, и “ученик” наверняка знал о них. Именно такое *полное расхождение во взглядах* и не позволяет говорить о духовном родстве, соавторстве и редактуре преп. Амвросия в леонтьевском творчестве (мы не берём в рассмотрение редкий случай, когда под леонтьевской статьёй, краткой и касающейся общих сведений о вере, значилось: *писано по благословию Оптинского старца отца Амвросия. Март 1888 г. Оптина Пустынь*).

Но ведь и расхождение с Достоевским и остальными славянофилами имело ту же причину. Странно, как при таком кардинальном несогласии с “наставником”, с учением Православной Церкви и основной массой православных публицистов Леонтьев дерзнул стилизовать свои нападки на Достоевского под церковное обличение: “Пророчество всеобщего примирения людей о Христе не есть православное пророчество. . . Церковь *этого мира* не обещает, а кто “преслушает Церковь, тебе пусть тот будет как язычник и мытарь””. Профессор Московской духовной академии М. М. Дунаев указывал в связи с этим, что Леонтьев *не имел права “говорить от имени Церкви”*.

К тому же обличитель нередко занимался передёргиванием. В статье “О всемирной любви” он утверждал, что Достоевский “признаёт *космополитическую любовь*” и выдаёт её за “удел Русского народа”; что речь Достоевского была “космополитической. . . выходкой”. Однако в Пушкинской речи Достоевского нет ни “космополитической любви”, ни вообще производных от слова “космополитизм”. Подтаковка была необходима в целях клеймления оппонента как либерала и западника, так сказать, *безродного космополита*. Леонтьев далее будет приписывать Достоевскому уже “сознательное служение космополитизму” и одновременно при этом множить собственные тезисы о всемирности и всеспасительности Римской веры.

Симптоматично, что нынешние исследователи не хотят замечать активной прокатолической и западной пропаганды мыслителя, его схлестывания с Достоевским по вопросу мировой роли Православия и папизма. Тем самым отвергается устойчивая церковная традиция критического, нередко и обличительного подхода к леонтьевскому творчеству, которую заложили в своих трудах митр. Антоний (Храповицкий), прот. К. М. Аггеев, прот. И. В. Арсеньев, прот. С. Н. Булгаков, прот. Г. В. Флоровский, Н. С. Лесков и др. Аргументация сегодняшних православных критиков однобока: кормящийся старцем Леонтьев шёл по “пути постоянного откровения помыслов, поста, внутренне-го делания, ежедневного участия в богослужении и жизни по послушанию. . .”,

а “по отношению к Достоевскому нам сейчас необходимо помнить о том, что он никогда не был бесстрашен в своих произведениях и сам сознавал... что он скорее изображает жизнь старца через своё восприятие. <...> Говорить... о том, что поучения старца Зосимы вполне соответствуют документально засвидетельствованным поучениям Оптинских и других старцев, нельзя. Более того, можно говорить о серьёзных расхождениях”.

Мы переходим здесь ко второму пункту разногласий – к образу православного старца в творчестве обоих писателей, и для начала поставим под вопрос требования ряда исследователей к Достоевскому: быть всегда бесстрастным и документально свидетельствовать поучения старцев – такое и очеркисту-документалисту вряд ли под силу. Но каков уровень этих качеств у Леонтьева? Близко общаясь с Амвросием, он мог дать более верное “изображения жизни старца”, и беллетристическое, и документальное. Обратимся к его статье, посвящённой смерти преп. Амвросия, которая вышла в “Гражданине” под названием “Оптинский старец Амвросий”. Некролог получился весьма объёмный, примерно восемь страниц печатного текста, но собственно леонтьевских в нём несколько строк: около десяти в начале и чуть больше в конце. Основное содержание – письма, пространное цитирование чужих корреспонденций, жизнеописаний и стихов, посвящённых Амвросию. В собственных двадцати строках автор не находит ничего лучшего, как свести счёты с коллегами по писательскому цеху: “Ведь мы все: и Вы, князь (В. П. Мещерский, издатель “Гражданина”. – И. П.), и я, недостойный, мы все “верующие” – православные христиане, – не будем же более радовать мелкими раздорами нашими наших общих врагов, которые не дремлют, как Вы видите, и восстают с разных сторон, и в новых видах, и с новым, разнородным оружием (Вл. Соловьёв, Л. Толстой, разные учёные специалисты и даже Н. Н. Страхов, явившийся недавно жалким защитником Ясно-Полянского юрода)! Неужели добросердечность, неужели “мораль” будут уместны везде, кроме литературы? Неужели только в литературе, под предлогом службы “идеям”, будут разрешены и похвальны всякая злопамятность, всякая жёлчь, всякий яд, всякое упорство и всякая гордость, даже из-за неважных оттенков в этих идеях? Нет! Не верю я этому! Не хочу верить неисправимости этого зла! <...> Здесь же я в заключение позволю себе напомнить, что многие думают, будто отец Зосима в “Братьях Карамазовых” Достоевского более или менее точно списан с отца Амвросия. Это ошибка. От. Зосима только наружным, физическим видом несколько напоминает от. Амвросия, но ни по общим взглядам своим (наприм., на перерождение государства в Церковь!), ни по методе руководства, ни даже по манере говорить мечтательный старец Достоевского на действительного Оптинского подвижника не похож. Да и вообще от. Зосима ни на какого из живших прежде и ныне существующих русских старцев не похож. Прежде всего, все эти старцы наши вовсе не так слащавы и сентиментальны, как от. Зосима. От. Зосима – это воплощение идеалов и требований самого романиста, а не художественное воспроизведение живого образа из православно-русской действительности...”

В конце статьи ясно прочитывается перешедшая к Л. А. Илюниной претензия по поводу отсутствия у Достоевского документальности и чересчур личного восприятия старчества. Но у неё была и другая – по поводу “бесстрастности”. Распространим её на Леонтьева: бесстрастен ли он в цитированной статье, бросая едкие упрёки Л. Н. Толстому, Н. Н. Страхову, покойному Ф. М. Достоевскому и используя для этого фигуру почившего старца? Сводя счёты с Достоевским, Леонтьев в концовке с упорством и жёлчью повторяет давно пройденный материал, который изложил ещё десять лет назад в статье “О всемирной любви”, где критика романа Достоевского куда пространнее, чем теперешняя: “В “Братьях Карамазовых”, – заявлял тогда Леонтьев, – монахи говорят не совсем то или, точнее выражаясь, совсем не то, что в действительности говорят очень хорошие монахи и у нас, и на Афонской горе, и русские монахи, и греческие, и болгарские”.

Но как тогда говорят “настоящие монахи”? “О. Климент” в пересказе Леонтьева выходит достаточно безликим и зачастую вторит идеям и темам автора; к тому же, при всём почтении, подлинным старцем сорокавосьмилетнего иеромонаха не назовёшь. Даже в афонских письмах Леонтьева столь малое место уделяется старчеству и столь большое (как ни странно) “коммунистам”,

что не удаётся составить представление ни о монашеских взглядах, ни о манере монахов говорить. Можно констатировать, что, постоянно критикуя персонажа Достоевского, портрет *настоящего* православного старца (старца Амвросия или собственного “старца Зосимы”) Леонтьев не создал. В ещё одном письме — частном и доверительном — он высказался о своём “духовном наставнике” несколько обширнее. Но и этот некролог вышел странным: “Кончина моего старца от. Амвросия не застала меня врасплох; он был так слаб, что я дивлюсь, как он мог ещё дожить до 79 лет. Я столько лет ждал со дня на день его смерти, что теперь ничуть этим не поражён. <...> Моё чувство к нему было более духовного оттенка; я его слушался... но так страстно, как другие, привязан к нему не был”. Или в других письмах: “Отец Амвросий ничуть не удовлетворял меня. Слова его, всегда очень краткие, спешные, *элементарные*, на меня мало действовали. <...> у него, *видимо*, не было тех философских и богословских наклонностей, которые были в высшей степени сильны у Иеронима... <...> От. Амвросий ничего не рассуждал, всё торопился, всё просил говорить короче и уходить скорее. <...> В от. Амвросии я нашёл только практический ум, только руководителя”. Характерно поэтому и *нежелание* Леонтьева создавать собственный портрет старца: “Сам теперь *серьёзного* об нём писать не собрался”; “Писать, однако, я теперь об нём не буду. <...> Когда... сам разберусь в мыслях и чувствах моих, то увижу (через год, например) — *могу ли я писать о нём или не могу*”.

Подведём итог “эпитафиям” и “зарисовкам”. Даже та, что готовилась в немедленную печать, свидетельствует, что писал её человек *страстный*, или (если воспользоваться самохарактеристикой Леонтьева) “взбешённый”. Похоже, Леонтьев не мог сдержать того, что Н. С. Лесков охарактеризовал в нём как “яд нетерпимости”. Повод для выплескивания яда был выбран неудачный: настроение людей, слышавших о кончине Амвросия, можно описать как всенародную скорбь. К чему было вызывать в них гнев, злобу, досаду? Встаёт и такой вопрос: при чём здесь вообще умерший десятилетие назад Достоевский? Он ведь не претендовал на “документально засвидетельствованное” описание; более того, ни разу не упомянул в романе ни Оптину, ни старца Амвросия; да и вообще старец Зосима — собирательный образ... Если Зосима “ни на какого из старцев не похож”, зачем спустя годы вновь оспаривать столь *ходульного персонажа*? Бросается в глаза и то, что недовольство Амвросием в письмах Леонтьева почти не уступает недовольству Зосимой...

Отметим здесь, что леонтьевское мнение о “нецерковности” Достоевского и “непохожести” его образа на подлинных старцев было опровергнуто высказываниями самих Оптинских монахов, православных иерархов, таких как митрополит Антоний (Храповицкий), и, что всего важнее, мнением святых, в частности, св. Философа (Орнатского), св. Николая (Велимировича), св. Иустина (Поповича). Антоний Храповицкий уже в начале 1890-х годов оспаривал церковность взглядов Леонтьева и открыто опирался на Достоевского, которого называл “гений, христианин, славянофил, народник, психолог, философ”. Его оппонента Антоний свёрстывал в “религиозно-сословные консерваторы псевдоаскетического направления, вроде Елагина, Леонтьева и т. п., любивших говорить о страхе, но не о любви”.

Нынешними литературоведами замалчивается факт возмущения, которое вызвали леонтьевские нападки на Достоевского. Количество положительных отзывов на “Наших новых христиан” *стремится к одному*, в то время как отрицательных множество: тут и священник Иоанн Соловьёв, и С. А. Пономарёв, и Ф. А. Терновский с Н. С. Лесковым. Последний, несмотря на непростые отношения с покойным Достоевским, ответил Леонтьеву гневной отповедью на обвинения писателя в “ереси”. “Обличая в ересях Достоевского... — указывал Лесков, — К. Леонтьев верит или старается уверить других, что сам он утверждается на основании правом и неизбежном”, однако от чувств его “отдаёт не любовью Христа, а любовью Торквемады. Тут слышен запах противной гари костров...”. В начале XX века священник К. М. Аггеев в самом капитальном на тот момент труде о Леонтьеве объяснил подлинную церковность христианства Достоевского и “ветхозаветность” веры Леонтьева. “Логически развитое учение К. Н. Леонтьева ведёт к главному догмату Католицизма — главенству и непогрешимости Папы”, — указывал о. Константин и заключал: “Ограниченность религиозного миропонимания у К. Н. Леонтьева делается прямым религиозным преступлением, когда он свою религиозную доктрину

настойчиво до фанатизма выдаёт за подлинное христианство, самым резким образом осуждая иные понимания его”.

Итак, если главный пункт претензий Леонтьева к Достоевскому касался *мировой роли Православия и Римокатолицизма*, то второй важнейший пункт состоял в недовольстве *образом православного старца*, который создал автор “Братьев Карамазовых”. Не забудем, однако, что в романе противопоставлялись два типа старцев. Не только у Алёши, но и у Ивана есть свой наставник – подспудно внушает Достоевский, рисуя Великого Инквизитора. Зосима, как мы видели, Леонтьеву не нравился, хотя собственный образ православного старца он создать был не готов. Посмотрим, как обстоит дело с наставником католическим.

В “Отце Клименте”, обращаясь к вопросу старчества, Леонтьев предлагает рассматривать это восточно-православное явление с точки зрения Католицизма, объясняя, что в Католической Церкви старчество тоже *присутствует*; даже более того – что восточные старцы якобы *вторичны* по сравнению с западными: “старец у нас есть именно то, что у католиков называется *“directeur de conscience”*. Далее происходит невиданная в русской литературе вещь: Леонтьев сознательно смешивает черты православного старчества с практикой папизма, пытаясь оправдать безоговорочное подчинение католиков Папе: “Я верю не в то, чтобы духовник или старец этот был безгрешен (безгрешен только Бог; и святые падали), ни даже что он судом своим непогрешим (это тоже невозможно). Нет! Я с теплою верой в Бога и в Церковь, и, конечно, с личным доверием к этому человеку за его хорошую жизнь прихожу к нему, и что бы он мне ни ответил на откровение моих тайных даже помыслов, я приму покорно и постараюсь исполнить”; неправильно было бы “думать, что подобное отношение к духовнику есть исключительно католическая черта и Православию совершенно чуждая”.

То есть католики верят в Папу как в “доброе старца”, вовсе не веря в его “непогрешимость”, и подчиняются ему исключительно из собственного смирения; в Православии отношение к старцам такое же, поэтому не надо придираться к догмату о непогрешимости. В этих рассуждениях Папа Римский выставлен первообразом старчества, а декорациями, оттеняющими его портрет, служат зарисовки *неправильностей* Православия: “наша распущенность, общая и мирянам, и духовенству; наше равнодушие <...> – вот в чём причина сравнительной слабости у нас духовного руководства...” Сугубую дисциплину и рационализм Римской Церкви, обличаемые славянофилами, Леонтьев возводит из ошибок в добродетели. Вспомним: в “Братьях Карамазовых” дисциплина католической паствы такова, что позволяет бросить в темницу Самого Христа – по велению Великого Инквизитора: “до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ”.

“Г. Леонтьев не предлагает никаких мер к поднятию у нас старчества, ограничиваясь указанием на католиков, у которых оно, по его мнению, существует... – писал на это в “Церковном вестнике” А. П. Саломон. – Мы... затрудняемся вполне отождествить наших старцев с католическими, как это делает автор, включая в это число хитрых иезуитов. ... Старчество у нас есть явление безыскусственное, свободное от регламентации... между тем как в Католичестве оно... искусственное”. Далее Саломон противопоставлял леонтьевскому пониманию трактовку Достоевского с его образом старца Зосимы.

Однако обрисовка “католического старца” только ещё началась. В работе “Православие и Католицизм в Польше” (1882), критикуя статью профессора Санкт-Петербургской духовной академии М. О. Кояловича, Леонтьев продолжает защищать католические “*аскетизм и оптимистический пессимизм мировоззрения; сильную власть духовенства; развитие духовничества и старчества*”. Окружив себя разного рода католическими “аскетами”, Леонтьев любит “всеми этими разнообразными монахами с капюшонами и в широких шляпах”, “пышными процессиями”, “красными кардиналами”. Умиление доводит писателя до боязни “за всё христианство, и за весь мир, когда я вижу, как глубоко потрясён Католицизм, самый могучий, самый выразительный из охранительных оплотов общественного здания”. Кстати, на пути католических аскетов встаёт и такое препятствие, как “учреждение семейного духовенства в Восточной Церкви”, ведь это сословие “само по себе взятое, есть, конечно, уже некоторый источник слабости”, более того, “расположено у нас <...> к протесту, т. е. именно к тому, что при неосторожности и к Протестантству

ведёт”. Кажется, в этом смысле неслучайно леонтьевское склонение головы перед Григорием Седьмым, утвердившим в Католицизме целибат. В творчестве Леонтьева выстраиваются ряды пап и кардиналов, перед которыми он благоговееет: “Пусть “Вестник Европы” не может сочувствовать мистическому стремлению в Рим; он Вестник не действительно великой Европы Григория VII, Иннокентия III и Пия IX; он Вестник другой Европы – новейшей (в смысле времени), дряхлейшей (в смысле разложения), он Вестник Запада легально революционного, прилично мещанского и плоско отрицательного”. Отметим здесь, что Пий Девятый был регулярным отрицательным героем “Дневника писателя”: Достоевский с иронией портретировал его как “блаженнейшего Папу, непогрешимого наместника Божия”, по “непогрешимому определению” которого “турки всё же лучше русских еретиков, не признающих Папу”.

Превалирование католических старцев над православными у Леонтьева неуклонно ширилось, пока не породило, наконец, образ *главного вселенского старца – Папы Римского*. В письме-трактате “О Владимире Соловьёве и эстетике жизни” читаем: “Мне лично Папская непогрешимость ужасно нравится! “Старец старцев”! Я, будучи в Риме, не задумался бы у Льва XIII туфлю поцеловать, не только что руку”. Сцена проигрывается вновь и вновь и, развившись, включает в себя не только главного героя, но и (на заднем плане) смирившееся “Восточное духовенство”: “Я Византию и “Фанар” предпочитаю Риму и буду предпочитать, до тех пор, пока всё Восточное духовенство не велит нам смириться перед Св. отцом – преемником Петра! Но я и теперь готов с радостью (не изменяя Восточному догмату) поцеловать у Льва XIII туфлю”. Образ стал собирательным, свидетельством чему низкопоклонство уже перед новым Папой, Львом Тринадцатым, сменившим на посту Пия Девятого.

Увы – этот образ не мог преодолеть даже дружеской цензуры. С. Ф. Шараров пишет Леонтьеву в письме 1888 года: “Ужасно негодовал на Вас за Папу-старца!!! Господи! Да что же общего между условным покаянием у иезуита и покаянием у старца? Вы удивительно подкупаетесь внешней стройностью. Да ведь это же мерзость католическая организация!”. Такие несогласия не выходили за пределы переписки, но подсказывали мыслителю, что грядущая критика может возыметь печальные последствия, учительная готовящееся постановление. Перед глазами был пример П. Я. Чаадаева, в своё время тоже начинавшего с любования “Папой-старцем” и в итоге официально объявленного сумасшедшим – с врачебным надзором. Вот почему текст о “старце старцев”, не опубликованный Шараровым в “Русском деле”, пересылается мыслителем И. И. Фуделю и публикуется двадцать лет спустя после смерти автора.

Под конец жизни окончательно выкристаллизовалось то, чего Леонтьев не мог простить Достоевскому заодно с “неверным образом” *православного старца Зосимы*. Это был неверный, с его точки зрения, образ *католического старца*, – как реального (в “Дневнике писателя”), так и романного (Великий Инквизитор). Леонтьевым предпринимались попытки создать ему антитезу в виде величественного католического “старца старцев”. Заметим, что в “Поэме о Великом Инквизиторе” не все готовы замечать критику Римской веры. Снятием обвинений с Католицизма славится клерикальная критика (например, С. Капилупи, с опорой на Папу Бенедикта Шестнадцатого и кардинала Каспера, продвигает тезис о некатолической адресации антикатолической критики Достоевского); *размытием адресности* обличений Достоевского заняты и некоторые православные исследователи, такие как публицист из США Дмитрий Григорьев. Леонтьев же недвусмысленно воспринимает образ “Великого Инквизитора” как критику высшей католической иерархии. Не камуфлируя намерений Достоевского, он частично признаёт верность образа, но далёк от благодарности за него, ибо *оправдывает* этот наиболее отрицательный типаж романа: “оттенки самого Дост. в его взглядах на Католицизм и вообще на христианство ошибочны, ложны и туманны”; “Ведь я, признаюсь, хотя и не совсем на стороне “Инквизитора”, но уж, конечно, и не на стороне того безжизненно-всепрощающего Христа, которого сочинил сам Достоевский. <...> Действительные инквизиторы в Бога и Христа веровали, конечно, *посильнее* самого Фёд<ора> Мих<айловича>. ...Фёд<ор> Мих<айлович> хочет унижить Католичество”; “Великому Инквизитору, позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фёд. Мих. Достоевскому” и т. п.

Некоторые подобные строки свидетельствуют о неглубоком проникновении в идеологию романа: “Ив<ан> Карамазов, устами которого Фёд<ор>

Мих<айлович> хочет унижить Католичество, совершенно неправ”. Между тем, в реальности Иван не унижает, а, наоборот, в идеал возводит Великого Инквизитора, который в учении своём дошёл до необходимости устранения Бога. Иван – воплотитель его *католической идеи*: рационального и презрительного отношения к людям, скорого суда над ними, результатом чего становится отцеубийство, в котором сам Иван выступает своего рода “Великим Инквизитором” (он обвиняет и приговаривает, а Смердяков исполняет). При известном недопонимании замысла романиста основную свою мысль Леонтьев проводит чётко, возвращаясь из мира литературных образов в реальный исторический: “Инквизиторы, благодаря *общей жестокости века*, впадали в ужасные и бесполезные крайности; но крайности религиозного фанатизма объяснять безверием – это уж слишком оригинальное “празднословие”. Если христианство – учение божественное, то оно должно быть в одно и то же время и в высшей степени *идеально*, и в высшей степени *практично*. Оно таково и есть в форме *старого церковного учения (одинакового с этой стороны и на востоке, и на западе)*. А какая же может быть практичность с людьми (даже и хорошими) без некоторой доли *страха*? <...> Разница между Православием и Католичеством – велика со стороны *догмата*. . . но со стороны *церковно-нравственного духа* различия очень мало; различие главное здесь в том, что там всё ясно, закончено, выработано до сухости; а у нас недосказано, недоделано, *уклончиво*. . .”.

Таковы предсмертные мысли *православного монаха* Леонтьева. Он тщится оправдать убийства как практическое воплощение веры инквизиторов (так сказать, *оправдание веры делами*), одновременно утверждая, что и сами эти дела – свидетельство веры (*оправдание дел верой*), упуская при этом, что “и бесы веруют, и трепещут”. В леонтьевской небесно-земной (идеально-практической) теории страходисциплины “дух свыше” ищет строгого порядка в стаде (т. е. церковного единства) и требует насилия над “заблудшими”, каковое и положено совершать – и для общественного, и для личного спасения. Отклонения от такого “*церковно-нравственного духа*” наблюдаются в Православии, где всё “недоделано и уклончиво” (т. е. нет “святой инквизиции” как прямого оправдания расправы над *схизматиками*).

Леонтьев предчувствовал, что отпаденцы непременно встретятся на пути к “Православию *полуновому*, исторически и канонически глубоко изменённому”. Начальным этапом в борьбе с ними должна была стать пропагандистская деятельность: “Лет через 10, 20... учение (при слабой по-прежнему организации нашей учительствующей Церкви (имеется в виду Русская Православная Церковь. – И. П.) приобретает множество молодых, *искренних* и энергических прозелитов <...>. Из общества идеи просачиваются понемногу и в *духовные училища, и ко Двору*. NB. Мы видели, что в настоящее время Хомяковские *оттенки* (по-моему, неправильные и в некоторых отношениях *полу-протестантские*) просочились уже в *духовные Академии*”. Пусть в битве берут верх славянофилы, но она, считает Леонтьев, далеко не проиграна: “Вообразите, что в духовных Академиях не удовлетворяются более “сладким” туманом Хомякова (сравни с “розовым христианством” Достоевского. – И. П.) и спрашивают себя: “Ну, а дальше что?” Вообразите при этом всё большее и большее сближение с *Католическими Славянами* <...> И если таким образом через 20–25 лет те семена, которые Соловьёв сеет теперь с такой борьбой, с такой, допустим, хитростью и даже несимпатичной злобой, начнут приносить обильную жатву <...>, то разве не простят ему все его *извороты*, или его мечтательные бредни?”

Следующим этапом планировался переход к церковной революции, где “врагам народа” был уготован незавидный конец: “Если совокупность всех выше перечисленных условий приведёт... к соединению Церковью под Папой – то скорее может случиться, что русские, в одно и то же время столь расположенные к *мистическому подчинению*, и столь неуправляемые в страсти разрушать, столь бешеные, когда они одушевлены, – скорее, говорю я, может случиться, что эти русские паписты не только не будут кротки. . . а *положат лоском* всю либеральную Европу к подножию Папского престола; дойдут до ступеней его через потоки европейской крови”. Весь “пургаториум” индугируется Леонтьевым заранее. Цель оправдывает средства. “Счастье миллионов” *верных папистов* оправдывает выпущенные “потоки крови” *неверных*. Кровавая риторика окатоличивания (заявившая себя позднее

в польской программе ревиндикации, в усташской Хорватии, зримо проявившаяся сегодня на Украине), несомненно, достойна Великого Инквизитора.

Мы подошли к четвёртой важнейшей точке разногласий Леонтьева с Достоевским, которую можно обозначить как *отношение к славянам*. Она напрямую соотносится с деяниями *бешеных, кровавых папистов-инквизиторов* и их жертв — *безбожных либералов*. Если на роль первых Леонтьевым планировались католические славяне (например, поляки, готовые, к удовлетворению мыслителя, “перевешать” “наших нигилистов” “тотчас же после выделения мечтательного царства Польского”), то их жертвами — *буржуазными демократами* — “законно” становились славяне православные. Вот почему, когда Достоевский в “Дневнике...” писал о турецких славянах: “Мать-Россия новых родных деток нашла, и раздался её великий жалобный голос об них...” — публика могла прочесть и леонтьевское: “Что такое Славизм? Ответа нет!” Если первый заявлял о “великом новом слове, которое Россия во главе союза славян скажет Европе”, второй заключал о южных славянах: “...хуже славяне тем, что они все сплошь либералы, конституционалисты и демократы... <...> Этим-то они хуже даже итальянцев, французов и немцев-бюргеров...”. При этом католических славян, особенно поляков, Леонтьев по понятным причинам выгораживал. Следовало настораживающее обобщение: “славизм погиб навсегда, растаял вследствие первобытной простоты и слабости своей”.

Оба писателя понимали, что за Русско-турецкой войной 1877-1878 годов стоит православно-католическое столкновение, но относились к этому противоположно. Достоевский предсказывал возрождение на карте мира христианских государств, считал, что на Балканах “разрешится тысячелетний вопрос Римского Католичества” и на его место “станет возрожденное восточное христианство”, что “бой окончится в пользу Востока, в пользу Восточного союза”. Леонтьев, сколь ни пытался под конец войны примкнуть к официальной линии, никак не мог отказаться от симпатий к Турецкой империи и тесно союзничавшему с ней Ватикану, а значит, и от враждебности к православным славянам. Достоевский своим “Дневником писателя” пробуждал в публике наибольшие славянские симпатии, что и провоцировало нападки Леонтьева, который уже с 1870-х годов называл подобные усилия “нежесткими” и “сердобольным братским нытьем”. Неслучайно в статье “О всемирной любви” оспорены не только “Карамазовы” и Пушкинская речь, но и славянская проповедь “Дневника...” — та “не слишком новая мысль о “смирении” и о примирительном назначении славян (составляющем, за неимением пока лучшего, будто бы нашу племенную особенность)”.

Нелишне будет разграничить “искание Константинополя” одним и другим автором. Если Достоевский уже с 1850-х годов трактует Россию как правопреемницу Византии и объясняет её нацеленность на Царьград желанием навеки прекратить “муки братьев нам единоверных и стон церквей в гоненьях беспримерных”, считая такой шаг частью программы по сбережению “всего вселенского Православия” и гарантией независимости освобождённых восточных христиан, то у Леонтьева по поводу Константинополя другие планы (высказанные, в частности, в беседе с Вл. С. Соловьёвым): “Я говорю: “Во всяком случае и для того, чтобы Ваше соединение Церквей осуществилось, русские захотят, прежде всего, испытать централи<за>цию Вост<очной> Церкви в Царьграде. <...> Нужно, чтобы эту Вост<очную> централиз<ацию> испытали на деле — и разочаровались бы; тогда пойдут и в Рим”. — А он: “Я против этого опыта ничего не имею. Моё мнение *теперь* то, что вы правы относительно Царьграда: его *надо* взять и перевести туда Папу. — Это тем более осуществимо, что Царьгр<ад> зовут *Новый Рим*”.

Поэтому необходимо различать два существенно разных подхода: мнение о “юго-славянах” К. Н. Леонтьева и “Одно совсем особое слово о славянах, которое мне давно хотелось сказать” Ф. М. Достоевского из “Дневника писателя” 1877 года. И там, и здесь, на первый взгляд, звучит критика славян, и не случайно Леонтьев к концу 1880-х ухватился за эту главу “Дневника...” как за момент возможного единомыслия: это единственное место, которое он у Достоевского без обиняков хвалит и подвёрстывает к собственным чувствам: “Он даже *тогда* предсказывал, что болгары будут неблагодарны нам. Предсказывал это и я, положим, в то же время; но ведь я прожил в Турции 10 лет и *видел*, что такое болгары!” В том же духе некоторые исследователи начали сводить всё славянское богатство “Дневника писателя” к одной его

главе, “не замечая” того факта, что начиная со второго номера этого издания (февраль 1876 года) и до последнего (январь 1881-го) нет практически ни одного выпуска, где так или иначе не звучала бы тема борьбы славян за свободу и русской помощи в этой борьбе. Подобной “редактурой” Достоевского заняты, например, А. И. Щербинин и Н. Г. Щербинина, которые на основании всё той же вырванной из контекста главы превратно толкуют славянские тезисы писателя и выдают мнение оппонентов Достоевского за его собственное, приходя к неправому выводу, что Достоевский в “Дневнике...” занят “деконструкцией славянского мира (славянской идеи)”, поскольку-де она “профанировала” себя.

“Неблагодарность” и европейскую переориентацию *славянской интеллигенции* ещё раньше К. Н. Леонтьева и идущих у него в кильватере критиков заметили славянофилы. Но у них эта критика была конструктивной, не распространявшейся на всю нацию. Так и у Достоевского критика славян – это, прежде всего, критика их западной “элиты”. Но даже там, где она касается всего народа, она благожелательна, сердечна, а главное, существует в контексте всего произведения, среди огромного числа положительных отзывов о славянах, призывов к их защите. В рамках всё той же главы следует ясный вывод: несмотря ни на какие заблуждения славян, России надо поматерински оставаться с ними и готовиться вновь “обнажать за них меч”. Справедливо будет назвать это *братской* критикой, поскольку Достоевский никогда не переставал видеть в южных славянах братьев: “православные христиане, братья наши”; “принижённые... народы и братья наши на Востоке”; “угнетённые братья”; “крошечная только часть людей, где-то там в уголке, турецкая рая, о которой никто бы и не услышал ничего, если б не прокричали русские”; “в Сербии братья... замучены и угнетены”; “страдающие братья”; “родные наши братья”; “наши братья по вере и крови славяне”; “несчастные и угнетённые братья наши”; “распинаемые на кресте наши братья” и т. д.

У Леонтьева критика турецких славян – *небратская*, встающая в длинный ряд отказа им в духовности и в самых обычных человеческих качествах, абсолютно антиисторично клеймящая эти крестьянские народы как *буржуазных демократов* и *европейских либералов*: “Разве легко нам справляться с болгарами и сербами?... Справляться с ними нам иногда очень трудно... <...> мы бываем часто вынуждены и нехотя ступать нашей исполинской стопой по следу, протоптанному маленьким, но цепким копытцем юго-славян”; “Осман-паша, например, конечно, выше какого-нибудь жалкого серба, который спрятался в кукурузе”; “... о сербах. Ни один из славянских народов не раздроблен так и политически, и культурно”; “Они до сих пор не только не явились творцами чего-либо *ново-славянского*, но и слабыми охранителями древне-сербского, своего”; “Хотя сербы простодушнее и симпатичнее, прямее болгар, но они очень горды и заносчивы”; “монашество в свободной Сербии в упадке”; “Сербы, нечего и говорить, все демократы”, стремящиеся к “буржуазной утилитарности”; “*некоторые струны*, и без того у них (особенно у сербов) слабые, могут совершенно оборваться; напр., православное чувство, которому либеральный европеизм гораздо больше вредит, чем само Католичество. Юго-славяне и без того православные весьма плохие...”; “Истории древне-болгарского и древне-сербского царств очень бесцветны... <...> С падением Византийского государства пресеклась и их незрелая своеобразно-культурного периода государственная жизнь”; “неблагодарность либеральных болгар и сербов”; “какие-то паршивые болгары, которых, как мух, Россия может задавить одной лишь ступнёй своей”; “настойчивые хамы”; “эта столь ничтожная и несимпатичная болгарская народность”; “самый отсталый, самый последний из возродившихся славянских народов”; “волки в овечьих шкурах”, “*радикальные европейцы в славянской шкуре*”. И, в качестве вывода: “южному славянину... следовало бы сказать: “ты не горяч и не холоден, – изблюю ты из уст моих!” Если бы “изблевать” его была нам какая-то возможность...”

Неправота в вере “юго-славян”, согласно Леонтьеву, имеет явный антикатолический оттенок: они “уже раз в своей истории послужили главным предметом раздора и разрыва между Римом и Византией...” – недоволен он, имея в виду, скорее всего, Ферраро-Флорентийский собор. Так и нынешние славяне мешают сближению России и Ватикана: “Папа узник! <...> И мы, русские, молчим об этом, – вероятно, из соображений внешней политики... (опять-таки в сущности через племенной вопрос – через славянский!)”.

Продолжать цитации излишне; можно лишь порадоваться, что в политике и культуре России победила линия Ф. М. Достоевского, а не К. Н. Леонтьева, то есть братско-славянофильская, а не сегрегационно-славянофобская. Вряд ли корни этой славянофобии лежали в “десятилетней жизни моей на Востоке”, в “хорошем знании” тамошних обстоятельств, — ведь юго-славяне лично укоряли Леонтьева в “незнании заграничных славян”. Скорее, это чувство питалось другой данностью: вековым римским рационализмом, делящим мир на “верных” и “схизматиков”; “ненавистью и презорством к иноверным”, которые, как верно отмечал преп. Амвросий, неотъемлемы от “предстоятелей Римской Церкви”. Действительно: ни одному из народов не предъявлял Леонтьев и сотой доли тех упреков, претензий, унижений, как православным славянским народам, лепя из них “образ врага”. Рассуждая о планировавшемся “союзе восточно-православных народов”, он заявляет: “Какое мне дело до того, что *всему человечеству* прибавится каких-нибудь пять-шесть лет *средней* продолжительности жизни? Мне нужны не эти *отвлечённые* и никому *собственно не принадлежащие* пять лет, мне нужны *мои* 50 лишних и здоровых! Так, чтобы мне жизнь сама уже наскучила бы! Этого и самый “любовный” союз панславизма не даст, и ни от чего существенно-бедственного он нас не избавит...”

Суммируя такого рода сентенции, звучавшие ещё на этапе статьи “О всемирной любви”, Достоевский отметил в тетради: “*Леонтьеву (не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет)*. В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живи в своё пузо”. Леонтьев, со своей стороны, не остался в долгу и под конец жизни исключил Достоевского не только из подлинных христиан, но даже из разряда моралистов: “Почти все главные действующие лица Достоевского” — “психопаты”, и если “по другим писателям можно изучать нормальную жизнь; по Достоевскому можно изучать только её психопатию...” К сожалению, мыслитель не внял адресованной ему *морали* Достоевского, который подметил в нём и несогласие в идеях, и банальную зависть и писал: “Разумеется, нельзя требовать, чтоб г-н Леонтьев сознался в этом печатно. Но пусть этот публицист спросит самого себя наедине с своею совестью и сознается сам себе; и сего довольно (для порядочного человека и сего довольно)”.

* * *

Одним из главных дел К. Н. Леонтьева стала борьба со *славянско-православной идеей* славянофилов. В период, когда Ф. М. Достоевский отыскивал воплощение этой мировой идеи в разнообразных проявлениях народного сознания: война за братьев-славян (ставшая итоговой темой его публицистики); православный монастырь и старчество (итоговая тема его беллетристики); типаж, являющие народную правду и призыв к западной интеллигенции смириться перед народом, — Леонтьев стремился развенчать эту идею с разных сторон: с религиозной (продвигая идею униатского *новоправославия* и параллельно отрицая традиционное Православие как духовное средоточие славян); с национально-государственной (приучая публику к неприятию славянских народов как исторических субъектов); с сословно-неравенственной (говоря о необходимости “палки” в дисциплинировании русских и славянских “простолюдинов”). Ради подобных идей и был отвергнут созданный Ф. М. Достоевским идеал близкого к народу *православного старца* и нарисован свой — *аристократический и рыцарственный “старец старцев”, “Св. отец — преемник Петра”, положительный “Великий Инквизитор”*. Единомысленный со своим персонажем, К. Н. Леонтьев до самой смерти не оскудевал в борьбе с православной “всечеловечностью” и славянами как её зачинателями.

Кто же оказался прозорливее в “споре” и чьи пророчества сбылись? Едва ли можно говорить об исполнении основных прорицаний Леонтьева, согласно которым долголетие Турецкой империи обязано было продлиться благодаря её якобы великолепному отношению к христианским народам, а также незрелости этих народов для собственной государственной судьбы. Или схожих провозглашений о “долгом, очень долгом сохранении Австрии”, что опять-таки призвано было воспрепятствовать “слишком быстрому разрешению

всеславянского вопроса”. Непросто всерьёз рассматривать и “церковные” прорицания Леонтьева, согласно которым новые гонители на Православие (дабы возродить в нём мученичество) должны явиться из “нигилистов, достигших высшей власти *по пути, уготованному им этой самой либеральной, Славяно-Русской Церковью*”, которую проповедовали “Хомяков, Самарин, Аксаков”, развивавшие Церковь в “*национально-протестантскую сторону*”. Подобные “пророчества” выглядят сегодня откровенным абсурдом. Никакой новой “либеральной славянской церкви” не создано; гонители же Православия в двадцатом и двадцать первом веках, как и ранее в истории, являлись из недр Церкви Католической.

Напротив, славянские пророчества Достоевского оказались жизненны и подтвердились историей. Последнее из них, прозвучавшее в “Дневнике писателя”, было пророчеством о падении Австрии и освобождении австрийских славян. Сбылось не только оно — история подтвердила практически все прогнозы Достоевского, в частности, о том, что Турция перестанет существовать как империя и европейское государство, что славянские народы, жившие под её гнётом, получат собственную государственность; что “мы именно в теперешней же войне и докажем всю нашу идею о будущем предназначении России в Европе, именно тем докажем, что, освободив славянские земли, не приобретём из них себе ни клочка”. Православный удел в Европе действительно расширился, и “возрождённое восточное христианство” заняло в ней подобающее место: помимо православных Сербии, Черногории, Болгарии, Македонии, Румынии, Греции, в основной массе вернулись от униатства к вере предков русины в Закарпатской Украине и Словакии; тот же процесс произошёл с белорусами; образовалась автокефальная Польская Православная Церковь (1948), Чехословацкая Православная Церковь (1951).

О верности геополитических предвидений Достоевского неоднократно писали южнославянские учёные, в том числе православные святые, — св. Николай (Велимирович) и св. Иустин (Попович). Они касались и художественных образов Достоевского, в частности, образа старца Зосимы, которого относили к “христаликим героям Достоевского” и без всяких оговорок многократно цитировали как действительно существующего православного старца. О неуязвимости образов “Братьев Карамазовых” свидетельствует и инославная культурная среда. Достаточно упомянуть неоднократные сценические постановки “Поэмы о Великом Инквизиторе” и её автономные печатные издания на английском языке.

Читательский интерес как неумолимая (хотя далеко не единственная) оценка многое ставит на свои места, и потому сложно согласиться с мнением В. А. Фатеева, считающего, что “по благотворному влиянию Леонтьева в деле распространения в обществе православных воззрений его вполне можно сопоставить с ролью Ф. М. Достоевского”. *О православности* того и другого писателя предоставляем судить читателю; что же касается известности, благотворного влияния и общественной оценки, прислушаемся ко мнению св. Иустина. Он был убеждён, что Достоевский всегда “со-вечен”: то есть при всех исторических поворотах, при самых разных властях, со всеми неугодными кому-то идеями остаётся популярнейшим и немеркнувшим источником вдохновения, идеалом для подражания мировых классиков, объектом многих тысяч исследований. Фигуру К. Н. Леонтьева и при жизни и после неё отличает непопулярность, которую его ученики характеризовали как “литературную судьбу... трагичную до ужаса” (И. И. Фудель), всерьёз числя это “*колдовством природы*” (В. В. Розанов). Действительно, оппонент Достоевского, при всём своём желании стать “генералом в литературе”, в большинстве мировых культур до сих пор неизвестен вообще или известен *через Достоевского* как один из его критиков.

ЕСЛИ ПРЕОДОЛЕЕМ — У НАС ПОЯВИТСЯ ШАНС

Интервью с Юрием Козловым

У известного прозаика, автора более 30 книг, главного редактора “Роман-газеты” и “Детской “Роман-газеты”, Юрия Вильямовича Козлова специально для “Нашего современника” взяла интервью Виктория Татур.

В. Т.: Вы провели детство в Ленинграде. Интересно, какой он — ваш Петербург, и есть ли у вас там особые “места силы”?

Ю. К.: Да, действительно, в Ленинграде я окончил школу. Это мой любимый город, и я жил там до семнадцати лет. Это время, когда формируется человек, складываются его идеалы, он начинает осознавать себя личностью. Затем наступает возраст взросления: первая любовь, мечты, планы, вхождение во взрослый мир. Это прекрасное время оставляет в человеке самые светлые впечатления. Собственно, вся юношеская литература живёт на этих впечатлениях. Чем искреннее автору удаётся передать свои ощущения, тем больший отклик находит в душе читателя такая литература. Можно вспомнить мировую классику: “Тома Сойера” Марка Твена, “Над пропастью во ржи” Сэлинджера, “Дикую собаку Динго” Фраермана, “До свидания, мальчики!” Балтера, “Первую любовь” Тургенева. Главное достоинство этих произведений — свежее, искреннее юношеское восприятие мира. Что касается меня, то, действительно, в Петербурге у меня есть любимые места. Это моя школа, первая в Ленинграде с углублённым изучением английского языка. Туда даже приезжали преподаватели из Оксфорда, читали курс английской литературы. О том, как жили, о чём думали в конце шестидесятых годов молодые люди в Ленинграде, я написал роман под названием “Изобретение велосипеда”. Он был очень популярным в своё время, несколько раз переиздавался, о нём много писали. Считается, что этот роман отразил время, когда заканчивалась эпоха Beatles, набирал силу постмодерн, а в СССР начинался период застоя. Это, в общем-то, было для советской страны не худшее время. Ещё можно было что-то изменить, пересмотреть. Был на это общественный запрос. Но не случилось, и это повлияло на общество. Люди начали терять веру в будущее, из жизни ушла энергия, лозунгам больше никто не верил. Да, юность прекрасна, полна надежд, но окружающая жизнь подёрнута тленом. Вот это противоречивое состояние и было передано в романе. Самое удивительное, что его до сих пор помнят и читают. Там описан Ленинград, его улицы, Нева, дома. Можно сказать, что город — главный герой романа.

В. Т.: *Как вы совмещаете в себе столь разные ипостаси общественного деятеля и писателя? Кем вы себя считаете в первую очередь, если, конечно, об этом так можно говорить, – редактором, пишущим прозу, или прозаиком, который занимается ещё и таким серьёзным журналом?*

Ю. К.: Общественным деятелем я себя не считаю, для этого нужны особые качества: талант оратора, умение убеждать окружающих в своей правоте. Я ими не обладаю. Окончив школу, я переехал в Москву, поступил в Полиграфический институт. После института работал в журнале “Пионер”. Потом служил в армии на Чукотке. Затем работал в журнале “Юность”. В середине 70-х годов журнал “Юность” был очень популярным. Тираж – почти три миллиона. Главным редактором там был Борис Николаевич Полевой, классик советской литературы, автор “Повести о настоящем человеке” и многих других произведений в жанре соцреализма. В “Юности” я работал в отделе публицистики. Потом перешёл в журнал “Огонёк”. За эти годы я объездил весь необъятный Советский Союз. Был на Северном полюсе, на Камчатке, в Сибири, плавал на пограничном сторожевом корабле, он назывался “ПСКР “Айсберг”, вдоль Курильской гряды. Редакция “Юности” как бы шефствовала над этим кораблём, тогда были приняты такие вещи. В команде было много молодёжи – офицеры, матросы-срочники, а “Юность” считалась молодёжным журналом. Я на этом корабле больше месяца плавал, высаживался на островах, куда не пускали без специального разрешения. Видел японские технические сооружения, бетонные ангары с иероглифами на стенах, остатки аэродромов, секретных военных баз. Журналистика, как любая работа, – школа жизни. С одной стороны, видишь людей, разнообразную природу бескрайней страны – горы, леса, поля, реки, великие стройки, типа БАМа или нефтепровода Уренгой–Помары–Ужгород. С другой – один набор продуктов от Калининграда до Владивостока, какую-то усталость людей, их внутреннюю опустошённость, неверие в советские идеалы. Собственно, это исподволь – сквозь цензуру – и исследовала в то время советская литература. Читали таких писателей, как Трифонов, Маканин, Окуджава, Аксёнов. Многих – Венедикта Ерофеева, Довлатова, Петрушевскую – в самиздате. Эти писатели отражали в своих произведениях исчерпанность советской идеологии, разделение общества на привилегированные “верхи” и стоящие в очередях за продуктами и товарами “низы”, неверие общества в идеалы. Она была глубоко пессимистичной. Не все произведения легко прорывались сквозь цензуру. Выходили всё время какие-то постановления: то одного нельзя, то другого. Творческих людей – писателей, кинематографистов, режиссёров, художников – естественно, это раздражало, осложняло им жизнь.

В. Т.: *Да, цензура в те времена сковывала писателей, да и других деятелей культуры. Но, насколько я знаю, писательский труд всё же был ценен и хорошо оплачивался.*

Ю. К.: Скажу вам честно, я много лет работал и жил как профессиональный писатель, пользовался теми преференциями, которые давала советская Родина членам Союза писателей СССР. Когда человек становился членом этого творческого Союза писателей, он получал право не работать, мог жить более или менее свободно, не опасаясь, что накажут за тунеядство. Писатели заключали договоры с издательствами, у них выходили книги, и эти книги великолепно оплачивались. Гонорары были совершенно не такими, как сейчас. Профессиональный писатель мог очень неплохо по тогдашним меркам жить литературным трудом. С развалом СССР всё это закончилось. Людям творческих профессий пришлось выживать, искать места, где можно было хоть как-то прокормиться. Я работал в глянцевого журналах, в газете “Россия”, сочинял рекламные тексты. Потом оказался в пресс-службе Государственной Думы. Тогда она была оппозиционной, Ельцин всё время порывался её разогнать. В начале нулевых перешёл в Аналитическое управление Совета Федерации, а потом возглавил там пресс-службу. Там-то я и наблюдал, как живут и трудятся народные избранники, как действует бюрократическая государственная машина. Это, конечно, нельзя считать общественной деятельностью, как и любую государственную службу.

В. Т.: *Но вы, как я понимаю, никогда не переставали заниматься литературой.*

Ю. К.: Это правда. С 2001 года я стал главным редактором журнала “Роман-газета” и до сих пор им являюсь, то есть это уже почти двадцать два года. Можно сказать, засиделся на этой должности, но поскольку редакция у нас небольшая, меня до сих пор терпят. Журнал выходит два раза в месяц и по нынешним временам пользуется достаточной популярностью. Ещё мы издаём ежемесячную “Детскую “Роман-газету”, тираж которой растёт. Получается три журнала в месяц общим тиражом более пяти тысяч экземпляров. “Детскую “Роман-газету” любят и дети, и их родители. Она рассказывает детям о традиционной русской культуре, публикует отечественную классику, разного рода просветительские статьи. Можно добавить, что все известные современные российские писатели прошли через “Роман-газету”. В этом году, кстати, журнал отмечает своё 95-летие. Сам факт, что издание столько лет существует, весьма отраден. Мы, конечно, стараемся встроиться в новые электронные форматы – развиваем свой сайт, подписку онлайн, присутствуем на разных литературных порталах, но при этом замечаем, что как только в обществе происходят какие-то сдвиги или потрясения, всё опять незаметно возвращается к бумажной книге. Поэтому я думаю, что рано списывать её со счетов. Книга существует сотни лет, а её цифровые варианты – всего лишь лет тридцать. Наверное, “Роман-газета” – уходящая натура, как и любой литературный журнал. Сейчас каждый пишущий человек может запросто выставить свой текст в интернете. Тем не менее “Роман-газета” живёт и, надеюсь, будет жить долго. Журнал выписывают библиотеки, интересующиеся современной литературой и современными авторами. Выписывают учебные заведения, где есть кафедры русского языка и литературы. Есть категория подписчиков, которые помнят старую советскую “Роман-газету”, когда у неё был многомиллионный тираж. Это уже пожилые люди, но есть и молодые. Журнал выручает его относительно невысокая цена и “книжность” – в номере, как правило, печатается одно прозаическое произведение. Мы публикуем литературу на самые разные вкусы: реалистические романы, детективы, женскую прозу, военные мемуары, исторические и биографические исследования. Например, сборники Флорентия Павленкова. Они выходили в XIX веке: о Богдане Хмельницком, об Иване Грозном, о русских императорах. То есть стараемся удовлетворить самые разные читательские вкусы, охватить всю аудиторию. Думаю, что это и есть тот спасательный круг, на котором держится “Роман-газета”.

В. Т.: *Есть ли у вас как у главного редактора страх пропустить или не заметить талантливого автора?*

Ю. К.: Есть авторы, которых мы бы и рады печатать, например, Пелевина или Акунина, да и Дмитрий Быков как прозаик был бы для наших читателей интересен. Но у этих авторов уже есть договоры с крупными издательствами вроде АСТ или Эксмо. Они нигде больше не могут печататься без разрешения этих издательств. Это довольно жёсткие коммерческие, я бы даже сказал, западные условия договора. Они связывают авторов, которые существуют как издательские проекты. Их продвигают как “лидеров продаж”. Тем не менее в журнале публикуются другие популярные авторы, например, Юрий Поляков, Александр Проханов, Виктор Пронин. Много лет назад мы первые напечатали Захара Прилепина, его роман “Патологии” о чеченской войне. Тогда он был молодым, и мы успели его напечатать, а сейчас это уже классик, который публикуется только за большие гонорары и живёт, наверное, частично с доходов от литературы. Если появляется талантливый яркий автор, мы его с радостью и напечатает, и рекламу ему сделаем, будем его приглашать на литературные вечера и презентации. Среди наших авторов много молодых – Платон Беседин, Андрей Тимофеев, Андрей Антипин, Сергей Шаргунов, Анастасия Чернова. Возраст таланту не помеха. Мы различаем авторов не по возрасту, а по таланту.

В. Т.: *Вы ведь публикуете ещё и победителей премии “В поисках правды и справедливости”?*

Ю. К.: Да, “Роман-газета” – соучредитель этой премии. Каждый год мы выпускаем специальный номер с победителями этой премии в трёх номинациях: прозы, поэзии и публицистики. Я помню вашу книгу, её тоже отметили дипломом – очень хорошая, живая, оригинальная, я с большим удовольствием прочитал. Бывают у нас и другие сборники: “Молодая проза России”, “Современный российский рассказ”, “Современная повесть”, “Военная проза”.

В. Т.: *Недавно в качестве мастера вы принимали участие в Совещании “Посадский ЭкспрессЪ” от Совета молодых литераторов. Интересно, что вы чувствуете, когда попадаете на подобные мероприятия?*

Ю. К.: Я часто попадаю на подобные мероприятия. С одной стороны, ощущаешь себя на них таким почтенным старцем, который делится опытом и вспоминает былое. Я в литературе уже почти полвека и многих помню. Уже упомянутого Бориса Николаевича Полевого или главных редакторов журналов “Октябрь” и “Огонёк” Анатолия Ананьева и Анатолия Софронова. Когда я вступал в Союз писателей, это было очень давно, сорок лет назад, то моими оппонентами были Семён Михайлович Бабаевский – поклонник Сталина, автор романа “Кавалер золотой звезды” – и Борис Можаяев – глубокий почвенник, ненавистник коллективизации и колхозов. Вот какого масштаба писатели в то время занимались молодыми авторами. Рекомендацию в Союз писателей мне давал классик уже следующего за ними поколения, критик Владимир Бондаренко называл его “поколением сорокалетних”, Владимир Маканин. Несколько лет назад он тоже умер. Поэтому я стараюсь авторам, которые присутствуют на моих семинарах, рассказать что-то интересное, передать что-то из своего литературного опыта, привести примеры из своей жизни. С другой стороны, при чтении их произведений у меня тоже возникают разные мысли. Ведь я имею дело с новыми литературными поколениями, у них другой взгляд на мир, они живут в другой реальности, у них своя эстетика, своя стилистика. То есть формируется некий синтез прошлого и настоящего, обнаруживаются какие-то точки соприкосновения. Это и есть преемственность литературных традиций. К примеру, когда я был молодым, на одном из совещаний лекцию читал Леонид Леонов – наш классик и великий писатель. Надеюсь, что и нынешние семинаристы что-то запомнят из наших разговоров, что-то им пригодится. Сейчас интерес к литературе в обществе падает, и то, что на семинарах собираются люди, которым интересна литература, которые хотят стать профессиональными писателями, обнадеживает. Это одна из “низовых” форм развития культуры, саженцы, которые потом превратятся в большие деревья.

В. Т.: *Помимо того, что вы даёте современным молодым авторам на семинарах, делитесь опытом и даёте какие-то советы, чему вы сами учитесь у них?*

Ю. К.: Я начинаю лучше понимать реальность. Когда прочитаешь 7-8 авторов, как на семинаре “Посадский ЭкспрессЪ”, то перед глазами как бы встают определённые фрагменты жизни общества и страны. И это не то, что говорят по радио или телевизору. Это то, что идёт непосредственно от людей. Каждый из авторов опирается на свой опыт, на жизненные истории своих близких, родственников. Как они живут, как зарабатывают, как относятся к власти, как оценивают то, что происходит? В прозе молодых писателей я вижу глубочайшую неудовлетворённость реалиями сегодняшней жизни. Есть некий изъян в нашей жизни, какой-то страшный провал. То общественное устройство, которое сложилось в стране, абсолютно не устраивает огромное количество людей. Это буквально рвётся из молодой прозы. Герои произведений, казалось бы, должны радоваться жизни, они полны сил, у них всё впереди. Но нет. Вот о чём надо думать обществу и тем, кто занимается политикой.

В. Т.: *На открытии Совещания “Посадский ЭкспрессЪ” вы привели цитату Розанова о писателях. Интересно, кто для вас писатель и какой он?*

Ю. К.: Писатель сегодня совершенно точно не властитель дум и не учитель жизни. Сам труд писателя, престиж писательской профессии чудовищно упали. Писатель не получает гонораров, даже в реестре профессий его нет.

Писателей как общественных фигур можно по пальцам пересчитать: Юрий Поляков, Александр Проханов, Дмитрий Быков, Борис Акунин. А так, по большому счёту, писатель сейчас — маргинальная личность, пытающаяся из подполья что-то сказать обществу и как-то до него докричаться. Это человек, который видит всю несправедливость общества, его пороки и язвы, но, — к счастью или к сожалению, — чтобы донести до читателей свою боль, может рассчитывать только на собственные силы. Он сам должен найти издателя, добиться, чтобы его напечатали. Или — за собственный счёт. Государство в этом деле писателю не помощник. Если в обществе изменится отношение к литературе, тогда писатель будет ощущать себя иначе. Сегодня он лишний человек.

В. Т.: *В начале нашей беседы вы упомянули свой роман “Изобретение велосипеда”, и мне бы хотелось к нему вернуться. Тогда он получил очень много откликов и даже повлиял на поколение подростков того времени. Если бы вы сегодня начали писать роман именно для подростков, что бы вы им сказали, чтобы он тоже повлиял на них?*

Ю. К.: Знаете, если бы я взялся за что-то подобное, то опять бы обратился к своему личному опыту. При этом я бы искал какую-то гармонию между прошлым, традициями людей старшего поколения и верой в грядущее просветление нашего общества. Мне представляется, что сейчас наша цивилизация катится в пропасть, потому что из её сердцевины исчез человек в лучшем своём проявлении — как высший смысл развития. Это не био-техно-цифровой, а духовный человек, который читает, чем-то интересуется, куда-то стремится. Он думает не только о себе, но и о других, пытается выйти за пределы тех рамок, которые ему ставят силы, регулирующие мировые процессы. Это человек, у которого есть идеалы. Сейчас общество дать их неспособно, поэтому каждый должен самостоятельно их формулировать и им следовать. Когда мы говорим о молодёжи, мне кажется, что это главное. У Владимира Солоухина есть роман “Мать-мачеха”. Когда его герой — молодой поэт — осознаёт весь ужас сталинизма, он приходит в Литинститут к старому поэту, своему учителю, и спрашивает, как жить, когда всех сажают, когда ни о чём нельзя писать, когда все запуганы и всюду ложь, тот ему отвечает: “Голову под топор — проходи мимо временного”. Вот сейчас, мне кажется, у нас такой же период. Если пройдем, преодолеем, то у нас появится шанс.

АНАТОЛИЙ КОЗЛОВ

РОЖДЕНИЕ И КРАХ ВЕЛИКОЙ СКИФИИ

Николай Коняев. Рождение и крах Великой Скифии. М.: Алдоор, 2021. — 540 с.

Когда из печати выходит новая книга — это всегда большая радость. Но новая книга русского писателя Николая Михайловича Коняева “Рождение и крах Великой Скифии” — событие совершенно особенное.

Автора характеризует глобальный взгляд на историю, он умеет мыслить масштабно, оценивая огромные периоды тысячелетней истории. Коняев смотрит на исторический процесс как на нечто цельное, непрерывное и, что весьма важно, живое. История для него — не просто набор отдельных фактов. В его книге исторические события составляют общее целое — как Божий промысел. Тем не менее книга эта, конечно же, научный труд. Николай Коняев — один из тех историков, которые не противопоставляют историческую науку вере. Поскольку, даже при невозможности всё объяснить, он понимает, что те или иные события, которые для нас по сей день остаются загадкой, произошли неслучайно.

Вот рассматривает Коняев распространение потомков Ноя и образование народов. “От Гомера, сына Иафета и внука Ноя, произошли киммерийцы — древнейший известный науке народ, населяющий территорию современной России. В Библии этот народ назван народом гомер, в аккадской клинописи его записали *Gimirrari*, а у греческих авторов он превратился в киммерийцев...” — пишет он. Киммерийцы населяли степи Северного Причерноморья и Поволжья. Изначально они занимались скотоводством и земледелием, однако развитие табунного коневодства привело к кочевому скотоводству. От осёдлого быта у киммерийцев остались города и обычай употреблять в пищу травы, что подтверждают исторические раскопки и сообщают греческие авторы. На арену мировой истории выходит неведомый никому народ. О культуре и развитии киммерийцев известно по историческим исследованиям, как пишет автор, приводя цитаты и ссылаясь на строки из книги пророка Иезекииля, свидетельствующие о тех же событиях. Об этих же событиях пишет и древний историк Гомер. Эти события отделены от нас огромным временным периодом, и Коняев поясняет, что название этой главы “Киммерийские сумерки” обусловлено тем, что данные об этом историческом периоде всё же отрывочные. Но, ссылаясь на исследования историка Георгия Владимировича Вернадского, говорит об этих трудностях: “Между относящимися к бронзовому веку археологическими памятниками сабастиновской ступени “киммерийско-срубной” культуры и библейской хронологией остаётся разрыв в две тысячи лет”. И здесь уже приходится довольствоваться предположениями.

Однако гипотезу о том, что распространение киммерийцев шло не только в северном Причерноморье, но и продвигалось на Восток, подтверждают изыскания уральских археологов. От них мы узнаём о возникновении на рубеже III-II тысячелетия до нашей эры на территории Южного Урала носителей индоевропейской ямной культуры.

Одним из важных и интересных событий является открытие города Аркаим и “Страны городов” в Южном Зауралье, на самом пограничье Азии и Европы, у восточных склонов Уральских гор. Эти поселения относятся к рубежу III – началу II тысячелетия до нашей эры. Укреплённые поселения Урала древнее гомеровской Трои на пять-шесть столетий, они являются современниками Вавилона, фараонов Среднего Царства Египта и крито-микенской культуры Средиземноморья. При этом археологические раскопки выявляют чрезвычайно высокий уровень хозяйственной культуры Аркаима. В Библии об этом периоде сказано, что в то время как раз был один язык и одно наречие, до тех пор, пока люди на земле Сеннаар не начали строить эту самую знаменитую Вавилонскую башню. Этот библейский рассказ напрямую связан с традицией строительства в древней Месопотамии высоких башен-храмов. Нечто же подобное археологи обнаруживают и в Аркаиме. Николай Коняев ссылается на труды известного учёного, доктора исторических наук Геннадия Борисовича Здановича.

“Вопросов при раскопках Аркаима и других поселений “Страны городов” возникает так много, – рассуждает Коняев, – что некоторые исследователи выдвигают предположения, будто Аркаим является родиной Заратуштры – автора учения о вечном возвращении... По времени всё совпадает...”

И деятельность Заратуштры датируют как раз XII-X веками до нашей эры. Зарождение этой культуры подтверждают и археологические раскопки.

* * *

Возможно, мы никогда не сможем точно указать все причины, по которым потомки киммерийцев и предки будущих скифов отправились в этот степной поход. Причины могут быть самые разнообразные: от простоты и уменьшения риска производства в скотоводстве по сравнению с земледелием, наличия кормовой базы и водных источников, до личных привязанностей тех или иных представителей и пр. Однако логика такого исторического развития вполне понятна и прозрачна. Во всяком случае, когда в истории народы или события появляются “вдруг, откуда ни возьмись”, то это, конечно же, менее убедительно, чем такое объяснение. К тому же и археологические исследования, обнаруженные артефакты, следы культур – как схожие, так и различающиеся, – не противоречат данному утверждению, в частности, Окуневская культура, обнаруженная на юге Хакасии. При этом сам факт, что по истечении времени происходило развитие цивилизации – появление двух- и четырёхколёсных повозок и, помимо медного, ещё и бронзового литья свидетельствует о том, что народы, владеющие этими достижениями цивилизации, уже прошли некий путь своего развития. О чём, собственно, и свидетельствует существующая историческая наука.

Когда мы изучаем историю недавнюю, происходившую 50, 100, 200, 300 лет назад, имея достаточное количество источников, то понимаем: целые поколения трудятся над тем, что произойдёт в будущем, и все процессы и исторические события действительно связаны. Но почему-то отрывочные сведения и факты о древнейшей истории вдруг дают основания рассуждать о случайности произошедших событий. На самом деле, историческая матрица – это структура, пожалуй, не менее жёсткая, чем таблица Менделеева, в которой существование некоторых элементов вначале было доказано теоретически, а потом уже они были открыты. Точно так же, зная и понимая логику исторических событий, можно вскрыть истинное положение вещей. А логика кроется, порой, в Ветхом Завете и в Новом Завете. Таким образом, киммерийская культура распространяется в южноуральских и сибирских степях, и возникает та самая “Страна городов”. А в более поздние эпохи происходит отток населения обратно: из “Страны городов” в сторону запада и юго-запада, о чём свидетельствуют памятники срубной культуры. Это подтверждают найденные могильники, захоронения и прочие остатки культуры и археологические находки.

Автор, вспоминая Льва Гумилёва, объясняет: вполне внятно история народов Великой степи может быть изложена, начиная с III века до нашей эры, когда племена Монголии были объединены хуннами, а легендарных скифов Причерноморья сменили сарматы. Это только для несведущего читателя в поэмах Гомера “Одиссея” и “Илиада” где-то на заднем плане мелькают неизвестные, мало для нас понятные народы. Однако те слова, которые пишет о них Гомер, и те эпитеты, которыми он их характеризует, дают более ясное представление о том, что он хорошо был с ними знаком. Как раз потомки киммерийцев и скифов были хорошо известны и участвовали в историческом процессе. Участвовали они и в Ветхозаветной истории, о чём свидетельствуют строки из пророка Иезекииля.

Автор книги Николай Коняев постоянно оперирует данными из трудов историков, начиная от Гомера и Геродота, и заканчивая современными историческими трудами, последними новейшими исследованиями и археологическими находками. Впрочем, автор не строит иллюзий и не выводит законченных и стройных теорий. Он, не скрывая, говорит о трудностях, о противоречии фактов. Каким образом скифы вытесняли киммерийцев, почему киммерийцы затеяли междоусобную войну, решив противостоять скифам? Почему одно племя скифов вытеснило другое? Каким образом скифы преследовали киммерийцев, если пути у них шли параллельно, и их разделяли многие сотни километров кавказских перевалов и хребтов?

Такие вопросы ставит писатель-исследователь уже во второй главе первой части под названием “Киммерийско-скифский выход”. Действительно, несмотря на многообразие источников и множественность фактов, сведения об этих периодах имеют отрывочный характер. Как всё происходило, в точности до мелочей нельзя сказать, но сам процесс, саму историю — возвращение потомков киммерийцев и скифов в Причерноморье — тем не менее можно зафиксировать и можно это считать действительно подлинной историей. В этом состоит задача книги, чтобы объяснить логику исторического процесса, логику истории — как, что, зачем происходило. Вероятно, эта книга — один из историко-образующих трудов, над которым нужно ещё работать не один год и, может быть, столетия, чтобы найти подлинные доказательства того, что в ней написано. Понятно, для тех, кто не принимает всё на веру, для тех, кто хочет, чтобы у каждого процесса было вещественное доказательство, в каких-то вопросах эта книга будет рассматриваться как одна из гипотез. На наш взгляд, книга “Рождение и крах Великой Скифии” открывает для науки истории огромное поле деятельности. При этом она создаёт вектор, определяет направление — куда нужно двигаться, в какую сторону, что искать и где. А это, пожалуй, самое главное — когда в киммерийских “сумерках” для исследователя брезжит рассвет. Важно для исторической науки в целом и для истории нашего государства, прежде всего. Ещё раз повторю, что этот период описать до мелочей, до ежегодных событий невозможно. Но бесспорно одно — борьба между Ассирией и государством Урарту, происходившая на протяжении нескольких веков с переменным успехом, закончилось неожиданно. Неожиданно, конечно, в историческом измерении. Закончилась падением царства Урарту под нашествием скифов и киммерийцев. Именно эти события и отметили вход киммерийцев и скифов во всемирную историю, поскольку теперь сведения о них фиксировались постоянно, и автор отмечает даже дату — 714 год до нашей эры. Отсюда хроника киммерийского выхода уже запечатлена на ассирийских глиняных табличках. А потому она зафиксирована и в книгах Ветхого Завета. В частности, в четвёртой Книге Царств описано, как ассирийские войска подступили к стенам Иерусалима, где в то время правил царь Езекия.

Рассматривая всемирную историю через призму Святого Писания, как не вспомнить слова пророка Екклесиаста: “*Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем*”. В самом деле, глубокое погружение в историю приносит рано или поздно понимание, что многие события если и не повторяются, то во многом схожи по сути. Это обстоятельство позволяет предвосхищать ещё не познанные или не открытые исторические события или находить связь между отдельными периодами. Именно такие вспышки интуитивных открытий встречает читатель в книге “Рождение и крах Великой Скифии” Николая Коняева. В смысле — не всплесков творческой фантазии, а явственное видение единственно верного варианта развития

событий. Сама идея (идея как способ осмысления) – распространение потомков Иафета в Евразии – должно быть, не нова, но чтобы понять это, одного умозаключения мало.

* * *

Итак, киммерийцы заняли Переднюю Азию. От них не отставали их родственники скифы, которые к тому времени уже понимали толк в вине. Они сползли амазонку Синапу и, стоя на берегу Синопского мыса, “наметили свою дальнейшую деятельность” на ближайшие две с половиной тысячи лет с тем, чтобы в этих местах их потомки – русская эскадра под командованием адмирала Нахимова – разгромили турецкий флот.

Что тут непонятно и что, собственно, нелогично?

Кстати, стоит сказать несколько слов и о художественных достоинствах книги, в которой замечен присущий Коняеву тонкий, часто скрытый юмор, переходящий порой в иронию. Происхождение скифов и киммерийцев, конечно, – один из важных вопросов, поставленных в книге. Но, пожалуй, не самый главный, ради чего всё затевалось. А наиважнейший вопрос, который ставит писатель перед историей, перед читателем, перед собой – а быть ли четвёртой империи на том пространстве, на котором уже до этого осуществились предыдущие?

Именно поэтому Николай Михайлович Коняев и обращается к предыдущим тысячелетиям, к истории и опыту наших предков, пытаясь найти ответы в прошлом, пытаясь проникнуть, может быть, в Божий промысел. И его исследования исходят как раз к самым истокам Ветхозаветной библейской истории.

Только задача эта не из простых. Нам предстоит несколько веков разбираться вместе с сирийскими летописцами в попытке отличить киммерийцев и скифов от прочих кочевых народов. До тех пор, пока в желании обезопасить участок своих границ ассирийцы не выдадут царскую дочку за скифского царя Бортатуа. Отчасти это ситуацию спасло, но до всеобщего благополучного существования было далеко. Только с этого времени в истории появляются *новые* скифы. Есть ли здесь аналогия с возникшими у нас в 90-е годы *новыми* русскими – сказать сложно. Но новое поколение скифов оказалось весьма деятельным в аспектах истории. Они отметили себя целой эпохой завоеваний сопредельных территорий и даже разгромом бывших родственников – киммерийцев, к тому времени повсюду хозяйничавших в Передней Азии под покровительством ассирийского царя Ашшурбанипала. Одним словом, никакого прямолинейного развития народов, конечно же, не существовало. Они расходились, сходились, сшибались в смертельных схватках и соединялись в выгодных для политики браках. Но Николай Михайлович Коняев, засучив рукава, с упорством рудокопа разбирает хитросплетения истории, исторические зигзаги и виражи киммерийско-скифского пути. Тем временем скифы заняли Переднюю Азию и на какое-то время стали в ней доминировать. Этому способствовали не только извивы тогдашней политики, но и прочие обстоятельства. В частности, скифы принесли передовые военные технологии! Например, верховой конный бой, поскольку создали к тому моменту седло, позволяющее всаднику сражаться на коне, в то время как во всём мире широко использовались только колесницы. Конструкция скифского седла практически без изменений дошла до наших времён. Она позволяла всаднику и сражаться холодным оружием, и стрелять на скаку из лука! При этом скифы обладали умением не только поражать стрелами в наступательном бою. Но что очень важно, уходя от погони, могли выстрелить (знаменитый скифский выстрел) из лука верхом на коне, обернувшись назад! Этого так никто и не смог повторить! Скифы же тем временем рассеивали и уничтожали целые армии. И главное, о чём сообщает автор, – период XII-X веков до нашей эры – это время расцвета Аркаима, время создания знаменитой Авесты – собрания священных текстов зороастризма, включающее в себя проповедь единого Бога, отрицающую местных божков. И дальнейшее распространение её в Передней Азии при гегемонии там скифов. Очевидная связь южноуральских степей и Передней Азии посредством миграции скифов. При этом, замечает автор, новая религия зороастризма была намного выше греческой мифологии, настолько, что даже оказалась неподвластна разуму Геродота.

Гегемония скифов в Передней Азии длилась, по мнению историков, примерно 28 лет. Другое дело, что начало этого периода у всех разнится и датируется в периоде примерно около 20 лет. На это есть свои объективные причины. Напомним, что из-за отсутствия письменности у самих скифов мы узнаём их историю по рукописям других народов, благо, древними историками о скифах написано немало. Однако, как пишет Николай Коняев, каждый историк писал из своего времени, по тем источникам, которые были ему доступны, поэтому разночтения в исторических фактах и событиях порой огромны. Разнятся даты, разнятся сами факты, их трактовка. И было ли господство скифов действительно 28 лет — это тоже достаточно условной срок, поскольку в это время произошло и падение государства Урарту, и господство скифов, и крах Ассирии, и гибель скифских царей. То есть множество глобальных событий, которые, пожалуй, сложно уложить в такой короткий период. Однако остаётся бесспорным то, что скифы из Причерноморья заняли всю евразийскую территорию до Урала, затем какая-то часть их вышла назад и вошла в Переднюю Азию. Здесь они весьма заметно обозначили своё присутствие. И вновь их история продолжилась в евразийских степях.

“Загадками окружено проникновение скифов в Переднюю Азию, — пишет Николай Михайлович Коняев. — Не менее загадочно и возвращение их на родину, которой ещё предстоит стать территорией Великих империй”.

Длительные походы скифов имели и внутренние последствия, кардинально отразившиеся на дальнейшей судьбе скифской цивилизации. Ссылаясь на грамоты Геродота, Гиппократ и современные археологические раскопки, Николай Коняев убедительно описывает появление амазонок на европейской части будущей Российской Империи. Длительное отсутствие мужчин-скифов в походах привело к тому, что среди скифских женщин возникнет попытка возрождения матриархата. Некоторые женщины вступали в вынужденный брачный союз с рабами, приведёнными мужьями-скифами, а также встречающимися в степи коллективами беспризорных мужчин. От этих союзов возникло некое поколение, которое уже отличалось от скифов и которое им противостояло. Вполне понятно, что так мог появиться и новый народ, вошедший в историю под именем сарматы. Главное для нашей истории — это то, что принесли с собой скифы из дальних походов. По мнению автора, это был опыт государственного строительства, опыт государственности. А ещё — вернувшиеся из похода скифы принесли с собой понятие царской власти. Это и есть историческая точка начала отсчёта рождения империй на нашей территории!

Да, вернувшиеся из Передней Азии скифы имели имперское мышление и на этой основе начали устраивать жизнь своего народа. Правда, хитроумные и лукавые греки подправили их историю, в своих письменных источниках на несколько веков омолодив скифов.

Отсюда в истории и возникла несурязица, которая, если бы не археологические находки, сделала бы скифов вовсе легендарным народом, населяющим только греческие мифы. На этот очень важный исторический момент указывает в своей книге Николай Коняев. Именно этого обстоятельства и этого факта не хватало для того, чтобы установить истинное происхождение скифов: а именно, их древнее происхождение от киммерийцев и от внуков Ноя. Конечно же, в то время, когда греки писали свои гекзаметры, а у скифов не было, в общем-то, своей письменности — дескать, о каком развитии может идти речь, когда там двух слов не могли написать сами о себе? Однако замалчивается тот факт, что при этом у скифов была прекрасная организация, что они покорили огромные пространства, и в то время, пока греки рубились бронзовыми мечами, скифы уже широко использовали железо. Вспомним изобретение седла, науку ведения боевых действий — в этом скифы продвинулись намного дальше тех же “образованных” греков.

Но почему-то принято древние цивилизации измерять с точки зрения искусства. Хотя в современном мире ровным счётом всё наоборот — древнейшие народы, обладающие высочайшей культурой, литературой, объявляются отсталыми странами третьего мира. В то время как цивилизации с передовыми технологиями, с ушедшей вперёд техникой, однако имеющие совершенно примитивную современную культуру и, по сути дела, уничтожающие культуру

традиционную, насчитывающую уже тысячи лет, такие цивилизации объявляются развитыми и несущими прогресс.

Тенденция современного мира — уничтожение культуры и создание субкультуры, а вернее, антикультуры — объявляется прогрессом. И для того, чтобы воспринять эту идею, прежде всего, надо вырастить поколения, не знающие своей истории — от самых корней. Эти новые поколения впитывают лишь исторический суррогат, а вернее сказать — ничего не знают об истории. Особенно о её Божественной промыслительности. Книга Николая Коняева “Рождение и крах Великой Скифии” является хорошим лекарством против антикультуры и исторического забвения.

* * *

История Скифии туманна и загадочна, как загадочна и туманна сама Скифия — таково мнение Николая Михайловича Коняева. Если попытаться составить многовековую историю Скифии в виде стройного и непрерывного процесса, то это вряд ли получится. Отчасти из-за того, что скифы не имели своей письменности. А посему авторы других народов, в частности, эллины, пишущие про скифов, описывали их, конечно, так, как было удобно им с их собственной точки зрения на государственность и историю. Себя, конечно, обидеть греки не могли.

И, хотя сама Скифия как территория вроде бы описана тоже достаточно и понятно, и границы её чётко обозначены ещё Геродотом, однако это тоже не вполне доказано.

Разные наименования одних и тех же народов, смешения названий, их разночтения в разных источниках вносят весомый диссонанс и путаницу. Это одна из причин, по которой считалось, что на территории Скифии существовали народы совершенно разные. Скифские племена отличались друг от друга, но всё же это была одна культура, один народ — по всем признакам, включающим в себя это понятие. Они все принадлежали одной земле — и это было главное объединяющее начало этого народа. Письменные грамоты и манускрипты, дошедшие до нас, всё-таки представляют собой взгляд на жизнь скифов извне. Что на самом деле происходило, как выглядело их государственное устройство изнутри — для нас, вероятно, останется большей частью неизвестно. Единственные источники, по которым мы можем точно судить о их жизни — это артефакты, найденные при раскопках курганов и городов. Они-то и дают богатый материал о жизни скифов, об их культуре и обычаях.

Но и тут нет серьёзных противоречий, не позволяющих объединять их в единый народ, если вспомнить многоликость и разнообразие обычаев Российской империи, и даже советской, где по мнению и указанию вождей все народы должны были превратиться в безликую массу, именуемую “советский народ”, но этого не произошло.

Существует факт, говорящий о степени развития культуры в Скифии. Скифского мудреца Анахарсиса — сына одного из скифских царей, прославившегося в Греции, — о котором существует множество письменных свидетельств, сами греки занесли в семёрку великих мудрецов древности. И это ещё слабо сказано, учитывая ту степень восхищения, с которой учёные греки приняли Анахарсиса. Парадоксальность ситуации сносшибательна. Удивительно, как при таком уровне развития скифы могли не иметь письменности в том виде, в каком мы её себе представляем? Эта историческая задача, пожалуй, не решается простым решением, во всяком случае, доступным современному человеку.

В начале своей работы я уже упоминал изречение Екклесиаста о том, что ничего нет нового под солнцем. И в этом отношении история Скифии, а именно те события, которые Николай Михайлович называет Скифской Отечественной войной, имея в виду, конечно, отечественную войну тех народов, которые проживали на территории будущих империй, — так вот, эта война, действительно, напоминает все последующие отечественные войны. В самом деле, какие основные положительные факторы использовали скифы для победы над сводным войском под руководством царя Дария? Прежде всего, это бескрайние просторы — тактический приём отхода с заманиванием войск противника, обескровливание его, лишение кормовой базы и продовольствия.

И здесь напрашивается аналогия с Отечественной войной 1812 года. Отход русского войска, умелое маневрирование, не дающее врагу окружить войска, с одновременным нанесением контрударов, приводящих к потере войск противником. В принципе, это то, что применяли скифы в своей тактике. Или вспомним незапланированное, но умелое отступление русских войск в 1915 году, во время Второй Отечественной войны, больше известной как Первая мировая. И уж совсем незапланированное отступление и вынужденная маневренная война во Вторую мировую войну, вошедшую в нашу историю как Великая Отечественная война. А историческая переправа во время бегства армии Дария через Дунай могла вполне быть похожей на бегство Наполеона через Березину. Но тогда противнику всё же удалось сохранить часть войска.

Скифская стратегия и тактика в IV веке до нашей эры определили на все последующие столетия тактику и стратегию защиты этих земель от нашествия врагов.

Итак, наши далёкие предки (а речь в книге идёт именно об этом) были отличные воины, прекрасные стратеги и имели высокоразвитую культуру. По части управления государством недосыгаемо превосходили древних греков, опирающихся на юриспруденцию и упражняющихся в написании законов. Скифы в управлении государством больше руководствовались моральными категориями, духовными принципами, понятиями справедливости, категориями добра и правды. Что, вероятно, непросто описать в законах, но на деле осуществляется проще и понятнее. С единственной поправкой – вначале нужно воспитать соответствующий народ.

При этом скифы как народ обладали одним существенным недостатком, который можно было бы считать большим достоинством в определённой степени, если бы он не заходил так далеко. И который, похоже, во многом свойственен нам – современным людям, живущим на той же территории. Поясню. Дело в том, что, соседствуя с другими народами, в частности, с теми же греками, скифы с большим интересом и охотой изучали их культуру, принимали её и впитывали настолько, что многие аналогичные категории переносили в свою культуру. В том числе и инородный взгляд на собственную историю. В этом вроде бы нет ничего отрицательного, и даже могло обогатить их культурный потенциал. Однако вместе с понятиями и категориями переносились и смыслы, которые во многом меняли и искажали не только культуру Скифии, принося вместе с понятиями иные значения и смыслы, но и её историю. В результате скифы часть своей истории просто утеряли, забыли. Их история стала моложе, и тысячелетнее культурное существование было потеряно. Скифы потеряли сами себя. Если проводить аналогию с теми, кто жил на этой территории намного позже – в XVIII, XIX, XX веках: посмотрите, сколько раз мы отбрасывали или теряли своё прошлое настолько, что и переименовывали его до неузнаваемости.

Какими событиями были для нас открытия величайших памятников нашей, относительно недавней культуры: были и сказаний, “Слова о полку Игореве”, фресок Андрея Рублёва, ну и, наконец, парадоксально знаменитого теперь Аркаима!

Мы отбрасывали свою историю в XVII и XVIII веках в периоды никоновских и петровских реформ, а сколько раз в XX веке мы отбрасывали свою историю, своё прошлое как неправильное, ненужное, “мешающее” нам развиваться, жить и идти по пути “прогресса”? Сколько жителей нашей страны ненавидят всё, что связано с Российской Империей, при этом не меньшее число – так же ненавидят всё советское прошлое? А всё это – история, происходившая на одной территории, и все мы – потомки и Российской, и Советской Империй. Все их поражения – наши поражения, все их победы – наши победы, в том числе и победа над армией Зопириона в 331 году до нашей эры, и победы над войсками Дария, Филиппа II, фалангами Александра Македонского.

И эта совсем не положительная черта – чернить своё прошлое – похоже, досталась нам от наших предков, скифов. Смелых и отважных воинов, честных и добросовестных правителей – народ миролюбивый, добродушный, но крайне простодушный и наивный.

В результате в нашей официальной истории и появились мифы о происхождении нашей государственности от пришлых, совершенно чуждых нам народов, вроде скандинавов. Легенды о диком существовании наших предков-славян, которые чуть ли не в X веке нашей эры ходили в шкурах и жили в пещерах,

хотя ещё в четвёртом веке до нашей эры скифы, или, как они сами себя называли, сколоты, имели государственность и высокоразвитую культуру, а их мудростью восхищались греки.

Многие пришлые зарубежные учителя и заморские “мудрецы” берутся нас поучать, образовывать, учить культуре, учить государственности и вообще грамоте. В то время как наша культура и наши традиции насчитывают десятки веков.

Надо отдать должное автору книги. Он не идеализирует скифов. И откровенно сообщает о тех негативных сторонах их обычаев, которые, впрочем, появились у них под влиянием других народов, в частности, эллинов, а возможно, и были привиты.

Хотя ещё Геродот отмечал, что скифы упорно противятся и сторонятся иноземных обычаев, культуры других народов. Они упорно сопротивляются этому. И не далее, как в четвёртом веке до нашей эры они ещё рубили головы своим правителям, пытавшимся завести иноземные обычаи – вроде поклонения богу Ваху.

Но вот вернулись из Передней Азии так называемые “царские скифы” и стали устраивать жизнь своего народа по имперскому образцу, и это вроде бы можно рассматривать как положительное явление – укрепление своего государства. Однако это неизменно привело к разделению на классы. И вот уже знать, в подражание азиатским владыкам, заводит собственных рабов, которых и взять-то негде, кроме как из собственного народа. И появляются племена, которые трудятся на земле и выращивают хлеб, но выращивают его только для продажи, при этом практически сами его не едят. Затем пришли переселенцы из Греции и стали соседствовать со скифами. И постепенно у скифов завёлся порядок продажи собственного народа в рабство. Это за много-много веков до Петра Великого, прорубившего окно в Европу, внёсшего к нам западную культуру, и при котором крестьяне начали продаваться на рынке, как скот.

Если вдуматься в эти факты и пристально взглядеться, даже несмотря на то, что они скрыты от нас тысячелетиями, то всё-таки с грустью можно заметить, что они нам напоминают что-то очень знакомое и совсем недавнее, а может быть, и наше настоящее. И в этом, думается, тоже есть нечто традиционное, что связывает нас с древними народами, населявшими нашу землю. Прежде всего, то простодушие и та открытость, с которыми мы, не задумываясь, принимаем чужеземные обычаи и порядки, обращая собственный народ в рабов. Понятно, что и алчность, и гордыня тут есть. Но прежде всего – наивное желание причислить себя к элите – такой, “как у них там”, основанное на комплексе неполноценности не только своей, но и недооценки собственно народа.

Дремучая скифская наивность выдаёт нас с головой. Хотя мы сами упорно пытаемся вести свою историю от прихода “скандинава” Рюрика. Для всего прочего мира мы остаёмся скифами. Но не в смысле нашей древней родословной, а в смысле нашей наивности и дремучего добродушия.

Что и говорить, великие завоеватели Дарий, Филипп II, его сын Александр Македонский, нанесший скифам поражение, не смогли завоевать Скифию.

Кто желает, может продолжить этот список – Чингисхан, Наполеон, Гитлер. Впрочем, Гитлера я не причисляю к великим полководцам. Однако все эти армии имели огромную военную мощь и превосходство над своим противником. Но там, где военная мощь оказалась бессильной, там лезть, лукавое слово, корысть и зависть сделали своё дело. Взгляд на самих себя глазами своих врагов или даже просто своих соседей, принятие их точки зрения как своей собственной, несмотря на то, что чаще всего она негативная, принятие чьей-то версии нашей истории с целью её ниспровержения – вот, пожалуй, главная беда Скифии. В этом состоит корень разделения нашего народа, причина его внутренних распрей, его внутреннего неустройства, междоусобных споров и войн. Хорошо бы нам прислушаться к тому, что говорили древние скифские мудрецы, как рассуждали скифы, как они решали свои дела. У каждого народа есть своя природная данность, образ мышления, образ восприятия богатства, образ восприятия благополучия, и ни в коем случае нельзя заменять это образами других народов слепо, необдуманно и копировать обычаи и устои, не понимая, к чему это приведёт. А приводит это вот к чему: Великая Скифия сумела отразить натиск внешних врагов. И её влияние стало настолько сильным, что соседи отгородились от неё в Передней Азии стеной,

и Великой Китайской стеной — со стороны Китая. Тут, казалось бы, Скифия должна благополучно продолжить своё историческое существование, но случилось необъяснимое — Скифия пришла в упадок. Причём довольно быстро. Не под ударами врагов и не в результате стихийных бедствий. Скифы разбрелись по разным углам — часть ушла в Причерноморье, а часть — в лесостепную зону. Скифия запустела, и на этом месте стал появляться новый народ — сарматы. Тут, конечно же, встаёт вопрос: кто такие сарматы, откуда они появились? Но только это вопрос не для нас, жителей XXI века, особенно тех, кто успел родиться в XX веке и хорошо знает историю России в XX веке. Вспомним, например, 1917 год, когда вдруг, в одночасье, перестала существовать Российская Империя и тот самый православный русский народ, составлявший её основу. И буквально через несколько лет гражданской войны стала проявляться совершенно новая общность, новые люди — их называли советский народ, и это был действительно народ, коренным образом отличающийся от того, что жил тут ещё 4-5 лет назад. И культура страны изменилась до неузнаваемости. Или когда у нас в 1917 году возникло новое государство с новым народом — Украинская Народная Республика Советов.

А 5 февраля 1936 года, когда Казакская АССР (бывшие уезды южной части Западной Сибири с коренным русским населением) была переименована в Казахскую АССР, и снова появился невиданный доселе казахский народ.

Давайте вспомним недавние 1991-й, 1992-й годы. Когда буквально за год-два (а на самом деле в одночасье) перестала существовать Советская империя, и на её месте действительно появился совсем другой народ, хотя это были мы сами. Изменилось совершенно всё. В корне изменилась культура, в корне изменились ценности, в корне начали меняться традиции, обычаи, и реально возник другой народ на прежнем месте. А вокруг России возникло множество государств, ранее в истории не существовавших.

Так у нас всего за одно столетие дважды на землях, где уже существовало несколько империй, возникло нечто совершенно новое.

Потому нам легко представить, как появились сарматы. Конечно же, это не были какие-то ниоткуда взявшиеся пришельцы. Это были те же скифы, но с другой уже ментальностью, сложившейся под влиянием эллинской культуры. У них изменились обычаи, изменились порядки, изменилось мышление, культура, изменилось мировосприятие. Таков был закат Великой Скифской империи. И много времени пройдёт, прежде чем через невзгоды, тяжёлые войны и монгольское нашествие Русь снова начнёт возрождаться и возникнет государство Российская Империя.

А затем произойдёт опять то же, что и с великими скифами. И эта империя рухнет, и опять по причине внутренних противоречий, возникающих, прежде всего, от внесённой извне идеологии. От привития части населения, а именно её элите, “царственных” амбиций и отношения к своему народу как массе, призванной обеспечить их благополучное существование. И единый народ превратится, по сути, в два народа. Из которых один станет заложником и пленником у другого. Поскольку все эти манипуляции основываются на принципе “разделяй и властвуй”.

И опять через потоки крови, через миллионы жертв появится новая Империя, которая, как вы помните, также рухнет. И вот теперь перед нами стоит вопрос: а быть ли четвёртой (собственно, дело не в нумерации) Империи? Подразумевая под империей единую страну, с единым народом, с собственной элитой, мыслящей в масштабах родной страны?

Тут, как никогда, нам пригодится опыт наших предков. Нам нужно его знать. Потом, проанализировав, понять сильные и слабые стороны нашей истории. И попытаться всё-таки воссоздать великое государство на той территории, какой одарил нас Господь.

Николай Михайлович Коняев покинул земное существование в 2018 году. И я теперь не боюсь, что кто-то заподозрит меня в излишней предвзятости.

А потому хочется сказать, что его книга, которую он в своём земном бытии не увидел, книга “Рождение и крах Великой Скифии” — это не что иное, как откровение. Плод не просто просвещённого ума, но во многом целый ряд исторических всплеск-озарений. Я не питаю иллюзий. “...Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём”, — сказано в Новом завете (Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 57). Это слова Того, с Кем невозможно спорить. И всё же — да услышат те, кто имеет уши, и увидят, имеющие глаза. И да поможет нам Бог!

ЮБИЛЕИ



Книги Натальи Игоревны Шубниковой-Гусевой, замечательного учёного, исследователя жизни и творчества Сергея Есенина, “Поэмы Есенина. От “Пророка” до “Чёрного человека”, “Сергей Есенин и Галина Бениславская”, “Объединяет звуком русской песни...”, “Есенин и мировая литература” — внесли неоценимый вклад в изучение биографии и творческого пути классика русской и мировой поэзии.

На протяжении многих лет в работе над подготовкой текста и комментариями к томам академического собрания сочинений С. А. Есенина мы были свидетелями неустанной кропотливой, вдумчивой работы Натальи Игоревны.

Составленные ею сборники воспоминаний о Сергее Есенине стали лучшими в этой области.

Её работы переведены и оценены по достоинству в США, Польше, Франции и других странах.

Мы поздравляем с юбилеем и желаем Наталье Игоревне крепкого здоровья и творческих сил для новых свершений.

Редакция

Не забудьте подписаться
на "Наш современник" —
на второе полугодие 2022 года!



Почта России		ф. СП-1									
АБОНЕМЕНТ на газету журнал		<input type="text"/> (индекс издания)									
НАШ СОВРЕМЕННИК		Количество комплектов									
На 2022 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Куда <input type="text"/>				<input type="text"/>				<input type="text"/>			
				(почтовый индекс)				(адрес)			
Кому _____											
Линия отреза											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ДОСТАВОЧНАЯ		<input type="text"/>						
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	КАРТОЧКА								
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ПВ место литер								
На газету журнал		НАШ СОВРЕМЕННИК									
		(наименование издания)									
Стои- мость	подписки		руб.		Количество						
	переадрес.		руб.		комплектов						
На 2022 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		город		_____							
<input type="text"/>		село		_____							
<input type="text"/>		область		_____							
<input type="text"/>		район		_____							
<input type="text"/>		улица		_____							
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____							
дом	корпус	квартира	(фамилия и о.)								

Подписной индекс журнала
"Наш современник"
По каталогу "Почта России" — П4254
подписка возможна и на сайте "Почты России"
podpiska.pochta.ru/press/П4254

7 июня исполнилось 150 лет со дня рождения
русского оперного певца Леонида Ивановича Собинова



“Сила обаяния и чарующей власти Собинова-артиста над публикой была, прежде всего, в необычайно красивом, мягком тембре его серебристого голоса, которым он владел в совершенстве, в ясной, изумительно отчётливой дикции, в простоте, искренности исполнения и полной гармонии вокального и драматического мастерства. В голосе Собинова было что-то родное, русское, близкое, трогательное душу, что заставляло искренне верить в правду искусства. Теплота, лирическая напевность в сочетании со сценическим обаянием производили незабываемое впечатление...”

Из воспоминаний Антонины Васильевны Неждановой,
партнёрши легендарного певца во многих спектаклях
в течение 30 лет.



150 лет со смерти Александра Фёдоровича Гильфердинга, российского фольклориста, славяноведа, одного из крупнейших собирателей и исследователей былин

“Единственная опора какой бы то ни было веры, у какого бы то ни было народа есть его убеждение в том, что она истинна. Это несомненно, и сколько пример истории, столько же и здравый смысл показывают, что всякая другая опора, подставляемая под веру, — насилие ли, светские ли выгоды и соображения и тому подобное — не только не поддерживает веры, а, напротив, губит её, будучи отрицанием свободы убеждения, единственной годной для неё основы, так как эта основа одна соответствует сущности веры.

В массе народа, исповедующей известную веру, убеждение в том, что она истинна, передаётся семейным и общественным преданием и воспитанием из рода в род и возвышается до степени духовного сознания (где это сознание возможно: я не говорю о религиях низших) размышлением, чтением, наставлением, — словом сказать, духовным образованием у тех людей, которым доступно это благо...”

А. Гильфердинг
“Чем поддерживается православная вера
у южных славян”